

the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased by 50% (Mental Health Act 1983, 1990).

There is a growing awareness of the need to improve the lives of people with mental health problems. The Department of Health (1990) has set out a vision of a new mental health service, one that is more humane, more effective and more cost-effective. The vision is based on the principles of recovery, self-help, and self-reliance. The vision is based on the belief that people with mental health problems can lead a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life.

The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life.

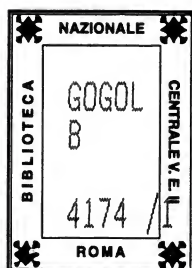
The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life.

The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life.

The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life.

The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life. The vision is based on the belief that people with mental health problems can be helped to overcome their problems and to live a full and meaningful life.





Борис
1941

~~А-535~~

ОБРЫВЪ

1950

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

Д. Б. Р. У. V

ОБРЫВЪ

РОМАНЪ

ВЪ ПЯТИ ЧАСТЯХЪ

~~ИВАНЪ ГОНЧАРОВЪ~~

IV AN

GONCHAROV

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

10



САНКТПЕТЕРБУРГЪ

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА,

въ Главномъ Адмиралтействѣ

1870

GoGoC B4174/1



3NCO355182
1 3NCO355185

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.





I.

Два господина сидѣли въ небрежно-убранной квартирѣ въ Петербургѣ, на одной изъ большихъ улицъ. Одному было около тридцати-пяти, а другому около сорока-пяти лѣтъ. Первый былъ Борисъ Павловичъ Райскій, второй—Иванъ Ивановичъ Аяновъ.

У Бориса Павловича была живая, чрезвычайно подвижная фizioномія. Съ перваго взгляда онъ казался моложе своихъ лѣтъ: большой бѣлый лобъ блисталъ свѣжестью, глаза мѣнялись, то загораясь мыслию, чувствомъ, веселостью, то задумывались мечтательно, и тогда казались молодыми, почти юношескими. Иногда же смотрѣли они зрѣло, устало, скучно и обличали возрастъ своего хозяина. Около глазъ собирались даже двѣ три легкія морщины, эти неизгладимые знаки времени и опыта. Гладкіе черные волосы падали на затылокъ и на уши, а въ вискахъ серебрилось нѣсколько бѣлыхъ волосъ. Щеки, также, какъ и лобъ, около глазъ и рта, сохраняли еще молодые цвѣта, но у висковъ и около подбородка цвѣтъ былъ изъ

желта-смугловатый. Вообще легко можно было угадать по лицу ту пору жизни, когда совершилась уже борьба молодости со зрѣлостью, когда человѣкъ перешелъ на вторую половину жизни, когда каждый прожитой опытъ, чувство, болѣзнь, оставляютъ слѣды. Только ротъ его сохранялъ, въ неуволимой игрѣ тонкихъ губъ и въ улыбкѣ, молодое, свѣжее, иногда почти дѣтское выраженіе.

Райскій одѣтъ былъ въ домашнее сѣренькое пальто, сидѣлъ съ ногами на диванѣ.

Иванъ Ивановичъ былъ напротивъ въ черномъ фракѣ. Бѣлыя перчатки и шляпа лежали около него на столѣ. У него лицо отличалось спокойствіемъ, или скорѣе равнодушнымъ ожиданіемъ ко всему, что можетъ около него происходить. Смышленный взглядъ, неглупыя губы, смугло-желтоватый цвѣтъ лица, красиво подстриженные, съ сильной просѣдью, волосы на головѣ и бакенбардахъ, умѣренные движенія, сдержанная рѣчь и безукоризненный костюмъ—вотъ его наружный портретъ.

На лицѣ его можно было прочесть покойную увѣренность въ себѣ и пониманіе другихъ, выглядывавшія изъ глазъ. «Пожилъ человѣкъ, знаетъ жизнь и людей», скажетъ о немъ наблюдатель, и если не отнесетъ его къ разряду особенныхъ, высшихъ натуръ, то еще менѣе къ разряду натуръ наивныхъ. Это былъ представитель большинства уроженцовъ универсальнаго Петербурга, и вмѣстѣ то, что называютъ свѣтскимъ человѣкомъ. Онъ принадлежалъ Петербургу и свѣту, и его трудно было бы пред-

ставить себѣ гдѣ-нибудь въ другомъ городѣ, кромѣ Петербурга, и въ другой сферѣ, кромѣ свѣта, т. е. извѣстнаго высшаго слоя петербургскаго населенія, хотя у него есть и служба, и свои дѣла, но его чаще всего встрѣчаешь въ болѣе части гостинныхъ, утромъ—съ визитами, на обѣдахъ, на вечерахъ: на послѣднихъ всегда за картами. Онъ—такъ себѣ: ни характеръ, ни безхарактерность, ни знаніе, ни невѣжество, ни убѣжденіе, ни скептицизмъ. Незнаніе или отсутствіе убѣжденія облечено у него въ форму какого-то легкаго, поверхностнаго всеотрицанія: онъ относился ко всему небрежно, ни передъ чѣмъ искренне не склонялся, ни чему глубоко не вѣря и ни къ чему особенно не пристращался. Немного насмѣшливъ, скептиченъ, равнодушенъ и ровенъ въ сношеніяхъ со всѣми, не даря никого постоянной и глубокой дружбой, но и не преслѣдуя никого настойчивой враждой.

Онъ родился, учился, выросъ и дожилъ до старости въ Петербургѣ, не выѣзжая далѣе Лахты и Ораніенбаума съ одной, Токсова и Средней-Рогатки съ другой стороны. Отъ этого въ немъ отражались, какъ солнце въ каплѣ, весь петербургскій міръ, вся петербургская практичность, нравы, тонъ, природа, служба,—эта вторая петербургская природа, и болѣе ничего. На всякую другую жизнь у него не было никакого взгляда, никакихъ понятій кромѣ тѣхъ, какія даютъ свои и иностранныя газеты. Петербургскія страсти, петербургскій взглядъ, петербургскій годовой обиходъ пороковъ и добродѣтелей, мыслей,

дѣлъ, политики, и даже, пожалуй, поэзіи, — вотъ гдѣ вращалась жизнь его, и онъ не порывался изъ этого круга, находя въ немъ полное до роскоши удовлетвореніе своей натурѣ. Онъ равнодушно смотрѣлъ сорокъ лѣтъ сряду, какъ съ каждой весной отплывали за границу биткомъ-набитые пароходы, уѣзжали внутрь Россіи дилижансы, въ послѣдствіи вагоны, — какъ двигались толпы людей «съ наивнымъ настроеніемъ» дышать другимъ воздухомъ, освѣжаться, искать впечатлѣній и развлеченій. Никогда не чувствовалъ онъ подобной потребности, да и въ другихъ не признавалъ ее, а глядѣлъ на нихъ, на этихъ другихъ, покойно, равнодушно, съ весьма приличнымъ выраженіемъ въ лицѣ и взглядомъ. «Пусть-де ихъ себѣ, а я не поѣду».

Онъ говорилъ просто, свободно переходя отъ предмета къ предмету, всегда зналъ обо всемъ, что дѣлается въ мірѣ, въ свѣтѣ и въ городѣ; слѣдилъ за подробностями войны, если была война, узнавалъ равнодушно о перемѣнѣ англійскаго или французскаго министерства, читалъ послѣднюю рѣчь въ парламентѣ и во французской палатѣ депутатовъ, всегда зналъ о новой піесѣ, и о томъ, кого зарѣзали ночью на Выборгской сторонѣ. Зналъ генеалогію, состояніе дѣлъ и имѣній и скандальную хронику каждаго большого дома столицы; — зналъ во всякую минуту, что дѣлается въ администраціи, о перемѣнахъ, повышеніяхъ, наградахъ, — зналъ и сплетни городскія: словомъ, зналъ хорошо свой міръ. Утро уходило у него на мыканье по свѣту, т. е. по гостинымъ, от-

части на дѣла и службу, — вечеръ нерѣдко онъ начиналъ спектаклемъ, а кончалъ всегда картами въ англійскомъ клубѣ, или у знакомыхъ, а знакомы ему были всѣ. Въ карты игралъ онъ безъ ошибки и имѣлъ репутацію пріятнаго игрока, потому что былъ снисходителенъ къ ошибкамъ, никогда не сердился, а глядѣлъ на ошибку съ такимъ же приличіемъ, какъ на отличный ходъ. Потомъ онъ игралъ и по большой и по маленькой, и съ крупными игроками, и съ капризными дамами.

Строевую службу онъ прошелъ хорошо, протерши лямку около пятнадцати лѣтъ въ канцеляріяхъ, въ должностяхъ исполнителя чужихъ проектовъ. Онъ тонко угадывалъ мысль начальника, раздѣлялъ его взглядъ на дѣло и ловко излагалъ на бумагѣ разные проекты. Мѣнялся начальникъ, а съ нимъ и взглядъ, и проектъ: Аяновъ работалъ также умно и ловко и съ новымъ начальникомъ, надъ новымъ проектомъ — и докладныя записки его нравились всѣмъ министрамъ, при которыхъ онъ служилъ.

Теперь онъ состоялъ при одномъ изъ нихъ по особымъ порученіямъ. По утрамъ являлся къ нему въ кабинетъ, потомъ къ женѣ его въ гостиную, и дѣйствительно исполнялъ нѣкоторыя ея порученія, а по вечерамъ въ положенные дни непременно составлялъ партію, съ кѣмъ попросить. У него былъ довольно крупный чинъ и окладъ — и никакого дѣла.

Если позволено проникать въ чужую душу, то въ душѣ Ивана Ивановича не было никакого мрака, никакихъ тайнъ, ничего загадочнаго впереди, и сами

макбетовскія вѣдьмы затруднились бы оболести его какимъ-нибудь болѣе блестящимъ жребіемъ, или отнять у него тотъ, къ которому онъ шествовалъ такъ сознательно и достойно. Повыситься изъ статскихъ въ дѣйствительные статскіе, а подъ конецъ, за долговременную и полезную службу и «неусыпные труды», какъ по службѣ, такъ и въ картахъ — въ тайные совѣтники, и бросить якорь въ портѣ, въ какой-нибудь нетлѣнной комиссіи или въ комитетѣ, съ сохраненіемъ окладовъ, — а тамъ, волнуясь себѣ человѣческій океанъ, мѣняйся вѣкъ, лети въ пучину судьба народовъ, царствъ, — все пролетитъ мимо его, пока апоплексическій или другой ударъ не остановитъ теченія его жизни.

Аяновъ былъ женатъ, овдовѣлъ и имѣлъ двѣнадцати лѣтъ дочь, воспитывавшуюся на казенный счетъ въ институтѣ, а онъ, устроивъ свои дѣлишки, вель покойную и беззаботную жизнь стараго холостяка. Одно только нарушало его спокойствіе: — это геморрой отъ сидячей жизни: въ перспективѣ представлялось для него тревожное событіе — прервать на время эту жизнь и побывать гдѣ-нибудь на водахъ. Такъ грозилъ ему докторъ.

— Не пора ли одѣваться: четверть пятого! — сказалъ Аяновъ.

— Да, пора, — отвѣчалъ Райскій, очнувшись отъ задумчивости.

— О чемъ ты задумался? — спросилъ Аяновъ.

— О комъ? — поправилъ Райскій: — да о ней все.... о Софѣѣ...

— Опять! Ну! — замѣтилъ Аяновъ.

Райскій сталъ одѣваться.

— Ты не скучаешь, что я тебя туда таскаю? — спросилъ Райскій.

— Нимало: развѣ не все равно играть, что тамъ, что у Ивлевыхъ? Оно, правда, совѣстно немного обыгрывать старухъ: Анна Васильевна бьетъ карты своего партнера со-слѣпа, а Надежда Васильевна вслухъ говоритъ, съ чего пойдетъ.

— Не безпокойся, не оберешь по пяти копѣекъ. У обѣихъ старухъ до шестидесяти тысячъ дохода.

— Знаю, и это все Софѣ Николаевнѣ достанется?

— Ей — она родная племянница. Да когда еще достанется! Онѣ скуны, переживутъ ее.

— У отца вѣдь, кажется, немного...

— Нѣтъ, все спустилъ.

— Да куда онъ тратитъ? Въ карты почти неиграетъ.

— Какъ, куда? А женщины? А эта бѣготня, *relais soupers*, весь этотъ *train*? Зимой въ пять тысячъ сервисъ подарилъ на вечеръ *Argence*, а она его-то и забыла пригласить къ ужину...

— Да, да, слышалъ. За что? Что онъ у ней тамъ дѣлаетъ?..

Оба засмѣялись.

— Отъ мужа у Софьи Николаевны, кажется, тоже немного осталось?

— Нѣтъ, тысячъ семь дохода; это ея карманныя деньги. А то все отъ тетокъ. Но пора! сказалъ Райскій. — Мнѣ хочется до обѣда еще по Невскому пройтись.

Аяновъ и Райскій пошли по улицѣ, кивая, раскланиваясь и пожимая руки на право и на лѣво.

— Долго ты нынче просидишь у Бѣловодовой?

— Пока не выгонять—какъ обыкновенно. А что, скучно?

— Нѣтъ, я думалъ, поспѣю ли я къ Ивлевымъ? Мнѣ скучно не бываетъ...

— Счастливый человѣкъ!—съ завистью сказалъ Райскій.—Еслибъ не было на свѣтѣ скуки! Можетъ ли быть лютѣ бича?

— Молчи, пожалуйста! съ суевѣрнымъ страхомъ остановилъ его Аяновъ: еще накличешь что-нибудь! А у меня одинъ геморрой чего-нибудь да стоитъ! Доктора только и знаютъ, что вонъ откуда шлютъ: далась имъ эта сидячая жизнь — всѣ бѣды въ ней видать! Да воздухъ еще: чего лучше этого воздуха?—Онъ съ удовольствіемъ нюхнулъ воздухъ.—Я теперь выбралъ подобрѣе эскулапа: тотъ хочетъ лѣтомъ кислымъ молокомъ лечить меня: у меня вѣдь закрытый... ты знаешь? Такъ ты отъ скуки ходишь къ своей кузинѣ?

— Какой вопросъ: разумѣется! Развѣ ты не отъ скуки садишься за карты? Всѣ отъ скуки спасаются, какъ отъ чумы.

— Какое же ты жалкое лекарство выбралъ отъ скуки—переливать изъ пустого въ порожнее съ женщиной: каждый день одно и тоже!

— А въ картахъ развѣ не одно и тоже? а вотъ ты прячешься въ нихъ отъ скуки...

— Ну, нѣтъ, не одно и тоже: какой-то англичанинъ вывелъ комбинацію, что одна и таже сдача картъ можетъ повториться лѣтъ въ тысячу только... А шансы? а характеры игроковъ, манера каждаго, ошибки?.. Не одно и тоже! А вотъ съ женщиной биться зиму и весну! Сегодня, завтра... вотъ этого я не понимаю!

— Ты не понимаешь красоты: что же дѣлать съ этимъ? Другой не понимаетъ музыки, третій живописи: это неразвитость своего рода...

— Да, именно — своего рода. Вонъ у меня въ отдѣленіи служилъ помощникомъ Иванъ Петровичъ: тотъ ни одной чиновницѣ, ни одной горничной проходу не даетъ, т. е. красивой конечно. Всѣмъ говорить любезности, подносить конфеты, бубеты: онъ развить что-ли?

— Оставимъ этотъ разговоръ, — сказалъ Райскій — а то опять оба на стѣну полѣземъ, чуть не до драки. Я не понимаю твоихъ картъ, и ты вправѣ назвать меня невѣждой. Не суйся же и ты судить и рядить о красотѣ. Всякій по своему наслаждается, и картиной, и статуей, и живой красотой женщины: твой Иванъ Петровичъ такъ, я иначе, а ты никакъ, — ну, и при тебѣ!

— Ты играешь съ женщинами, какъ я вижу, сказалъ Аяновъ...

— Ну, играю, и что же? — ты тоже играешь и обыгрываешь почти всегда, а я всегда проигрываю.... Что же тутъ дурного?

— Да, Софья Николаевна красавица, да еще богатая невѣста: женись и конецъ всему.

— Да—и конецъ всему, и начало скукѣ!—задумчиво повторилъ Райскій: а я не хочу конца! Успокойся, за меня бы ее и не отдали!

— Тогда, по моему, и ходить не-зачѣмъ. Ты просто—донъ-Жуанъ!

— Да, донъ-Жуанъ, пустой человѣкъ; такъ что ли по нашему?

— А какъ же: что-жъ онъ по твоему?

— Ну, такъ и Байронъ, и Гёте, и куча живописцевъ, скульпторовъ — все были пустые люди...

— Да ты—Байронъ или Гёте, что ли?..

Райскій съ досадою отвернулся отъ него.

— Донъ-жуанизмъ—тоже въ людскомъ родѣ, что донъ-кихотство: еще глубже; эта потребность еще прирожденнѣе... сказалъ онъ.

— Коли потребность — такъ женись... я тебѣ говорю...

— Ахъ! почти съ отчаяніемъ произнесъ Райскій—вѣдь жениться можно одинъ, два, три раза: ужели я не могу наслаждаться красотой такъ, какъ бы наслаждался красотой въ статуй? Донъ-Жуанъ наслаждался прежде всего эстетически этой потребностью, но грубо; сынъ своего вѣка, воспитанія, правовъ—онъ увлекался за предѣлы этого поклоненія—вотъ и все. Да что толковать съ тобой!

— Коли не жениться, такъ не зачѣмъ и ходить... апатично повторилъ Аяновъ.

— А знаешь—ты отчасти правъ. Прежде всего скажу, что мои увлеченія всегда искренни и не умышленны:—это не волокитство—знай однажды навсегда. И когда мой идолъ хоть одной чертой подходитъ къ идеалу, который фантазія сейчасъ создаетъ мнѣ изъ него—у меня само собою додѣляется остальное, и тогда возникаетъ идеаль счастья, семейнаго...

— Вотъ видишь; ну такъ и женись... замѣтилъ Ляновъ.

— Погоди, погоди: никогда ни одинъ идеаль не доживалъ до срока свадьбы: блѣднѣлъ, падалъ, и я уходилъ охлажденный... Что фантазія создаетъ, то анализъ разрушить, какъ карточный домикъ. Или самъ идеаль, не дождавшись охлажденія, уходилъ отъ меня...

— А все-таки каждый день сидѣть съ женщиной и болтать!... упрямо твердилъ Ляновъ, покачивая головой.—Ну о чемъ, напимѣрь, ты будешь говорить, хоть сегодня? чего ты хочешь отъ нея, если ее за тебя не выдадутъ?

— И я тебя спрошу: чего ты хочешь отъ ея тетки? Какія карты къ тебѣ придутъ? Выиграешь ты, или проиграешь? Развѣ ты ходишь съ тѣмъ туда, чтобъ выиграть всѣ шестьдесятъ тысячъ дохода? Ходишь поиграть—и выиграть что-нибудь...

— У меня никакихъ расчетовъ нѣтъ: я дѣлаю это отъ... отъ... для удовольствія.

— Отъ... отъ скуки—видишь, и я для удовольствія—и тоже безъ расчетовъ. А какъ я наслаж-

даюсь красотой, ты и твой Иванъ Петровичъ этого не поймете, не во гнѣвъ тебѣ и ему—вотъ и все. Вѣдь есть же одни, которые молятся страстно, а другіе не знаютъ этой потребности, и...

— Страстно! страсти мѣшаютъ жить. Трудъ— вотъ одно лекарство отъ пустоты: дѣло!—сказалъ Аяновъ внушительно.

Райскій остановился, остановилъ Аянова, ядовито улыбнулся и спросилъ:— какое дѣло, скажи пожалуйста: это любопытно!

— Какъ какое? служи.

— Развѣ это дѣло? укажи ты мнѣ въ службѣ, за немногими исключеніями, дѣло, безъ котораго бы нельзя было обойтись?

Аяновъ засвисталъ отъ удивленія.

— Вотъ тебѣ разъ!—сказалъ онъ и поглядѣлъ около себя. Да вотъ!—Онъ указалъ на полицейскаго чиновника, который упорно глядѣлъ въ одну сторону.

— А спроси его, — сказалъ Райскій, — зачѣмъ онъ тутъ стоитъ, и кого такъ пристально высматриваетъ и выжидаетъ? Генерала! А насъ съ тобой и не видитъ, такъ, что любой прохожій можетъ вытащить у него платокъ изъ кармана. Ужели ты считалъ дѣломъ твои бумаги? Не будемъ распространяться объ этомъ, а скажу тебѣ, что я, право, больше дѣлаю, когда мажу свои картины, бряну на роулѣ и даже — когда поклоняюсь красотѣ...

— И чтó особеннаго, кромѣ красоты, нашелъ ты въ своей кузинѣ?

— Кромѣ красоты! да это все! Впрочемъ, я мало знаю ее: это-то, вмѣстѣ съ красотой, и влечетъ меня къ ней...

— Какъ, каждый день вмѣстѣ и мало знаешь?..

— Мало. Не знаю, что у нея кроется подъ этимъ спокойствіемъ, не знаю ея прошлаго и не угадываю будущаго. Женщина она, или кукла, живетъ или поддѣлывается подъ жизнь? И это мучить меня... Вонъ, смотри, — продолжалъ Райскій — видишь эту женщину?

— Ту толстую, что лѣзетъ съ узломъ на извозчика?

— Да, и вотъ эту, что глядитъ изъ окна кареты? И вонъ ту, что заворачиваетъ изъ за угла на встрѣчу намъ?

— Ну, такъ что же?

— Ты на ихъ лицахъ мелькомъ прочтешь какую-нибудь заботу, или тоску, или радость, или мысль, признакъ воли: ну словомъ, — движеніе, жизнь. Немного нужно, чтобъ подобрать ключъ и сказать, что тутъ семья и дѣти, значить было прошлое, а тамъ глядитъ изъ глазъ страсть или живой слѣдъ симпатіи, — значить есть настоящее, а здѣсь на молодомъ лицѣ играютъ надежды, просятся наружу желанія и пророчатъ беспокойное будущее...

— Ну?

— Ну, вездѣ что-то живое, подвижное, требующее жизни и отзывающееся на нее... А тамъ ничего этого нѣтъ, ничего, хоть шаромъ покати! Даже нѣтъ апатіи, скуки, чтобъ можно было сказать: была

жизнь и убита—ничего! Сіяетъ и блеситъ, ничего не проситъ и ничего не отдаетъ! И я ничего не знаю! А ты удивляешься, что я бьюсь?

— Давно бы сказалъ мнѣ это, я и удивляться не-ресталъ бы, потому что я самъ такой,—сказалъ Аяновъ, вдругъ останавливаясь.—Ходи ко мнѣ, вмѣсто нея...

— Ты?

— Да—я!

— Что же ты, красотою блистаешь?...

— Блистаю спокойствіемъ и наслаждаюсь этимъ; и она тоже... Что тебѣ за дѣло?...

— До тебя—никакого, а она—красота, красота!

— Женись, а не хочешь или пельзя, такъ оставь, займись дѣломъ...

— Ты прежде заведи дѣло, въ которое могъ бы броситься живой умъ, гнушающійся мертвечины, и страстная душа, и укажи, какъ положить силы во чтонибудь, что стоитъ борьбы—а съ своими картами, визитами, раутами и службой—убирайся къ чорту!

— У тебя беспокойная натура, — сказалъ Аяновъ; не было строгой руки и тяжелой школы — вотъ ты и куролѣсишь... Помнишь, ты рассказывалъ, когда твоя Наташа была жива...

Райскій вдругъ остановился и, съ грустью на лицѣ, схватилъ своего спутника за руку.

— Наташа! повторилъ онъ тихо: это единственный, тяжелый камень у меня на душѣ—не мѣшай память о ней въ эти мои впечатлѣнія и мимолетныя увлеченія...

Онъ вздохнулъ, и они молча дошли до Владимірской церкви, свернули въ переулокъ и вошли въ подъѣздъ барскаго дома.

II.

Райскій съ годъ только передъ этимъ познакомился съ Софьей Николаевной Бѣловодовой, вдовой на двадцать-пятомъ году, послѣ недолгаго замужества съ Бѣловодовымъ, служившимъ по дипломатической части. Она была изъ стариннаго богатаго дома Пахотинныхъ. Матери она лишилась еще до замужества, и батюшка ея, состоявшій въ полномъ распоряженіи супруги, почувствовавъ себя на свободѣ, вдругъ спохватился, что молодость его рано захвачена была женитьбой, и что онъ не успѣлъ пожить и пожуировать. Онъ повелъ-было жизнь холостяка, пересиливалъ годы и природу, но не пересилилъ, и только смотрѣлъ, какъ ѣли и пили другіе, а у него желудокъ не варилъ. Но онъ уже успѣлъ нанести смертельный ударъ своему состоянію. У него, въ замѣнъ наслажденій, которыми онъ пользоваться не могъ, явилось старческое тщеславіе имѣть видъ шалуна, и онъ сталъ вознаграждать себя за вѣрность въ супружествѣ сумасбродными связями, на которыя быстро ушли всѣ наличныя

деньги, брильянты жены, наконецъ и большая часть приданого дочери. На недвижимое имѣніе, и безъ того заложенное имъ еще до женитьбы, наросли значительные долги. Когда источники изсякли, онъ изрѣдка, въ годъ разъ, иногда два, сдѣлаетъ дорогую шалость, купить брильянты какой-нибудь Argence, экипажъ, сервизъ, ѣздить къ ней педѣлать три, провожаетъ въ театръ, дѣлаетъ ей ужины, сзываетъ молодежь, а потомъ опять смолкнуть до слѣдующихъ денегъ.

Николай Васильевичъ Пѣхотинъ былъ очень красивый, сановитый старикъ, съ мягкими, почтенными сѣдинами. По виду, его примешь за какого-нибудь Пальмерстона. Особенно красивъ онъ былъ, когда съ гордостью вель подѣ руку Софью Николаевну куда-нибудь на балъ, на общественное гулянье. Незнавшіе его почтительно сторонились, а знакомые, завидя шалуна, начинали уже улыбаться и потомъ фамиллярно и шутливо трясти его за руку, звали устроить веселый обѣдъ, рассказывали на ухо пріятную исторію... Старикъ шутилъ, рассказывалъ самъ направо и налево анекдоты, говорилъ каламбуры, особенно любилъ съ сверстниками жить воспоминаніями минувшей молодости и своего времени. Они съ восторгомъ припоминали, какъ графъ Борисъ или Денисъ проигрывалъ кучи золота; терзались тѣмъ, что сами тратили такъ мало, жили такъ miserно; поучали внимательную молодежь великому искусству жить. Но особенно любилъ Пѣхотинъ уноситься воспоминаніями въ Парижъ, когда въ че-

тырнадцатомъ году русскіе явились великодушными побѣдителями, перещеголявшими любезностью тогдашнихъ французовъ, уже попорченныхъ въ этомъ отношеніи революціей, и превосходившими безумнымъ мотовствомъ широкую щедрость англичанъ. Старикъ шута проживалъ жизнь, всегда смѣялся, рассказывалъ только веселое, даже на драму въ театрѣ смотрѣлъ съ улыбкой, любуясь пожой или лорнируя la gorge актрисы. Когда же наставало не веселое событіе, не обѣдъ, не соблазнительная, забулисная драма, а затрогивались первы жизни, слышался въ ней громовой раскатъ, когда около него возникалъ важный вопросъ, требовавшій мысли или воли, старикъ тупо недоумѣвалъ, впадалъ въ безпокойное молчаніе и только учащенно жевалъ губами.

У него былъ живой, игривый умъ, наблюдательность и пѣкогда смѣлые порывы въ характерѣ. По шестнадцати лѣтъ онъ поступилъ въ гвардію, выучась отлично говорить, писать и пѣть по-французски и почти не зная русской грамоты. Ему дали отличную квартиру, лошадей, экипажъ и тысячу двадцать дохода. Никто лучше его не былъ одѣтъ, и теперъ еще, въ старости, онъ даетъ законы вкуса портному; все на немъ сидитъ отлично, ходитъ онъ бодро, благородно, говоритъ съ увѣренностію и никогда не выходитъ изъ себя. Судить обо всемъ часто на перекоръ логикѣ, но владѣть софизмомъ съ необыкновенною ловкостью.

Съ нимъ можно не согласиться, но сбить его трудно. Свѣтъ, опытъ, вся жизнь его не дали ему

никакого содержанія, и оттого онъ боится серьезнаго, какъ огня. Но тотъ же опытъ, жизнь всегда въ кучѣ людей, множество встрѣчъ и способность знакомиться со всѣми, образовали ему какой-то очень пріятный, мелкій умокъ, и незнающій его съ перваго раза даже положится на его совѣтъ, сужденіе, и потомъ уже, жестоко обманувшись, разглядить, что это за человѣкъ.

Онъ не успѣлъ еще окунуться въ омутъ опасной, при праздности и деньгахъ, жизни, какъ на двадцать-пятьмъ году его женили на дѣвушкѣ красивой, стараго рода, но холодной, съ деспотическимъ характеромъ, съ разу угадавшей слабость мужа и прибравшей его къ рукамъ. Теперь Николай Васильевичъ Пахотинъ засѣдаетъ въ какомъ-то совѣтѣ разъ въ недѣлю, имѣетъ важный чинъ, двѣ звѣзды, и томительно ожидаетъ третьей. Это его общественное значеніе. Было у него другое ожиданіе—поѣхать за границу, то-есть въ Парижъ, уже не съ оружіемъ въ рукахъ, а съ золотомъ, и тамъ пожить, какъ жили въ старину. Онъ съ наслажденіемъ и завистью припоминалъ анекдоты временъ революціи, какъ одинъ знатный повѣса разбилъ тамъ чашку въ магазинѣ и въ отвѣтъ на упрёки купца перебилъ и переломалъ еще множество вещей и заплатилъ за весь магазинъ; какъ другой перекупилъ у короля дачу и подарилъ танцовщицѣ. Оканчивалъ онъ рассказы вздохомъ сожалѣнія о прошломъ. Вскорѣ послѣ смерти жены онъ, было, попросился туда, но образъ его жизни, нравы и его затѣи такъ были из-

вѣстны въ обществѣ, что ему, въ отвѣтъ на просьбу, коротко отвѣчено было: «не зачѣмъ». Онъ пожевалъ губами, похандрилъ, потомъ сдѣлалъ какое-то громадное, дорогое сумасбродство и успокоился. Послѣ того, уже промотавшись окончательно, онъ въ Парижъ не порывался. Кромѣ томительнаго ожиданія третьей звѣзды, у него было еще постоянное дѣло, постоянное стремленіе, забота, куда уходили его напряженное вниманіе, соображенія, вся его тактика, съ тѣхъ поръ, какъ онъ промотался—это извлекать изъ обѣихъ своихъ старшихъ сестеръ, пожилыхъ дѣвушекъ, тетокъ Софьи, денежные средства на шалости.

Надежда Васильевна и Анна Васильевна Пахотины, хотя были скупы и не ставили собственно личность своего брата въ грошъ, но дорожили именемъ, которое онъ носилъ, репутаціей и важностью дома, преданіями, и потому, сверхъ опредѣленныхъ ему пяти тысячъ карманныхъ денегъ, въ разное время выдавали ему субсидіи около такой же суммы, и потомъ еще, съ выговорами, съ наставленіями, чуть не съ плачемъ, всегда къ концу года платили почти столько же по счетамъ портныхъ, мебельщиковъ и другихъ купцовъ. Онѣ знали, на какое употребленіе уходятъ у него деньги, но на это онѣ смотрѣли снисходительно, помня нестрогіе нравы повѣсь своего времени и находя это въ мужчинѣ естественнымъ. Только онѣ, какъ нравственные женщины, затыкали уши, когда онъ захочетъ похвастаться передъ ними своими шалостями,

или когда кто другой вздумаетъ до ихъ свѣдѣнія о какомъ-нибудь его сумасбродствѣ. Онъ былъ въ ихъ глазахъ пустой, никуда негодный, ни на какое дѣло, ни для совѣта—старикъ и плохой отецъ, но онъ былъ Пăхотинъ, а родъ Пăхотиныхъ уходитъ въ древность, портреты предковъ занимаютъ всю залу, а родословная не укладывается на большомъ столѣ, и въ родѣ ихъ было много лицъ съ громкимъ значеніемъ. Онѣ гордились этимъ и прощали брату своему все, за то только, что онъ Пăхотинъ.

Сами онѣ блистали нѣкогда въ свѣтѣ, и по какому-то, кромѣ ихъ всѣми забытымъ причинамъ, остались дѣвами. Онѣ уединились въ родовомъ домѣ, и тамъ, въ семействѣ женатаго брата, доживали старость, окруживъ строгимъ вниманіемъ, попеченіями и заботами единственную дочь Пăхотина, Софью. Замужество послѣдней разстроило, было, ихъ жизнь, но она ордовѣла, лишилась матери и снова, какъ въ монастырь, поступила подъ авторитетъ и опеку тетокъ. Онѣ были двѣ высокія, сѣдыя, чинныя старушки, ходившія дома въ тяжелыхъ, шелковыхъ темныхъ платьяхъ, большихъ чепцахъ, на рукахъ со многими перстнями. Надежда Васильевна страдала тикомъ и носила подъ чепцомъ бархатную шапочку, на плечахъ бархатную, подбитую горностаемъ кацавейку, а Анна Васильевна сырцовыя бѣлки и большую шаль. У обѣихъ было по ридикюлю, а у Надежды Васильевны высокая, золотая табакерка, около нея нѣсколько носовыхъ платковъ и моська,

старая, всегда заспанная, хрипящая, и отъ старости не узнающая никого изъ домашнихъ, кромѣ своей хозяйки.

Домъ у нихъ былъ старый, длинный, въ два этажа, съ гербомъ на фронтонѣ, съ толстыми, массивными стѣнами, съ глубокими окошками и длинными простѣнками. Въ домѣ тянулась безконечная анфилада обитыхъ штофомъ комнатъ; темные, тяжелые рѣзные шкафы, съ старымъ фарфоромъ и серебромъ, какъ саркофаги, стояли по стѣнамъ съ тяжелыми же диванами и стульями рококо, богатыми, но жесткими, безъ комфорта. Швейцаръ походилъ на Нептуна; лакеи пожилые и молчаливые, женщины, въ темныхъ платьяхъ и чепцахъ. Экипажъ высокій, съ шелковой бахромой, лошади старыя, породистыя, съ длинными шеями и спинами, съ побѣлѣвшими отъ старости губами, при ѣздѣ крупно кивающія головой.

Комната Софьи смотрѣла нѣсколько веселѣе прочихъ, особенно когда присутствовала въ ней сама хозяйка: тамъ были цвѣты, ноты, множество современныхъ бездѣлокъ. Еще бы немного побольше свободы, безпорядка, свѣта и шуму — тогда это былъ бы свѣжій, веселый и розовый пріютъ, гдѣ бы можно замечаться, зачитаться, заиграться, и пожалуй залюбиться. Но цвѣты стояли въ тяжелыхъ, старинныхъ вазахъ, точно надгробныхъ урнахъ, горка массивнаго стараго серебра придавала еще больше античности комнатѣ. Да и тетки не могли видѣть безпорядка: чуть цвѣты раскинутся въ вазѣ прихотливо, входила Анна Васильевна, звонила дѣвушку въ чепецъ

и приказывала собрать ихъ въ симметрію. Если оказывалась книга въ богатомъ переплетѣ лежащею на диванѣ, на стулѣ, — Надежда Васильевна ставила ее на полку; если западалъ слишкомъ вольный лучъ солнца и игралъ на хрусталѣ, на зеркалѣ, на серебрѣ, — Анна Васильевна находила, что глазамъ больно, молча указывала человѣку пальцемъ на портьеру, и тяжелая, негнущаяся шелковая завѣса мѣрно падала съ петли и закрывала свѣтъ.

За то внизу у Николая Васильевича былъ полный безпорядокъ. Старыя преданія мѣшались тамъ съ слѣдами современнаго комфорта. Подлѣ тяжелаго буля стояла откидная кушетка отъ Гамбса, высокій, готическій каминъ прикрывался ширмами съ картинами фоблазовскихъ нравовъ, на столахъ часто утро заставляло остатки ужина, на диванѣ можно было найти иногда женскую перчатку, ботинку, въ уборной его — цѣлый магазинъ косметическихъ снадобьевъ. Какъ тихо и молчаливо было наверху, такъ внизу слышались часто звонкіе голоса, смѣхъ, всегда было тамъ живо, безпорядочно. Камердинеръ былъ у него французъ, съ почтительной рѣчью и наглымъ взглядомъ.

III.

Много комнатъ прошли Райскій и Аяновъ, прежде нежели добрались до жилья, то-есть до комнатъ, гдѣ сидѣли обѣ старухи и Софья Николаевна.

Когда они вошли въ гостиную, на нихъ захрипѣла моська, но не смогла полаять, и повертѣвшись около себя, опять улеглась. Анна Васильевна кивнула имъ, а Надежда Васильевна, въ отвѣтъ на поклоны, ласково поглядѣла на нихъ, съ удовольствіемъ высморкалась и сейчасъ же попохала табаку, зная, что у ней будетъ партія.

— «Ma cousine!» сказалъ Райскій, протянувъ руку Бѣловодовой.

Она поклонилась съ улыбкой и подала ему руку.

— Позеони, Sophie, чтобы кушать давали, сказала старшая тетка, когда гости усѣлись около стола.

Софья Николаевна поднялась-было съ мѣста, но Райскій предупредилъ ее и дернулъ шнурокъ.

— Скажи Николаю Васильевичу, что мы садимся обѣдать, съ холоднымъ достоинствомъ обратилась старуха къ человѣку. — Да кушать давать! Ты что, Борисъ, опоздалъ сегодня: четверть шестого! упрекнула она Райскаго.

Онъ былъ двоюроднымъ племянникомъ старухъ и троюроднымъ братомъ Софьи. Домъ его, тоже старый и когда-то богатый, былъ связанъ родствомъ съ домомъ Пăхотиныхъ. Но познакомился онъ съ своей родней не больше года тому назадъ. Въ этомъ онъ виноватъ былъ самъ. Старухи давно уже, услыхавъ его фамилію, освѣдомлялись, изъ тѣхъ ли онъ Райскихъ, которые происходили тогда-то, отъ тѣхъ-то, и жили тамъ-то? Онъ зналъ объ этомъ, но притаялся и пропустилъ этотъ вопросъ безъ вниманія, не находя ничего занимательнаго знакомиться съ

скучнымъ, строгимъ, богатымъ домомъ. Самъ онъ былъ не скученъ, не строгъ и не богатъ. Старину своего рода онъ не ставилъ ни во что, даже никогда объ этомъ не помнилъ и не думалъ. Остался онъ еще въ дѣтствѣ сиротой, на рукахъ равнодушнаго, холостого опекуна, а тотъ отдалъ его сначала на воспитаніе родственницѣ, приходившейся двоюродной бабушкой Райскому. Она была отличнѣйшая женщина по сердцу, но далѣе своего угла ничего знать не хотѣла, и тамъ въ тиши, среди садовъ и роцъ, среди семейныхъ и хозяйственныхъ хлопотъ маленькаго размѣра, провелъ Райскій нѣсколько лѣтъ, а чуть подросъ, опекунъ помѣстилъ его въ гимназію, гдѣ окончательнo изгладились изъ памяти мальчика всѣ родовыя преданія фамиліи о прежнемъ богатствѣ и родствѣ съ другими старыми домами. Дальнѣйшее развитіе, занятія и направленіе еще болѣе отвели Райскаго отъ всѣхъ преданій старины. И онъ не спѣшилъ сблизиться съ своими петербургскими родными, которые о немъ знали тоже по слуху. Но какъ-то зимой, Райскій однажды на балу увидѣлъ Софью, раза два говорилъ съ нею и потомъ уже сталъ искать знакомства съ ея домомъ. Это было всего легче сдѣлать черезъ отца ея: такъ Райскій и сдѣлалъ. Онъ зналъ одну хорошенькую актрису и на вечерѣ у нея ловко поддѣлался къ старику, потомъ подарилъ ему портретъ этой актрисы своей работы, напомнилъ ему о своей фамиліи, о старыхъ связяхъ и скоро былъ представленъ старухамъ и дочери.

Онъ такъ обворожилъ старухъ, являясь то робкимъ, покорнымъ мудрой старости, то живымъ, веселымъ собесѣдникомъ, что онѣ скоро перешли на *ты* и стали звать его *мон певецъ*, а онъ сталъ звать Софью Николаевну *кузиной* и приобрѣлъ степень короткости и нѣкоторыя права въ домѣ, какихъ постороннему не приобрѣсти во сто лѣтъ.

Но все-таки онъ еще былъ недоволенъ тѣмъ, что могъ являться по два раза въ день, приносить книги, поты, приходитъ обѣдать за-просто. Онъ привыкъ къ обществу новыхъ современныхъ правовъ и къ непринужденному обхожденію съ женщинами. А Софья мало оставалась одна съ нимъ: всегда присутствовала то одна, то другая старуха; рѣдко разговоръ выходилъ изъ предѣловъ текущей жизни или родовыхъ воспоминаній. А если затрогивались вопросы живые, глубокіе, то старухи тономъ и сентенціями сейчасъ клали на всякій разговоръ свою патентованную печать. Райскій между тѣмъ сгаралъ желаніемъ узнать не Софью Николаевну Бѣловодову — тамъ нечего было узнавать, кромѣ того, что она была прекрасная собой, прекрасно воспитанная, хорошаго рода и тона женщина — онъ хотѣлъ отыскать въ ней просто женщину, наблюсти и опредѣлить, чѣмъ кроется подъ этой покойной, неподвижной оболочкой красоты, сіяющей ровно, одинаково, никогда не бросающей ни на что быстрого, жаждущаго, огненнаго, или наконецъ скучнаго, утомленнаго взгляда, никогда не обмолвившейся нетерпѣливымъ, неосторожнымъ или порывистымъ словомъ?

Но она въ самомъ дѣлѣ прекрасна. Нужды нѣтъ, что она уже вдова, женщина; но на открытомъ, будто молочной бѣлизны бѣломъ лбу ея и благородныхъ, нѣсколько крупныхъ чертахъ лица, лежитъ дѣвическое, почти дѣтское невѣдѣніе жизни. Она, кажется, не слыхала, что есть на свѣтѣ страсти, тревоги, дикая игра событій и чувствъ, доводящія до проклятій, стирающія это сіяніе съ лица. Большіе сѣро-голубые глаза полны ровнаго, не мерцающаго горѣнія. Но въ нихъ теплится будто и чувство; кажется, она не безсердечная женщина. Но какое это чувство? Какого-то всеобщаго благоволенія, доброты ко всему на свѣтѣ, — такое чувство, если только это чувство, какимъ свѣтятся глаза у людей сытыхъ, беззаботныхъ, всѣмъ удорлетворенныхъ и не вѣдающихъ горя и нужды.

Волоса у нея были темные, почти черные, и густая коса едва сдерживалась большими булавками на затылкѣ. Плечи и грудь поражали пышностью.

Цвѣтъ лица, плечъ, рукъ — былъ цѣльный, свѣжій цвѣтъ, блистающій здоровьемъ, ничѣмъ нетропнымъ — ни болѣзною, ни бѣдами. Одѣвалась она просто, если разглядѣть подробно все, что на ней было надѣто, но казалась всегда великолѣпно одѣтой. И матерія ея платья какъ будто была особенная, и ботинки не такъ сидятъ на ней, какъ на другихъ. Великолѣпной картиной, видѣніемъ явилась она Райскому гдѣ-то на вечерѣ въ первый разъ.

Въ другой вечеръ онъ увидѣлъ ее далеко, въ театрѣ, въ третій разъ опять на вечерѣ, потомъ на

улицѣ—и всякій разъ картина оставалась вѣрна себѣ, въ блескѣ и краскахъ. Напрасно онъ настойчивымъ взглядомъ хотѣлъ прочесть ея мысль, душу—все, что крылось подъ этой оболочкой: кромѣ глубокаго спокойствія онъ ничего не прочелъ. Она казалась ему все той же картиной или отличной статуей музея. Всѣ находили, что она образецъ достоинства строгихъ понятій, *somme il faut*, жалѣли, что она лишена семейнаго счастья и ждали, когда новый гименей наложитъ на нее цѣпи. Въ семействѣ, тетки и близкіе старики и старухи часто при ней гадали ей, въ томъ или другомъ искателѣ, мужа: то посланникъ являлся чаще другихъ въ домъ, то недавно отличившійся генералъ, а однажды серьезно поговаривали объ одномъ старикѣ, иностранцѣ, потомкѣ королевскаго, угасшаго рода — она молчитъ и смотритъ беззаботно, какъ будто дѣло идетъ не о ней. Другіе находили это натуральнымъ, даже высокимъ, *sublime*, только Райскій — Богъ знаетъ изъ-чего, бился истребить это въ ней и хотѣлъ видѣть другое. Она на его старанія смотрѣла ласково, съ улыбкой. Ни въ одной чертѣ никогда не было никакой тревоги, желанія, порыва. Напрасно онъ, слыша раздирающій вопль на сценѣ, быстро глядѣлъ на нее — что она? Она смотрѣла на это безъ томительнаго, поглотившаго всю публику напряженія, безъ наивнаго состраданія. И карикатура на жизнь, комическая сцена, вызвавшая всеобщій продолжительный хохотъ, вызывала у ней только легкую улыбку и молчаливый, обмѣ-

пенный съ бывшей съ ней въ ложѣ женщиной, взгляды.

— И она была за-мужемъ! думалъ Райскій въ недоумѣніи.

Онъ познакомился съ ней и потомъ познакомилъ съ домомъ ея бывшего своего сослуживца, Аянова, чтобы два раза въ недѣлю дѣлать партію теткамъ, а самъ, пользуясь этимъ скуднымъ средствомъ, сблизался сколько возможно съ кузиной, урывками вслушивался, вглядывался въ нее, не зная, зачѣмъ, для чего?

IV.

Уже сѣли за столъ, когда пришелъ Николай Васильевичъ, одѣтый въ коротенькій сюртукъ, съ безукоризненно завязаннымъ галстукомъ, обритый, сіяющий бѣлизной жилета, молодежавымъ видомъ и красивыми, душистыми сѣдинами.

— Bonjour, bonjour! отвѣчалъ онъ, кивая всѣмъ. — Я не обѣдаю съ вами, не беспокойтесь, не vous dérangez pas, говорилъ онъ, когда ему предлагали сѣсть. — Я за городомъ сегодня.

— Помилуй, Nicolas, за городомъ! сказала Анна Васильевна, — вѣдь тамъ еще не растаяло... Или давно ревматизмъ не мучилъ?

Пахотинъ пожалъ плечами.

— Чтò дѣлать! *Ce qu'une femme veut, Dieu le veut!* Вчера *la petite Nini* заказала Виктору обѣдъ на фермѣ: «хочу, говорить, подышать свѣжимъ воздухомъ»... Вотъ и я хочу!...

— Пожалуйста, пожалуйста! замахала рукой Надежда Васильевна: — поберигите подробности для этой *petite Nini*.

— Вы напрасно рискуете, сказалъ Аяновъ: — я въ тепломъ пальтѣ озябъ.

— Э! *mon cher* Иванъ Ивановичъ: а еслибъ ты шубу надѣли, такъ и не озябли бы!...

— *Parti de plaisir* за городомъ—въ шубахъ! сказалъ Райскій.

— За городомъ! ты уже представляешь себѣ, съ понятіемъ «за городомъ», — и зелень и ручьи, и пастушковъ, а можетъ быть и пастушку... Ты, артистъ! А ты представь себѣ загородное удовольствіе, безъ зелени, безъ цвѣтовъ....

— Безъ тепла, безъ воды.... перебилъ Райскій.

— И только съ воздухомъ.... А воздухомъ можно дышать и въ комнатѣ. Итакъ, я ѣду въ шубѣ.... Надѣну кстати бархатную ермолку подъ шляпу, потому что вчера и сегодня чувствую шумъ въ головѣ: все слышится, будто колокола звонятъ; вчера въ клубѣ около меня по-нѣмецки болтаютъ, а мнѣ кажется грызутъ грецкіе орѣхи.... А все же поѣду. О женщины!

— Это тоже — донъ-Жуанъ? спросилъ тихонько Аяновъ у Райскаго.

— Да, въ своемъ родѣ. Повторяю тебѣ, донъ-

Жуаны, какъ донъ-Кихоты, разнообразны до безконечности. У этого погасло артистическое, тонкое чувство поклоненія красотѣ. Онъ покланяется грубо, чувственно...

— Ну, братъ, какую ты метафизику устроилъ изъ красоты!

— Женщины, продолжалъ Пэхотинъ, теперь только и находятъ развлеченіе съ людьми нашихъ лѣтъ. (Онъ никогда не называлъ себя старикомъ.) И какъ онѣ любезны: наприимѣръ, Pauline сказала мнѣ...

— Пожалуйста, пожалуйста! заговорила съ нетерпѣніемъ Надежда Васильевна. — Уѣзжайте, если не хотите обѣдать....

— Ахъ, та сœur! два слова: обратился онъ къ старшей сестрѣ и нагнувшись, тихо, съ умоляющимъ видомъ, что-то говорилъ ей.

— Опять! съ холоднымъ изумленіемъ перебила Надежда Васильевна. — «Нѣту»! упрямо сказала потомъ.

— Quinze cent! умолялъ онъ.

— Нѣту, нѣту, mon frère: къ святой недѣлѣ вы получили три тысячи, и ужъ нѣтъ... Это ни на что не похоже....

— Eh bien, mille roubles! Графу отдать: я у него на той недѣлѣ занялъ: совѣстно въ глаза смотрѣть.

— Нѣту и нѣту: а на меня вамъ не совѣстно смотрѣть?

Онъ отошелъ отъ нея и въ раздумьи пожевалъ губами.

— Вамъ сказывали люди, папá, что графъ сегодня заѣзжалъ къ вамъ? спросила Софья, услыхавъ имя графа.

— Да; жаль, что не засталъ. Я завтра буду у него.

— Онъ завтра рано уѣзжаетъ въ Царское Село.

— Онъ сказалъ?

— Да, онъ заходилъ сюда. Онъ говоритъ, что ему нужно бы видѣть васъ, дѣло какое-то....

Пахотинъ опять пожевалъ губами.

— Знаю, знаю, зачѣмъ! вдругъ догадался онъ: — бумаги разбирать — тебѣ, а къ святой опять обошелъ меня, а Ильѣ дали! Qu'il aille se promener! Ты не была въ Лѣтнемъ-Саду? спросилъ онъ у дочери. — Виновать, я не поспѣлъ....

— Нѣтъ я завтра поѣду съ Катринъ: она обѣщала заѣхать за мной.

Онъ поцѣловалъ дочь въ лобъ и уѣхалъ. Обѣдъ кончился; Аяновъ и старухи усѣлись за карты.

— Ну, Иванъ Ивановичъ, не сердитесь, сказала Анна Васильевна, — если опять забуду, да свою трефовую даму побью. Она мнѣ даже сегодня во снѣ приспилась. И какъ это я ее забыла! Кладу девятку на чужого валета, а дама на рукахъ...

— Случается! сказалъ любезно Аяновъ.

Райскій и Софья сидѣли сначала въ гостиной, потомъ перешли въ кабинетъ Софьи.

— Чтò вы дѣлали сегодня утромъ? — спросилъ Райскій.

— Ѣздила въ институтъ, къ Лидіи.

— А! къ кузинѣ. Что она, мила? скоро выйдетъ?

— Къ осени; а на лѣто мы ее возьмемъ на дачу. Да; она очень мила, похорошѣла, только еще смѣшна... и всѣ онѣ пресмѣшныя...

— А что?

— Окружили меня со всѣхъ сторонъ; отъ всего приходятъ въ восторгъ: отъ кружева, отъ платья, отъ серегъ; даже просили показать ботинки... Софья улыбнулась.

— Что-жъ, вы показали?

— Нѣтъ. Надо лѣтомъ отучить Лидію отъ этихъ наивностей...

— Зачѣмъ же отучить? Наивныя дѣвочки, которыхъ все занимаетъ, веселитъ, и слава Богу, что занимаютъ ботинки, потомъ займутъ ихъ деревья и цвѣты на вашей дачѣ... Вы и тамъ будете мѣшать имъ?

— О нѣтъ, цвѣты, деревья—кто-жъ имъ будетъ мѣшать въ этомъ? Я только помѣшала имъ видѣть мои ботинки; это не нужно, лишнее.

— Развѣ можно жить безъ лишняго, безъ непужаго?

— Кажется, вы сегодня опять намѣрены воевать со мной? — замѣтила она: — только пожалуйста не громко, а то тетуски поймаютъ какое-нибудь слово, и захотятъ знать подробности: скучно повторять.

— Если все съести на нужное и серьезное, — продолжалъ Райскій: — куда-какъ жизнь будетъ бѣдна, скучна! Только что человѣкъ выдумалъ, прибавилъ къ ней — то и красить ее. Въ отступленіяхъ отъ

порядка, отъ формы, отъ вашихъ скучныхъ правилъ только и есть отрады...

— Еслибъ *ma tante* услышала васъ на этомъ словѣ... «отступленія отъ правилъ»... замѣтила Софья.

— Сейчасъ бы сказала:— пожалуйста, пожалуйста!—досказалъ Райскій. А вы что скажете?—спросилъ онъ:—обойдитесь хоть однажды безы «*ma tante*»! Или это вашъ собственный взглядъ на отступленія отъ правилъ, проведенный только черезъ авторитетъ *ma tante*?

— Вы, по обыкновенію, хотите изъ желанія дѣвочекъ посмотрѣть ботинки сдѣлать важное дѣло, разбранивъ меня и потомъ заставить согласиться съ вами... да?

— Да, сказалъ Райскій.

— Что у васъ за страсть преслѣдовать мои бѣдныя правила?

— Потому что они не ваши.

— Чьи же?

— Тетускины, бабушкины, дѣдушкины, прабабушкины, прадѣдушкины: бонъ всѣхъ этихъ полинявшихъ господъ и госпожъ, въ робронахъ, манжетахъ...

Онъ указалъ на портреты.

— Вотъ видите, какъ много за мои правила:— сказала она шутливо:—а за ваши?..

— Еще больше!—возразилъ Райскій и открылъ портьеру у окна.

— Посмотрите, всѣ эти идущіе, ѣдущіе, спящіе взадъ и впередъ, всѣ эти живые, не полиняв-

шіе люди—всѣ за меня! Идите же къ нимъ, кузина, а не отъ нихъ назадъ! Тамъ жизнь... Онъ опустилъ портьеру:—а здѣсь—кладбище.

— По крайней мѣрѣ, можете ли вы, cousin, однажды навсегда сдѣлать *résumé*: какія это *ихъ* правила (она указала на улицу), въ чемъ они состоятъ, и отчего тѣ, чѣмъ жило такъ много людей и такъ долго, вдругъ нужно мѣнять на другое, которымъ живутъ...

— Въ вашемъ вопросѣ есть и отвѣтъ:—«жило»,—сказали вы, и—отжило, прибавлю я. А эти (онъ указалъ на улицу)—живутъ! Какъ живутъ—разсказать этого нельзя, кузина. Это значить разсказать вамъ жизнь вообще, и современную въ особенности. Я вотъ сколько времени рассказываю вамъ всячески: въ спорахъ, въ примѣрахъ, читаю... а все не разскажу.

— Кто-жъ виноватъ,—я?

— Вы, кузина; чего другого, а рассказывать я умѣю. Но вы непоколебимы, невозмутимы, не выходите изъ своего укрѣпленія... и я вамъ низко кланяюсь.

Онъ низко поклонился ей. Она смотрѣла на него съ улыбкой.

— Будемъ оба непоколебимы: не выходить изъ правилъ, кажется, это все... сказала она.

— Не выходить изъ слѣпоты — не Богъ знаетъ, какой подвигъ!.. Міръ идетъ къ счастью, къ успѣху, къ совершенству....

— Но вѣдь я... совершенство, cousin? Вы мнѣ третьяго дня сказали, и даже собрались доказать, еслибъ я только захотѣла слушать...

— Да, вы совершенны, кузина; но вѣдь Венера Милосская, головки Грѣза, женщины Рубенса—еще совершеннѣе васъ. За то... ваша жизнь, ваши пристрастия... куда какъ несовершенны!

— Что же надо дѣлать, чтобъ понять эту жизнь и ваши мудренныя правила? — спросила она покойнымъ голосомъ, показывавшимъ, что она не намѣрена была сдѣлать шагу, чтобъ понять ихъ, и говорила только потому, что объ этомъ зашла рѣчь.

— Что дѣлать? — повторилъ онъ: во-первыхъ, снять эту портьеру съ окна; и съ жизни тоже, и смотрѣть на все открытыми глазами, тогда поймете вы, отчего тѣ старики полиняли и лгутъ вамъ, обманываютъ васъ безсовѣстно изъ своихъ позолоченныхъ рамокъ...

— Cousin! — съ улыбкой за рѣзкость выраженія вступилась Софья за предковъ.

— Да, да,—задорно продолжалъ Райскій:—они лгутъ. Вотъ посмотрите, этотъ напудренный старикъ съ стальнымъ взглядомъ,—говорилъ онъ, указывая на портретъ, висѣвшій въ простѣнкѣ:—онъ былъ, говорятъ, строгъ даже къ семейству, люди боялись его взгляда... Онъ такъ и говорить со стѣны:—«держи себя достойно,—чего: человѣка, женщины, что ли? нѣтъ,—достойно рода, фамилии, и если, Боже сохрани, явится человѣкъ съ вчерашнимъ именемъ, съ добытымъ собственной головой и руками

значеніемъ—не возводи на него глазъ, помни, ты носишь имя Пахотиныхъ!.. Ни лишняго взгляда, ни смѣлой, естественной симпатіи... Боже сохрани отъ *mésalliance!*» А самъ—кого удостоивалъ или кого не удостоивалъ сближенія съ собой? *Il faut bien placer ses affections!* говоритъ онъ на своемъ нечеловѣческомъ парѣчи, высказывающемъ нечеловѣческія понятія. А на какія *affections* разбросалъ самъ свою жизнь, здоровье? Положилъ ли эти *affections* на эту сухую старушку, съ востренькимъ посикомъ, жену свою (онъ указалъ на другой женскій портретъ)?... Нѣтъ, она смотритъ что-то невесело, глаза далеко ушли во впадины: это такая же жертва хорошаго тона, рода и приличій... какъ и вы, бѣдная, несчастная кузина...

— *Cousin, cousin!*—съ усмѣшкой останавливала его Сотья.

— Да, кузина: вы обмануты, и ваши тетки прожили жизнь въ страшномъ обманѣ и принесли себя въ жертву призраку, мечтѣ, пыльному воспоминанію... Онъ велѣлъ!—говорилъ онъ, глядя почти съ яростью на портретъ:—самъ жилъ обманомъ, лукавствомъ, или силою, моталъ, творилъ ужасы, а другимъ велѣлъ не любить, не наслаждаться!

— *Cousin!* пойдите въ гостиную: я не сдѣлаю ничего отвѣчать на этотъ прекрасный монологъ... Жаль, что онъ пропадаетъ даромъ! чуть-чуть насмѣшливо замѣтила она.

— Да, —отвѣчалъ онъ, —предокъ торжествуетъ. Завѣщанныя имъ правила крѣпки. Онъ любитъся

вами, кузина: спокойствіе, безукоризненная чистота и сіяніе окружають гасъ, какъ ореолъ...

Онъ вздохнулъ.

— Все это лишнее, ненужное! cousin! — сказала она; — ничего этого нѣтъ. Предокъ не любитъ на меня, и ореола нѣтъ, а я люблюсь на васъ и долго не поѣду въ драму: я вижу сцену здѣсь, не трогаясь съ мѣста... И знаете, кого вы напоминаете мнѣ? Чацкаго...

Онъ задумался, и самъ мысленно глядѣлъ на себя и улыбнулся.

— Это правда, я глупъ, смѣшонъ, — сказалъ онъ — подходя къ ней и улыбаясь весело и добродушно: — можетъ быть я тоже съ корабля попалъ на балъ... Но и Фамусовы въ юбкѣ! — онъ указалъ на тетокъ: — ужели лѣтъ черезъ пять, черезъ десять....

Онъ не досказалъ своей мысли, сдѣлалъ потерпѣливый жестъ рукой и сѣлъ на диванъ.

— О какомъ обманѣ, силѣ, лукавствѣ, говорите вы? — спросила она: — ничего этого нѣтъ. Никто мнѣ ни гъ чемъ не мѣшаетъ... Чѣмъ же виноватъ предокъ? Тѣмъ, что вы не можете рассказать своихъ правдъ? Вы много разъ принимались за это, и все напрасно...

— Да, съ вами напрасно, это правда, кузина! Предки наши...

— И ваши тоже: у васъ тоже есть они.

— Предки наши были умные, логіе люди, — продолжалъ онъ: — гдѣ нельзя было брать силой и волей, они создали систему, она обратилась въ пре-

даніе—и вы гибнете систематически, по преданію, какъ индіанка, сожигающаяся съ трупомъ мужа...

— Послушайте, М-г Чацкій,—остановила она:— скажите мнѣ, по крайней мѣрѣ, отъ чего я гибну? Отъ того, что не понимаю новой жизни, не... не поддаюсь... какъ вы это называете... развитію? это ваше любимое слово. Но вы достигли этого развитія, да? а я всякій день слышу, что вы скучаете.... вы иногда наводите на всѣхъ скуку...

— И на васъ тоже?

— Нѣтъ, не шутя, мнѣ жаль васъ...

— Говоря о себѣ, не ставьте себя наряду со мной, кузина: я уродъ, я... я... не знаю, что я такое, и никто этого не знаетъ. Я больной, ненормальный человѣкъ, и притомъ я отжилъ, испортилъ, искажилъ... или пѣтъ, не понялъ своей жизни. Но вы цѣльны, опредѣленны, ваша судьба такъ ясна и между тѣмъ я мучаюсь за васъ. Меня терзаетъ, что даромъ уходитъ жизнь, какъ рѣка, текущая въ пустынь... А то-ли суждено вамъ природой? Посмотрите на себя...

— Что же мнѣ дѣлать, cousin: я не понимаю? Вы сейчасъ сказали, что для того, чтобы понять жизнь, нужно, во-первыхъ, снять портьеру съ нея. Положимъ, она снята, и я не слушаюсь предковъ: я знаю, зачѣмъ, куда бѣгутъ всѣ эти люди (она указала на улицу), что ихъ занимаетъ, тревожитъ: что же нужно, во-вторыхъ?

— Во-вторыхъ, нужно....

Онъ всталъ, заглянулъ въ гостиную, подошелъ тихо къ ней и тихо, но внятно сказалъ:

— Любить!

— *Voilà le grand mot!* насмѣшливо замѣтила она.

Оба молчали.

— Вы, кажется, и ихъ упрекали, зачѣмъ онѣ не любятъ? съ улыбкой прибавила она, показавъ головой къ гостиной на тетокъ.

Райскій махнулъ съ досадой на тетокъ рукой.

— Вы будто лучше тетокъ, кузина? возразилъ онъ.—Только онѣ стары, больны, а вы прекрасны, блистательны, ослѣпительны....

— *Merci, merci*, нетерпѣливо перебила она, съ своей обыкновенной, какъ-будто застывшей улыбкой.

— Что же вы не спросите меня, кузина, что значитъ любить, какъ я понимаю любовь?

— Зачѣмъ? мнѣ не нужно это знать.

— Нѣтъ, вы не смѣете спросить!

— Почему?

— Они слышать! (Райскій указалъ на портреты предковъ). Онѣ не велятъ.... (Онъ указалъ въ гостиную на тетокъ).

— Нѣтъ, *она* услышитъ! сказала она, указывая на портретъ своего мужа во весь ростъ, стоявшій надъ диваномъ, въ готической золоченой рамѣ.

Она встала, подошла къ зеркалу и задумчиво расправляла кружево на шеѣ.

Райскій между тѣмъ изучалъ портретъ мужа: тамъ видѣлъ онъ сѣрые глаза, острый, небольшой

ность, иронически сжатые губы и коротко-остриженные волосы, рыжеватые бакенбарды. Потом взглянул на ее роскошную фигуру, полную красоты, и мысленно рисовал того счастливецъ, который могъ бы, по праву сердца, велѣть или не велѣть этой богинѣ.

«Нѣтъ, нѣтъ, не этотъ! думалъ онъ, глядя на портретъ: это тоже предокъ, неуспѣвшій еще по-
лнить; не ему, а принципу своему покорна ты....».

— Вы такъ часто обращаетесь къ своему любимому предмету, къ любви, а посмотрите, cousin, вѣдь мы ужъ стары, пора перестать думать объ этомъ! говорила она, кокетливо глядя въ зеркало.

— Значить, пора перестать жить.... Я — положимъ, а вы, кузина?

— Какъ же живутъ другіе, почти всѣ?

— Никто! съ увѣренностью перебилъ онъ.

— Какъ? По вашему, князь Пьерръ, Анна Борисовна, Леонъ Петровичъ.... всѣ они....

— Живутъ—или воспоминаніями любви, или любить, да притворяются....

Она засмѣялась и стала собирать въ симметрію цвѣты, потомъ опять подошла къ зеркалу.

— Да, любили или любятъ, конечно, про себя, и не дѣлаютъ изъ этого никакихъ исторій, досказала она и пошла, было, къ гостиной.

— Одно слово, кузина! остановилъ онъ ее.

— О любви? спросила она, останавливаясь.

— Нѣтъ, не бойтесь, по крайней мѣрѣ теперь я не расположенъ къ этому. Я хотѣлъ сказать другое.

— Говорите, мягко сказала она, садясь.

— Я пойду прямо къ дѣлу: скажите мнѣ, откуда вы берете это спокойствіе, какъ удастся вамъ сохранить тишину, достоинство, эту свѣжесть въ лицѣ, мягкую увѣренность и скромность въ каждомъ мѣрномъ движеніи вашей жизни? Какъ вы обходитесь безъ борьбы, безъ увлеченій, безъ паденій и безъ побѣдъ? Что вы дѣлаете для этого?

— Ничего! съ удивленіемъ сказала она. — Зачѣмъ вы хотите, чтобъ со мной дѣлались какія-то конвульсіи?

— Но вѣдь вы видите другихъ людей около себя, не такихъ, какъ вы, а съ тревогой на лицѣ, съ жалобами...

— Да, вижу и жалѣю: *ma tante*, Надежда Васильевна, постоянно жалуется на тикъ, а пацѣ на приливы...

— А другіе, а всѣ? перебилъ онъ, — развѣ такъ живутъ? Спрашивали ли вы себя, отчего они терзаются, плачутъ, томятся, а вы нѣтъ? Отчего другимъ по три раза въ день приходится тошно жить на свѣтѣ, а вамъ нѣтъ? Отчего они мечутся, любятъ и ненавидятъ, а вы нѣтъ?...

— Вы про тѣхъ говорите, спросила она, указывая головой на улицу, кто тамъ бѣгаетъ, суетится? Но вы сами сказали, что я не понимаю ихъ жизни. Да, я не знаю этихъ людей и не понимаю ихъ жизни. Мнѣ дѣла нѣтъ...

— Дѣла нѣтъ! — вѣдь это значитъ дѣла нѣтъ до жизни! почти закричалъ Райскій, такъ что одна изъ

тетокъ очнулась на минуту отъ игры и сказала имъ громко: «Что вы все тамъ спорите: не подеритесь!... И о чемъ это они?»

— Опять «жизни»: вы только и твердите это слово, какъ-будто я мертвая! Я предвижу, что будетъ дальше, сказала она, засмѣявшись, такъ что показались прекрасные зубы.—Сейчасъ дойдемъ до правилъ и потомъ... до любви.

— Нѣтъ, не отжилъ еще Олимпъ! сказалъ онъ. Вы, кузина, просто олимпійская богиня — вотъ и конецъ объясненію, прибавилъ, какъ-будто съ отчаяніемъ, что не удастся ему всколебать это море.—Пойдемте въ гостиную!

Онъ всталъ. Но она сидѣла.

— Вы не удостоиваете смертныхъ спизойти до нихъ, взглянуть на ихъ жизнь, живете олимпійскимъ неподвижнымъ блаженствомъ, вкушаете нектаръ и амброзію—и благо вамъ!

— Чего же еще: у меня все есть, и ничего мнѣ не надо....

Она не успѣла кончить, какъ Райскій вскочилъ.

— Вы высказали свой приговоръ сами, кузина, напалъ онъ бурно на нее: «у меня все есть, и ничего мнѣ не надо!» А спросили ли вы себя хоть разъ о томъ: сколько есть на свѣтѣ людей, у которыхъ ничего нѣтъ и которымъ все надо? Осмотритесь около себя: около васъ шелкъ, бархатъ, бронза, фарфоръ. Вы не знаете, какъ и откуда является готовый обѣдъ, у крыльца ждетъ экипажъ и везетъ васъ на балъ и въ оперу. Десять слугъ не дадутъ вамъ

пожелать и исполняютъ почти ваши мысли... Не дѣлайте знаковъ перетрѣнія: я знаю, что все это обшія мѣста... А думаете ли вы иногда, откуда это все берется и кѣмъ доставляется вамъ? Конечно, не думаете. Изъ деревни приходятъ отъ управляющаго въ контору деньги, а вамъ приносятъ на серебрянномъ подносѣ, и вы, не считая, прячете въ туалетъ...

— Тетушка десять разъ сочтетъ и спрячетъ къ себѣ, — сказала она, — а я, какъ институтка, запрашиваю свою долю, и она выдаетъ мнѣ, вы знаете, съ какими наставленіями.

— Да, но выдаетъ. Вы выслушаете наставленія и потомъ тратите деньги. А еслибъ вы знали, что тамъ, въ тамбовскихъ или орловскихъ вашихъ поляхъ, въ зной, жнетъ беременная баба...

— Cousin! съ ужасомъ попробовала она остановить его, но это было не легко, когда Райскій входилъ въ паеосъ.

— Да, а ребятишекъ бросила дома — они ползаютъ съ курами, поросятами, и если пѣтъ какой-нибудь дряхлой бабушки дома, то жизнь ихъ каждую минуту виситъ на волоскѣ: отъ злой собаки, отъ проезжей телѣги, отъ дождевой лужи... А мужъ ея бьется тутъ же, въ бороздахъ на пашнѣ, или тянется съ обозомъ въ трескучій морозъ, чтобъ добыть хлѣба, буквально хлѣба — утолить голодъ съ семьей, и между прочимъ внести въ контору пять или десять рублей, которые потомъ приносятъ вамъ на под-

нось... Вы этого не знаете: «вамъ дѣла нѣтъ», говорите вы...

На ея лицо легла тѣнь непривычнаго безпокойства, недоумѣнія.

— Чѣмъ же я тутъ виновата, и что я могу сдѣлать? тихо сказала она, смиренно и безъ ироніи.

— Я не проповѣдую коммунизма, кузина, будьте покойны. Я только отвѣчаю на вашъ вопросъ: «что дѣлать», и хочу доказать, что никто не имѣетъ права не знать жизни. Жизнь сама тронетъ, коснется, пробудитъ отъ этого блаженнаго усненія — и иногда очень грубо. Научить «что дѣлать» — я тоже не могу, не умѣю. Другіе научать. Мнѣ хотѣлось бы разбудить васъ: вы спите, а не живете. Что изъ этого выйдетъ, я не знаю — но не могу оставаться и равнодушнымъ къ вашему сну.

— А вы сами, cousin, что дѣлаете съ этими несчастными: вѣдь у васъ есть тоже мужики и эти... бабы? спросила она съ любопытствомъ.

— Мало дѣлаю, или почти ничего, къ стыду моему, или тѣхъ, кто меня воспитывалъ. Я давно вышла изъ опеки, а управляетъ все тотъ же опекунъ — и я не знаю, какъ. Есть у меня еще бабушка, въ другомъ уголкѣ — тамъ какой-то клочекъ земли есть: въ ихъ рукахъ все же лучше, нежели въ моихъ. Но я, по крайней мѣрѣ, не считаю себя вправѣ отговариваться невѣдѣніемъ жизни — знаю кое-что, говорю объ этомъ, вотъ хоть бы и теперь, иногда пишу, спорю — и все же дѣлаю. Но кромѣ того, я выбралъ себѣ дѣло: я люблю искусство и...

немного занимаюсь... живописью, музыкой... пишу... досказалъ онъ тихо, и смотрѣлъ на конецъ своего сапога.

— Это очень серьезно, что вы мнѣ сказали! произнесла она задумчиво. — Если вы не разбудили меня, то напугали. Я буду дурно спать. Ни тетуски, ни Paul, мужъ мой, никогда мнѣ не говорили этого — и никто. Иванъ Петровичъ, управляющій, привозилъ бумаги, счета, я слышала, говорили иногда о хлѣбѣ, о неурожаѣ. А... о бабахъ этихъ... и о ребятишкахъ... никогда.

— Да, это mauvais genre! Вѣдь при васъ даже неловко сказать «мужикъ», или «баба», да еще беременная... Вѣдь «хорошій тонъ» не велитъ чело-вѣку быть самимъ собой... Надо стереть съ себя все свое и походить на всѣхъ!

— Когда-нибудь... мы проведемъ лѣто въ де-ревнѣ, cousin, сказала она живѣе обыкновеннаго: пріѣзжайте туда и... и мы не велимъ пускать ребятишекъ ползать съ собаками — это прежде всего. Потомъ попросимъ Ивана Петровича не посылать... этихъ бабъ работать... Наконецъ, я не буду брать своихъ карманныхъ денегъ...

— Ну, ихъ положить въ свой карманъ Иванъ Петровичъ. Оставимъ это, кузина. Мы дошли до политической и всякой экономіи, до социализма и коммунизма — я въ этомъ не силенъ. Довольно того, что я потревожилъ ваше спокойствіе. Вы говорите, что дурно уснете — вотъ это и нужно: завтра не будетъ, можетъ быть, этого сіянія на лицѣ, но за то

оно засіяетъ другой, не ангельской, а человѣческой красотой. А современемъ вы постараетесь узнать, пѣтъ ли и за вами какого-нибудь дѣла, кромѣ визитовъ и празднаго спокойствія, и будете уже съ другими мыслями глядѣть и туда, на улицу. Представьте только себя тамъ, хоть изрѣдка: напримѣръ, еслибъ вамъ пришлось идти пѣшкомъ въ зимній вечеръ, одной разбираться на пятый этажъ, давать уроки? Еслибъ вы не знали, будетъ ли у васъ теплена комната, и выработаете ли вы себѣ на башмаки и на салопъ, — да еще не себѣ, а дѣтямъ? И потомъ убиваться неотступною мыслью, что вы сдѣлаете съ ними, когда упадутъ силы?... И жить подъ этой мыслью, какъ подъ тучей, десять, двадцать лѣтъ...

— C'est assez, cousin! нетерпѣливо сказала она. — Возьмите деньги и дайте туда...

Она указала на улицу.

— Сами учитесь давать, кузина; но прежде надо понять эти тревоги, поѣрить имъ, тогда выучитесь и давать деньги.

Оба замолчали.

— Такъ вотъ тѣ principes... А что дальше? спросила она.

— Дальше... любить... и быть любимой...

— И чтожъ потомъ?

— Потомъ... «плодиться, множиться и паселять землю»: а вы не исполняете этого завѣта...

Она покраснѣла, и какъ ни крѣпилась, но засмѣялась, и онъ тоже, довольный тѣмъ, что она сама

помогла ему такъ опредѣлительно высказаться о конечной цѣли любви.

— А если я любила? отозвалась она.

— Вы? спросилъ онъ, вглядываясь въ ея безстрастное лицо. *Вы* любили и... страдали?

— Я была счастлива. Зачѣмъ непременно страдать?

— Вы отъ того и не знаете жизни, не вѣдаете чужихъ скорбей: кому что нужно, зачѣмъ мужикъ обливается потомъ, баба жнетъ въ нестерпимый зной—все отъ того, что вы не любили! А любить не страдая—нельзя. Нѣтъ!—сказалъ онъ:—еслибъ лгалъ вашъ языкъ, не солгали бы глаза, измѣнились бы хоть на минуту эти краски. А глаза ваши говорятъ, что вы какъ-будто вчера родились...

— Вы поэтъ, артистъ, cousin, вамъ, можетъ быть, необходимы драмы, раны, стоны, и я не знаю, что еще! Вы не понимаете покойной, счастливой жизни, я не понимаю вашей...

— Это я вижу, кузина; но поймете ли?—вотъ что хотѣлъ бы я знать! Любили и никогда не выходили изъ вашего олимпійскаго спокойствія?

Она отрицательно покачала головой.

— Какъ это вы дѣлали, расскажите! Также сидѣли, глядѣли на все покойно, также, съ помощью вашихъ двухъ фей, медленно одѣвались, покойно ждали кареты, чтобъ ѣхать туда, куда рвалось сердце? не вышли ни разу изъ себя, тысячу разъ не спросили себя мысленно, тамъ ли онъ, ждетъ ли, думаетъ ли? не изнемогли ни разу, не покраснѣли

отъ напрасно-потерянной минуты, или отъ счастья, увидя, что онъ тамъ? И не сбѣжала краска съ лица, не являлся ни испугъ, ни удивленіе, что его нѣтъ?

Она отрицательно покачала головой.

— Не приходилось вамъ обрадоваться, броситься къ нему, не найти словъ, когда онъ войдетъ вотъ сюда?...

— Нѣтъ, сказала она съ прежней усмѣшкой.

— А когда вы ложились спать...

Въ лицѣ у ней появилось безпокойство.

— Не стоялъ онъ тутъ?... продолжалъ онъ.

— Чтò вы, cousin! почти съ ужасомъ сказала она.

— Не стоялъ онъ хоть въ воображеніи у васъ, не наклонялся къ вамъ?...

— Нѣтъ, нѣтъ... отвергала она, качая головой.

— Не бралъ за руку, не раздавался поцѣлуй?...

Краска разлилась по ея щекамъ.

— Cousin, я была замужемъ, вы знаете.... assez, assez, de grâces.....

— Еслибъ вы любили, кузина, продолжалъ онъ, не слушая ее:—вы должны помнить, какъ дорого вамъ было проснуться послѣ такой ночи, какъ радостно знать, что вы существуете, что есть міръ, люди и онъ...

Она опустила длинныя рѣспицы и дослушивала съ нетерпѣніемъ, шевеля концемъ ботинки.

— Если этого не было, какъ же вы любили, кузина? заключилъ онъ вопросомъ.

— Иначе.

— Расскажите: зачѣмъ таить *возвышенную* любовь?...

— Я не такъ: въ ней не было ничего ни таинственнаго, ни возвышеннаго, а такъ какъ у всѣхъ....

— Ахъ, только не у всѣхъ, нѣтъ, нѣтъ? И если вы не любили и еще полюбите когда-нибудь, тогда что будетъ съ вами, съ этой скучной комнатой? Цвѣты не будутъ стоять такъ симметрично въ вазахъ, и все здѣсь заговорить о любви.

— Довольно, довольно! остановила она съ полу-улыбкой, не отъ скуки петербургія, а подъ вліяніемъ какъ-будто утомленія отъ раздражительнаго спора.

— Я воображаю себѣ обѣихъ тетушекъ, еслибъ въ комнатѣ поселился безпорядокъ, сказала она, смѣясь:—разбросанныя книги, цвѣты—и вся улица смотреть свободно сюда!..

— Опять тетушки! упрекнулъ онъ:—ни шагу безъ нихъ! и всю жизнь такъ?

— Да... конечно, задумавшись сказала она: — Какъ же?

— А сами что? Ужели ни одного свободного побужденія, собственнаго шага, каприза, шалости, хоть глупости?...

Она думала, казалось, припоминала что-то, потомъ вдругъ улыбнулась и слегка покраснѣла.

— А! кузина, вы краснѣете? значитъ, тетушки не всегда сидѣли тутъ, не все видѣли и знали! Скажите мнѣ, что такое! умолялъ онъ.

— Я вспомнила въ самомъ дѣлѣ одну глупость и когда-нибудь расскажу вамъ. Я была еще дѣвоч-

кой. Вы увидите, что и у меня были, и слезы, и трепетъ, и краска... *et tout ce que vous aimez tant!* Но расскажу съ тѣмъ, чтобы вы больше о любви, о страстяхъ, о столахъ и вопляхъ не говорили. А теперь пойдѣте къ тетушкамъ.

Опѣ вышелъ въ гостиную, а она подошла къ горкѣ, взяла флаконъ, палила нѣсколько капель одекона на руку и задумчиво понюхала, потомъ оправилась у зеркала и вышла въ гостиную.

Она сѣла подлѣ тетокъ и стала пристально слѣдить за игрою, а Райскій за нею. Она была покойна, свѣжа. А ему втѣснилось въ душу напротивъ безпокойство, желаніе узнать, что у ней теперь на умѣ, что въ сердцѣ, хотѣлось прочесть въ глазахъ, затронулъ ли онъ хоть нервы ея; но она ни разу не подняла на него глазъ. И потомъ уже, когда послѣ игры подняла, заговорила съ нимъ — все тоже въ лицѣ, какъ вчера, какъ третьяго дня, какъ полгода назадъ.

— Чѣмъ и какъ живетъ эта женщина! Если не гложетъ ее мука, если не волнуютъ надежды, не терзаютъ заботы, — если она въ самомъ дѣлѣ «выше міра и страстей», отчего она не скучаетъ, не томится жизнью... какъ скучаю и томлюсь я? Любопытно узнать!

V.

— Ну, что ты сдѣлалъ? спросилъ Райскій Аянова, когда они вышли на улицу.

— Сорокъ пять рублей выигралъ: а ты?

Райскій пожалъ плечами и передалъ содержаніе разговора съ Софьей.

— Что-жь: и это дѣло отъ бездѣлья. Ну, и весело?

— Глупое слово: весело! Только дѣти и французы ухитряются веселиться: s'amuser.

— Какъ же назвать то, что ты дѣлалъ—и зачѣмъ?

— Я ужъ сказалъ тебѣ зачѣмъ, сердито отозвался Райскій.—Затѣмъ, что красота ея увлекаетъ, раздражаетъ—и скуки нѣтъ—я наслаждаюсь—принимаешь? Вотъ у меня теперь шевелится мысль написать ея портретъ. Это займетъ мѣсяцъ, потомъ буду изучать ее...

— Смотри, не влюбись, замѣтилъ Аяновъ.—Жениться нельзя, говоришь ты—а играть въ страсти съ ней тоже нельзя. Когда-нибудь такъ обожжешься....

— Кому ты это говоришь! перебилъ Райскій:—какъ будто я не знаю! А я только и во снѣ и наяву вижу, какъ бы обжечься. И еслибъ когда-нибудь обжегся неизлечимою страстью, тогда бы и женился на той... Да нѣтъ: страсти—или излечиваются, или, если неизлечимы, кончаются не свадьбой. Нѣтъ для меня мирной пристани: или горѣніе, или—сонъ и скука!

— И чѣмъ ты сегодня не являлся передъ кузиной! Она тебя Чацкимъ назвала... А ты былъ и донъ-Жуанъ, и донъ-Кихоть вмѣстѣ. Вотъ умудрился! Я не удивлюсь, если ты надѣнешь расу и начнешь вдругъ проповѣдывать....

— И я не удивлюсь, сказалъ Райскій, хоть рясы и не надѣну, а проповѣдывать могу—и искренно, всюду, гдѣ замѣчу ложь, притворство, злость—словомъ, отсутствіе красоты, нужды нѣтъ что самъ бываю безобразенъ.... Натура моя отзывается на все, только разбуди нервы—и пойдетъ играть!.. Знаешь что, Аяновъ: у меня давно засѣла серьезная мысль—писать романъ. И я хочу теперь посвятить все свое время на это.

Аяновъ засмѣялся.—Серьезная мысль!—повторилъ онъ:—ты говоришь о романѣ, какъ о серьезномъ дѣлѣ! А вправду: пиши, тебѣ больше нечего дѣлать, какъ писать романы....

— Ты не смѣйся и не шути: въ романъ все уходитъ—это не то, что драма или комедія—это, какъ океанъ: береговъ нѣтъ, или не видать; не тѣсно, все умѣстится тамъ. И знаешь, кто навелъ меня на мысль о романѣ: наша общая знакомая, помнишь Анну Петровну?

— Актрису?

— Да, это очень смѣшно. Она милая женщина и хитрая, и себѣ на умѣ въ своихъ дѣлахъ, какъ всѣ женщины, когда онѣ, какъ рыбы, не лѣзутъ изъ воды на берегъ, а остаются въ водѣ, т. е. въ своей сферѣ....

— Ну, что же она?

— Ну, она рассказала—есть что про себя. Подходилъ ея бенефисъ, а пьесы не было: драматурговъ у насъ не много: что у кого было, тѣ обѣ-

щали другимъ, а переводную ей давать не хотѣлось. Она и вздумала сочинить сама....

— «Не боги горшки обжигаютъ!» пришло видно ей въ голову, сказала Аяновъ.

— Именно. И съ какой милой наивною повѣряла мнѣ свои соображенія. — Напримѣръ, говорить, въ «Горѣ отъ ума» — (*excusez du peu*) всѣ лица — самые обыкновенные люди, говорятъ о самыхъ простыхъ предметахъ, и случай взять простой: влюбился Чацкій, за него не выдали, полюбили другого, онъ узналъ, разсердился и уѣхалъ. Отецъ разсердился на обоихъ, она на Молчалина — и все!.... И у Мольера, говорить, скупой — скупъ, Тартюфъ — подлый лицемеръ. Можно даже, говорить, придумать похитрѣе, поинтереснѣе интригу. Словомъ, комедія ей казалась также мало серьезнымъ дѣломъ, какъ тебѣ кажется романъ. За трагедію она не бралась: тутъ она скромно сознавалась въ своей несостоятельности. А за комедію взялась и въ недѣлю написала листовъ десять: я просилъ показать — ни за что! «Что же, кончили?» спросилъ я, — «Какъ ни билась, не доходить до конца», говорить: — «лица все разговариваютъ и не могутъ перестать, такъ и бросила». Бѣдняжка! Жаль, что ей понадобилась комедія, въ которой нужны и начало и конецъ, и завязка и развязка, а еслибъ она писала романъ, то можетъ быть и не бросила бы. И лица у ней ней все разговаривали бы до сихъ поръ. Я буду писать романъ, Аяновъ. Въ романѣ укладывается вся жизнь, и цѣликомъ, и по частямъ.

— Своя, или чужая? спросилъ Аяновъ. Ты этакъ, пожалуй, всѣхъ насъ вставишь....

— Не безпокойся. Что хорошо подъ кистью, въ другомъ искусствѣ не годится. Все записать отъ красокъ и немногихъ соображеній ума, яркости воображенія и своеобразія во взглядѣ. Немного юмора, да чувства, да искренности, да воздержности, да... поэзии....

Онъ замолчалъ и шелъ задумчиво.

— Excusez du peu! повторилъ и Аяновъ. — Пиши, что взбрело на умъ, что-нибудь да выйдетъ.

Райскій вздохнулъ.

— Нѣтъ, сказалъ онъ: — нужно еще одно, я не упомянулъ: это... талантъ.

— Конечно, безграмотный не напишетъ....

— Ты грамотный, чтожъ ты не пишешь? перебилъ Райскій.

— Зачѣмъ? У меня есть что писать. Я дѣло пишу....

— Опять ты хвастаешься «дѣломъ»! я думаю, если ты перестанешь писать — вотъ тогда и будетъ дѣло.

— А романъ твой дастъ мнѣ окладъ въ пять тысячъ, да квартиру съ отопленіемъ, да чинъ, да ..?

— И ты не стыдишься говорить это! Когда мы очеловѣчимся?

— Я сталъ очеловѣчиваться съ тѣхъ поръ, какъ началъ получать по двѣ тысячи, и теперь вотъ понимаю, что вопросы о гуманности неразрывны съ экономическими.....

— Знаю, знаю: но зачѣтъ ты такъ храбришься этимъ циническимъ эгоизмомъ?

Аяновъ собрался-было запальчиво отвѣчать, но въ эту минуту наѣзжала карета, кучеръ закричалъ имъ, и споръ не пошелъ дальше.

— Такъ живопись—прощай! сказалъ Аяновъ.

— Какъ прощай: а портретъ Софьи?... на дняхъ начну. Я забросилъ академію и не видался ни съ кѣмъ. Завтра пойду къ Кирилову: ты его знаешь?

— Не помню, кажется, видѣть: нечесаный такой....

— Да, но глубокій; истинный художникъ, какихъ нѣтъ теперь: — послѣдній Мотыканъ!... Напишу только портретъ Софьи и покажу ему, а тамъ попробую силы на романъ. Я записывалъ и прежде кое-что: у меня есть отрывки, а теперь примусь серьезно. Это новый для меня родъ творчества; не удастся ли тамъ?

— Послушай, Райскій: сколько я тутъ понимаю, надо тебѣ бросить прежде не живопись, а Софью, и не дѣлать романовъ, если хочешь писать ихъ... Лучше пиши по утрамъ романъ, а вечеромъ играй въ карты: по маленькой, въ коммерческую.... это не раздражаетъ...

— А это-то и нужно для романа, т. е. раздраженіе. Да—тронь я карты, такъ я стащу и съ тебя пальто и проиграю. Есть своя бездна и тамъ: слава Богу, я никогда не заглядывался въ нее, а если загляну—такъ ужъ выйдетъ не романъ, а трагедія. Впрочемъ, ты дѣло говоришь: двумъ господамъ служить нельзя! Дай мнѣ кончить какъ-нибудь эту исторію съ Софьей, написать ея портретъ, и тогда, подъ вліяніемъ впечатлѣнія ея красоты, я... Вотъ пусть

эта звѣзда, какъ ее... ты не знаешь? и я не знаю, ну да все равно, — пусть она будетъ свидѣтельница, что я наконецъ слажу съ чѣмъ-нибудь: или съ живописью, или съ романомъ. Романъ—да! Смѣшать свою жизнь съ чужою, занести эту массу наблюденій, мыслей, опытовъ, портретовъ, картинъ, ощущеній, чувствъ... *une meг à boire!*

Они молча шли. Аяновъ насвистывалъ, а Райскій шелъ, склоня голову, думая, то о Софѣ, то о романѣ. На перекресткѣ, гдѣ предстояло расходиться, Райскій вдругъ спросилъ:

— Когда же опять туда?

— Куда туда?

— А къ Софѣ.

— Ты опять? а я думалъ, что ты ужъ работаешь надъ романомъ, и не мѣшалъ тебѣ.

— Я тебѣ сказалъ: жизнь—романъ, и романъ—жизнь.

— Чья жизнь?

— Всякая, даже твоя!

— Въ среду тетки звали играть.

— Долго, но нечего дѣлать—до среды!

VI.

Райскій лѣтъ десять живетъ въ Петербургѣ, т. е. у него тамъ есть пріютъ, три порядочныя комнаты, которыя онъ нанимаетъ у нѣмки и постоянно оставляетъ квартиру за собой, а самъ рѣдко полгода

выживалъ въ Петербургѣ, съ тѣхъ поръ, какъ оставилъ службу. А оставилъ онъ ее давно, какъ только вступилъ. Поглядѣвши вокругъ себя, онъ вывелъ свое оригинальное заключеніе, что служба не есть сама цѣль, а только средство куда-нибудь дѣвать кучу люда, которому безъ нея не зачѣмъ бы родиться на свѣтъ. И еслибъ не было этихъ людей, то не нужно было бы и той службы, которую они несутъ. Его опредѣлилъ, сначала въ военную, потомъ въ статскую службу, опекунъ, онъ же и двоюродный дядя, за тѣмъ прежде всего, чтобъ сбыть всякую отвѣтственность и упрекъ за небрежность въ этомъ отношеніи, потомъ затѣмъ, зачѣмъ всѣ посылаютъ молодыхъ людей въ Петербургъ: чтобъ не сидѣли праздно дома, «не баловались, не били баклушъ» и т. п.,—это цѣль отрицательная. Въ Петербургѣ есть и выправка, и надзоръ, и работа; въ Петербургѣ можно получить мѣсто прокурора, потомъ, современемъ, и губернатора, — это цѣль положительная. Потомъ уже, поживъ въ Петербургѣ, Райскій самъ рѣшилъ, что въ немъ живутъ взрослые люди, а во всей остальной Россіи—недоросли. Но вотъ Райскому за тридцать лѣтъ, а онъ еще ничего не посѣялъ, не пожалъ и не шелъ ни по одной колѣѣ, по какимъ ходятъ пріѣзжающіе изнутри Россіи. Онъ ни офицеръ, ни чиновникъ, не пробиваетъ себѣ никакого пути трудомъ, связями, будто нарочно наперекоръ всѣмъ, одинъ остается недорослемъ въ Петербургѣ. Въ кварталѣ прописанъ онъ отставнымъ коллежскимъ секретаремъ.

Физиономисту трудно бы было определить по лицу его свойства, склонности и характеръ, потому что лицо это было неуловимо измѣнчиво. Иногда онъ кажется такъ счастливъ, глаза горять, и наблюдатель только что предположить въ немъ открытый характеръ, общительность, и даже болтливость, какъ черезъ часъ, черезъ два, взглянувъ на него, поразится блѣдностью его лица, какимъ-то внутреннимъ и, кажется, неисцѣлимымъ страданіемъ, какъ будто онъ отъ роду не улыбнулся. Онъ въ эти минуты казался некрасивъ: въ чертахъ лица разладъ, живыя краски лба и щекъ замѣнялись болѣзненнымъ колоритомъ. Но если покойный духъ жизни тихо опять вѣялъ надъ нимъ, или по-просту «находилъ на него счастливый стихъ», лицо его отражало запасъ силы воли, внутренней гармоніи и самообладанія, а иногда какой-то задумчивой свободы, какого-то идущаго къ этому лицу мечтательнаго оттѣнка, лежавшаго, не то въ этомъ темномъ зрачкѣ, не то въ легкомъ дрожаніи губъ.

Нравственное лицо его было еще неуловимѣе. Бывали какіе-то періоды, когда онъ «обнималъ, по его выраженію, весь міръ», когда чарующею мягкостью открывалъ доступъ къ сердцу, и тѣ, кому случалось нападать на эти минуты, говорили, что добрѣе, любезнѣе его нѣтъ. Другимъ случалось попадать въ несчастную пору, когда у него на лицѣ выступали желтыя пятна, губы кривились отъ нервнои дрожи, и онъ тупымъ, холоднымъ взглядомъ и рѣзкой рѣчью платилъ за ласку, за симпатію. Тѣ

отходили отъ него, унося горечь и вражду, иногда навсегда. Какіе это періоды, какіе дни—ни другіе, ни самъ онъ не зналъ.—«Злой, холодный эгоистъ и гордецъ!» говорили попавшіе въ злую минуту.

— «Помилуйте, онъ очарователенъ: онъ всѣхъ насъ обворожилъ вчера, всѣ безъ ума отъ него!» говорили другіе.—«Актеръ!» твердили нѣкоторые.—«Фальшивый человѣкъ!» возражали иные: когда чего-нибудь захочетъ достигнуть, откуда берутся рѣчи, взгляды, какъ играетъ лицо!» — «Помилуйте! это честнѣйшее сердце, благородная натура, но нервная, страстная, огненная и раздражительная!» защищали его два-три дружескіе голоса. Итакъ, въ кругѣ даже близкихъ знакомыхъ его не сложилось о немъ никакого опредѣленнаго понятія, и еще менѣе образа.

И въ раннемъ дѣтствѣ, когда онъ воспитывался у бабушки, до поступленія въ школу, и въ самой школѣ, въ немъ проявлялись тѣ же загадочныя черты, та же неровность и неопредѣленность наклонностей. Когда опекунъ привезъ его въ школу и посадили его на лагу: во время класса, кажется, первымъ бы дѣломъ новичка было вслушаться что спрашиваетъ учитель, что отвѣчаютъ ученики. А онъ прежде всего воззрися въ учителя: какой онъ, какъ говорить, какъ нюхаетъ табакъ, какія у него брови, бакенбарды; потомъ сталъ изучать болтающуюся на животѣ его сердоликовую печатку, потомъ замѣтилъ, что у него большой палецъ правой руки раздвоенъ по срединѣ и представляетъ по-

добіе двойного орѣха. Потомъ осмотрѣлъ каждого ученика и замѣтилъ всѣ особенности: у одного лобъ и виски вогнуты внутрь головы, у другого мордастое лицо далеко выпятилось впередъ, тамъ вонъ у двоихъ, у одного справа, у другого слѣва, на лбу волосы растутъ вихоркомъ и т. д., всѣхъ замѣтилъ и изучилъ, какъ кто смотритъ. Одинъ съ увѣренностью глядитъ на учителя, просить глазами спросить себя, почешетъ колѣнки отъ нетерпѣнія, потомъ голову. А у другого на лицѣ, то выступаетъ, то прячется краска — онъ сомнѣвается, колеблется. Третій упрямо смотритъ внизъ, пораженный боязнью, чтобъ его не спросили. Иной ковыряетъ въ носу и ничего не слушаетъ. Тотъ долженъ быть ужасный силачъ, а этотъ черненькій — плутъ. И доску, на которой пишутъ задачи, замѣтилъ, даже мѣлъ и тряпку, которою стираютъ съ доски. Кстати тутъ же представилъ и себя, какъ онъ сидитъ, какое у него должно быть лицо, что другимъ приходится на умъ, когда они глядятъ на него, какимъ онъ имъ представляется? — «О чемъ я говорилъ сейчасъ?» вдругъ спросилъ его учитель, замѣтивъ, что онъ разсѣянно бродитъ глазами по всей комнатѣ. Къ удивленію его, Райскій сказалъ ему отъ слова до слова что онъ говорилъ. — «Что же это значитъ?» дальше спросилъ учитель. Райскій не зналъ: онъ также машинально слушалъ, какъ и смотрѣлъ, и ловилъ ухомъ только слова. Учитель повторилъ объясненіе. Борисъ опять слушалъ, какъ раздавались слова: иное учитель скажетъ коротко и густо, точно

оборветъ, другое растянеть, будто пропоеть, вдругъ словъ десять посыплются, какъ орѣхи. — «Ну?» спросилъ учитель. Райскій покраснѣлъ, даже вспотѣлъ немного отъ страха, что не знаетъ въ чемъ дѣло, и молчалъ. Это былъ учитель математики. Онъ пошелъ къ доскѣ, написалъ задачу, началъ толковать. Райскій только глядѣлъ, какъ проворно и крѣпко пишетъ онъ цифры, какъ потомъ идетъ къ нему прежде брюхо учителя съ сердоликовой печаткой, потомъ грудь съ засыпанной табакомъ манишкой. Ничего не ускользнуло отъ Райскаго, только ускользнуло рѣшеніе задачи. Кое-какъ онъ достигъ дробей, достигъ и до четырехъ правилъ изъ алгебры, когда же дѣло дошло до уравненій, Райскій утомился напряженіемъ ума и дальше не пошелъ, оставшись совершенно равнодушнымъ къ тому, зачѣмъ и откуда извлекаютъ квадратный корень. Учитель часто бился съ нимъ и почти всякій разъ со вздохомъ прибавлялъ:—«Садись на свое мѣсто, ты пустой малый!»

Но когда на учителя находили игривыя минуты, и онъ, въ видѣ забавы, выдумывалъ, а не изъ книги говорилъ свои задачи, не прибѣгая ни къ доскѣ, ни къ грифелю, ни къ прагиламъ, ни къ пинкамъ, — скорѣе всѣхъ, путемъ сверкающей въ головѣ догадки, доходилъ до результата Райскій. У него въ головѣ было свое царство цифръ въ образахъ: онѣ по-своему строились у него тамъ, какъ солдаты. Онъ придумалъ имъ какіе-то свои знаки или фізіономіи, по которымъ онѣ становились въ

ряды, слагались, множились и дѣлились; всѣ фигуры ихъ рисовались, то знакомыми людьми, то походили на разныхъ животныхъ.

— «Ну, не пустой-ли малый! восклицалъ учитель: не умѣетъ сдѣлать задачи указаннымъ, слѣдовательно, облегченнымъ путемъ, а безъ правилъ на-обумъ говорить! Глупѣ насъ съ тобой выдумывали правила!» Между тѣмъ, писать выучился Райскій быстро, читалъ со страстью исторію, эпопею, романъ, басню, выпрашивалъ, гдѣ могъ, книги, но съ фактами, а умозрѣній не любилъ, какъ вообще всего, что увлекало его изъ міра фантазіи въ міръ дѣйствительный. Изъ географіи, въ порядкѣ, по книгѣ, какъ проходили въ классѣ, по климатамъ, по народамъ, никакъ и ничего онъ не могъ рассказать, особенно, когда учитель спроситъ: — «А ну-ка, перескажи всѣ горы въ Европѣ?» или: «всѣ порты Средиземнаго моря». Между тѣмъ въ класса начнеть рассказывать о какой-нибудь странѣ или объ океанѣ, о городѣ — откуда чтѣ берется у него! Ни въ книгѣ этого нѣтъ, ни учитель не рассказывалъ, а онъ рисуетъ картину, какъ будто былъ тамъ, все видѣлъ самъ.

— «Да ты все врешь! скажетъ иногда слушательскептикъ: Василій Никитичъ этого не говорил!» Директоръ подслушалъ однажды, когда онъ рассказывалъ, какъ дикіе ловятъ и ѣдятъ людей, какія у нихъ лѣса, жилища, какое оружіе, какъ они сидятъ на деревьяхъ, охотятся за звѣрями, даже началъ представлять, какъ они говорятъ горломъ. — «Пустяки

молоть мастеръ, сказалъ ему директоръ: а на экзаменѣ не могъ разсказать системы рѣкъ! Вотъ я тебя выскъ, погоди! ничѣмъ не хочетъ серьезно заняться: пустой мальчишка!» И дернулъ его за ухо. Райскій смотрѣлъ, какъ стоялъ директоръ, какъ говорилъ, какіе злые и холодные у него были глаза, разбиралъ, отчего ему стало холодно, когда директоръ тронулъ его за ухо, представилъ себѣ, какъ поведутъ его съчъ, какъ у Севастьянова отъ испуга вдругъ побѣлѣетъ носъ, и онъ весь будто похудѣетъ немного, какъ Боровиковъ задрожитъ, запрыгаетъ и захихикаетъ отъ волненія, какъ добрый Масляниковъ, съ плачущимъ лицомъ, бросится обнимать его и прощаться съ нимъ, точно съ осужденнымъ на казню. Потомъ, какъ его будутъ раздѣвать и у него похолодѣетъ, сначала у сердца, потомъ руки и ноги, какъ онъ не сможетъ самъ лечь, а положить его тихонько сторожъ Сидорычъ... Онъ слышалъ мысленно свой визгъ, видѣлъ болтающіяся ноги и вздрогнулъ... У него упали нервы: онъ пересталъ ѣсть, худо спалъ. Онъ чувствовалъ оскорбленіе отъ одной угрозы, и ему казалось, что если она исполнится, то это унесетъ у него все хорошее, и вся его жизнь будетъ гадка, бѣдна и страшна, и самъ онъ станетъ, точно нищій, всѣми брошенный, презрѣнный. Въ это время, какъ будто нарочно пришло, священникъ толковалъ исторію Іова, всѣми оставленнаго на кучѣ навоза, страждущаго... Райскій расплакался, его прозвали «нюней». Онъ приунылъ, три дня ходилъ мрачный, такъ что узнать нельзя было: онъ-ли это? ничего

не рассказывалъ товарищамъ, какъ они ни приста-
вали къ нему. Такъ было до воскресенья. А въ вос-
кресенье Райскій поѣхалъ домой, нашелъ въ шкафѣ
«Освобожденный Іерусалимъ» въ переводѣ Моско-
тильникова, и забылъ объ угрозахъ, и не тронулся съ
дивана, на-скоро пообедалъ и опять легъ читать до
темноты. А въ понедѣльникъ утромъ унесъ книгу въ
училище и тайкомъ, торопливо и съ жадностью, дочитывалъ, и дочитавши, недѣли двѣ рассказывалъ читан-
ное, то тому, то другому. Снились ему такіе горячіе
сны о далекихъ странахъ, о необыкновенныхъ людяхъ
въ латахъ, и каменистыя пустыни Палестины бли-
стали передъ нимъ своей сухой, страшной красотой:
эти пески и зной, эти люди, которые умѣли жить
такой крѣпкой и трудной жизнью и умирать такъ
легко! Онъ содрогался отъ желанія посидѣть на кам-
няхъ пустыни, разрубить Сарацина, томился жаждой и умереть безъ нужды, для того только, чтобъ
видѣли, что онъ умѣетъ умирать. Онъ не спалъ почей,
читая объ Армидѣ, какъ она увлекла рыцарей и
самаго Ринальда. Какая она? думалось ему — и то
казалась она ему теткой Варварой Николаевной,
которая ходила, покачивая головой, какъ игрушеч-
ные коты, и прищуривала глаза, то въ видѣ жены
директора, у которой были такія бѣлыя руки и
острый, пропитательный взглядъ, то тринадцатилѣт-
ней, припрыгивающей, хорошенькой дѣвочкой въ
кружевныхъ панталончикахъ, дочерью полиціймей-
стера.

Онъ сжимался въ комокъ и читалъ жадно, почти

не перевода духа, но внутренно разрываясь отъ волненія, и вдругъ въ неистовствѣ бросалъ книгу и бѣгалъ, какъ потерянный, когда храбрый Ринальдъ, или въ романѣ мадамъ Коттепъ, Малекъ-Адель, изнывали у ногъ волшебницы. То вдругъ случайно воображеніе унесетъ его въ другую сторону, съ какимъ-нибудь Оссіаномъ: тамъ другая жизнь, другія картины, еще величавѣе, хотя и суровѣе тѣхъ, и еще необыкновеннѣе. И все это, не похожее на текущую жизнь около него, захватывало его въ свою чудесную сферу, отъ которой онъ отрезвлялся, какъ отъ хмѣля.

Послѣ долго ходилъ онъ блѣденъ и скученъ, пока опять чужая жизнь и чужія радости не вспрыснутъ его, какъ живой водой.

Дядя давалъ ему исторіи четырехъ Генриховъ, Людовиковъ до XVIII и Карловъ до XII включительно, но все это уже было для него, какъ прѣсная вода послѣ рома. На минуту только разбудили его Іоанны III-й и IV, да Петръ. Онъ бросался къ Плутарху, чтобъ только дальше уйти отъ современной жизни, но и тотъ казался ему сухъ, не представлялъ рисунка, картинъ, какъ тѣ книги, потомъ какъ Телемахъ, а еще потомъ—какъ Иліада.

Между товарищами онъ былъ очень страненъ, они тоже не знали, какъ понимать его. Симпатіи его такъ часто мѣнялись, что у него не было ни постоянныхъ друзей, ни враговъ. Эту недѣлю онъ привяжется къ одному, ищетъ его вездѣ, сидитъ съ нимъ, читаетъ, рассказываетъ ему, шепчетъ. Потомъ

ни съ того, ни съ сего, вдругъ бросить его и всматривается въ другого, и всмотрѣвшись опять забываетъ. Разсердить ли его какой-нибудь товарищъ, нектати скажетъ ему что-нибудь, онъ надуется, дастъ разыграться злымъ чувствамъ во всѣ формы упорной вражды, хотя самая обида поблѣднѣетъ, забудется причина, а онъ длить вражду, за которой слѣдитъ весь классъ, и больше всѣхъ онъ самъ. Потомъ онъ отыскивалъ въ себѣ кротость, великодушіе и вздрагивалъ отъ живого удовольствія проявить его; устраивалась сцена примиренія, съ достоинствомъ и благородствомъ, и занимала всѣхъ, пуще всѣхъ его самого. Онъ какъ будто смотрѣлъ на все это со стороны и наслаждался, видя и себя, и другого, и всю картину передъ собой. А когда все кончалось, когда шумъ, чадъ, вся трескотня выходили изъ него, онъ вдругъ очнется, окинетъ все удивленными глазами и внутренній голосъ спроситъ его:— зачѣмъ это? Онъ пожметъ плечами, не зная самъ зачѣмъ. Иногда, напротивъ, онъ придетъ отъ пустяковъ въ восторгъ: какой-нибудь сытый ученикъ отъ дастъ свою булку нищему, какъ дѣлаютъ добродѣтельные дѣти въ хрестоматіяхъ и прописяхъ, или приметъ на себя чужую шалость, или покажется ему, что насупившійся ученикъ думаетъ глубокую думу, и онъ вдругъ возгорится участіемъ къ нему, говорить о немъ со слезами, отыскиваетъ что-то таинственное, необычайное, окружить его уваженіемъ: и другіе заразятся неисповѣдимымъ почтеніемъ. Но черезъ недѣлю товарищи встанутъ въ одно пре-

красное утро, съ восторженными рѣчами о фениксѣ, подойдутъ къ Райскому, а онъ расхохочется: «Этакую дрянъ нашли, да и пиянчатся! Пошелъ ты прочь, жалкое созданіе!» скажетъ онъ. Всѣ и рты разинуть, и онъ стыдится своего восторга. Лучъ, который падалъ на «чудо», уже померкъ, краски пропали, форма износилась, и онъ бросалъ и искалъ жадными глазами другого явленія, другого чувства, зрѣлища, и если не было—скучалъ, былъ желченъ, нетерпѣливъ, или задумчивъ.

По выходѣ изъ училища, дѣйствительная жизнь мало увлекла его въ свой потокъ, и своей веселой стороною, и суровой дѣятельностью. Позоветъ ли его опекунъ посмотрѣть, какъ молотятъ рожь, или какъ валяютъ сукно на фабрикѣ, какъ бѣлятъ полотна,—онъ увертывался и забирался на бельведеръ смотрѣть оттуда въ лѣсъ, или шелъ на рѣку, въ кусты, въ чащу, смотрѣлъ, какъ возятся насѣкомыя, остро глядѣлъ, куда порхнула птичка, какая она, куда сѣла, какъ почесала носикъ;—поймаетъ ежа и возится съ нимъ;—съ мальчишками удить рыбу цѣлый день, или слушаетъ полоумнаго старика, который живетъ въ землянкѣ у околицы, какъ онъ рассказываетъ про «Пугача»,—жадно слушаетъ подробности жестокихъ мукъ, казней, и смотритъ прямо ему въ ротъ безъ зубовъ, и въ глубокія впадины потухающихъ глазъ. По цѣлымъ часамъ, съ болѣзненнымъ любопытствомъ, слѣдитъ онъ за лепетомъ «испорченной» Оеклуши. Дома читаетъ всякіе пустяки. «Саксонскій разбойникъ» попадется—онъ прочтетъ его; выта-

щитъ Эккартсгаузена и хочетъ фантазіей допроситься, сквозь туманъ, ясныхъ выводовъ; десять разъ прочелъ попавшійся экземпляръ «Тристрама Шенди»; найдетъ какія-нибудь «Тайны восточной магіи», — читаетъ и ихъ; тамъ русскія сказки и былины, потомъ вдругъ опять бросится къ Оссіану, къ Тассу и Гомеру, или уплыветъ съ Кукомъ въ чудесныя страны. А если нѣтъ ничего, такъ лежитъ неподвижно по цѣлымъ днямъ, но лежитъ, какъ будто трудную работу дѣлаетъ: фантазія мчитъ его дальше Оссіана, Тасса, и даже Кука — или бьетъ лихорадкой какого-нибудь встрѣчнаго ощущенія, мгновеннаго впечатлѣнія, и онъ встанетъ усталый, блѣдный, и долго не придетъ въ нормальное положеніе. — «Лѣп-тай, лежебока!» говорятъ кругомъ его. Онъ пугался этихъ приговоровъ, плакалъ тихомолку и думалъ иногда съ отчаяніемъ, отчего онъ лѣптай и лежебока? Что я такое? что изъ меня будетъ? — думалъ онъ и слышалъ суровое: — «учись, вонъ какъ учатся Саврасовъ, Ковригинъ, Малюевъ, Чудинъ, — первые ученики!» Они равно хорошо учатся, и изъ математики, и изъ исторіи, сочиняютъ, чертятъ, рисуютъ и языки знаютъ и все: — счастливыцы! Ихъ всѣ уга-лаютъ, они такъ гордо смотрятъ, такъ покойно спятъ, всегда одинаковы. А онъ сегодня блѣденъ, молчитъ, какъ убитый, — завтра скачетъ и поетъ, Богъ знаетъ отъ чего!

Всего пуще пугало его и томило обидное состраданіе сторожа Сидорыча, и вмѣстѣ трогало своей простотой. Однажды онъ не выучилъ два урока сряду

и завтра долженъ былъ остаться безъ обѣда, если не выучить ихъ къ утру, а выучить было некогда, всѣ легли спать. Сидорычъ тихонько всталъ, вздулъ свѣчу и принесъ Райскому изъ класса книгу.— «Учи, батюшка, ссазаль онъ, пока они спять. Никто не увидитъ, а завтра будешь знать лучше ихъ: что они въ самомъ дѣлѣ обижаютъ тебя, сироту!» У Райскаго брызнули слезы, и отъ этой обиды, и отъ доброты Сидорыча. Онъ взглянулъ, какъ храпятъ первые ученики, и не выучилъ урока—отъ гордости. За то, если задѣто его самолюбіе, затронуты нервы, тогда онъ однимъ взглядомъ въ книгу какъ будто сниметъ фотографію съ урока, запомнить столбцы цифръ, отгадаетъ задачу—и вдругъ блеснетъ, какъ фейерверкъ и изумитъ весь классъ, иногда и учителя. «Притворяется!»—думаютъ ученики.—«Какія способности у этого лѣнтяя!» полагаетъ учитель.

Онъ чувствовалъ и понималъ, что онъ не лежебока и не лѣнтяй, а что-то другое, но чувствовалъ и понималъ онъ одинъ, и больше никто,—но не понималъ, что же онъ такое именно, и некому было растолковать ему это, и разъяснить, нужно ли ему учить математику, или что-нибудь другое.

Въ службѣ названіе пустого человѣка привиптилось къ нему еще крѣпче. Отъ него не добились ни одной докладной записки, никогда не прочелъ онъ ни одного дѣла, между тѣмъ вносилъ веселье, смѣхъ и анекдоты въ ту комнату, гдѣ сидѣлъ. Около него всегда кучка народу. Но мысль о дѣлѣ, если только

она не проходила черезъ докладъ, какъ бывало русскій языкъ черезъ грамматику, а сказанная среди шутокъ и бездѣлья, для него какъ-то ясна, лишь бы не доходило дѣло до бумагъ. Онъ озадачивалъ новизной взгляда чиновниковъ. Столоначальникъ, слушая его, съ усмѣшкой отбиралъ у него какую-нибудь заданную ему бумагу и отдавалъ другому:— «Напишите пожалуйста вотъ это предписаніе, — говорилъ онъ, пока Борисъ Павловичъ рисуетъ свой проектъ»! Столоначальникъ былъ правъ: Райскій рисовалъ и дѣло, какъ картину, или оно такъ рисовалось у него въ головѣ.

Воображеніе его вспыхивало, и онъ путемъ сверкнувшей догадки схватывалъ тѣнь, верхушку истины, дорисовывалъ остальное и уже не шелъ долгимъ опытомъ и трудомъ завоевывать прочную побѣду. Онъ уже былъ утомленъ, онъ шелъ дальше, глаза и воображеніе искали другого, и онъ летѣлъ на крыльяхъ фантазіи, чрезъ пропасти, горы, океаны, переходимые и переплываемые толпой мужественно и терпѣливо. Онъ и знаніе—не зналъ, а какъ будто видѣлъ его у себя въ воображеніи, какъ въ зеркалѣ, готовымъ, чувствовалъ его и этимъ довольствовался; а узнавать ему было скучно, онъ отталкивалъ наскучившій предметъ прочь, отыскивая вокругъ новаго, живого, поразительнаго, чтобъ въ немъ самомъ все играло, билось, трепетало и отзывалось жизнью на жизнь. Вокругъ его не было никого, кто направилъ бы эти жадные порывы любознательности въ опредѣленную колею. Въ одномъ мѣстѣ опе-

кунъ, а въ другомъ бабушка смотрѣли только,— первый, чтобъ къ нему въ положенные часы ходили учителя, или чтобъ онъ не пропускалъ уроковъ въ школѣ; а вторая, чтобъ онъ былъ здоровъ, имѣлъ аппетитъ и сонъ, да чтобъ одѣтъ онъ былъ чисто, держалъ себя опрятно, и чтобъ, какъ слѣдуетъ благовоспитанному мальчику, «не связывался со всякой дрянью». А что онъ читалъ тамъ, какія книги, въ это не входили, и бабушка отдала ему ключи отъ отцовской библіотеки въ старомъ домѣ, куда онъ запирался, читая попеременно то Спинозу, то романъ Коттень, то св. Августина, а завтра вытащить Вольтера, или Парни, даже Боккаччіо.

Искусства дались ему лучше наукъ. Правда, онъ и тутъ затѣялъ пустяки: учитель недѣли на двѣ посадилъ весь классъ рисовать зрочки, а онъ не утерпѣлъ, придѣлалъ къ зрачку носъ, и даже пачаль было тушевать усы, но учитель засталъ его, и сначала дернулъ за вихорь, потомъ, взглянувъшись сказалъ: — «Гдѣ ты учился?» — Нигдѣ, — былъ отвѣтъ. — «А хорошо, братъ, только видишь, что значить впередъ забѣгать: лобъ и носъ — хоть куда, а ухо вонъ гдѣ посадилъ, да и волосы точно мочала выпили». Но Райскій торжествовалъ: — «хорошо, братъ: лобъ и носъ, хоть куда!» — было для него лавровымъ вѣянкомъ. Онъ гордо ходилъ одинъ по двору, въ сознаніи, что онъ лучше всѣхъ, до тѣхъ поръ, пока на другой день публично не оскрамился въ «серьезныхъ предметахъ».

Но къ рисованью онъ пристрастился, и черезъ

мѣсяцъ послѣ «зрачковъ», копироваль кудряваго мальчика, потомъ голову Фипгала. Завѣтной мечтой его была женская головка, висѣвшая въ квартирѣ учителя. Она поникла немного къ плечу и смотрѣла томно, задумчиво вдаль. — «Позвольте мнѣ вотъ съ этой нарисовать копію!» — робко, нѣжно звучащимъ голосомъ дѣвочки и съ нервной дрожью верхней губы просилъ оцъ учителя. — «А если стекло разобьешь?» — сказалъ учитель, однако далъ ему головку. Борисъ былъ счастливъ. Когда онъ приходилъ къ учителю, у него всякій разъ юкало сердце при взглядѣ на головку. И вотъ она у него, онъ рисуетъ съ нея. Въ эту педѣлю ни одинъ серьезный учитель ничего отъ него не добился. Онъ сидитъ въ своемъ углу, рисуетъ, стираетъ, тушуетъ, опять стираетъ, или молча задумается; въ зрачкѣ ляжетъ синева, и глаза покроются будто туманомъ, только губы едва, едва замѣтно шевелятся, и въ нихъ переливается розовая влага. На ночь онъ уносилъ рисунокъ въ дортуаръ, и однажды, вглядываясь въ эти нѣжные глаза, слѣдя за линіей наклоненной шеи, онъ вздрогнулъ, у него сдѣлалось такое замиранье въ груди, такъ захватило ему дыханье, что онъ въ забытіи, съ закрытыми глазами и невольнымъ, чуть сдержаннымъ стономъ, прижалъ рисунокъ обѣими руками къ тому мѣсту, гдѣ было такъ тяжело дышать. Стекло хрустнуло и со звономъ полетѣло на полъ...

Нарисовать эту головку, онъ уже не зналъ предѣла гордости. Рисунокъ его выставленъ съ рисун-

ками старшаго класса на публичномъ экзаменѣ, и учитель мало поправлялъ, только кое-гдѣ слабыя мѣста покрылъ крупными, крѣпкими штрихами, точно желѣзной рѣшеткой, да въ волосахъ прибавилъ три, четыре черныя полосы, сдѣлать по точкѣ въ каждомъ глазу—и глаза вдругъ стали смотрѣть точно живые. «Какъ это онъ? и отчего такъ у него вышло живо, смѣло, прочно?»—думалъ Райскій, зорко вглядываясь и въ штрихи и въ точки, особенно въ двѣ точки, отъ которыхъ глаза вдругъ ожили. И много ставилъ онъ потомъ штриховъ и точекъ, все хотѣлъ схватить эту жизнь, огонь и силу, какая была въ штрихахъ и полосахъ, такъ крѣпко и увѣренно начерченныхъ учителемъ. Иногда онъ будто и ловилъ эту тайну, и опять ускользала она у него. Но чертить зрачки, носы, линіи лба, ушей и рукъ по сту разъ—ему было до смерти скучно. Онъ рисуетъ глаза кое-какъ, но заботится лишь о томъ, чтобы въ нихъ повторились учительскія точки, чтобъ они смотрѣли точно живые. А не удастся, онъ броситъ все, уныло облокотится на столъ, склонить на локоть голову и осѣдлаетъ своего любимаго коня, фантазію, или конь осѣдлаетъ его; и мчится онъ въ пространствѣ, среди своихъ міровъ и образовъ.

Упиваясь легкимъ успѣхомъ, онъ гордо ходитъ:— «талантъ, талантъ!» звучало у него въ ушахъ. Но вскорѣ всѣ уже знали, какъ онъ рисуетъ, перестали ахать, и онъ привыкъ къ успѣху. Въ деревнѣ онъ опять пристрастился-было къ рисованію, дѣлалъ

портреты съ горничныхъ, съ кучера, потомъ съ деревенскихъ мужиковъ. Полоумную Феклушу нарисовалъ въ пещерѣ, очень удачно освѣтивъ одно лицо и разбросанные волосы, корпусъ же скрывался во мракѣ: ни терѣнья, ни умѣнья не хватило у него додѣлывать руки, ноги и корпусъ. И какъ цѣлое утро высидѣть, когда солнце такъ весело и щедро льетъ лучи на лугъ и рѣку... Вонъ, никакъ, отъ сосѣдей скачеть человѣкъ, вѣрно танцовать будутъ... Дня черезъ три картина блѣднѣла, и въ воображеніи тѣснился уже другая. Хотѣлось бы нарисовать хороводъ, тутъ же пьянаго старика и проѣзжую тройку. Опять дня два носится онъ съ картиной: она какъ живая у него. Онъ бы нарисовалъ мужика и бабъ, да тройку не сдумаетъ: лошадей «не проходили въ классѣ». Черезъ недѣлю и эта картина забывалась и снова замѣнялась другою...

Музыку онъ любилъ до опьянѣнія. Въ училищѣ, тупой, презираемый первыми учениками мальчикъ Васюковъ былъ предметомъ постоянной нѣжности Райскаго. Всѣ бывало дергаютъ за уши Васюкова: «пошелъ прочь, дуракъ, дубина», только и слышать онъ; лишь Райскій глядитъ на него съ умиленіемъ, потому только, что Васюковъ, ни къ чему невнимательный, сонный, вялый, даже у всѣми любимаго русскаго учителя не выучившій никогда ни одного урока, — каждый день послѣ обѣда бралъ свою скрипку и, положивъ на нее подбородокъ, водилъ смычкомъ, забывая школу, учителей, щелчки. Глаза его ничего не видали передъ собой, а смо-

трѣли куда-то въ другое мѣсто, далеко, и тамъ онъ будто видѣлъ что-то особенное, таинственное. Глаза его становились дики, суровы, а иногда точно плакали. Противъ него садился Райскій и съ удивленіемъ глядѣлъ на лице Васюкова, слѣдилъ какъ, пока еще съ тупымъ взглядомъ, достаетъ онъ скрипку, вяло беретъ смычекъ, намажетъ его канифолью, потомъ сначала пальцемъ тронетъ струны, повинтитъ винты, опять тронетъ, потомъ поведетъ смычкомъ—и все еще глядитъ сонно. Но вотъ заигралъ и проснулся и улетѣлъ куда-то. Васюкова нѣтъ, явился кто-то другой. Зрачки у него расширяются, глаза не мигаютъ больше, а все дѣлаются прозрачнѣе, свѣтлѣе, глубже, и смотрятъ гордо, умно, грудь дышетъ медленно и тяжело. По лицу бродитъ нѣга, счастье, кожа становится нѣжнѣе, глаза синѣютъ и льютъ лучи: — онъ сталъ прекрасенъ. Райскій началъ мысленно глядѣть, куда глядитъ Васюковъ, и видѣть что онъ видитъ. Не стало никого вокругъ: ни учениковъ, ни скамей, ни шкафовъ. Все это закрылось точно туманомъ. Послѣ нѣсколькихъ звуковъ, открывалось глубокое пространство, тамъ являлся движущійся міръ, какіе-то волны, корабли, люди, лѣса, облака, — все будто плыло и несло мимо его въ воздушномъ пространствѣ. И онъ, казалось ему, все росъ выше, у него занимало духъ, его будто щекотали, или купался онъ... И сонъ этотъ длился, пока длились звуки. Вдругъ стукъ, крикъ, толчокъ какой-нибудь будиль его, будиль Васюкова. Звуковъ нѣтъ, міры пропали,

онъ просыпался: кругомъ—ученики, скамьи, столы—и Васюковъ укладываетъ скрипку, кто-нибудь дергаетъ его ужъ за ухо, Райскій съ яростью бросается бить забіяку, а потомъ долго ходитъ задумчивый. Нервы поютъ ему какіе-то гимны, въ немъ плещется жизнь, какъ море, и мысли, чувства, какъ волны переливаются, сталкиваются и несутся куда-то, бросаютъ кругомъ брызги и пѣну. Въ звукахъ этихъ онъ слышитъ что-то знакомое; носится передъ нимъ какое-то воспоминаніе, будто тѣнь женщины, которая держала его у себя на колѣняхъ. Онъ роется въ памяти и смутно дорывается, что держала его когда-то мать, и онъ, прижавшись щекой къ ея груди, слѣдилъ, какъ она перебирала пальцами клавиши, какъ носились плачущіе или рѣзвые звуки, слышалъ, какъ билось у ней въ груди сердце. Фигура женщины яснѣе и яснѣе оживала въ памяти, какъ будто она вставала въ эти минуты изъ могилы и являлась точно живая. Онъ помнитъ, какъ, послѣ музыки, она всю дрожь наслажденія сосредоточивала въ горячемъ поцѣлуѣ ему. Помнитъ, какъ она толковала ему картины: кто этотъ старикъ съ лирою, котораго пѣмѣя слушаетъ гордый царь, боясь пошевелиться, — кто эта женщина, которую гладутъ на плаху. Потомъ помнитъ онъ, какъ она водила его на Волгу, какъ по цѣлымъ часамъ сидѣла, глядя вдаль, или указывала ему на гору, освѣщенную солнцемъ, на кучу темной зелени, на плывущія суда. Онъ смотритъ, какъ она неподвижно глядѣла, какъ у ней тогда глаза были прозрачны,

глубоки, хороши... «точно у Васюкова», думалъ онъ. Стало быть, и она видѣла въ этой зелени, въ теченіи рѣки, въ сипемъ небѣ тоже, что Васюковъ видитъ, когда играетъ на скрипкѣ... Какія-то горы, моря, облака... «И я вижу ихъ!»...

Заиграетъ-ли женщина на фортепіано, гувернантка у сосѣдей, Райскій бѣжалъ-было передъ этимъ удить рыбу,—но раздались звуки, и онъ замиралъ на мѣстѣ, разинувъ ротъ, и прятался за стуломъ играющей. Его не стало, онъ куда-то пропалъ, опять его несетъ кто-то по воздуху, опять онъ растеть, въ него льется сила, онъ въ состояніи поднять и поддержать сводъ, какъ тотъ, котораго Гераклъ смѣнилъ. Звуки почти до боли ударяють его по груди, проникають до мозга—у него уже мокрые волосы, глаза... Вдругъ звуки умолкли, онъ очнется, застыдится и убѣжитъ.

Онъ сталъ-было учиться, сначала на скрипкѣ у Васюкова,—но вотъ уже недѣлю водить смычкомъ взадъ и впередъ: *a, c, g*, тянетъ за нимъ Васюковъ, а смычекъ деретъ ему уши. То захватить онъ двѣ струны разомъ, то рука дрожитъ отъ слабости:—пѣтъ! Когда же Васюковъ заиграетъ—точно по маслу рука ходитъ. Двѣ недѣли прошло, а онъ забудетъ то тотъ, то другой палець. Ученики бранятся:—«пу, васъ къ чорту!» говоритъ первый ученикъ: «тутъ серьезнымъ дѣломъ заниматься надо, а они пилать!» Райскій бросилъ скрипку и сталъ просить опекуна учить его на фортепіано. «На фортепіано легче, скорѣй», думалъ онъ. Тотъ нанялъ ему

пѣмца, но однакожъ рѣшился поговорить съ нимъ серьезно.

— Послушай, Борисъ—начать онъ—къ чему ты готовишь себя, я давно хотѣлъ спросить тебя?

Райскій не понялъ вопроса и молчалъ.

— Тебѣ шестнадцатый годъ, продолжалъ опекунъ, пора о дѣлѣ подумать, а ты до сихъ поръ, какъ я вижу, еще не подумалъ, по какой части пойдешь въ университетъ и въ службѣ. По военной трудно: у тебя небольшое состояніе, а служить ты по своей фамиліи долженъ въ гвардіи.

Райскій молчалъ и смотрѣлъ въ окно, какъ пѣтухи дерутся, какъ свинья роется въ навозѣ, какъ кошка подкрадывается къ голубю.

— Я тебѣ о дѣлѣ, а ты вонъ куда глядишь! Къ чему ты готовишься?

— Я, дядюшка, готовлюсь въ артисты.

— Что-о?

— Художникомъ быть хочу, подтвердилъ Райскій.

— Чортъ знаетъ, что выдумалъ! Кто-жь тебя пустить? Ты знаешь ли, что такое артистъ? спросилъ онъ.

Райскій молчалъ.

— Артистъ—это такой человѣкъ, который, или денегъ у тебя займетъ, или навретъ такой чепухи, что на педѣлю тумана наведетъ..... Въ артисты!... Въдь это, продолжалъ онъ, значитъ безпутное, цыганское житье, адская бѣдность въ деньгахъ, въ платьѣ, въ обуви, и только богатство мечты! Витаютъ артисты, какъ птицы небесныя, на чердакахъ.

Видалъ я ихъ въ Петербургѣ: это тѣ хвата, что въ какихъ-то фантастическихъ костюмахъ собираются по вечерамъ лежать на диванахъ, курятъ трубки, несутъ чепуху, читаютъ стихи и пьютъ много вод и, а потомъ объявляютъ, что они артисты. Они нечесаны, неопрятны...

— Я слыхалъ, дядюшка, что художники теперь въ большомъ уваженіи. Вы, можетъ быть, старое время вспоминаете. Изъ академіи выходятъ знаменитые люди...

— Я не очень старъ и видѣлъ свѣтъ, возразилъ дядя:—ты слыхалъ, что звонятъ, да не знаешь на какой колокольнѣ. Знаменитые люди! Есть артисты, и лекаря есть тоже знаменитые люди: а когда они знаменитыми дѣлаются, спроси-ка? Когда въ службѣ состоятъ и дойдутъ до тайнаго совѣтни а! Соборъ выстроить, или монументъ на площади поставить—вотъ его и пожалуютъ! А начинаютъ они отъ бѣдности, изъ куска хлѣба—спроси: все большею частью вольноотпущенные, мѣщане, или иностранцы, даже жида. Ихъ неволя гонитъ въ художники, вотъ они и напираютъ на искусство. А ты—Гайскій! У тебя земля и готовый хлѣбъ. Конечно, для общества почему не имѣть пріятныхъ талантовъ: сыграть на фортепіано, нарисовать что нибудь въ альбомъ, спѣть романсъ?... Вотъ я тебѣ и нѣмца нанялъ. Но быть артистомъ по профессіи—что за блажь! Слыхалъ ли ты когда-нибудь, чтобъ нарисовалъ картину какой-нибудь князь, графъ, или статую слѣпилъ старый дворянинъ... нѣтъ: отъ чего это?...

— А Рубенсъ? вдругъ перебилъ Райскій: — онъ былъ придворный, посланникъ...

— Куда хватилъ: это лѣтъ двѣсти назадъ! сказалъ опекунъ: тамъ, у нѣмцевъ.... А ты поступишь въ университетъ, въ юридическій факультетъ, потомъ служи въ Петербургѣ, учишь дѣлу, добивайся прокурорскаго мѣста, а родня выведетъ тебя въ камеръ-юнкеры.. И если не будешь дремать, то съ твоимъ именемъ и родствомъ тридцати лѣтъ будешь губернаторомъ. Вотъ твоя карьера! Но вотъ бѣда, я не вижу, чтобъ у тебя было что-нибудь серьезное на умѣ: удишь съ мальчишками рыбу, вонъ болото парисоваль, пьянаго мужика у кабака... Ходишь по полямъ и въ лѣсъ, а хоть бы разъ спросилъ мужика, какой хлѣбъ когда сѣютъ, почему продаютъ?... ничего! И хозяина не общаешь!

Дядя вздохнулъ, и Райскій приунылъ: дядино поученье безотрадно подѣйствовало только на его нервы.

Учитель нѣмецъ, какъ Васюковъ, прежде всего исковеркалъ ему руки и началъ притопывать ногой и папѣвать, слѣдя за каждымъ ударомъ по клавишѣ: а-а-у-у-о-о. Только совѣстясь опекуна, не бросалъ Райскій этой пытки и кое-какъ въ нѣсколько мѣсяцевъ удалось ему сладить съ первыми шагами. И то онъ все капризничалъ: то игралъ не тѣмъ пальцемъ, которымъ требовалъ учитель, а какимъ казалось ему ловчѣе, не хотѣлъ играть гаммъ; а ловилъ ухомъ мотивы, какіе западутъ въ голову, и бывалъ счастливъ, когда удавалось ему

уловить ту же экспрессию или силу, какую слышалъ у кого-нибудь и поразился ею, какъ прежде поразился штрихами и точками учителя. А съ нотами онъ не дружился, не проходилъ постепенно одну за другою запыленные, пожелтѣвшія, приносимыя учителемъ тетради музыкальной школы. Но часто онъ задумывался, слушая свою игру, и мурашки бѣгали у него по спинѣ. Вдалекѣ видѣлась уже ему наполненная зала, и онъ своей игрой потрясалъ стѣны и сердца знатоковъ. Женщины съ горящими щеками слушали его, и его лице горѣло стыдливымъ торжествомъ... Онъ тихонько утиралъ слезы, катившіяся по щекамъ, горѣлъ, млѣлъ отъ своей мечты. Когда наконецъ онъ одолѣлъ, съ грѣхомъ пополамъ, первые шаги, пальцы играли уже что-то свое, играли они ему эту, кажется, залу, этихъ женщинъ, и трепеть похвалъ, а трудной школы не играли. Скоро онъ перегналъ розовенькихъ уѣздныхъ барышень и изумлялъ ихъ силою и смѣлостью игры, пальцы бѣгали свободно и одушевленно. Онѣ еще сидятъ на аюкомъ-то допотопномъ рондо, да на сонатахъ въ четыре руки, а онъ перескочилъ черезъ школу и черезъ сонаты, сначала на кадрили, на марши, а потомъ на оперы, проходя курсъ по своей программѣ, продиктованной воображеніемъ и слухомъ. Онъ услышитъ оркестръ, затвердить то, что увлекло его, и повторяетъ мотивы, упиваясь удивленіемъ барышень: онъ былъ первый, лучше всѣхъ; пѣмецъ говорить, что способности у него быстрыя, удивительныя, по

лѣнь еще удивительнѣе. Но это не бѣда: лѣнь, небрежность какъ-то къ лицу артистамъ. Да еще кто-то сказалъ ему, что при талантѣ не нужно много и работать, что работаютъ только бездарные, чтобы вымучить себѣ кропотливо жалкое подобіе могучаго и всепобѣднаго дара природы — таланта.

VI.

Райскій вышелъ изъ гимназіи, вступилъ въ университетъ и въ одно лѣто поѣхалъ на каникулы къ своей двоюродной бабушкѣ, Татьянѣ Марковнѣ Бережковой. Бабушка эта жила въ родовомъ маленькомъ имѣніи, доставшемся Борису отъ матери. Оно все состояло изъ небольшой земли, лежащей вплоть у города, отъ котораго отдѣлялось полемъ и слободой близъ Волги, изъ пятидесяти душъ крестьянъ, да изъ двухъ домовъ — одного каменнаго, оставленнаго и запущеннаго, и другого деревяннаго домика, выстроеннаго его отцомъ, и въ этомъ-то домикѣ и жила Татьяна Марковна, съ двумя, тоже двоюродными, внучками-сиротами, дѣвочками по седьмому и шестому году, оставленными ей двоюродной племянницей, которую она любила какъ дочь. У бабушки былъ свой капиталъ, выдѣленный ей изъ семьи, своя родовая деревенька; она осталась дѣвушкой, и послѣ смерти отца и матери Райскаго,

ея племянника и племянницы, поселилась въ этомъ маленькомъ имѣньицѣ. Она управляла имъ, какъ маленькимъ царствомъ, мудро, экономно, кропотливо, но деспотически и на феодальныхъ началахъ. Опекуну она не давала сунуть носа въ ея дѣла и, не признавая никакихъ документовъ, бумагъ, записей и актовъ, поддерживала порядокъ, бывшій при послѣднихъ владѣльцахъ, и отзывалась въ отвѣтъ на письма опекуна, что всѣ акты, записи и документы записаны у ней на совѣсти, и она отдастъ отчетъ внуку, когда онъ вырастетъ, а до тѣхъ поръ, по словесному завѣщанію отца и матери его, она полная хозяйка. Тотъ пожалъ плечами и махнулъ рукой, потому-что имѣніе небольшое, да и въ рукахъ такой хозяйки, какъ бабушка, лучше сбережется. Къ ней-то пріѣхалъ Райскій, вступивъ въ университетъ — побывать и проститься, можетъ быть, надолго.

Какой эдемъ распахнулся ему въ этомъ уголкѣ, откуда его увезли въ дѣтствѣ, и гдѣ потомъ онъ гостилъ мальчикомъ иногда, въ лѣтніе ганикулы. Какіе виды кругомъ — каждое окно въ домѣ было рамой своей особенной картины! Съ одной стороны Волга съ крутыми берегами и Затолъемъ; съ другой — широкія поля, обработанныя и пустыя, овраги, и все это замыкалось далью синѣвшихъ горъ. Съ третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздухъ свѣжій, прохладный, отъ котораго, какъ отъ лѣтняго купанья, пробѣгаетъ по тѣлу дрожь бодрости.

Домъ весь былъ окруженъ этими видами, этимъ воздухомъ, да полями, да садомъ. Садъ обширный около обоихъ домовъ, содержавшійся въ порядкѣ, съ темными аллеями, бесѣдкой и скамьями. Чѣмъ далѣе отъ домовъ, тѣмъ садъ былъ запущеннѣе. Подлѣ огромнаго развѣсистаго вяза, съ сгнившей скамьей, толпились вишни и яблони; тамъ рябина; тамъ шла кучка липъ, хотѣла-было образовать аллею, да вдругъ ушла въ лѣсъ и братски перепуталась съ ельникомъ, березнякомъ. И вдругъ все кончалось обрывомъ, поросшимъ кустами, идущими почти на полверсты берегомъ до Волги. Подлѣ сада, ближе къ дому, лежали огороды. Тамъ капуста, рѣпа, морковь, петрушка, огурцы, потомъ громадныя тыквы, а въ парникѣ арбузы и дыни. Подсолнечники и макъ, въ этой массѣ зелени, дѣлали яркія, бросающіяся въ глаза, пятна; около тычинокъ вились турецкіе бобы. Передъ окнами маленькаго домика нестрѣлъ на солнцѣ большой цвѣтникъ, изъ котораго вела дверь во дворъ, а другая, стеклянная дверь, съ большимъ балкономъ, въ родѣ веранды, въ деревянный, жилой домъ. Татьяна Марковна любила видѣть открытое мѣсто передъ глазами, чтобъ не походило на трущобу, чтобъ было солнышко, да пахло цвѣтами.

Съ другой стороны дома, обращенной къ дворамъ, ей было видно все, что дѣлается на большомъ дворѣ, въ людской, въ кухнѣ, на сѣновалѣ, въ конюшнѣ, въ погребехъ. Все это было у ней передъ глазами, какъ на ладони.

Одинъ только старый домъ стоялъ въ глубинѣ двора, какъ бѣльмо на глазу, мрачный, почти всегда въ тѣни, сѣрый, полинявшій, мѣстами съ забитыми окнами, съ поросшимъ травой крыльцомъ, съ тяжелыми дверьми, замкнутыми тяжелыми же задвижками; но прочно и массивно выстроенный. Зато на маленькій домикъ съ утра до вечера жарко лились лучи солнца, деревья отступили отъ него, чтобъ дать ему простора и воздуха. Только цвѣтникъ, какъ гирлянда, обвивалъ его со стороны сада, и махровыя розы, даліи и другіе цвѣты такъ и просились въ окна. Окола дома вились ласточки, свившія гнѣзда на кровлѣ; въ саду и рождѣ водились малиновки, иволги, чижи и щеглы, а по ночамъ щолкали соловьи. Дворъ былъ полонъ всякой домашней птицы, разношерстныхъ собакъ. Утромъ уходили въ поле и возвращались къ вечеру коровы и козель съ двумя подругами. Нѣсколько лошадей стояли почти праздно въ конюшняхъ. Надъ цвѣтами около дома рѣяли пчелы, шмели, стрекозы, трепетали на солнышкѣ крыльями бабочки, по уголкамъ жались, грѣясь на солнышкѣ, кошки, котята.

Въ домѣ такая радость и миръ жили! Чего тамъ не было? Комнатки маленькія, но уютныя, съ старинной, взятой изъ большого дома мебелью дѣдовъ, дядей, и съ улыбавшимися портретами отца и матери Райскаго, и также родителей двухъ оставшихся на рукахъ у Бережковой дѣвочекъ-малютокъ. Полы были выкрашены, патерты воскомъ и устланы клеенками; печи обложены пестрыми, старинными, тоже

взятыми изъ дома, изразцами. Шкапы биткомъ набиты старой, дрожавшей отъ шаговъ, посудой и звенѣвшимъ серебромъ. На виду красовались старинныя саксонскія чашки, пастушки; маркизы, китайскіе уродцы, бочкообразные чайники, сахарницы, тяжелыя ложки. Кругленькіе стулья, съ мѣдными ободочками и съ деревянной мозаикой столы, столики, жались по уютнымъ уголкамъ. Въ кабинетѣ Татьяны Марковны стояло старинное, тоже окованное бронзой и украшенное рѣзбой, бюро съ зеркаломъ, съ урнами, съ лирами, съ геніями. Но бабушка завѣсила зеркало: «мѣшаетъ писать, когда видишь свою рожеу напротивъ», говорила она. Еще тамъ былъ круглый столъ, на которомъ она обѣдала, пила чай и кофе, да довольно-жесткое, обитое кожей старинное же кресло, съ высокой спинкой рококо. Бабушка, по воспитанію, была стараго вѣка и разваливаться не любила, а держала себя прямо, съ свободной простотой, но и съ сдержаннымъ приличіемъ въ манерахъ, и ногъ подъ себя, какъ дѣлаютъ нынѣшнія барыни, не поджимала: «это стыдно женщинѣ», говорила она. Какой она красавицей показалась Борису, и въ-самомъ-дѣлѣ была красавица.

Высокая, не полная и не сухощавая, но живая старушка... даже не старушка, а лѣтъ около пятидесяти женщина, съ черными, живыми глазами и такой доброй и граціозной улыбкой, что когда и разсердится и засверкаетъ гроза въ глазахъ, такъ за этой грозой опять видно чистое небо. Надъ губами маленькіе усики; на лѣвой щекѣ, ближе

къ подбородку, родимое пятно съ густымъ кустикомъ волосъ. Это придавало лицу ея еще какой-то штрихъ доброты. Она стригла сѣдые волосы и ходила дома по двору и по саду съ открытой головой, а въ праздникъ и при гостяхъ надѣвала чепецъ; но чепецъ держался чуть-чуть на маковкѣ, не шель ей и какъ-будто готовъ былъ каждую минуту слетѣть съ головы. Она и сама, просидѣвъ пять минутъ съ гостемъ, извинится и сниметъ. До полудня она ходила въ широкой бѣлой блузѣ, съ поясомъ и большими карманами, а послѣ полудня надѣвала коричневое, по большимъ праздникамъ свѣтлое, точно серебрянное, едва-гнувшееся и шумящее платье, а на плечи накидывала старинную шаль, которая вынималась и выкладывалась одной только Василисой. — «Дядя Иванъ Кузьмичъ съ Востока вывезъ, триста червонныхъ заплатилъ: теперь этакой ни за какія деньги не отыщешь!» хвасталась она.

На поясѣ и въ карманахъ висѣло и лежало множество ключей, такъ что бабушку, какъ гремучую змѣю, можно было слышать издали, когда она идетъ по двору или по саду. Кучера при этомъ звукѣ быстро прятали трубки за сапоги, потому-что она больше всего на свѣтѣ боялась пожара, и куренье табаку относилась — по этой причинѣ — къ большимъ порокамъ. Повара и кухарки, тоже слышавъ звонъ ключей, принимались — за ножъ, за уполовникъ или за метлу, а Кирюшка быстро отскакивалъ отъ Матрены къ воротамъ, а Матрена шла уже въ хлѣвъ, будто черезъ силу тащила корытцо, прежде нежели

бабушка появилась. Въ домѣ, слышавъ звонъ ключей возвращавшейся со двора барыни, Машутка проворно сдергивала съ себя грязный фартукъ, утирала чѣмъ попало, иногда барскимъ платкомъ, а иногда тряпкой, руки. Поплевавъ на нихъ, она крѣпко приглаживала сухія, непокорныя косички, потомъ постилала тончайшую, чистую скатерть на круглый столъ, и Василиса, молчаливая, серьезная женщина, ровесница барыни, не то что полная, а рыхлая и выцвѣтшая тѣломъ женщина, отъ вѣчнаго сидѣнья въ комнатѣ, несла кипящій серебрянный кофейный сервизъ. Машутка становилась въ уголъ, подальше, всегда прячась отъ барыни въ тѣни и стараясь притвориться опрятной. Барыня требовала этого, а Машуткѣ какъ-то неловко было держать себя въ чистотѣ. Чисто-вымытыми руками она не такъ цѣлко беретъ вещь въ руки и того-гляди уронить; самоваръ или чашки скользятъ изъ рукъ; въ чистомъ платьѣ тоже несвободно ходить. Когда ей велятъ причесаться, вымыться и одѣться въ воскресенье, такъ она, по словамъ ея, точно въ мѣшокъ зашита цѣлый день. Она, кажется, только тогда и была счастлива, когда вся вымажется, растреплется отъ натиранья половъ, мытья оконъ, посуды, дверей, когда лицо, голова сдѣлаются неузнаваемы, а руки до того выпачканы, что если понадобится почесать носъ или бровь, такъ она прибѣгаетъ къ локтю. Василиса, напротивъ, была чопорная, важная, вѣчно шепчущая, и одна во всей дворнѣ, только опрятная женщина. Она съ ранней юности посту-

пила на службу къ барынѣ, въ качествѣ горничной, не разставалась съ ней, знаетъ всю ея жизнь и теперь живетъ у нея, какъ экономка и довѣренная женщина. Онѣ говорили между собой односложными словами. Бабушкѣ почти не нужно было отдавать приказаній Василисѣ: она сама знала все, что надо дѣлать. А если надобилось что-нибудь экстренное, бабушка не требовала, а какъ-будто совѣтовала сдѣлать то или другое. Просить бабушка не могла своихъ подчиненныхъ: это было не въ ея феодальной натурѣ. Человѣкъ, лакей, слуга, дѣвка — все это навсегда, несмотря ни на что, оставалось для нея человѣкомъ, лакеемъ, слугой и дѣвкой. Личнымъ приказомъ она удостоивала немногихъ: по домашнему хозяйству Василисѣ отдавала ихъ, а по деревенскому — прикащику или старостѣ. Кромѣ Василисы, никого она не называла полнымъ именемъ, развѣ уже встрѣтится такое имя, что его никакъ не сожмешь и не обрѣжешь; напримѣръ, мужики: Оерапонтъ и Пантелеймонъ такъ и назывались Оерапонтомъ и Пантелеймономъ, да старосту звала она Степанъ Васильевъ, а прочіе воѣ были: Матрешка, Машутка, Егорка и т. д. Если же кого-нибудь называла по имени и по отчеству, такъ тотъ зналъ, что надъ нимъ собралась гроза: — «Подика сюда, Егоръ Прохорычъ, ты куда это вчера пропалъ цѣлый день?» или «Семенъ Васильичъ, ты, кажется, вчера изволилъ трубочку покуривать насѣновалѣ? смотри у меня!» Она грозила пальцемъ, и иногда ночью вставала посмотреть въ окно,

не вспыхиваетъ ли огонекъ въ трубкѣ, не ходить ли кто съ фонаремъ по двору или въ сараѣ?

Различія между «людьми» и господами никогда и ничто не могло истребить. Она была въ мѣру строга, въ мѣру снисходительна, человѣколюбива, но все въ размѣрахъ барскихъ понятій. Даже когда являлся у Ирины, Матрены, или другой дворовой дѣвки, непривилегированный ребенокъ, она выслушаетъ донесеніе объ этомъ молча, съ видомъ оскорбленнаго достоинства; потомъ велитъ Василисѣ дать чего тамъ нужно, съ презрѣніемъ глядя въ сторону, и только скажетъ: «Чтобъ я ее не видала, негодяйку!» Матрена и Ирина, оправившись, съ мѣсяцъ прятались отъ барыни, а потомъ опять ничего, а ребенокъ отправлялся «на село». Заболѣетъ ли кто-нибудь изъ людей — Татьяна Марковна вставала даже ночью, посылала ему спирту, мази, но отсылала на другой день въ больницу, а больше къ Меланхолихѣ, но доктора не звала. Между-тѣмъ, чуть у которой-нибудь внучки язычекъ зачешется или брюшко немного вспучить, Кирюшка или Власть скакали, болтая локтями и ногами, на неосѣдланной лошади, въ городъ, за докторомъ.

«Меланхолихой» звали какую-то бабу въ городской слободѣ, которая простыми средствами лечила «людей» и снимала недуги какъ рукой. Бывало, послѣ ея леченья, много скоробить на весь вѣкъ въ три погибели, или другой перестанетъ говорить своимъ голосомъ, а только кричать потомъ всю жизнь; кто-нибудь воротится отъ нея безъ глаза

или безъ челюсти — а все же боль проходила, и мужикъ или баба работали опять. Этого было довольно и больнымъ, и лекаркѣ, а помѣщику и по-давно. Такъ какъ Меланхолиха практиковала только надъ крѣпостными людьми и мѣщанами, то врачебное управленіе не обращало на нее вниманія.

Кормила Татьяна Марковна людей сытно, плотно, до отвала, щами, кашей, по праздникамъ пирогами и бараниной; въ Рождество жарили гусей и свиней; по нѣжностей въ ихъ столѣ и платьѣ не допускала, а давала, въ видѣ милости, остатки отъ своего стола то той, то другой женщинѣ. Чай и кофе пила, непосредственно послѣ барыни, Василиса, потомъ горничныя и пожилой Яковъ. Кучерамъ, дворовымъ мужикамъ и старостѣ въ праздники подносили по стакану вина, ради ихъ тяжелой работы.

Когда утромъ убирали со стола кофе, въ комнату вваливалась здоровая баба, съ необъятными, красными щеками и вѣчно-смѣющимся — хоть бей ее — ртомъ: это нянька внучекъ, Вѣрочки и Марейиньки. За ней входила лѣтъ двѣнадцати дѣвчонка, ея помощница. Приводили дѣтей завтракать въ комнату къ бабушкѣ.

— Ну, птички мои, ну, что? говорила бабушка, всегда затрудняясь, которую прежде поцѣловать: — ну, что, Вѣрочка? вотъ умница: причесалась.

— И я, бабенъка, и я! кричала Марейпъка.

— Что это у Марейиньки глазки красны? не плакала ли во снѣ? заботливо спрашивала она у няни: —

не солнышко ли нажгло? Закрыты ли у тебя запа-
вѣски? Смотри, вѣдь, ты розиня! Я уже посмотрю.

Еще въ дѣвичьей сидѣли три-четыре молодя гор-
ничныя, которыя цѣлый день, не разгибаясь, что-
нибудь шили, или плели кружева, потому что ба-
бушка не могла видѣть человѣка безъ дѣла—да въ
передней праздно сидѣть, вмѣстѣ съ мальчишкой
лѣтъ шестнадцати, Егоркой-зубоскаломъ, задумчи-
вый Яковъ и еще два-три лакея, на помощь ему,
ничего недѣлавшіе и часто мѣнявшіеся. И самъ
Яковъ только служилъ за столомъ, лѣнливо обмахива-
валъ вѣткой мухъ, лѣнливо и задумчиво мѣнялъ та-
релки и неохотникъ былъ говорить. Когда и ба-
рыня спросить его, такъ онъ еле отвѣтитъ, какъ-
будто ему было Богъ-знаетъ какъ тяжело жить на
свѣтѣ, будто гнѣтъ какой-нибудь лежалъ на душѣ,
хотя ничего этого у него не было. Барыня назна-
чила его дворецкимъ за то только, что онъ смиренъ,
пьетъ умѣренно, т. е. мертвенки не панивается, и
не курить; притомъ онъ усерденъ къ церкви.

VIII.

Райскій засталъ бабушку за дѣтскимъ завтракомъ.
Бабушка такъ и всплеснула руками, такъ и пры-
гнула; чуть не попадали тарелки со стола.

— Проказникъ ты, Бѣрюшка! и не написалъ, на-
грязнулъ: вѣдь ты перепугалъ меня, какъ вошелъ.

Она взяла его за голову, поглядѣла съ минутой ему
въ лицо, хотѣла будто заплакать, но только сжала
голову, видно раздумала, быстро взглянула на пор-
третъ матери Райскаго и подавила вздохъ.

— Ну, ну, ну... хотѣла она сказать, спросить—
и ничего не сказала, не спросила, а только засмѣ-
лась и проворно отерла глаза платкомъ.— Мамень-
кинъ сынокъ: весь, весь въ нее! Посмотри, какая
она красавица была. Посмотри, Василиса.... Пом-
нишь? вѣдь похожъ!

Кофе, чай, булки, завтракъ, обѣдъ—все это опро-
кинулось на студента, еще стыдливаго, робкаго,
нѣжнаго юношу, съ аппетитомъ ранней молодости;
и всему онъ сдѣлалъ честь. А бабушка почти не
сводила глазъ съ него.

— Позови людей, старостѣ скажи, всѣмъ, всѣмъ:
хозяинъ, молъ, пріѣхалъ, настоящій хозяинъ, ба-
ринъ! Милости просимъ, батюшка! милости про-
симъ въ родовое гнѣздо! съ шутливо-ироническимъ
смирениемъ говорила она, поддѣлываясь подъ му-
жидкій ладъ: «не оставьте насъ своей милостью:
Татьяна Марковна насъ обижаетъ, разоряетъ, за-
ступитесь!...» Ха-ха-ха.— На тебѣ ключи, на вотъ
счета, изволь командовать, требуй отчета отъ ста-
рухи: куда все растратила, отчего избы разва-
лились?... Поди-ка, въ городѣ все Малиновкіе му-
жики подъ окошками собираются... Ха-ха-ха! А
у дядюшки-опекуна тамъ, въ новомъ имѣніи, я чаю,

мужики въ смазныхъ сапогахъ ходять, да въ красныхъ рубашкахъ; избы въ два этажа... Да что жъ ты, хозяинъ, молчишь? Что не спрашиваешь отчета? Позавтракай, а потомъ я тебѣ все покажу.

Послѣ завтрака, бабушка взяла большой зонтикъ, надѣла ботинки съ толстой подошвой, голову прикрыла полотнянымъ капоромъ и пошла показывать Борису хозяйство.

— Ну, хозяинъ, смотри же, замѣчай, и чутъ что неисправно, не давай потачки бабушкѣ. Вотъ садикъ-то, что у окошекъ, я, видишь, педавно разбила, говорила она, проходя чрезъ цвѣтникъ и направляясь къ двору:—Вѣрочка съ Марѣинькой тутъ у меня все на глазахъ играютъ, роятся въ пескѣ. На няньку надѣяться нельзя: я и вижу изъ окошка, что онѣ дѣлають. Вотъ подростутъ, цвѣтовъ не надо покупать: свои есть.

Они вошли на дворъ.

— Кирюшка, Ерѣмка, Матрѣшка! куда это всѣ спрятались? взывала бабушка, стоя посреди двора:— жарко что-ли? выдѣте сюда кто-нибудь!

Вышла Матрѣшка и доложила, что Кирюшка и Ерѣмка посланы въ село за мужиками.

— Вотъ Матрѣшка: помнишь ли ты ее? говорила бабушка.— А ты, подойди, дура, что стоишь? Поцѣлуй ручку у барина: вѣдь это внучекъ.

— Оробѣла, барыня, не смѣю! сказала Матрѣна, подходя къ барину.

Онъ стыдливо обнялъ ее.

— Это новый флигель, бабушка: его не было, сказалъ Борисъ.

— Замѣтить! Дѣ, дѣ, помнишь старый? Весь сгнилъ, щели въ полу въ ладонь, чернота, копотъ, а теперь вотъ посмотри!

Они вошли въ новый флигель. Бабушка показала ему передѣлки въ конюшняхъ, показала и лошадей, и особое отдѣленіе для птицъ, и прачешную, даже-хлѣвы.

— Старой кухни тоже нѣтъ; вотъ новая, нарочно выстроила отдѣльно, чтобъ въ дому огня не разводить, и чтобъ людямъ не тѣсно было. Теперь у всякаго и у всякой свой уголь есть, хоть маленькій, да особый. Вотъ здѣсь хлѣбъ, провизія; вотъ тутъ погребъ новый, подвалы тоже заново переделаны.

— Ты что тутъ стоишь? оборотилась она къ Матрѣнѣ:—поди скажи Егоркѣ, чтобъ онъ бѣжалъ въ село и сказалъ старостѣ, что мы сами идемъ туда.

Въ саду Татьяна Марковна отрекомендовала ему каждое дерево и кустъ, провела по аллеямъ, заглянула съ нимъ въ рощу съ горы, и наконецъ они вышли въ село. Было тепло, и озимая рожь плавно волновалась отъ тихаго, полуденнаго вѣтерка.

— Вотъ внукъ мой, Борисъ Павлычъ! сказала она старостѣ:—что, убираютъ ли сѣно, пока горячо на дворѣ? Пожалуй, дожди послѣ жары пойдутъ. Вотъ баринъ, настоящій баринъ пріѣхалъ, внукъ мой! говорила она мужикамъ. — Ты видать ли его, Гараська? Смотри же, какой онъ! А это твой, что-

ли, теленокъ во ржи, Илюшка? спрашивала при этомъ, потомъ мимоходомъ заглянула на прудъ.

— Опять на деревья бѣлье вѣшаютъ! гнѣвно замѣтила она, обратясь къ старостѣ: — я велѣла веревку протянуть. Скажи слѣпой Агашкѣ: это она все любить на иву рубашки вѣшать: сокровище! Обломаешь вѣтки!...

— Веревки такой длинной нѣтъ, сонно отозвался староста:—ужо надо въ городѣ купить...

— Что-жъ не скажешь Василисѣ: она доложила бы мнѣ. Я всякую недѣлю ѣзжу: давно бы купила.

— Я сказывалъ; да забываетъ — или говоритъ, «не стоитъ барыню тревожить».

Бабушка завязала на платкѣ узелокъ. Она любила говорить, что безъ нея ничего не сдѣлается, хотя, напримѣръ, веревку могъ купить всякій. Но Боже сохрани, чтобъ она повѣрила кому-нибудь деньги! Хотя она была нескупа, но обращалась съ деньгами съ бережливостью; передъ издержкой задумывалась, была безпокойна, даже сердита пемного; но, выдавъ разъ деньги, тотчасъ же забывала о нихъ, и даже не любила записывать; а если записывала, такъ только для того, по ея словамъ, чтобъ потомъ не забыть, куда деньги дѣла, и не испугаться. Пуще всего она не любила платить вдругъ много, большіе куши. Кромѣ крупныхъ распоряженій, у ней жизнь кишела маленькими заботами и дѣлами. То она заставитъ дѣвокъ кроить, шить, то чинить что-нибудь, то варить, чистить. «Дѣлать все самой» она называла смотрѣть, чтобъ все при ней дѣлали.

Она собственно не дотронется ни до чего, а старчески-граціозно подопретъ одной рукой бокъ, а пальцемъ другой повелительно указывать, что какъ сдѣлать, куда поставить, убрать. Звенѣвшіе ключи были отъ домашнихъ шкаповъ, сундуковъ, ларцовъ и шкатулокъ, гдѣ хранились старинное богатое бѣлье, полотна, пожелтѣвшія драгоцѣнныя кружева, брильянты, назначавшіеся внучкамъ въ приданое, а главное—деньги. Отъ чая, сахара, кофе и прочей провизіи ключи были у Василисы.

Распорядившись утромъ по хозяйству, бабушка, послѣ кофе, стоя сводила у бюро счеты, потомъ садилась у оконъ и глядѣла въ поле, слѣдила за работами, смотрѣла, что дѣлалось на дворѣ и посылала Якова или Василису, если на дворѣ дѣлалось что-нибудь не такъ, какъ ей хотѣлось. Потомъ, если нужно, ѣхала въ ряды, и заѣзжала съ визитами въ городъ, но никогда не засиживалась, а только заглянетъ минутъ на пять и сейчасъ къ другому, къ третьему, и къ обѣду домой. Не то, такъ принимала сама визиты, любила пуще всего угощать завтраками и обѣдами гостей. Еще ни одного человѣка не выпустила отъ себя, сколько ни живетъ бабушка, не напичкавъ его чѣмъ-нибудь во всякую пору, утромъ и вечеромъ.

Послѣ обѣда, бабушка, зимой, сидя у камина, часто задумчиво молчала, когда была одна. Она сидѣла безпечной барыней, въ красивой позѣ, съ средоточенной будто бы мыслью или какимъ-то глубокимъ воспоминаніемъ—и любила тогда около себя

тишину, оставаясь долго въ сумеркахъ одна. Лѣто проводила въ огородѣ и саду: здѣсь она позволяла себѣ, надѣвъ замшевыя перчатки, брать лопатку, или грабельки, или лейку въ руки, и, для здоровья, вскопаетъ грядку, полетѣть цвѣты, обчистить какой-нибудь кустъ отъ гусеницы, спиметъ паутину съ смородины и, усталая, кончить вечеръ за чаемъ, въ обществѣ Тита Никонича Ватутина, ея стариннаго и лучшаго друга, собесѣдника и совѣтника.

IX .

Титъ Никоничъ былъ джентльменъ по своей природѣ. У него было тутъ же, въ губерніи, душъ двѣсти-пятьдесятъ или триста—онъ хорошенько не зналъ, никогда въ имѣніе не заглядывалъ и предоставлялъ крестьянамъ дѣлать, что хотятъ, и платить ему оброку, сколько имъ заблагоразсудится. Никогда онъ ихъ не повѣрялъ. Возьметъ стыдливо привезенныя деньги, не считая, положить въ бюро, а мужикамъ махнетъ рукой, чтобъ ѣхали куда хотятъ. Служилъ онъ прежде въ военной службѣ. Старики помнятъ его очень красивымъ, молодымъ офицеромъ, скромнымъ, благовоспитаннымъ человекомъ, но съ смѣлымъ, открытымъ характеромъ. Въ юности онъ пріѣзжалъ не разъ къ матери, въ свое имѣніе, проводилъ время отпуска и уѣзжалъ опять, и нако-

нецъ вышелъ въ отставку, потомъ пріѣхалъ въ городъ, купилъ маленькій сѣренькій домикъ, съ тремя окнами на улицу, и свилъ себѣ тутъ вѣчное гнѣздо. Хотя онъ получилъ довольно слабое образованіе въ какомъ-то корпусѣ, но любилъ читать, а особенно по части политики и естественныхъ наукъ. Слова его, манеры, поступъ, были проникнуты какою-то мягкою стыдливостью, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, подъ этой мягкостью скрывалась увѣренность въ своемъ достоинствѣ, и никогда не высказывалась, а какъ-то видимо присутствовала въ немъ, какъ будто готовая обнаружиться, когда дойдетъ до этого необходимости. Онъ сохранялъ всегда учтивость и сдержанность въ словахъ и жестахъ, какъ бы съ кѣмъ близокъ ни былъ. И губернатору, и пріятелю, и новому лицу онъ всегда одинаково поклонится, шаркнетъ ногой и приподниметъ ее немного назадъ, соблюдая старинные фасыны вѣжливости. Передъ дамой никогда не сядетъ, и даже на улицѣ говоритъ безъ шапки, прежде всѣхъ подниметъ платокъ и подвинетъ скамеечку. Если въ домѣ есть дѣвицы, то принесетъ фунтъ конфектъ, букетъ цвѣтовъ, и старается подладить тонъ разговора подъ ихъ лѣта, занятія, склонности, сохраняя утонченнѣйшую учтивость, смѣшанную съ неизмѣнною почтительностью рыцарей стараго времени, не позволяя себѣ нескромной мысли, не только намека въ рѣчи, не являясь передъ ними иначе, какъ во фракѣ. Онъ не курилъ табаку, но не душилсѣ, не молодилсѣ, а былъ какъ-то опрятенъ, изящно-чистъ и благо-

день видомъ, манерами, обхожденіемъ. Одѣвался всегда чисто, особенно любилъ бѣлье и блисталъ, не вышивками какими-нибудь, не фасонами, а бѣлизной. Все просто на немъ, но все какъ-будто сіяетъ. Нанковые панталоны выглажены, чисты; синій фракъ, какъ съ иголочки. Ему было лѣтъ пятьдесятъ, а онъ имѣлъ видъ сорока-лѣтняго свѣтлаго, румянаго человѣка, благодаря парикъ и всегда гладко-обритому подбородку. Взглядъ и улыбка у него были такъ привѣтливы, что съ разу располагали въ его пользу. Не смотря на свои ограниченныя средства, онъ имѣлъ видъ щедраго барина: такъ легко и радушно бросалъ онъ сто рублей, какъ будто бросалъ тысячи.

Къ бабушкѣ онъ питалъ какую-то почтительную, почти благоговѣйную дружбу, но пропитанную такою теплотой, что по тому только, какъ онъ входилъ къ ней, садился, смотрѣлъ на нее, можно было заключить, что онъ любилъ ее безъ памяти. Никогда, ни въ отношеніи къ ней, ни при ней, онъ не обнаружилъ, по своему обыкновенію, признака короткости, хотя былъ ежедневнымъ ея гостемъ.

Она платила ему такой же дружбой, но въ тонѣ ее было больше живости и короткости. Она даже брала надъ нимъ верхъ, чѣмъ, конечно, была обязана бойкому своему праву. Помнившіе ее молодую, говорятъ, что она была живая, очень красивая, стройная, немного чопорная дѣвушка, и что возня съ хозяйствомъ обратила ее въ вѣчно-движущуюся и бойкую на слова женщину. Но слѣды мо-

лодости и иныхъ манеръ остались въ ней. Накинувъ шаль и задумавшись, она походила на одинъ старый женскій портретъ, бывшій въ старомъ домѣ, въ галлерей предковъ. Иногда вдругъ появлялось въ ней что-то сильное, властное, гордое: она выпрямлялась, лицо озарялось какою-то внезапною строгою или важною мыслию, какъ будто уносившею ее далеко отъ этой мелкой жизни, въ какую-то другую жизнь. Сидя одна, она иногда улыбалась такъ граціозно и мечтательно, что походила на беззаботную, богатую, избалованную барыню. Или когда, подперевъ бока рукою, или сложивъ руки крестомъ на груди, смотритъ на Волгу и забудетъ о хозяйствѣ, то въ лицѣ носится что-то грустное. Не проходило почти дня, чтобъ Титъ Никонъ не принесъ какого-нибудь подарка бабушкѣ, или внучкамъ. Въ мартѣ, когда еще о зелени не слыжатъ нигдѣ, онъ принесетъ свѣжій огурецъ, или корзиночку земляники, въ апрѣлѣ горсточку свѣжихъ грибовъ— «первую новинку». Привезутъ въ городъ апельсины, появятся персики—они первые подаются у Татьяны Марковны.

Въ городѣ прежде былъ, а потомъ замолкъ, за давностію, слухъ о томъ, какъ Титъ Никонъ, въ молодости, пріѣхалъ въ городъ, влюбился въ Татьяну Марковну, и Татьяна Марковна въ него. Но родители не согласились на бракъ, а назначали ей въ женихи кого-то другого. Она, въ свою очередь, не согласилась и осталась дѣвушкой.

Правда-ли это, нѣтъ-ли—знали только они сами.

Но правда то, что онъ ежедневно являлся къ ней, или къ обѣду, или вечеромъ, и тамъ кончалъ свой день. Къ этому всѣ привыкли, и дальнѣйшихъ догадокъ на этотъ счетъ никакихъ не дѣлали.

Титъ Никонычъ любилъ бесѣдовать съ нею о томъ, что дѣлается въ свѣтѣ, кто съ кѣмъ воюетъ, за что; зналъ, отчего у насъ хлѣбъ дешевле, и что бы было, еслибъ его можно было возить отсюда за границу. Зналъ онъ еще наизусть всѣ старинныя дворянскія дома, всѣхъ полководцевъ, министровъ, ихъ біографіи; рассказывалъ, какъ одно море лежитъ выше другого; первый увѣдомить, что выдумали англичане или французы, и рѣшить, полезно-ли это, или нѣтъ. Онъ же сообщалъ Татьянѣ Марковнѣ, что сахаръ подешевѣлъ въ Нижнемъ, чтобы не обманули купцы, или что чай скоро вздорожаетъ, чтобы она заблаговременно запаслась. Въ присутственномъ мѣстѣ понадобится что-нибудь — Титъ Никонычъ все сдѣлаетъ, исправитъ, иногда даже утаитъ лишнюю издержку, развѣ нечаянно откроется, черезъ другихъ, и она пожуритъ его, а онъ сконфузится, попроситъ прощенія, расшаргается и поцалуетъ у нея ручку. Она была всегда въ оппозиціи съ мѣстными властями: постои ли къ ней назначать, или велятъ дороги чинить, взыскиваютъ ли подати: она считала всякое подобное распоряженіе начальства насиліемъ, бранилась, ссорилась, отказывалась платить, и объ общемъ благѣ слышать не хотѣла: «знай всякій себя», говорила, она, и не любила полиціи, особенно одного полиціймей-

стера, видя въ немъ почти разбойника. Титъ Никончѣ, попытавшись нѣсколько разъ, но тщетно, примирить ее съ идеей объ общемъ благѣ, ограничился тѣмъ, что мирилъ ее съ мѣстными властями и полиціей.

Вотъ въ какое лоно патріархальной тишины попалъ юноша Райскій. У сироты, вдругъ какъ будто явилось семейство, мать и сестры, въ Титѣ Никончѣ—идеаль добраго дяди.

Х.

Бабушка только было-расположилась объяснять ему, чѣмъ засѣвается у нея земля, и что выгодноѣ всего воздѣлывать по нынѣшнему времени, какъ внучекъ сталъ зѣвать.

«А ты послушай: вѣдь это все твое; я твой староста...», говорила она. Но онъ зѣбалъ, смотрѣлъ, какія это птицы прячутся въ рожь, какъ летаютъ стрекозы, срывалъ васильки и пристально разглядывалъ мужиковъ, еще пристальнѣе слушалъ деревенскую тишину, смотрѣлъ на синее небо, какимъ оно далекимъ кажется здѣсь. Бабушка что-то затолковалась съ мужиками, а онъ прибѣжалъ въ садъ, сбѣжалъ съ обрыва внизъ, продрался сквозь чащу на берегъ, къ самой Волгѣ, и опѣмѣлъ передъ лежавшимъ пейзажемъ.

«Нѣтъ, молодъ, еще дитя: не разумѣть дѣла», думала бабушка, провожая его глазами. «Вонъ какъ подралъ! что-то выйдетъ изъ него?»

Волга задумчиво текла въ берегахъ, заросшая островами, кустами, покрытая мелями. Ввали желтѣли песчаные бока горъ, а на нихъ синѣлъ лѣсъ; кое-гдѣ бѣлѣлъ парусъ, да чайки, плавно махая крыльями, опускаясь на воду, едва касались ея и кругами поднимались опять вверхъ, а надъ садомъ высоко и медленно плавалъ коршунъ. Борисъ уже не смотрѣлъ передъ собой, а чутко замѣчалъ, какъ картина эта повторяется у него въ головѣ; какъ тамъ расположились горы, попала-ли туда вонъ та избушка, изъ которой валилъ дымъ; повѣрялъ и видѣлъ, что и мели тамъ, и паруса бѣлѣютъ. Онъ долго стоялъ и, закрывъ глаза, переносился въ дѣтство, помнилъ, что подлѣ него сиживала мать, вспоминалъ ея лицо, и задумчивое сіяніе глазъ, когда она глядѣла на картину... Онъ пошелъ тихонько домой, сталъ карабкаться на обрывъ, а картина какъ будто зашла впередъ его и легла передъ глазами.

Объ этомъ обрывѣ осталось печальное преданіе въ Малиновкѣ и во всемъ околodкѣ. Тамъ, на днѣ его, среди кустовъ, еще при жизни отца и матери Райскаго, убили за невѣрность жену и соперника, и тутъ же самъ зарѣзался, одинъ ревнивый мужъ, портной изъ города. Самоубійцу тутъ и зарыли, на мѣстѣ преступленія. Вся Малиновка, слобода и домъ Райскихъ, и городъ, были поражены ужасомъ. Въ народѣ, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, возникли

слухи, что самоубійца, весь въ бѣломъ, блуждаетъ по лѣсу, взбирается иногда на обрывъ, смотритъ на жилия мѣста и исчезаетъ. Отъ суетѣрнаго страха, ту часть сада, которая шла съ обрыва по горѣ и отдѣлялась плетнемъ отъ ельника и кустовъ шиповника, забросили. Никто изъ двора уже не сходилъ въ этотъ обрывъ, мужики изъ слободы и Малиновки обходили его, предпочитая спускаться съ горы къ Волгѣ по другимъ скатамъ и обрывамъ, или по проѣзжей, хотя и крутой дорогѣ, между двухъ плетней. Плетень, отдѣлявшій садъ Райскихъ отъ лѣса, давно упалъ и исчезъ. Деревья изъ сада смѣшались съ ельникомъ и кустами шиповника и жимолости, переплелись между собою и образовали глухое, дикое мѣсто, въ которомъ пряталась заброшенная, полуразвалившаяся бесѣдка. Отецъ Райскаго велѣлъ даже въ верхнемъ саду выкопать ровъ, который и составлялъ границу сада, не далеко отъ того мѣста, гдѣ начинался обрывъ.

Райскій вспомнилъ это печальное преданіе, и у него плеча немного холодѣли отъ дрожи, когда онъ спускался съ обрыва, въ чащу кустовъ. Ему живо представлялась картина, какъ ревнивый мужъ, трясаясь отъ волненія, пробирался между кустовъ, какъ бросился къ своему сопернику, ударилъ его ножомъ: какъ, можетъ быть, жена билась у ногъ его, умоляя о прощеніи. Но онъ, съ пѣной у рта, нанесилъ ей рану за раной, и потомъ, надъ обоими трупами, перерѣзалъ горло и себѣ. Райскій вздрогнулъ, и взволнованный, грустный, воротился домой отъ про-

клятаго мѣста. А между тѣмъ эта дичь лѣса манила его къ себѣ, въ таинственную темноту, къ обрыву, съ котораго видъ былъ хорошъ на Волгу и оба ея берега.

Борисъ былъ весь въ картинѣ; задумчивость лежала на лицѣ, ему было такъ хорошо — вѣкъ бы тутъ стоять. Онъ закроетъ глаза и хочетъ поймать, о чемъ онъ думаетъ, но не поймаетъ; мысли являются и утекаютъ, какъ волжскія струи: только въ немъ точно поетъ ему какой-то голосъ, и въ головѣ, какъ въ какомъ-то зеркалѣ, стоитъ та же картина, что передъ глазами.

Вѣрочка и Марейняшка развлекли его. Онъ не отставали отъ него, заставляли рисовать куръ, лошадей, дома, бабушку и себя, и не отпускали его ни на шагъ.

Вѣрочка была съ черными, острыми глазами, смугленькая дѣвочка, и ужъ начинала немного важничать, стыдиться шалостей: она скакнетъ два-три шага по-дѣтски и вдругъ остановится и стыдливо поглядитъ вокругъ себя, и пойдетъ плавно, потомъ побѣжитъ, и тайкомъ, быстро, какъ птичка клюнетъ, сорветъ вѣтку смородины, проворно спрячетъ въ ротъ и сдѣлаетъ губы смирно. Если Борисъ тронетъ ее за голову, она сейчасъ поправитъ волосы: если поцѣлуетъ, она тихонько оботрется. Схватитъ мячикъ, броситъ его раза два, а если онъ укатился, она не пойдетъ поднять его, а прыгнетъ, сорветъ листокъ и старается щелкнуть. Она упряма: если скажутъ, пойдешь туда, она не пойдетъ, или пой-

дети не съ разу, а прежде покачаетъ отрицательно головой, потомъ не поидеть, а побѣжить, и все въ припрыжку. Она не проситъ рисовать: а если Марейника попроситъ, она пристальнѣе Марейники смотритъ, какъ рисуютъ, и ничего не скажетъ. Рисунковъ и карандашей, какъ Марейника, тоже не проситъ. Ей было лѣтъ шесть съ небольшимъ.

Марейника, напротивъ, бѣленькая, красненькая и пухленькая дѣвочка по пятому году. Она часто капризничаетъ и плачетъ, но не долго: сейчасъ же, съ невысохшими глазами, уже визжитъ и смѣется. Вѣрочка плачетъ рѣдко и потихоньку, и если огорчатъ ее чѣмъ-нибудь, она дѣлается молчалива и не скоро приходитъ въ себя, не любитъ чтобъ ее заставляли просить прощенья. Она молчитъ, молчитъ, потомъ вдругъ неожиданно придетъ въ себя и станетъ опять бѣгать въ припрыжку и тихонько срывать смородину, а еще чаще вороняшки, черную, приторно-сладкую ягоду, растущую въ канавахъ и строго-запрещенную бабушкой, потому что отъ нея будто бы тошнить.

«О чемъ это онъ все думаетъ? пыталась отгадать бабушка, глядя на внука, какъ онъ внезапно задумывался послѣ веселости, часто также внезапно, — «и что это онъ все тамъ у себя дѣлаетъ?»

Но Борисъ не заставилъ ждать долго отвѣта: онъ показалъ бабушкѣ свой портфель съ рисунками, потомъ переигралъ ей всѣ кадрили, мазурки и мотивы изъ оперъ, наконецъ свои фантазіи. Бабушка такъ и ахнула. — «Весь, весь въ мать!» говорила она: «Та тоже все, бывало, тоскуетъ, ничего не

надо, все о чемъ-то вздыхаетъ, какъ будто ждетъ чего-нибудь, да вдругъ заиграетъ и развеселится, или отъ книжки не оттащишь. Смотри, Василиса: и тебя и меня сдѣлалъ, да вѣдь, какъ вѣлитъ! Вотъ постой, Титъ Никонъчъ придетъ, а ты притаись, да и срисуй его, а завтра тихонько пошлемъ къ нему въ кабинетъ на стѣну приклеить! Каковъ внучекъ? Какъ играетъ! не хуже француза-эмигранта, что у тетки жилъ... И молчить, не скажетъ! Завтра же въ городъ повезу, къ княгинѣ, къ предводителю! Вотъ только никакъ не заставишь его о хозяйствѣ слушать: молодъ!»

Борисъ успѣлъ пересказать бабушкѣ и «Освобожденный Иерусалимъ», и «Оссіяна», и даже изъ Гомера, и изъ лекцій кое-что, рисовалъ портреты съ нея, съ дѣтей, съ Василисы; опять игралъ на фортепьяно. Потомъ бѣжалъ на Волгу, садился на обрывъ, или сбѣгалъ къ рѣкѣ, ложился на песокъ, смотрѣлъ за каждой птичкой, за ящерицей, за букашкой въ кустахъ, и глядѣлъ въ себя, наблюдая, отражается ли въ немъ картина, все ли въ ней такъ же вѣрно и ярко, и чрезъ недѣлю сталъ замѣчать, что картина пропадаетъ, блѣднѣетъ, и что ему какъ-будто уже... скучно. А бабушка все хотѣла показывать ему счета, объясняла, сколько она откладываетъ въ приказъ, сколько идетъ на ремонтъ хозяйства, чего стоили передѣлки.

— Вѣрочкины и Марейникины счета особо: вотъ смотри, говорила она: — не думай, что на нихъ хоть копѣйка твоя пошла. Ты послушай...

Но онъ не слушалъ, а смотрѣлъ, какъ писала бабушка счеты, какъ она глядитъ на него черезъ очки, какія у нея морщины, родимое пятнышко, и лишь доходилъ до глазъ и до улыбки, вдругъ за-смѣется и бросится цѣловать ее.

— Ты ему о дѣлѣ, а онъ шалить: пустота ка-кая—мальчикъ! говорила однажды бабушка.— Пры-гай да рисуй, а уже спасибо скажешь, какъ подѣ старость будетъ уголокъ. Еще то имѣніе-то, Богъ знаетъ, что будетъ, какъ опекунъ управится съ нимъ! а это ужъ старое, прижилося въ немъ...

Онъ сталъ проситься посмотреть старый домъ. Неохотно дала ему ключи отъ него бабушка, но отказать не могла, и онъ отправился смотрѣть ком-наты, въ которыхъ родился, жилъ, и о которыхъ осталось у него смутное воспоминаніе.— «Василиса, ты бы пошла за нимъ», сказала бабушка. Василиса тронулась-было съ мѣста.— «Не надо, не надо; я одинъ», упрямо сказалъ Борисъ и отправился, раз-глядывая тяжелый ключъ, въ которомъ пустыя мѣ-ста между зубцами заросли ржавчиной. Егорка, про-званный зубосгаломъ—потому-что сидѣлъ все въ дѣвичьей и немилосердо издѣвался надъ горнич-ными—отперъ ему двери.— «И я, и я пойду съ дядей», запросилась было Марейнька.— «Куда ты, милая? тамъ страшно—у!» сказала бабушка.— Марейнька испугалась. Впрочемъ ничего не ска-зала; но когда Борисъ пришелъ къ двери дома, она ужъ стояла, крѣпко прижавшись къ ней, боясь, чтобъ ее не оттащили прочь, и ухватясь за ручку замка,

Со страхомъ и замираніемъ въ груди вошелъ Райскій въ прихожую и боязливо заглянулъ въ слѣдующую комнату: это была зала съ колоннами, въ два свѣта, но до того съ затынутыми пылью и плѣсенью окнами, что въ ней было, вмѣсто двухъ свѣтовъ, двои сумерекъ. Вѣрочка только-что ворвалась въ переднюю, какъ бросилась въ припрыжку впередъ и исчезла изъ глазъ, вскидывая далеко пятки и едва глядя по сторонамъ, на портреты. — «Куда ты, Вѣра, Вѣра?» кричалъ онъ. Она остановилась и глядѣла на него молча, положивъ руку на замокъ слѣдующей двери. Онъ не успѣлъ дойти до нея, а она уже скрылась за дверью. За залой шли мрачныя, закоптѣвшія гостиныя; въ одной были закутанныя въ чохлы двѣ статуи, какъ два привидѣнія, и старыя, тоже закрытыя люстры. Вездѣ почернѣвшія, массивныя, дубовыя и изъ чернаго дерева кресла, столы, съ бронзовой отдѣлкой и деревянной мозаикой; большія китайскія вазы; часы—Вакхъ, ѣдущій на бочкѣ; большія овальныя, въ золоченыхъ, въ видѣ вѣтокъ, рамахъ зеркала; громадная кровать въ спальнѣ стояла какъ пышный гробъ, покрытый газетомъ. Райскій съ трудомъ представлялъ себѣ, какъ спали на этихъ катафалкахъ; казалось ему, не уснуть живому человѣку тутъ. Подъ балдахиномъ вызолоченный висящій купидонъ, весь въ пятнахъ, полинявшій, натягивалъ стрѣлу въ постель; по угламъ рѣзные шкапы, съ насѣчкой изъ кости и перламутра.

Вѣрочка отворила одинъ шкафъ и сунула туда

личико, потомъ отворила, одинъ за другимъ, ящики и также сунула личико: изъ шкаповъ понесло сыростью и пылью отъ старинныхъ кафтановъ и шитыхъ мундировъ съ большими пуговицами. По стѣнамъ портреты: отъ нихъ не уйдешь никуда—они провожаютъ всюду глазами. Весь домъ пропитанъ пылью и пустотой. По угламъ какъ-будто раздаются шорохъ. Райскій ступилъ шагъ и въ углу какъ-будто кто-то ступилъ. Отъ сотрясенія пола подъ шагами, съ колоннъ и потолоковъ тихо сыпалась давнишняя пыль; кое-гдѣ на полу валялись куски и крошки отвалившейся штукатурки; въ окнѣ жалобно жужжить и просится въ запыленное стекло наружу муха.

— Да, бабушка правду говорить: здѣсь страшно! говорилъ, вздрагивая, Райскій.

Но Вѣрочка обѣгала всѣ углы и уже возвращалась сверху, изъ внутреннихъ комнатъ, которыя, въ противоположность большимъ нижнимъ заламъ и гостинымъ, походили на кельи, отличались сжатостью, уютностью, и смотрѣли окнами на всѣ стороны. Въ комнатѣ сумрачно, мертво, все—подобіе смерти, а взглянешь въ окно—и отдохнешь: тамъ кайма синяго неба, зелень мелькаетъ, люди шевелятся. Вѣрочка походила на молодую птичку среди этой ветоши и не смущалась, ни преслѣдующими взглядами портретовъ, ни сыростью, ни пылью, всѣмъ этимъ печальнымъ запустѣніемъ.

— Здѣсь хорошо, мѣста много! сказала она, оглядываясь.—Какъ тамъ хорошо вверху! какія большія картины, книги!

— Картины, книги: гдѣ? Какъ это я не вспомнилъ о нихъ! Ай-да-Вѣрочка!

Онъ поймалъ и поцѣловалъ ее. Она отерла губы и побѣжала показывать книги.

Райскій нашелъ тысячи двѣ томовъ и углубился въ чтеніе заглавій. Тутъ были всѣ энциклопедисты, и Расинъ съ Корнелемъ, Монтескье, Макиавелли, Вольтеръ, древніе классики во французскомъ переводѣ, и неистовый Орландъ, и Сумароковъ съ Державиннымъ, и Вальтеръ-Скотъ, и знаемый «Освобожденный Іерусалимъ» и «Иліада» по-французски, и «Оссіанъ» въ переводѣ Карамзина, Мармонтель и Шатобрианъ, и безчисленные мемуары. Многие еще не разрѣзаны: какъ видно, владѣтели, т. е. отецъ и дѣдъ Бориса, не успѣли прочесть ихъ. Съ тѣхъ-поръ не стало слышно Райскаго въ домѣ; онъ даже не ходилъ на Волгу, пожирая жадно волюмы за волюмами. Онъ читалъ, рисовалъ, игралъ на фортепьяно, и бабушка заслушивалась; Вѣрочка, не сморгнувъ, глядѣла на него во всѣ глаза, положивъ подбородокъ на фортепьяно. То писалъ онъ стихи и читалъ громко, упиваясь музыкой ихъ, то рисовалъ опять берегъ и плавалъ въ трепетѣ, въ нѣгѣ; чего-то ждалъ впереди—не зналъ чего, но вздрагивалъ страстно, какъ-будто предчувствуя какія-то исполинскія, роскошныя наслажденія, видя тотъ міръ, гдѣ все слышатся звуки, гдѣ все носятся картины, гдѣ плещетъ, играетъ, бьется другая, заманчивая, жизнь, какъ въ тѣхъ книгахъ, а не та, которая окружаетъ его....

— Послушай, что я хотѣла тебя спросить, сказала однажды бабушка: за чѣмъ ты опять въ школу поступилъ?

— Въ университетъ, бабушка, а не въ школу.

— Все равно: вѣдь ты учишься тамъ. Чему? У опекуна учился, въ гимназіи учился: рисуешь, играешь на клавикордахъ—что еще? А студенты учатъ тебя только трубку курить, да пожалуй—Боже сохрани—вино пить. Ты бы въ военную службу поступилъ, въ гвардію.

— Дядя говорить, что средствъ нѣтъ...

— Какъ нѣтъ: а это что?

Она указала на поля и деревушку.

— Да что-жъ это?... чѣмъ тутъ?..

— Какъ чѣмъ!—И начала высчитывать сотни и тысячи....

Она не жила въ столицѣ, никогда не служила въ военной службѣ, и потому не знала, чего и сколько нужно для этого.

— Средствъ нѣтъ! Да я тебѣ одной провизіи на весь полкъ пришлю! Что ты... средствъ нѣтъ! А дядюшка куда доходы дѣваетъ?—

— Я, бабушка, хочу быть артистомъ.

— Какъ артистомъ?

— Художникомъ.... Послѣ университета въ академію пойду...

— Что ты, Борюшка, перекрестись! сказала бабушка, едва понявъ, что онъ хочетъ сказать.—Это ты хочешь учителемъ быть?

— Нѣтъ, бабушка, не всѣ артисты—учители,

есть знаменитые таланты: они въ большой славѣ и деньги большія получаютъ за картины или за музыку...

— Такъ ты за свои картины будешь деньги получать, или играть по вечерамъ за деньги?... Какой срамъ!

— Нѣтъ, бабушка, артистъ...

— Нѣтъ, Бөрюшка, ты не огорчай бабушку: дай дожить ей до такой радости, чтобъ увидѣть тебя въ гвардейскомъ мундирѣ: молодцомъ пріѣзжай сюда....

— А дядюшка говорить, чтобъ я шелъ въ статскую...

— Въ приказные! Писать согнувшись, купаться въ чернилахъ, бѣгать въ палату: кто потомъ за тебя пойдетъ? Нѣтъ, нѣтъ, пріѣзжай офицеромъ, да женись на богатой!

Хотя Райскій не раздѣлялъ мнѣнія, ни дяди, ни бабушки, но въ перспективѣ у него мелькала собственная его фигура, то въ гусарскомъ, то въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ. Онъ смотрѣлъ, хорошо ли онъ сидитъ на лошади, ловко ли танцуетъ. Въ тотъ день онъ нарисовалъ себя небрежно-опершагося на сѣдло, съ буркой на плечахъ.

XI.

Однажды бабушка велѣла заложить свою старую, высокую карету, надѣла чепчикъ, серебристое платье, турецкую шаль, лакею велѣла надѣть ливрею и по-



ѣхала въ городъ съ визитами, показывать внучка, и въ лавки, дѣлать закупки. Ихъ везла пара сытыхъ лошадей, ѣхавшихъ медленной рысью; въ груди у нихъ что-то отдавалаось, точно икота. Кучеръ держалъ кнутъ въ кулакѣ, возки лежали у него на колѣняхъ, и онъ изрѣдка подергивалъ ими, съ лѣнивымъ любопытствомъ и зѣвотой поглядывая на знакомые предметы по сторонамъ. Это было болѣе торжественное шествіе бабушки по городу. Не было человѣка, который бы не поклонился ей. Съ иными она останавливалась поговорить. Она называла внуку всякаго встрѣчнаго, объясняла, проѣзжая мимо домовъ, кто живетъ, и какъ, — все это бѣгло, на ходу.

Доѣхали они до деревянныхъ рядовъ. Купецъ встрѣтилъ ее съ поклонами и съ улыбкой, держа шляпу на отлетѣ и голову наклонивъ немного въ сторону.

— Татьянѣ Марковнѣ!.. говорилъ онъ съ улыбкой, показывая рядъ блестящихъ бѣлыхъ зубовъ.

— Здравствуйте. Вотъ вамъ внука привезла, настоящаго хозяина имѣнія. Его капиталъ мотаю я у васъ въ лавкѣ. Какъ рисуетъ, играетъ на фортепіано!..

Райскій дернулъ бабушку за рукавъ.

Кузьма Ѳедотычъ отвѣсилъ и Райскому такой же поклонъ.

— Хорошо ли торгуете? спросила бабушка.

— Грѣхъ пожаловаться, сударыня. Только вы рѣдко стали жаловать, отвѣчалъ онъ, смахивая

пыль съ кресла и почтительно подвигая ей, а Райскому поставивъ стулъ.

Въ лавкѣ были сукна и матеріи, въ другой комнатѣ—сыръ и леденцы, и пряности, и даже бронза.

Бабушка пересмотрѣла всѣ матеріи, прицѣнилась и къ сыру, и къ карандашамъ, поговорила о цѣнѣ на хлѣбъ и перешла въ другую, потомъ въ третью лавку; наконецъ, проѣхала черезъ базаръ и купила только веревку, чтобъ не вѣшали бабы бѣлье на дерево, и отдала Прохору. Онъ долго ее разсматривалъ, все потягивая въ рукахъ каждый вершокъ, потомъ осмотрѣлъ оба конца и спряталъ въ шапку.

— Ну, теперь пора съ визитами, сказала она. Поѣдемъ къ Нилу Андреичу.

— Кто это Нилъ Андреичъ? спросилъ Борисъ.

— Развѣ я тебѣ не говорила? это председатель палаты, важный человѣкъ: солидный, умный, молчать все; а если скажетъ, даромъ словъ не тратить. Его всѣ боятся въ городѣ: что онъ сказалъ, то и свято. Ты приласкайся къ нему: онъ любить пожуристь...

— Что-жъ, бабушка, толку, что журишь? Я не хочу...

— Молодъ, молодъ ты; послѣ самъ спасибо скажешь. Слава Богу, что не вывелись такіе люди, что уму-разуму учать! За то какъ лестно, когда кого похвалить! Набожный такой! Одного франта такъ отдѣлалъ, узнавъ, что онъ въ Троицу не былъ въ церкви, что тотъ и языкъ прикусилъ. «Я, говорить, донесу на васъ: это вольнодумство!» И вѣдь

донесеть, съ нимъ шутить нельзя. Двухъ помѣщиковъ подъ опеку подвелъ. Его боятся, какъ огня. А такъ—онъ добрый: ребенка встрѣтить—по головѣ погладить, букашку на дорогѣ никогда не раздавить, а отодвинетъ тростью въ сторону: «Когда не можешь, говорить, дать жизни, и не лишай». И съ вида важный; лобъ, какъ у твоего дѣдушки, лицо строгое, брови срослись. Какъ хорошо говорить—заслушаешься! Ты приласкайся къ нему. И богатъ. Говорятъ, что въ карманѣ у себя онъ тоже казенную палату завелъ, да будто родную племянницу обобралъ и въ сумашедшій домъ заперъ. Есть грѣхъ, есть грѣхъ...

Но Нила Андреевича они не застали дома: онъ былъ въ палатѣ.

Проѣзжая мимо дома губернатора, бабушка горделиво отвернулась.

— Тутъ живетъ губернаторъ Васильевъ... или Поповъ какой-то. (Бабушка очень хорошо знала, что онъ Поповъ, а не Васильевъ). Онъ воображаетъ, что я явлюсь къ нему первая съ визитомъ, и не заглянулъ ко мнѣ: Татьяна Марковна Бережкова поѣдемъ къ какому-то Попову или Васильеву!

Губернаторъ ничего «не воображалъ», но Бережковой было досадно, что онъ не оказалъ ей вниманія.

— Нилъ Андреичъ поважнѣе, постарше и по-солиднѣе его, а въ новый годъ и на пасху всегда заѣдетъ съ визитомъ, и кушать иногда жалуетъ!

Заѣхали потомъ къ старой княгинѣ, жившей въ

большомъ темномъ домѣ. Тамъ жилимъ пахло только въ одномъ уголкѣ, гдѣ она гнѣздилась, а другія двадцать комнатъ походили на покои въ старомъ бабушкиномъ домѣ. Княгиня была востроносая, худенькая старушка, въ темномъ платьѣ, въ кружевахъ, въ большомъ чепцѣ, съ сухими, костлявыми, маленькими руками, переплетенными синими жилами, и со множествомъ старинныхъ перстней на пальцахъ.

— Княгиня матушка!...

— Татьяна Марковна!... воскликнули старушки. Болонка яростно лаяла изъ-подъ канапе.

— Вотъ внука привезла показать — настоящего хозяина: какъ играетъ, рисуешь!

Онъ долженъ былъ поиграть на фортепьяно. Потомъ ему принесли тарелку земляники. Бабушка съ княгиней пила кофе, Райскій смотрѣлъ на комнаты, на портреты, на мѣбель и на весело-глядѣвшую въ комнаты изъ сада зелень; видѣлъ расчищенную дорожку, вездѣ чистоту, чопорность, порядокъ; слушалъ какъ во всѣхъ комнатахъ попеременно пробили съ полдюжины столовыхъ, стѣнныхъ, бронзовыхъ и малахитовыхъ часовъ; разсматривалъ портретъ косоного князя, въ красной лентѣ, самой княгини, съ бѣлой розой въ волосахъ, съ румянцемъ, живыми глазами, и сравнивалъ съ оригиналомъ. И все это точно складывалъ въ голову, слѣдилъ, какъ тамъ, гдѣ-то, отражался домъ, княгиня, болонка, пожилой слуга съ просьбѣю, въ ливрейномъ фракѣ, слышался бой часовъ...

Заѣхали они еще къ одной молодой барынѣ, мѣстной львицѣ, Полинѣ Карповнѣ Крицкой, которая смотрѣла на жизнь, какъ на рядъ побѣдъ, считая потеряннымъ день, когда на нее никто не взглянетъ нѣжно или не шепнетъ ей хоть намека на нѣжность. Нравственныя женщины, строгіе судьи, и между прочимъ Нилъ Андреевичъ, вслухъ порицали ее. Татьяна Марковна просто не любила, считала пустой вертушкой, но принимала, какъ всѣхъ, дурныхъ и хорошихъ. За то молодежь гонялась за Крицкой. У Полины Карповны Крицкой бабушка пробыла всего минутъ десять, но хозяйка успѣла надѣть блузу съ кружевами, плохо-сходившуюся спереди. Она обливала взглядами Райскаго; нужды ей нѣтъ, что онъ былъ ранній юнѡша, успѣла ему сказать, что у него глаза и ротъ обворожительны, и что онъ много побѣдъ сдѣлаеть, начиная съ нея...

— Что вы это ему говорите: онъ еще дитя! полугнѣвно замѣтила бабушка и стала прощаться. Полина Карповна извинялась что мужъ въ палатѣ, общала пріѣхать сама, и въ заключеніе взяла руками Райскаго за обѣ щеки и поцѣловала въ лобъ. «Безстыдница, безпутная! и ребенка не пропустила!» ворчала бабушка дорогой. А Райскій былъ смущенъ. Молодая женщина, бѣлая шея, свобода въ рѣчахъ и обдаванье смѣлыми взглядами вскипятили воображеніе мальчика. Она ему казалась какой-то свѣтлой богиней, королевой... «Армида!» вслухъ, забывшись, сказалъ онъ, внезапно вспомнивъ объ «Освобожденномъ Іерусалимѣ».

— Безстыжая! ворчала бабушка, подѣзжая къ крыльцу, предводителя. — Узнаетъ Нилъ Андреичъ, что онъ скажетъ? Будетъ тебѣ, вертушка!

Какой обширный домъ, какой видъ у предводителя изъ дома! Впрочемъ въ провинціи изъ рѣдкаго дома нѣтъ преркаснаго вида: пейзажи, вода и чистый воздухъ — тамъ дешевыя и всѣмъ дающіяся блага. Обширный дворъ, обширныя сады, господскія службы, конюшни. Домъ вытянулся въ длину, въ одинъ этажъ, съ мезониномъ. Во всемъ благоденственное обиліе: гость пріѣдетъ — какъ Одиссей въ гости къ царю. Многочисленное семейство то и дѣло сидитъ за столомъ, а въ семействѣ человѣкъ восемнадцать: то чай кушаютъ, то кофе кушаютъ, то просто кушаютъ. Кушаютъ въ столовой, кушаютъ въ бесѣдкѣ, кушаютъ на лужку, кушаютъ на балконѣ. Экономка весь день гремитъ ключами; буфетъ не затворяется. По двору поминутно носятъ полныя блюда изъ кухни въ домъ, а обратно человѣкъ тихимъ шагомъ несетъ пустое блюдо, пальцемъ или языкомъ очищая остатки. То баринъ бульонъ, то тетенькѣ постное, то барченку кашки, барину чего-нибудь посолиднѣе. Гостей вѣчный рой, слугъ человѣкъ сорокъ, изъ которыхъ иные, пообѣдавъ прежде господъ, лѣниво отмахиваютъ мухъ вѣтвями, а другой, задремавъ, покроетъ вѣтвью лысую голову барина или величавый чепецъ барыни. За обѣдомъ подаютъ по два супа, по два холодныхъ блюда, по четыре соуса и по пяти пирожныхъ. Вина — одно кислѣе другого —

все какъ слѣдуетъ въ открытомъ домѣ въ провинціи.

На конюшнѣ двадцать лошадей: однѣ въ карету барыни, другія въ коляску барину: то для царныхъ дрожекъ, то въ одиночку: то для большой коляски — дѣтей катать, то воду возить; верховыя для старшаго сына, клепперъ для младшихъ, и наконецъ лошачекъ для четырехлѣтняго. Комнатъ въ домѣ сколько! учителей, мамзелей, гувернантокъ, приживалокъ, горничныхъ.... и долговъ на домѣ сколько!

Татьяну Марковну и Райскаго всѣ встрѣтили шумно, громко, человѣческими голосами, собачьимъ лаемъ, пощелуями, двиганьемъ стульевъ, и сейчасъ начали кормить завтракомъ, поить кофе, потчивать ягодами. Побѣжали въ кухню и изъ кухни, лакеи, дѣвки — какъ бабушка ни отбивалась отъ угощенья!

Райскаго окружили сверстники, заставили его играть, играли сами, заставили рисовать, рисовали сами, привели француза-учителя. «*Vous avez du talent, monsieur, vraiment!*» сказалъ тотъ, посмотрѣвъ его рисунокъ. И Райскій былъ на седьмомъ небѣ. Потомъ повели въ конюшню, осѣдлали лошадей, ѣздили въ манежѣ и по двору, и Райскій ѣздить. Двѣ дочери, одна черненькая, другая бѣленькая, еще съ красненькими, длинными, не по росту, кистями рукъ, какъ бываетъ у подростающихъ дѣвицъ, но уже затянутыя въ корсетъ и бойко говорящія французскія фразы, обворожили юношу.

Съ пріятнымъ волненіемъ и задумчиво ѣхалъ от-

туда Райскій. Ему бы хотѣлось домой; но бабушка велѣла еще повернуть въ какой-то переулокъ.

— Куда, бабушка? Пора домой, сказалъ Райскій.

— Вотъ еще къ старичкамъ Молочковымъ заѣдемъ, да и домой.

— Чѣмъ же они замѣчательны?

— Да тѣмъ, что они... старички.

— Ну, вотъ, старички! съ неудовольствіемъ проговорилъ Райскій, подъ впечатлѣніемъ отъ живой картины предводительскаго дома и поцѣлуя Полины Карповны.

— Почтенные такіе, сказала бабушка: — лѣтъ по восьмидесяти мужу и женѣ. И не слышать ихъ въ городѣ: тихо у нихъ, и мухи не летаютъ. Сидятъ да шепчутся, да угождаютъ другъ другу. Вотъ примѣръ всякому: прожили вѣкъ, какъ-будто проспали. Ни дѣтей у нихъ, ни родныхъ! Дремлютъ да живутъ!

— Старички! съ неудовольствіемъ говоритъ Райскій.

— Что морщишься: надо уважать старость!

Въ самомъ дѣлѣ, мужъ и жена, къ которымъ они пріѣхали, были только старички, и больше ничего. Но какіе бодрые, тихіе, задумчивые, хорошенькіе старички! Оба такіе чистенькіе, такъ свѣжо одѣты; онъ выбритъ, она въ сѣдыхъ букляхъ, такъ тихо говорятъ, такъ любовно смотрятъ другъ на друга и такъ имъ хорошо въ темныхъ, прохладныхъ комнатахъ, съ опущенными сторами. И въ жизни, должно быть, хорошо!

Бабушка съ почтеніемъ и съ завистью, а Райскій съ любопытствомъ глядѣлъ на стариковъ, слушалъ, какъ они припоминали молодость, не вѣрилъ ихъ словамъ, что она была первая красавица въ губерніи, а онъ — молодецъ, и сводилъ, будто, женщинъ съ ума. Онъ поигралъ и имъ, по настоящію бабушки, и унесъ какое-то тихое воспоминаніе, дремлющую картину въ головѣ объ этой, давно и медленно-ползущей жизни.

Но Армида и двѣ дочки предводителя царствовали наперекоръ всему. Онъ попеременно ставилъ на пьедесталъ то одну, то другую, мысленно становился на колѣни передъ ними, пѣлъ, рисовалъ ихъ, или грустно задумывался, или мурашки бѣгали по немъ, и онъ ходилъ поднимъ голову высоко, пѣлъ на весь домъ, на весь садъ, плавалъ въ безумномъ восторгѣ. Нѣсколько сутокъ онъ безпокойно спалъ, метался...

Передъ нимъ носится какая-то картина; онъ стыдливо и лукаво смѣется, кого-то ловить руками, будто обнимаетъ, и хохочетъ въ дикомъ опьянѣніи...

ХІІ.

Въ университетѣ Райскій дѣлитъ время, по утрамъ, между лекціями и Кремлевскимъ садомъ, въ воскресенье ходитъ въ Никитскій монастырь къ обѣднѣ, заглядываетъ на разводъ и посѣщаетъ кандитеровъ Пезра и Педотти. По вечерамъ сидитъ въ «своемъ

кружкѣ», т. е. избранныхъ товарищей, горячихъ головъ, великодушныхъ сердецъ. Все это выпить, шумить и гордо ожидаетъ великой будущности.

Вглядѣвшись пытливо въ каждого профессора, въ каждого товарища, какъ въ школѣ, Райскій, отъ скуки, для развлеченія, сталъ прислушиваться къ тому, что говорятъ на лекціи. Какъ въ школѣ у русскаго учителя, онъ не слушалъ законовъ строенія языка, а разсматривалъ все, какъ говорить профессоръ, какъ падаютъ у него слова, какъ кто слушаетъ. Но лишь коснется рѣчь самой жизни, являются на сцену лица, событія, заговарятъ, въ исторіи, въ поэмѣ или романѣ, греки, римляне, германцы, русскіе — но живые лица, — у Райскаго ухо невольно открывается: онъ весь тутъ и видитъ этихъ людей, эту жизнь. Одинъ онъ, даже съ помощію профессоровъ, не сладилъ бы съ классиками: въ русскомъ переводѣ ихъ не было, въ деревнѣ у бабушки, въ отцовской библіотекѣ, хотя и были нѣкоторые во французскомъ переводѣ, но тогда еще онъ, безъ руководства, не понималъ значенія и обѣгалъ ихъ. Они казались ему строги и сухи. Только на второмъ курсѣ, съ двухъ или трехъ каедръ, заговорили о нихъ, и у «первыхъ учениковъ» явились въ рукахъ оригиналы. Тогда Райскій сблизился съ однимъ, забитымъ бѣдностью и робостью товарищемъ, Козловымъ. Этотъ Козловъ, сынъ дьякона, сначала въ семинаріи, потомъ въ гимназій, и дома — изучилъ греческій и латинскій языки, и учась имъ, изучилъ древнюю жизнь, а со-

временной почти не замѣчалъ. Райскій приласкалъ его и приласкался къ нему, сначала ради его одиночества, сосредоточенности, простоты и доброты, потомъ вдругъ открылъ въ немъ страсть, «священный огонь», глубину пониманія до степени ясно-видѣнія, строгость мысли, тонкость анализа — относительно древней жизни. Онъ-то и посвятилъ Райскаго, насколько поддавалась его жилая, вѣчно-какъ море волнуемая натура, въ тайны разумѣнія древняго міра, но задержать его на долго, на всегда, какъ самъ задержался на древней жизни, не могъ. Райскій унесъ кое-что оттуда и ускользнулъ, оставивъ Козлову свою дружбу, а у себя навсегда образъ его простой, младенческой души.

Отъ Плутарха и «Путешествія Анахарсиса Младшаго», онъ перешелъ къ Титу-Ливію и Тациту, зарываясь въ мелкихъ деталяхъ перваго и въ сильныхъ сказаніяхъ втораго, спалъ съ Гомеромъ, съ Дантомъ, и часто забывалъ жизнь около себя, живя въ анналахъ, сагахъ, даже въ русскихъ сказкахъ... А когда зададутъ тему на диссертацию, онъ терялся, впадалъ въ уныніе, не зная, какъ приступить къ разсужденію, напримѣръ, «объ источникахъ къ изученію народности», или «о древнихъ русскихъ деньгахъ», или «о движеніи народовъ съ сѣвера на югъ». Онъ вмѣсто того, чтобъ разсуждать, вглядывается въ движеніе народовъ, какъ будто оно передъ глазами. Онъ видитъ, какъ туча народа, точно саранча, движется, располагается на бивуакахъ, зажигаетъ костры; видитъ мужчинъ въ

звѣриныхъ шкурахъ, съ дубинами, оборванныхъ матерей, голодныхъ дѣтей; видитъ какъ они рѣжутъ, истребляютъ все на пути, какъ гибнуть отсталые. Видитъ сѣрое небо, скудныя страны, и даже древнія русскія деньги; видитъ такъ живо, что можетъ нарисовать, но не знаетъ, какъ «разсуждать» объ этомъ: и чего тутъ разсуждать, когда ему и такъ видно?

Лѣтомъ любилъ онъ уходить въ окрестности, забирался въ старые монастыри и вглядывался въ темные углы, въ почернѣлые лики святыхъ и мучениковъ, и фантазія, лучше профессоровъ, уносила его въ русскую старину. Тамъ, точно живые, толпились старые цари, монахи, воины, подъячіе. Москва казалась необъятнымъ ветхимъ царствомъ. Драки, казни, татары, Донскіе, Іоанны, — все приступало къ нему, все звало къ себѣ въ гости, смотрѣть на ихъ жизнь. Долго, бывало, смотреть онъ, пока не стукнетъ что-нибудь около: онъ очнется — передъ нимъ старая стѣна монастырская, старый образъ: онъ въ кельѣ или въ теремѣ. Онъ выйдетъ задумчиво изъ копоти древняго мрака, пока не обвѣетъ его свѣжій, теплый воздухъ.

Райскій началъ писать и стихи и прозу, показывалъ сначала одному товарищу, потомъ другому, потомъ всему кружку, а кружокъ объявилъ, что онъ талантъ. Тогда Борисъ приступилъ къ историческому роману, написалъ нѣсколько главъ и прочелъ также въ кружкѣ. Товарищи стали уважать его, «какъ надежду», ходили съ нимъ толпой. Райскій и кружокъ

его падали только на репетиціяхъ и на экзаменахъ; они уходили тогда на третій планъ и на четвертую скамью. На первой и второй являлись опять-таки «первые ученики», которые такъ смирно сидятъ на лекціи, у которыхъ всё записки есть, которые гордо и покойно идутъ на экзамень, и еще болѣе гордо и спокойно возвращаются съ экзамена: это — будущіе кандидаты. Они холодно смотрѣли на кружокъ, опредѣлили Райскаго словомъ «романтикъ», холодно слушали или вовсе не слушали его стихи и прозу и не ставили его ни во что. Они одинаково прилежно занимались по всѣмъ предметамъ, не при-стращаясь ни къ одному исключительно. И послѣ, въ службѣ, въ жизни, куда ихъ ни сунуть, въ какое положеніе ни поставятъ — вездѣ и всякое дѣло они дѣлаютъ «удовлетворительно», идутъ ровно, не увлекаясь ни въ какую сторону.

Товарищи Райскаго показали его стихи и прозу «геніальнымъ» профессорамъ, «пророкамъ», какъ ихъ звалъ кружокъ, хвостомъ ходившій за ними. «Ахъ, Иванъ Ивановичъ! Ахъ, Петръ Петровичъ! Это геніи, наши свѣтила!» закатывая глаза подъ лобъ повторяли восторженно юноши. Одинъ изъ «пророковъ» разобралъ стихи публично на лекціи и сказалъ, что «въ нихъ преобладаетъ элементъ живописи, обиліе образовъ и музыкальность, но нѣтъ глубины и мало силы», однако, предсказывалъ, что съ лѣтами это придетъ, поздравилъ автора тоже съ талантомъ и совѣтовалъ «беречь и лелѣять музу», т. е. заняться серьезно. Райскій, шатаясь отъ упо-

енія, вышелъ изъ аудиторіи, и въ кружѣ, по этому случаю, былъ трехдневный ревъ. Другой «пророкъ» прочелъ начало его романа и пригласилъ Райскаго къ себѣ. Онъ вышелъ отъ профессора, какъ изъ бани, тоже съ патентомъ на талантъ и съ кучей старыхъ книгъ, лѣтописей, грамотъ, договоровъ. «Готовьте серьезнымъ изученіемъ вашъ талантъ: у васъ есть будущность». Райскій еще «серьезнѣе» занялся хожденіемъ въ окрестности, проникалъ опять въ старыя зданія, глядѣлъ, щупалъ, нюхалъ камни, читалъ надписи, но не разобралъ и двухъ страницъ данныхъ профессоромъ хроникъ, а писалъ русскую жизнь, какъ она снилась ему въ поэтическихъ видѣніяхъ, и кончилъ тѣмъ, что очень «серьезно» написалъ шутивную поэму, воспѣвъ въ ней товарища, написавшаго диссертацию «о долговыхъ обязательствахъ» и никогда не платившаго за квартиру и за столъ хозяйкѣ. Переходилъ онъ изъ курса въ курсъ съ затрудненіями, все теряясь и сбиваясь на экзаменахъ. Но его выкупала репутація будущаго таланта, нѣсколько удачныхъ стихотвореній и прозаическіе взмахи и очерки изъ русской исторіи.

— Вы куда хотите поступить на службу? вдругъ раздался однажды надъ нимъ вопросъ декана. — Черезъ недѣлю вы выйдете. Чтò вы будете дѣлать?

Райскій молчалъ.

— Какое званіе изберете? спросилъ опять тотъ.

— Я... художникомъ хочу быть... думалъ-было онъ сказать, да вспомнилъ, какъ приняли это опекунъ и бабушка, и не сказалъ.

— Я... стихи буду писать.

— Но вѣдь это не званіе: это такъ... между прочимъ, замѣтилъ деканъ.

— И повѣсти тоже... сказалъ Райскій.

— И повѣсти можно: конечно, у васъ есть талантъ. Но вѣдь это впоследствии, когда талантъ выработается. А званіе... званіе, я спрашиваю?

— Сначала я пойду въ военную службу, въ гвардію, а потомъ въ статскую, въ прокуроры... въ губернаторы... отвѣчалъ Райскій.

Деканъ улыбнулся.

— Стало быть, прежде въ юнкера—вотъ это понятно! сказалъ онъ. — Вы, да Леонтій Козловъ, только не имѣете ничего въ виду, а прочіе все имѣютъ назначеніе.

Когда Козлова спрашивали, куда онъ хочетъ, онъ отвѣчалъ: «въ учителя куда-нибудь въ губернію», и на томъ уперся.

XIII.

Въ Петербургѣ, Райскій поступилъ въ юнкера: онъ съ одушевленіемъ скакалъ во фронтъ, мѣлячи горя, съ бѣгающими по спину мурашками, при звукахъ полковой музыки, вытягивался, стуча саблей и шпорами, при встрѣчѣ съ генералами, а по вече-

рамъ въ удалой компаніи на тройкахъ уносился за городъ, на веселые пикники, или бралъ уроки жизни и любви у столичныхъ, русскихъ и нерусскихъ «Армидъ», въ томъ волшебномъ царствѣ, гдѣ «гаснетъ вѣра въ лучший край».

Въ самомъ дѣлѣ, у него чуть не погасла вѣра въ честь, честность, вообще въ человѣка. Онъ, не желая, не стараясь, часто бѣгая прочь, извѣдалъ этотъ «чудесный міръ» — силою своей впечатлительной натуры, вбиравшей въ себя, какъ губка, всѣ задѣвавшія его явленія.

Женщины того міра казались ему особой породой. Какъ паръ и машины замѣнили живую силу рукъ, такъ тамъ цѣлая механика жизни и страстей замѣнила природную жизнь и страсти. Это міръ — безъ привязанностей, безъ дѣтей, безъ колыбелей, безъ братьевъ и сестеръ, безъ мужей и безъ женъ, а только съ мужчинами и женщинами.

Мужчины, одни, среди дѣлъ и заботъ, по лѣни, по грубости, часто бросаая теплый огонь, тихія симпатіи семьи, бросаются въ этотъ міръ всегда готовыхъ романовъ и драмъ, какъ въ игорный домъ, чтобъ охмѣлѣть въ чаду притворныхъ чувствъ и дорого купленной нѣги. Другихъ молодость и пылъ влекутъ туда, въ царство поддѣльной любви, со всей утонченной ея игрой, какъ гастронома влечетъ отъ домашняго простого обѣда изысканный обѣдъ искуснаго повара.

Тамъ царствуетъ безконечно-разнообразный расчетъ: расчетъ роскоши, расчетъ честолюбія, раз-

счесть зависти, рѣдко — самолюбія, и никогда — сердца, т. е. чувства. Красавицы приносятъ все въ жертву расчету; самую страсть, если постигаетъ ихъ страсть, даже темпераментъ, когда требуетъ того роль, выгода положенія.

Онѣ — не жертвы общественнаго темперамента, какъ тѣ несчастныя созданія, которыя, за кусокъ хлѣба, за одежду, за обувь и кровь, служатъ животному голоду. Нѣтъ: тамъ жрицы сильныхъ, хотя искусственныхъ страстей, тонкія актрисы, играютъ въ любовь и жизнь, какъ игроки въ карты.

Тамъ нѣтъ глубокихъ цѣлей, нѣтъ прочныхъ конечныхъ намѣреній и надеждъ. Бурная жизнь не манитъ къ тихому порту. У жрицы этого культа, у «матери наслажденій» — нѣтъ въ виду, какъ и у истиннаго игрока по страсти, выиграть фортуны и кончить, оставить все, успокоиться и жить другой жизнью. Если бы явилась въ томъ кругѣ такая, она потеряла бы свой характеръ, свою прелесть: ее, какъ игрока, увлекаютъ отъ прочнаго и добраго пути, или она утратитъ цѣну въ глазахъ поклонниковъ, потерявъ свободу понятій и нравовъ. Жизнь ея — вѣчная игра въ страсти, цѣль — нескончаемое наслажденіе, переходящее въ привычку, когда она устанетъ, пресытится. У ней одинъ ужасъ впереди — это состарѣться и стать ненужной.

Больше она ничего не боится. Играя въ страсти, она принимаетъ всѣ виды, всѣ лица, всѣ характеры, нужныя для роли, заимствуя ихъ, какъ мас-

карадные платя на прокатъ. Она робка, скромна, или горда, неприступна, или нѣжна, послушна—смотря по роли, по моменту. Но сбросивъ маску, она часто зла, груба, и даже страшна. Иснугать и оскорбить ее нельзя, а она не задумается, для мщенія, или для забавы, разрушить семейное счастье, спокойствіе челоуѣка, не говоря о фортунѣ: разрушать экономическое благостояніе—ея призваніе.

Ее должна окружать безконтрольная роскошь. Желаній она не должна усаѣвать имѣть.

Квартира у нея—храмъ, но походящій на выставку мебели, дорогихъ бездѣлицъ. Вкусъ въ убранствѣ принадлежитъ не хозяйкѣ, а мебельщику и обойщику. Печати тонкой, аристической жизни нѣтъ: та, у кого бы она была, не могла бы жить этой жизнью: она задохнулась бы. Тамъ втустъ—въ сервизахъ, экипажахъ, лошадяхъ, лакеяхъ, горничныхъ, одѣтыхъ, какъ балетныя феи. Если случайно попадетъ туда высокой кисти картина, дорогая статуя—онѣ цѣнятся не удивленіемъ кисти и рѣзцу, а заплаченной суммой. Ни хозяина, ни хозяйки, ни дѣтей, ни старыхъ преданныхъ слугъ—нѣтъ въ ея квартирѣ. Она живетъ—какъ будто на станціи, въ дорогѣ, готовая ежеминутно выѣхать. Нѣтъ у нея друзей—ни мужчинъ, ни женщинъ, а только множество знакомыхъ.

Жизнь красавицы этого міра или «тряпичнаго царства», какъ называлъ Райскій—мелкій, пестрый, вѣчно движущійся узоръ: визиты въ своемъ кругу, театръ, катанье, роскошные до безобразія

затраки и обѣды до утра, и ночи, продолжающіяся до обѣда. Забота одна—чтобъ не было остановокъ отъ пестроты. Пустой, не наполненный день, вечеръ—безъ суеты, выѣздовъ, театра, свиданій—страшенъ. Тогда проснулась бы мысль, съ какими-нибудь докучливыми вопросами, пожалуй чувство, совѣсть, всталъ бы призракъ будущаго... Она со страхомъ отряхнется отъ непривычной задумчивости, гонить вопросы—и ей опять легко. Это бываетъ рѣдко и у немногихъ. Мысль у ней большею частію петронута, сердце отсутствуетъ, знанія никакого.

Накупать брилліантовъ, конечно, не самой—(это все, что есть неподдѣльнаго въ ея жизни)—нарядовъ, непременно больше чѣмъ нужно, дѣлая фортуна поставщиковъ—вотъ главный пунктъ ея тщеславія. Широкая затѣя—это вояжъ: прикинуться графиней въ Парижѣ, занять палаццо въ Италіи, сверкнуть золотомъ и красотою, покоряя мимоходомъ того, другого, смотря по рангу, положенію, фортуѣ.

Идеаль мужчины у нея—прежде всего *homme généreux, libéral*, который «благородно» сыплетъ золото, потомъ *comte, prince* и т. п. Понятія объ умѣ, чести, нравахъ—свои, особенныя.

Уродство въ мужчинѣ — это экономія, сдержанность, порядокъ. Скупой въ ея глазахъ — извергъ.

Райскій, кружась въ свѣтѣ петербургской, «золотой молодежи», бывши молодымъ офицеромъ, потомъ молодымъ бюрократомъ, заплатилъ обильную

дань поклоненія этой красотѣ, и уходя унесъ глубокую грусть надолго и много опытовъ, безъ которыхъ могъ обойтись.

Напрасно упрямился онъ оставаться офицеромъ, ему неотступно снились, то Волга и берега ея, тѣнистый садъ и роща съ обрывомъ, то видѣлъ онъ дикіе глаза и изстуженное лицо Васюкова и слышалъ звуки скрипки. Снилась ему широкая арена искусства: академія, или консерваторія, любилъ онъ воображать себя труженикомъ искусства. Ему рисовалась темная, запыленная мастерская, съ завѣшаннымъ свѣтомъ, съ кусками мрамора, съ начатыми картинами, съ манекеномъ,—и самъ онъ, въ изящной блузѣ, съ длинными волосами, съ нѣгой и счастьемъ смотреть на свое произведеніе: подъ кистью у него рождается чья-то голова. Она еще неодушевлена, въ глазахъ нѣтъ жизни, огня. Но вотъ онъ посадить въ нихъ двѣ магическія точки, проведетъ два какихъ-то рѣзкихъ штриха, и вдругъ голова ожила, заговорила, она смотритъ такъ открыто, въ ней горятъ мысль, чувство, красота... Въ комнату заглядываютъ робко посѣтителы, шепчутся... Наконецъ, вотъ выставка. Онъ изъ угла смотритъ на свою картину, но ея не видать, передъ ней толпа, тамъ произносятъ его имя. Кто-то измѣнилъ ему, назвалъ его, и толпа отъ картины обратилась къ нему. Онъ сконфузился и очнулся.

Онъ подаль просьбу къ переводу въ статскую службу и былъ посаженъ къ Аянову въ столъ. Но читатель уже знаетъ, что и статская служба уда-

лась ему не лучше военной. Онъ оставилъ ее и сталъ ходить въ академію. Онъ робко пришелъ туда и осмотрѣлся кругомъ. Всѣ сидятъ молча и рисуютъ съ бюстовъ. Онъ началъ тоже рисовать, но черезъ два часа ушелъ и сталъ рисовать съ бюста дома. Но дома, то сигарку закурить, то сесть съ ногами на диванъ, почитаетъ, или замечается, и въ головѣ раздадутся звуки. Онъ за фортепіано—и забудется. Недѣли черезъ три онъ опять пошелъ въ академію: тамъ опять всѣ молчатъ и рисуютъ съ бюстовъ. Онъ кое-съ-гѣмъ изъ товарищей познакомился, зазвалъ къ себѣ и показывалъ свою работу.—«У васъ есть талантъ, гдѣ вы учились?» сказали ему: «только...вонъ эта рука длинна... да и спина не такъ... рисунокъ не вѣренъ!» Между тѣмъ затѣяли пирушку, пригласили Райскаго, и онъ слышалъ одно: то о колоритѣ, то о бюстахъ, о рукахъ, о ногахъ, «о правдѣ» въ искусствѣ, академія, да въ перспективѣ Дюссельдорфѣ, Парижѣ, Римѣ. Отмѣривали при немъ года своей практики, ученичества или «мученичества», прибавлялъ Райскій. Семь, восемь лѣтъ—страшныя цифры. И всѣ уже взрослые. Онъ не ходилъ мѣсяцовъ шесть, потомъ пошелъ, и тѣ же самые товарищи рисовали... съ бюстовъ. Онъ заглянулъ въ другой классъ: тамъ стоялъ натурщикъ, и толпа молча рисовала съ натуры торсъ. Райскій пришелъ черезъ мѣсяцъ—и тоже углубленіе въ торсъ и въ свой рисунокъ. Тоже молчаніе, тоже напряженное вниманіе. Онъ пошелъ въ мастерскую профессора и увидѣлъ снившуюся

ему картину: запыленную комнату, завѣшанный свѣтъ, картины, маски, руки, ноги, манекень... все. Только художникъ представился ему не въ изящной блузѣ, а въ испачканномъ пальто, не съ длинными волосами, а гладко остриженный; не нѣга у него на лицѣ, а мука внутренней работы и безпокойство, усталость. Онъ вперяетъ мучительный взглядъ въ свою картину, то подходитъ къ ней, то отойдетъ отъ нея, задумывается... Потомъ вдругъ опять, какъ будто утонетъ, замретъ, онѣмѣетъ, только глаза блестятъ, да рука, какъ бѣшеная, стираетъ, заглаживаетъ прежнее и торопится бросать новую, только что пойманную, вымученную черту, какъ будто боясь, что она забудется...

Робко ушелъ къ себѣ Райскій, натянулъ на рамку холстъ и началъ чертить мѣломъ. Три дня чертилъ онъ, стиралъ, опять чертилъ, и бросивъ бюсты, рисунки, взялъ кисть. Три полотна перемѣнилъ онъ и на четвертомъ нарисовалъ ту голову, которая снилась ему, голову Гектора и лицо Андромахи и ребенка. Но рукъ не додѣлалъ: «это послѣднее дѣло, руки!» думалъ онъ. Костюмы набросалъ на обумъ, кое-какъ, что наскоро прочелъ у Гомера: другихъ источниковъ подъ рукой не было, а гдѣ ихъ искать, и скоро ли найдешь?

Полгода онъ писалъ картину. Лица Гектора и Андромахи поглотили все его творчество, аксессуарами онъ не занимался: «это послѣ, когда-нибудь». Ребенка нарисовалъ тоже кое-какъ, и то нарисовалъ потому, что безъ него не вѣрна была бы сцена

прощанія. Онъ хотѣлъ показать картину товарищамъ, но они сами красками еще не писали, а все копировали съ бюстовъ, нужды нѣтъ, что у самихъ бороды поросли. Онъ рѣшился показать профессору: профессоръ не заносчивъ, снисходителенъ и вѣроятно оцѣнитъ трудъ по достоинству. Съ замирающимъ сердцемъ принеся онъ картину и оставилъ въ корридорѣ. Профессоръ велѣлъ внести ее въ мастерскую, посмотрѣлъ: «Что это за блинъ?» сказалъ онъ, скользнувъ взглядомъ по картинѣ, но взглянувъ мелькомъ въ другой разъ, вдругъ быстро схватилъ ее, поставилъ на мольбертъ, и вонзилъ въ нее испытующій взглядъ, сильно сдвинувъ брови.

— Это вы дѣлали? спросилъ онъ, указавъ на голову Гектора.

— Я-съ.

— И это вы? профессоръ указалъ на Андромаху..

— Тоже я-съ.

— А это? спрашивалъ тотъ, указывая на ребенка.

— Я же.

— Не можетъ быть: это двое дѣлали, отрывисто отвѣчалъ профессоръ, и отворивъ дверь въ другую комнату, закричалъ: Иванъ Ивановичъ!

Пришелъ Иванъ Ивановичъ, какой-то художникъ.

— Посмотри! — Онъ показалъ ему на головы двухъ фигуръ и ребенка. Тотъ молча и пристально разсматривалъ. Райскій дрожалъ.

— Чтò ты видишь? спросилъ профессоръ.

— Чтò? сказалъ тотъ: это не изъ нашихъ: кто

же придѣлалъ голову къ этой мазнѣ?... Да, голова... мм-ъ..., а ухо не на мѣстѣ. Кто это?

Профессоръ спросилъ Райскаго, гдѣ онъ учился, подтвердилъ, что у него талантъ, и разразился сильной бранью, узнавъ, что Райскій только разъ десять былъ въ академіи и съ бюстовъ не рисуетъ.

— Посмотрите: ни одной черты нѣтъ вѣрной. Эта нога короче, у Андрوماхи плечо не на мѣстѣ; если Гекторъ выпрямится, такъ она ему будетъ только по брюхо. А эти мускулы, посмотрите...

Онъ обнажилъ и показалъ колѣно, потомъ руку.

— Вы не умѣете рисовать, сказалъ онъ: — вамъ года три надо учиться съ бюстовъ, да анатомію... А голова Гектора, глаза... Да вы ли дѣлали?

— Я, сказалъ Райскій.

Профессоръ пожалъ плечами.

И Иванъ Ивановичъ сдѣлалъ: «Гмъ! У васъ есть талантъ, это видно. Учитесь; со временемъ...»

«Все учитесь: со временемъ!» думалъ Райскій. А ему бы хотѣлось — не учась — и сейчасъ.

Онъ въ раздумьи воротился домой: тамъ нашелъ письма. Бабушка бранила его, что онъ вышелъ изъ военной службы, а опекунъ совѣтовалъ опредѣлится въ сенатъ. Онъ прислалъ ему рекомендательныя письма. Но Райскій въ сенатъ не поступилъ, въ академіи съ бюстовъ не рисовалъ, между тѣмъ много читалъ, много писалъ стиховъ и прозы, тайцовалъ, ѣздилъ въ свѣтъ, ходилъ въ театръ и къ «Армидамъ», и въ это время сочинилъ три вальса и нарисовалъ нѣсколько женскихъ портретовъ. Потомъ,

послѣ бѣшеной масляницы, вдругъ очнулся, вспомнилъ о своей артистической карьерѣ и бросился въ академію: тамъ ученики молча, углубленно рисовали съ бюста, въ другой студіи писали съ торса...

XIV.

Въ назначенный вечеръ, Райскій и Бѣловодова опять сошлись у ней въ кабинетѣ. Она была одѣта, чтобы ѣхать въ спектакль: отецъ хотѣлъ заѣхать за ней съ обѣда, но не заѣзжалъ, хотя было уже половина восьмого.

— Я все думаю о нашемъ разговорѣ, кузина: а вы? спросилъ онъ.

— Я, cousin... виновата: не думала о немъ. Что такое мы говорили?... Ахъ, да! припомнила она. — Вы что-то меня спрашивали.

— И вы что-то мнѣ обѣщали.

— Что-же?

— Разказать... какую-то «глупость», ребячество и потомъ вашу законную любовь...

— Все это такъ просто, cousin, что я даже не шумѣю разказать: спросите у всякой замужней женщины. Вонъ хоть у Катринь...

— Ахъ, нѣтъ, кузина, только не у Катринь: наряды и выѣзды, выѣзды и наряды...

— Что мнѣ вамъ разказывать? Я не знаю съ

чего начать. Paul сдѣлалъ черезъ княгиню предложеніе, та сказала маман, маман теткамъ; позвали родныхъ, потомъ объявили papà... Какъ всё дѣлають.

— Ему послѣ всѣхъ! весело замѣтилъ Райскій.
— А вы когда узнали?

— Въ тотъ же вечеръ, разумѣется. Какой вопросъ! Не думаете ли вы, что меня принуждали?..

— Нѣтъ, нѣтъ, кузина: не такъ рассказываете. Начните, пожалуйста, съ воспитанія. Какъ, гдѣ вы воспитывались? прежде расскажите ту «глупость...»

— Дома воспитывалась, вы знаете... Маман была строга и серьезна, никогда не шутила, почти не смѣялась, ласкала мало, всё ее слушались въ домѣ: няньки, дѣвушки, гувернантки дѣлали все, что она приказывала, и papà тоже. Въ дѣтскую она не ходила, но порядокъ былъ такой, какъ будто она тамъ жила. Когда мнѣ было лѣтъ семь, за мной, помню, ходила нѣмка Маргарита: она причесывала и одѣвала меня, потомъ будили миссъ Дредсонъ и шли къ маман. Маман, прежде нежели поздоровается, пристально поглядитъ мнѣ въ лицо, обернетъ меня раза три, посмотритъ, все ли хорошо, даже ноги посмотритъ, потомъ глядитъ, какъ я дѣлаю книксъ, и тогда поцѣлуетъ въ лобъ и отпуститъ. Послѣ завтрака меня водили гулять, или въ дурную погоду ѣздили въ коляскѣ...

— Какъ вы шалили, рѣзвились? расскажите...

— Я не шалила: миссъ Дредсонъ шла рядомъ и дальше трехъ шаговъ отъ себя не пускала. Однажды мальчикъ бросилъ мячикъ, и онъ покатился мнѣ въ

ноги, я поймала его и побѣжала отдать ему, миссъ сказала маман, и меня три дня не пускали гулять. Впрочемъ, я мало помню, что было, помню только, что ѣздилъ танцмейстеръ и учитель: *chassé en avant, chassé à gauche, tenez-vous droit, pas de grimaces...* Послѣ обѣда мнѣ позволяли въ большой залѣ играть часъ въ мячикъ, прыгать черезъ веревочку, по тихонько, чтобъ не разбить зеркалъ и не топтать погами. Маман не любила, когда у меня раскраснѣются щеки и уши, и потому мнѣ не вѣльно было слишкомъ бѣгать. Еще увѣряли, что будто я... (она засмѣялась) языкъ показывала, когда рисую и пишу, и даже танцую — и оттого *pas de grimaces* раздавалось чаще всего.

— *Chassé en avant, chassé à gauche* и *pas de grimaces*: да, это хорошій курсъ воспитанія: все равно, что военная выправка. Что же дальше?

— Дальше, приставили французенку, *madame Clégu*, но... не знаю, почему-то скоро отпустили. Я помню, какъ papà защищать ее, но маман слышать не хотѣла...

— Ну, теперь я вижу, что у васъ не было дѣтства: это кое-что объясняетъ мнѣ... Учили васъ чему-нибудь? спросилъ онъ.

— Безъ сомнѣнія: *histoire, géographie, calligraphie, l'orthographe*, еще по-русски...

Здѣсь Софья Николаевна немного остановилась.

— Я увѣренъ, что мы подходимъ къ катастрофѣ и что герой ея — русскій учитель, сказалъ Райскій. — Это наши *jeunes premiers...*

— Да... вы угадали! засмѣявшись отвѣчала Бѣловодова.

— Я всѣ уроки учила одинаково, то-есть всѣ дурно. Въ исторіи знала только двѣнадцатый годъ, потому что mon oncle prince Serge служилъ въ то время и дѣлалъ кампанію, онъ рассказывалъ часто о немъ; помнила, что была Екатерина II, еще революція, отъ которой бѣжалъ М-г de Queneu, а остальное все... тамъ эти войны, греческія, римскія, что-то про Фридриха Великаго — все это у меня путалось. Но по-русски, у М-г Ельнина, я выучивала почти все, что онъ задавалъ.

— До сихъ поръ все идетъ прекрасно. Что же вы дѣлали еще?

— Читали. Онъ прекрасно читалъ, приносилъ книги...

— Какія же книги?

— Я теперь забыла...

— Что же дальше, кузина?

— Потомъ, когда мнѣ было шестнадцать лѣтъ, мнѣ дали особія комнаты и поселили со мной та tante Анну Васильевну, а миссъ Дредсонъ уѣхала въ Англію. Я занималась музыкой, и мнѣ оставили французскаго профессора и учителя по-русски, потому что тогда съ свѣтѣ заговорили, что надо знать по-русски, почти такъ же хорошо, какъ по-французски...

М-г Ельнинъ былъ очень... очень... милъ, хорошъ и... *comme il faut*?.. спросилъ Райскій.

Oui, il était tout-à-fait bien, сказала, покраснѣвъ

немного, Бѣловогода:—я привыкла къ нему... и когда онъ манкировалъ, мнѣ было досадно, а однажды онъ заболѣлъ и недѣли три не приходилъ..

— Вы были въ отчаяніи? перебилъ Райскій:— плакали, не спали ночей и молились за него? да? Вамъ было...

— Мнѣ было жаль его,—и я даже просила папá послать узнать о его здоровьѣ...

— Даже! Ну, что-жъ папá?

— Самъ съѣздилъ, нашелъ его *convalescent* и привезъ къ намъ обѣдать. Мамап сначала было разсердилась и начала сцену съ папá, но Ельнинъ былъ такъ приличенъ, скромнъ, что и она пригласила его на наши *soirées musicales* и *dansantes*. Онъ былъ хорошо воспитанъ, игралъ на скрипкѣ...

— Чтò же дальше? съ нетерпѣніемъ спросилъ Райскій.

— Когда папá привезъ его въ первый разъ послѣ болѣзни, онъ былъ блѣденъ, молчаливъ... глаза такіе томные... Мнѣ стало очень жаль его, и я спросила за столомъ, чѣмъ онъ былъ боленъ?... Онъ взглянулъ на меня съ благодарностью, почти нѣжно... Но мамап послѣ обѣда отвела меня въ сторону и сказала, что это ни на что не похоже—дѣвицѣ спрашивать о здоровьѣ посторонняго молодого человѣка, еще учителя, «и Богъ знаетъ, кто онъ такой!» прибавила она. Мнѣ стало стыдно, я ушла и плакала въ своей комнатѣ, потомъ ужъ никогда ни о чемъ его не спрашивала...

— Дѣло! иронически замѣтилъ Райскій: — чуть

было съ Олимпа спустились одной ногой къ людямъ — и досталось.

— Не перебивайте меня: я забуду! сказала она. — Ельнинъ продолжалъ читать со мной, заставлялъ и меня сочинять, по маман велѣла больше сочинять по-французски.

— Что жъ Ельнинъ, все читалъ?

— Да, читалъ и акомпанировалъ мнѣ на скрипкѣ: онъ бывалъ страненъ, иногда задумается и молчитъ полчаса, такъ что вздрогнетъ, когда я пазову его по имени, смотреть на меня очень странно... какъ иногда вы смотрите, или сидеть такъ близко, что испугаетъ меня. Но мнѣ не было... досадно на него... Я привыкла къ этимъ странностямъ; онъ разъ положилъ свою руку на мою: мнѣ было очень неловко. Но онъ не замѣчалъ самъ, что дѣлаетъ — и я не отняла руки. Даже однажды... когда онъ не пришелъ на музыку, на другой день я встрѣтила его очень холодно...

— Bravo! а предки ничего?

— Смѣйтесь cousin: оно въ самомъ дѣлѣ смѣшно...

— Я радуюсь, кузина, а не смѣюсь: не правдали, вы жили тогда, были счастливы, веселы, — не такъ, какъ послѣ, какъ теперь?...

— Да, правда: мнѣ, какъ глупой дѣвчкѣ, было весело смотрѣть, какъ онъ вдругъ робѣлъ, боялся взглянуть на меня, а иногда, напротивъ, долго глядѣлъ, — иногда даже поблѣднѣетъ. Можетъ быть, я немного кокетничала съ нимъ, по-дѣтски конечно, отъ скуки... У насъ было иногда... очень скучно!

Но онъ былъ, кажется, очень добръ и несчастливъ: у него не было родныхъ никого... Я принимала большое участіе въ немъ, и мнѣ было съ нимъ весело, это, правда. За то, какъ я дорого заплатила за эту глупость!...

— Ахъ, скорѣе! сказалъ Райскій: — жду драмы.

— Въ день моихъ именинъ у насъ былъ пріемъ; меня уже вывозили. Я разучивала сонату Бетховена, ту, которою онъ восхищался, и которую вы тоже любите...

— Такъ вотъ откуда совершенство, съ которымъ вы играете ее... Дальше, кузина: это интересно!

— Въ свѣтѣ ужъ обо мнѣ тогда знали, что я люблю музыку, говорили что я буду первоклассная артистка. Прежде мама хотѣла взять Гензельта, но услыхавши это, отдумала.

— Мудрость предковъ говорить, что неприлично артисткой быть! замѣтилъ Райскій.

— Я ждала этого вечера съ нетерпѣніемъ, продолжала Софья, потому что Ельвинъ не зналъ, что я разучиваю ее для...

Бѣловодова остановилась въ смущеніи.

— Понимаю! подсказалъ Райскій.

— Всѣ собрались, тутъ пѣли, играли другіе, а его нѣтъ; мама два раза спрашивала, что-жъ я, сыграю ли сонату? я отговаривалась, какъ могла, наконецъ она приказала играть: *j'avais le souci gros*—и сѣла за фортепіано. Я думаю, я была блѣдна: но только я сыграла интродукцію, какъ вижу въ зеркалѣ—Ельвинъ стоитъ сзади меня...

*

Мнѣ потомъ сказали, что будто я вспыхнула: я думаю, это неправда, стыдливо прибавила она. Я просто рада была, потому что онъ понималъ музыку...

— Кузина! говорите сами, не заставляйте говорить предковъ.

— Я играла, играла...

— Съ одушевленіемъ, горячо, со страстью... подсказывалъ опъ.

— Я думаю — да, потому что сначала все слушали молча, никто не говорилъ банальныхъ похвалъ: «charmant, bravo», а когда кончила — все закричали въ одинъ голосъ, окружили меня... Но я не обратила на это вниманія, не слыхала поздравленій, я обернулась, только лишь кончила, къ нему... Онъ протянулъ мнѣ руку и я...

Софья остановилась въ смущеніи...

— Ну, вы бросились къ нему...

— Уже и бросилась! Нѣтъ, я протянула ему тоже руку и онъ... пожалъ ее! и кажется, мы оба покраснѣли...

— Только?

— Я скоро опомнилась и стала отвѣчать на поздравленія, на привѣтствія, хотѣла подойти къ маман, но взглянула на нее и... мнѣ страшно стало: подошла къ теткамъ, но обѣ онѣ сказали что-то вскользь и отошли. Ельнинъ изъ угла слѣдилъ за мной такими глазами, что я ушла въ другую комнату. Маман, не простясь, ушла послѣ гостей къ себѣ. Надежда Васильевна, прощаясь, покачала

головой, а у Анны Васильевны на глазахъ были слезы...

— Помѣшательства бываютъ разныя, замѣтилъ Райскій: — эти всѣ рехнулись на приличіи... Ну, что же на утро?

— На утро, продолжала Софья со вздохомъ, — я ждала пока позовутъ меня къ маман, но меня долго не звали. Наконецъ за мной пришла tante, Надежда Васильевна, и сухо сказала, чтобы я шла къ маман. У меня сердце сильно билось, и я сначала даже не разглядѣла, что было и кто былъ у маман въ комнатѣ. Тамъ было темно, портьеры и шторы спущены, маман казалась утомлена; подлѣ нея сидѣли тетушка, mon oncle prince Serge и папà...

— Весь ареопагъ — и портреты тутъ!

— Папà стоялъ у камина и грѣлся. Я посмотрѣла на него и думала, что онъ взглянетъ на меня ласково: мнѣ бы легче было. Но онъ старался не глядѣть на меня; бѣдняжка боялся маман, а я видѣла, что ему было жалко. Онъ все жевалъ губами: онъ это всегда дѣлаетъ въ ажитаціи, вы знаете.

— И что же они?

— «Позвольте васъ спросить, кто вы и что вы?» тихо спросила маман. — «Ваша дочь», чуть-чуть внятно отвѣтила я. — «Не похоже. Какъ вы ведете себя?» — Я молчала: отвѣчать было нечего...

— Боже мой! нечего! произнесъ Райскій.

«Что это за сцену разыграли вы вчера: комедію, драму? чье это сочиненіе, ваше, или учителя этого...

Ельпина?» — Матап, я не играла сцены, я нечаянно... едва проговорила я, такъ мнѣ было тяжело. — «Тѣмъ хуже, сказала она: *il y a donc du sentiment là dedans?* вотъ послушайте, обратилась она къ папѣ: чтò говорить ваша дочь... какъ вамъ правится это признаніе?...»

— Онъ, бѣдный, былъ смущенъ и жалокъ больше меня и смотрѣлъ внизъ; я знала, что онъ одинъ не сердится, а мнѣ хотѣлось бы умереть въ эту минуту со стыда... «Знаете-ли, кто онъ такой? сказала матап: — вашъ учитель? вотъ князь *Serge* все узналъ: онъ сынъ какого-то лекаря, бѣгаетъ по урокамъ, сочиняетъ, пишетъ русскимъ купцамъ французскія письма за границу за деньги, и этимъ живетъ...» — Какой срамъ!» — сказала *ma tante*. — Я не дослушала дальше, мнѣ сдѣлалось дурно. Когда я опомнилась, подлѣ меня сидѣли обѣ тетушки, а папѣ стоялъ со спиртомъ. Матап не было. Я не видала ее двѣ недѣли. Потомъ, когда увидѣлась, я плакала, просила прощенія. Матап говорила, какъ поразила ее эта сцена, какъ она чуть не занемогла, какъ это все замѣтила кузина Нелюбова и пересказала Михиловымъ, какъ тѣ обвинили ее въ недостаткѣ вниманія, бранили, зачѣмъ принимали Богъ знаетъ кого. «Вотъ чему ты подвергла меня!» — заключила матап. Я просила простить и забыть эту глупость и дала слово впередъ держать себя прилично.

Райскій расхохотался.

— Я думалъ, Богъ знаетъ какая драма! сказалъ

онъ — а вы мнѣ рассказываете исторію шестилѣтней дѣвочки! Надѣюсь, кузина, когда у васъ будетъ дочь, вы поступите иначе...

— Какъ же: отдать ее за учителя? сказала она. — Вы не думаете сами серьезно, чтобъ это было возможно!

— Почему нѣтъ, если онъ честенъ, хорошо воспитанъ?...

— Никто не знаетъ, честенъ ли Ельнинъ: напротивъ, ма тате и маман говорили, что будто у него были дурныя намѣренія, что онъ хотѣлъ вскружить мнѣ голову... изъ самолюбія, потому что серьезныхъ намѣреній онъ имѣть не смѣлъ....

— Нѣтъ! пылко возразилъ Райскій: — гасъ обманули. Не блѣднѣютъ и не краснѣютъ, когда хотятъ кружить головы ваши франты, кузены, *princes Pierre, comte Serge*: вотъ у кого дурное на умѣ! А у Ельнина не было никакихъ намѣреній, онъ, какъ я вижу изъ вашихъ словъ, любилъ васъ искренно. А эти — онъ не оборачиваясь указалъ назадъ на портреты: — женятся на васъ *par convenance*, и потомъ мѣняють на танцовщицу...

— *Cousin!* серьезно, почти съ испугомъ, сказала она.

— Да, кузина, вы сами знаете это...

— Чтò же мнѣ было дѣлать? Сказать маман, что я выйду за М-г Ельнина...

— Да, упасть въ обморокъ не оттого, отъ чего вы упали, а отъ того, что осмѣлились распоряжаться вашимъ сердцемъ, потомъ уйти изъ дома и

сдѣлаться его женой. «Сочиняетъ, пишетъ письма, даетъ уроки, получаетъ деньги и этимъ живетъ!» Въ самомъ дѣлѣ, какой позоръ! А они (онъ опять указаль на предковъ) получали, ничего не сочиняя, и проѣдали весь свой вѣкъ чужое—какая слава!... Что же случилось съ Ельнинымъ?

— Не знаю, равнодушно сказала она:—ему отказали отъ дома, и я не видала его никогда.

— И вы—ничего?

— Ничего...

— Передъ вами являлась лицомъ къ лицу настоящая, живая жизнь, счастье—и вы оттолкнули его отъ себя! изъ чего, для чего?

— Но, cousin, вы знаете, что я была замужемъ и жила этой жизнью...

— Съ нимъ? спросилъ онъ, глядя на портретъ ея мужа.

— Съ нимъ! сказала она, глядя съ кроткой лаской тоже на портретъ.

— Какъ вы вышли замужъ?

— Очень просто. Онъ тогда только-что воротился изъ-за границы и бываль у насъ, рассказываль что дѣлается въ Парижѣ, говорилъ о королевѣ, о принцессахъ, иногда обѣдалъ у насъ, и черезъ княгиню сдѣлаль предложеніе.

— Ну, когда согласились и вы остались съ нимъ въ первый разъ одиѣ... что онъ?...

— Ничего! сказала она съ улыбкой удивленія.

— Но вѣдь... говорилъ же онъ вамъ, почему

искалъ вашей руки, что его привлекло къ вамъ... что не было никого прекраснѣе, блистательнѣе...

— И «что онъ никогда не кончилъ бы, говоря обо мнѣ, но боится быть сентиментальнымъ»... добавила она.

— Потомъ?

— Потомъ сѣлъ играть въ карты, а я пошла одѣваться; въ этотъ вечеръ онъ былъ въ нашей ложѣ и на другой день объявленъ женихомъ.

— Въ самомъ дѣлѣ это очень просто! замѣтилъ Райскій.—Ну, потомъ, послѣ свадьбы?..

— Мы уѣхали за границу.

— А! наконецъ, не до свѣта, не до родныхъ: куда-нибудь въ Италію, въ Швейцарію, на Рейнъ, въ уголокъ, и тамъ сердце взяло свое...

— Нѣтъ, нѣтъ, cousin, — мы поѣхали въ Парижъ: мужу дали порученіе, и онъ представилъ меня ко двору.

— Господи! воскликнулъ Райскій: — этого не доставало!

— Я была очень счастлива, сказала Бѣловодова, и улыбка и взглядъ говорили, что она съ удовольствіемъ глядитъ въ прошлое.—Да, cousin, когда я въ первый разъ пріѣхала на балъ въ Тюльери и вошла въ кругъ, гдѣ былъ король, королева и принцы...

— Всѣ ахнули? сказалъ Райскій.

Она кивнула головой, потомъ вздохнула, какъ будто жалѣя, что это прекрасное прошлое невозвратимо.

— Мы принимали въ Парижѣ; потомъ уѣхали на воды; тамъ мужъ устраивалъ праздники, балы: тогда писали въ газетахъ.

— И вы были счастливы?

— Да, сказала она, — счастлива: я никогда не видала недовольной мины у Paul, не слыхала...

— Нѣжнаго, задушевнаго слова, не видали минуты увлеченія?..

Она задумчиво и отрицательно покачала головой.

— Не слыхала отказа въ желаніяхъ, даже въ капризахъ... добавила она.

— Будто у васъ были и капризы?

— Да: въ Вѣнѣ онъ за полгода велѣлъ приготовить отель, мы пріѣхали, мнѣ не понравилось, и...

— Онъ напаялъ другой: какой нѣжный мужъ!

— Какое вниманіе, égard, говорила она — какое уваженіе въ каждомъ словѣ!...

— Еще бы: вѣдь вы Пахотина; шутка ли?

— Да, я была счастлива, рѣшительно сказала она — и уже такъ счастлива не буду!

— И слава Богу: аминь! заключилъ онъ. — Канарейка тоже счастлива въ клѣткѣ, и даже поетъ; но она счастлива канареечнымъ, а не человеческимъ счастьемъ..... Нѣтъ, кухня, надъ вами совершенно систематически утонченное умерщвленіе свободы духа, свободы ума, свободы сердца! Вы — прекрасная плѣнница въ свѣтскомъ сералѣ и прозываете въ своемъ невѣдѣніи.

— И не хочу мѣнять этого невѣдѣнія на ваше опасное вѣдѣніе....

— Да, перебилъ онъ: — и засидѣвшаяся канарейка, когда отворять клѣтку, не летить, а боязливо прячется въ гнѣздо. Вы — тоже. Воскресните, кузина, отъ сна, бросьте вашихъ Катринъ, m-me Basil, эти выѣзды — и узнайте другую жизнь. Когда запросить сердце свободы, не справляйтесь, что скажетъ кузина...

— А что скажетъ cousin — да?

— Да, тогда вспомните кузена Райскаго и смѣло подите въ жизнь страстей, въ незнакомую вамъ сторону...

— Но зачѣмъ же непременно страсти, возразила она: — развѣ въ нихъ счастье?...

— Зачѣмъ гроза въ природѣ?... Страсть — гроза жизни... О, еслибъ испытать эту сильную грозу! съ увлеченіемъ сказалъ онъ и задумался.

— Вотъ видите, cousin: все прочее, кромѣ васъ, велитъ бѣжать страстей, а вы меня хотите толкнуть, чтобы потомъ всю жизнь раскаяваться...

— Нѣтъ, не къ раскаянію поведетъ васъ страсть: она очиститъ воздухъ, прогонитъ міазмы, предразсудки, и дастъ вамъдохнуть настоящей жизнью... Вы не упадете, вы слишкомъ чисты, свѣтлы; порочны вы быть не можете. Страсть не исказитъ васъ, а только подниметъ высоко. Вы черпнете познанія добра и зла, упьетесь счастьемъ и потомъ задумаетесь на всю жизнь, — не этой красивой, сонной задумчивостью. Въ вашемъ покоѣ будетъ биться пульсъ, будетъ жить сознаніе счастья; вы будете прекраснѣе во сто разъ, будете пѣжны,

грустны, передъ вами откроется глубина собственнаго сердца, и тогда весь міръ упадетъ передъ вами на колѣни, какъ падаю я...

Онъ въ самомъ дѣлѣ опускался на колѣни, но она сдѣлала движеніе ужаса, и онъ остановился.

— И когда я васъ встрѣчу потомъ, можетъ быть измученную горемъ, — но богатую и счастьемъ и опытомъ, вы скажете, что вы не даромъ жили, и не будете отговариваться невѣдѣніемъ жизни. Вотъ тогда выглянете и туда, на улицу, захотите узнать, что дѣлають ваши мужики, захотите кормить, учить, лечить ихъ...

Она слушала задумчиво. Сомнѣнія, тѣни, воспоминанія, проходили по лицу.

— Не всѣ мужчины — Бѣловодовы, продолжалъ онъ: — не побоятся другъ вашъ дать волю сердцу и языку, а услышавши разъ голосъ сердца, поживъ въ тишинѣ, наединѣ — гдѣ-нибудь въ чухонской деревнѣ, вы ужаснетесь вашего свѣта. Парижъ и Вѣна поблѣднѣютъ передъ той деревней. Прочъ prince Pierre, comte Serge, тетуски, эти портьеры, драпри, съ глазъ долой портреты: все это мѣшаетъ только счастью. Вы возненавидите и Пашу съ Дашей, и швейцара, всѣ выѣзды — все вамъ опротивѣетъ тогда. Положеніе ваше будетъ душить васъ, вамъ покажется здѣсь тѣсно, скучно, безъ того, кого полюбите, кто научить васъ жить. Когда онъ придетъ, вы будете неловки, вздрогнете отъ его голоса, покраснѣете, поблѣднѣете, а когда уйдетъ, сердце у васъ вскрикнетъ и помчится за

нимъ, будетъ ждать томительно завтра, послѣ-завтра... Вы не будете обѣдать, не уснете, и просидите ночь вотъ тутъ въ креслѣ, безъ сна, безъ покоя. Но если увидите его завтра, даже почувствуете надежду увидѣть, вы будете свѣжѣ этого цвѣтка, и будете счастливы, и онъ счастливъ этимъ блестящимъ взглядомъ — не только онъ, но и чужой, кто васъ увидитъ въ этихъ лучахъ красоты...

— Чтò это, видно papà не будетъ? сказала она, оглядываясь вокругъ себя. — Это невозможно, чтò вы говорите! тихо прибавила потомъ.

— Почему? спросилъ онъ, впиваясь въ нее глазами.

У него воображеніе было раздражено: онъ невольно ставилъ на мѣстѣ героя себя; онъ глядѣлъ на нее, то смѣло, то стоялъ мысленно на колынахъ и млѣлъ, лицо тоже млѣло. Она взглянула на него раза два и потомъ боялась или не хотѣла глядѣть.

— Почему невозможно? повторилъ онъ.

— Вѣдь я — канарейка!

— О, тогда эта портьера упадетъ, и вы выпорхнете изъ клѣтки; тогда вы возненавидите и тетокъ, и этихъ полинявшихъ господъ, а на этотъ портретъ (онъ указалъ на портретъ мужа) взглянете съ враждой.

— Ахъ, cousin!... съ упрекомъ остановила она.

— Да, кузина, вы будете считать потерянною всякою минуту, прожитую какъ вы жили и какъ живете теперь... Пропадетъ этотъ величавый, строй-

ный видъ, будете задумываться, забудете одѣться въ это несгибающееся платье... съ досадой бросите массивный браслетъ, и крестикъ на груди не будетъ лежать такъ правильно и покойно. Потомъ, когда преодолѣте предковъ, тетюшекъ, перейдете Рубиконъ — тогда начнется жизнь... мимо васъ будутъ мелькать дни, часы, ночи...

Онъ сѣлъ близко подлѣ нея: она не замѣчала, погруженная въ задумчивость.

— Вы не будете замѣчать ихъ, шепталъ онъ, вы будете только наслаждаться, не оторвете вашей мечты отъ него, не сладите съ сердцемъ, вамъ все будетъ чудиться, чего съ вами никогда не было.

Онъ взялъ ее за руку, она вздрогнула.

— Одна, дома, вы вдругъ заплачете отъ счастья: около васъ будетъ кто-то невидимо ходить, смотрѣть на васъ... И если въ эту минуту явится опъ, вы закричите отъ радости, вскочите и... и... броситесь къ нему...

Оба они вдругъ встали.

— И отдадите все... все..., шепталъ онъ, держа ее за руку.

— *Assez, cousin, assez!* говорила она въ волненіи, съ нетерпѣніемъ, почти съ досадой отнимая руку.

— И будете еще жалѣть,—все шепталъ онъ:— что нечего больше отдать, что нѣтъ жертвы! Тогда пойдете и на улицу, въ темную ночь, однѣ... если...

— *Mon Dieu, mon Dieu!* говорила она, глядя на дверь:—чтò вы говорите?... вы знаете сами, что это невозможно!

— Все возможно, шепталъ онъ: — вы станете на колѣни, страстно прильнете губами къ его рукѣ, и будете плакать отъ наслажденія...

Она сѣла на кресло, откинула голову и вздохнула тяжело.

— *Je vous demande une grâce, cousin*, сказала она.

— Требуйте, приказывайте! говорилъ онъ восторженно.

— *Laissez moi!*

Онъ пошелъ къ двери и оглянулся. Она сидитъ неподвижно: на лицѣ только нетерпѣніе, чтобъ онъ ушелъ. Едва онъ вышелъ, она налила изъ графина въ стаканъ воды, медленно выпила его и потомъ велѣла отложить карету. Она сѣла въ кресло и задумалась, не шевелясь.

Черезъ нѣсколько минутъ слышались шаги, портьера распахнулась. Софья вздрогнула, мелькомъ взглянула въ зеркало и встала. Вошелъ ея отецъ, съ нимъ какой-то гость, мужчина среднихъ лѣтъ, высокій, брюнетъ, съ задумчивымъ лицомъ. Физіономія не русская. Отецъ представилъ его Софѣ.

— Графъ Милари, *ma chère amie*, сказалъ онъ:— *grand musicien et le plus aimable garçon du monde*. Двѣ недѣли здѣсь: ты видѣла его на балѣ у княгини? Извини, душа моя, я былъ у графа: онъ не пустилъ въ театръ.

— Я велѣла отложить карету, панă; мнѣ тоже не хочется, отвѣчала она.

Софья попросила гостя сѣсть. Они стали гово-

рить о музыкѣ, а Николай Васильевичъ, пожевавъ губами, ушелъ въ гостиную.

XV.

Райскій вернулся домой въ чаду, едва замѣчая дорогу, улицы, проходящихъ и проѣзжающихъ. Онъ видѣлъ все одно — Софью, какъ картину, въ рамкѣ изъ бархата, кружевъ, всю въ шелку, въ брилліантахъ, но уже не прежнюю покойную и недоступную чувству Софью. На лицѣ у ней онъ успѣлъ прочесть первые, робкіе лучи жизни, мимолетные проблески нетерпѣнія, потомъ тревоги, страха, и, наконецъ добился вызвать какое-то волненіе, можетъ быть, бессознательную жажду любви. Онъ бросилъ сомнѣніе въ нее, вопросы, можетъ быть, сожалѣніе о даромъ потерянномъ прошломъ, словомъ, взволновалъ ее. Ему спилась въ перспективѣ страсть, драма, превращеніе статуи въ женщину. Пока онъ гордился про себя и тѣмъ крошечнымъ успѣхомъ своей пропаганды, что, кажется, предки сошли въ ея глазахъ съ высокаго пьедестала. «Еще два, три вечера, думалъ онъ, еще приподниметъ онъ ей уголокъ завѣсы, она взглянетъ въ лучистую даль, и вдругъ пойметъ жизнь и счастье. Потомъ дальше, когда-нибудь, взглядъ ея остановится на комъ-то въ изумленіи, потомъ опустится, взглянетъ широко

опять и онѣмѣеть — и она мгновенно преобразится. Но кто же будетъ этотъ «кто-то?» спросилъ онъ ревниво. Не тотъ ли, кто первый вызвалъ въ ней сознаніе о чувствѣ? Не онъ ли вправѣ бросить ей въ сердце и самое чувство?»

Онъ поглядѣлъ въ зеркало и задумался, подошелъ къ форточкѣ, отворилъ ее,дохнулъ свѣжимъ воздухомъ: до него донеслись звуки віолончели.— «Ахъ, опять этотъ пилить! съ досадой сказалъ онъ, глядя на противоположное окно флигеля. «И опять то же»! прибавилъ онъ, захлопывая форточку. Звуки, хотя глухо, но все доносились до него. Каждое утро и каждый вечеръ видѣлъ онъ въ окно человека, нагнувшагося надъ инструментомъ и слышалъ повтореніе, по цѣлымъ недѣлямъ, почти неисполнимыхъ пассажей, по пятидесяти, по сто разъ. И мѣсяцы проходили такъ. — «Осель!» сказалъ Райскій и легъ на диванъ, хотѣлъ заснуть, но звуки не давали, какъ онъ ни прижималъ ухо къ подушкѣ, чтобъ заглушить ихъ. Нѣтъ, такъ и рѣжутъ. «Право, осель!» повторилъ онъ и самъ сѣлъ за фортепьяно и началъ брать сильные аккорды, чтобъ заглушить віолончель. Потомъ залился геселю трелью, перебралъ мотивы изъ нѣсколькихъ оперъ, чтобъ не слышать неспоснаго мычанья, и насилу забылся за импровизаціей. Передъ нимъ была Софья: играя онъ видѣлъ все ее, уже съ пробудившимися страстями, страдающую и любящую — и только дошло до вопроса: «кого?» звуки у него будто оборвались. Онъ всталъ и открылъ форточку. — «Все еще играетъ!»

съ изумленіемъ повторилъ онъ и хотѣлъ снова захлопнуть, но вдругъ остановился и замеръ на мѣстѣ. Звуки не тѣ: не мычанье, не повтореніе трудныхъ пассажей слышать онъ. Сильная рука водила смычкомъ, будто по первамъ сердца: звуки послушно плакали и хохотали, обдавали слушателя точно морской волной, бросали въ пучину и вдругъ выкидывали на высоту и несли въ воздушное пространство. Цѣлыя міры отверзались передъ нимъ, поспешили видѣнія, открылись волшебныя страны. У Райскаго широко открылись глаза и уши: онъ видѣлъ только фигуру человѣка въ одномъ жилетѣ, свѣча освѣщала мокрый лобъ, глазъ было не видно. Борисъ пристально смотрѣлъ на него, какъ бывало на Васюкова. — «А! что это такое!» думалъ онъ, слушая съ дрожью почти ужаса эти широко-разливающія волны гармоніи. «Что это такое? повторилъ онъ: откуда онъ взялъ эти звуки? Кто ихъ далъ ему? Ужели мѣсяцы и годы ослинаго терпѣнія и упорства? Рисовать съ бюстовъ, пилить по струнамъ—годы! А даетъ человѣческой фигурѣ, въ картинѣ, огонь, жизнь, — одна волшебная точка, штрихъ; страсть въ звуки вливается—одна первая дрожь пальца! У меня есть и точка, и первая дрожь—и всѣ эти молніи горятъ, здѣсь, въ груди—говорилъ онъ, ударя себя въ грудь. И я безсиленъ перебросить ихъ въ другую грудь, зажечь огнемъ своимъ огонь въ крови зрителя, слушателя! Священный огонь не переходитъ у меня въ звуки, не ложится послушно въ картину! Зачѣмъ не группи-

руются стройно лица поэмы и романа?» И опять слушалъ онъ, замирая: не слышать ни смычка, ни струнъ; инструмента не было, а пѣла свободно, вдохновенно, будто грудь самого артиста. У Райскаго наворачнулись слезы умиленія, и онъ тихо закрылъ форточку.

А вѣдь есть упорство и у него, у Райскаго! Какія усилія напрягалъ онъ, чтобъ... сладить съ кузиной, сколько ума, игры воображенія, труда положилъ онъ, чтобъ пробудить въ ней огонь, жизнь, страсть... Вотъ куда уходятъ эти силы! «Не вноси искусства въ жизнь, шепталъ ему кто-то, а жизнь въ искусство!... Береги его, береги силы!» Онъ пошелъ къ мольберту; снялъ зеленую тафту: тамъ былъ портретъ Софьи—глаза ея, плечи ея и спокойствіе ея.—«Но теперь она ужъ не такая! шепталъ онъ: явились признаки жизни—я ихъ вижу; вотъ они, передъ глазами у меня: какъ уловить ихъ?...» Онъ схватилъ кисть, палитру, помалевалъ глаза, измѣнилъ немного линію губъ—и со вздохомъ положилъ кисть и отошелъ. Платье, эти кружева, бархаты кое-какъ набросаны. А пуще всего руки не вѣрны. И темно: краски вечеромъ измѣняются. Онъ поглядѣлъ еще нѣсколько запыленныхъ картинъ: все пачатые и брошенные эскизы, потомъ подошелъ къ печкѣ, перебралъ нѣсколько рамокъ, останавливаясь на нѣкоторыхъ, и между прочимъ, на головѣ Гектора. Наконецъ досталъ небольшой масляный, будто скорой рукой набросанный и едва подмалеванный портретъ молодой, блѣлой жеп-

щины, поставилъ его на мольбертъ и, облокотясь локтями на столъ, впустивъ пальцы въ волосы, остановилъ неподвижный, исполненный глубокой грусти взглядъ на этой головѣ. Долго сидѣлъ онъ въ задумчивомъ снѣ, потомъ очнулся, пересѣлъ за письменный столъ и началъ перебирать рукописи, — на нѣкоторыхъ останавливался, качалъ головой, реалъ и бросалъ въ корзину, подъ столъ, другія откладывалъ въ сторону. Между книгами литературныхъ опытовъ, стиховъ и прозы, онъ нашелъ одну тетрадь, въ заглавіи которой стояло: «Наташа». Тамъ былъ записанъ старый эпизодъ, когда онъ только что расцвѣталъ, сближался съ жизнью, любилъ и его любили. Онъ записалъ его когда-то, подъ вліяніемъ чувства, которымъ жилъ, не зная тогда еще, зачѣмъ, — можетъ быть, съ сентиментальной цѣлью — посвятить эти листки памяти своей тогдашней подруги, или оставить для себя замѣтку и воспоминаніе въ старости о молодой своей любви, а можетъ быть, у него уже тогда бродила мысль о романѣ, о которомъ онъ говорилъ Аянову, и мелькалъ сюжетъ для трогательной повѣсти изъ собственной жизни. Онъ тамъ говорилъ о себѣ въ третьемъ лицѣ, набрасывая легкій очеркъ, сквозь который едва пробивался образъ нѣжной, любящей женщины. Думая впоследствии о своемъ романѣ, онъ предполагалъ выработать этотъ очеркъ и включить въ романъ, какъ эпизодъ.

«.... Онъ, воротясь домой послѣ обѣда въ артистическомъ кругу, — читалъ Райскій въ полголоса

свою тетрадь — нашелъ у себя на столѣ записку, въ которой было сказано: Навѣсти меня, милый Борисъ: я умираю!... Твоя Наташа».

«Боже мой, Наташа! закричалъ онъ не своимъ голосомъ и побѣжалъ съ лѣстницы, бросился на улицу и поскакалъ на извозникѣ къ Знаменью, въ переулокъ, воѣжалъ въ домъ, въ третій этажъ. «Двѣ недѣли не былъ, двѣ недѣли — это вѣчность! Что она?»

«Онъ остановился передъ дверью, переводя духъ, и отъ волненія, то брался за ручку колокольчика, то опять оставлялъ ее. Наконецъ позвонилъ и вошелъ. Его встрѣтила хозяйка квартиры, пожилая женщина, чиповница, молча, опустивъ глаза, какъ будто съ укоризной отвѣчала на поклонъ, а на вопросъ его, сдѣланный шопотомъ, съ дрожью «что она?» — ничего не сказала, а только пропустила его впередъ, осторожно затворила за нимъ дверь и сама ушла. Онъ на цыпочкахъ вошелъ въ комнату и оглядѣлъ ее, съ безпокойствомъ отыскивая, гдѣ Наташа. Въ комнатѣ былъ волосяной диванъ красного дерева, круглый столъ передъ диваномъ; на столѣ стоялъ рабочій ящикъ и лежали неоконченныя женскія работы. Въ углу теплилась лампада; по стѣнамъ стояли волосяные стулья; на окнахъ горшки съ увядшими цвѣтами, да двѣ клѣтки, въ которыхъ дремали насупившіяся канарейки. Онъ глядѣлъ на ширмы и стоялъ боязливо, боясь идти туда.

— «Кто тамъ? раздался слабый голосъ изъ-за ширмъ. Онъ вошелъ.

«За ширмами, на постели, среди подушекъ, лежала, освѣщаемая темнымъ свѣтомъ маленькаго почника, какъ восковая, молодая, бѣлокурая жепщина. Взглядъ былъ горячъ, но сухъ, губы тоже жаркія и сухія. Она хотѣла повернуться, увидѣть его, сдѣлала живое движеніе и схватилась рукой за грудь.

— «Это ты, Борисъ, ты! съ пѣжной, томной радостью говорила она, протягивая ему обѣ исхудалыя, блѣдныя руки, глядѣла и не вѣрила глазамъ своимъ.

«Онъ бросился къ ней и поцѣловалъ обѣ руки.

— «Ты въ постели — и до сегодня не дала мнѣ знать! упрекалъ онъ.

«Она старалась слабой рукой схватить его руку и не могла, опустила голову опять на подушку.

— «Прости, что потревожила и теперь, старалась она выговорить, мнѣ хотѣлось увидѣть тебя. Я всего недѣлю, какъ слегла: грудь заболѣла... Она вздохнула.

«Онъ не слушалъ ее, съ ужасомъ вглядываясь въ ея лицо, недавно еще смѣющееся. И что стало теперь съ ней!

— «Что съ тобой?... хотѣлъ онъ сказать, не выдержалъ; и опустивъ лицо въ подушку къ ней, вдругъ разразился рыданіемъ.

— Что ты, что ты! говорила она, лаская пѣжно рукой его голову: она была счастлива этими слезами. — Это ничего, докторъ говорить, что пройдетъ...

«Но онъ рыдалъ, онъ понималъ, что не пройдетъ.

— «Я думала, ты утѣшишь меня. Мнѣ такъ было скучно одной и страшно... Она вздрогнула и оглянулась около себя.—Книги твои все прочла, вонъ онѣ, на стулѣ, прибавила она. Когда будешь пересматривать, увидишь тамъ мои замѣтки карандашемъ; я подчеркивала все мѣста, гдѣ находила сходство... какъ ты и я.... любили.... Охъ, устала, не могу говорить....» Она остановилась, смочила языкомъ горячія губы. «Дай мнѣ пить, вонъ тамъ, на столѣ!» Проглотивъ нѣсколько капель, она указала ему мѣсто на подушкѣ и сдѣлала знакъ, чтобъ онъ положилъ свою голову. Она положила ему руку на голову, а онъ украдкой утиралъ слезы.

— «Тебѣ скучно здѣсь, заговорила она слабо, прости, что я призвала тебя.... Какъ мнѣ хорошо теперь, еслибъ ты зналъ!» въ мечтательномъ забытіи говорила она, закрывъ глаза и перебирая рукой его волосы. Потомъ обняла его, поглядѣла ему въ глаза, стараясь улыбнуться. Онъ молча и нѣжно отвѣчалъ на ея ласки, глотая наперевушнія слезы.

— «Ты посидишь со мною сегодня? спросила она, глядя ему въ глаза.

— «Весь вечеръ, всю ночь; я не отоюду отъ тебя, пока....

«Слезы опять подступили и онъ сдга справился съ ними.

— «Нѣтъ, нѣтъ, зачѣмъ? Я не хочу, чтобъ ты скучалъ.... Ты успи, успокойся, со мной ничего,

право, ничего.... Она хотѣла улыбнуться и не могла.

— «Я что-то скажу тебѣ: ты не разсердишься?..

«Онъ пожалъ ей влажную руку.

— «Я схитрила.... шептала она, приложивъ свою щеку къ его щекѣ: мнѣ вотъ ужъ третій день легче, а я написала, что умираю... мнѣ хотѣлось заманить тебя... Прости меня!

«Она улыбнулась, а онъ оцѣпенѣлъ отъ ужаса: онъ слыхалъ, что значить это «легче». Но онъ старался улыбнуться, судорожно сжалъ ей руки и съ боязнію глядѣлъ, то на нее, то вкругъ себя.

«Вдругъ изъ свѣта, изъ толпы веселыхъ пріятелей, художниковъ, красавицъ, онъ попалъ какъ-будто въ склепъ. Онъ сѣлъ подлѣ постели и ушелъ въ свою фантазію, гдѣ, и раздолье молодой его жизни, и вдругъ упавшее на него, горе стояли какъ двѣ противоположныя картины. Большая, веселая комната, группа собесѣдниковъ, здоровыхъ, поющихъ, говорящихъ шумно вкругъ стола; за роскошнымъ обѣдомъ, среди цвѣтовъ, шипящихъ бокаловъ. Между собесѣдниками веселыя лица женщинъ блестятъ красотой, наслажденіемъ. Тутъ артистки музыки, балета, пѣвцы, художники и золотая молодежь, красота, умъ, таланты, юморъ—вся солнечная сторона жизни! Вдругъ онъ шагнулъ въ ея мрачную тѣнь: эта маленькая, бѣдная комната и въ ней угасающая, подкошенная жизнь. Тамъ, у царицы пира, свѣжій, блистающій молодостью лобъ и глаза, каскадомъ падающая на затылокъ и шею темная коса,

высокая грудь и роскошные плечи. Здѣсь—эти впадшіе, едва мерцающіе, какъ искры, глаза, сухіе, безцвѣтные волосы, осунувшіяся кости рукъ... Обѣ картины подавляли его ужасающими крайностями, между которыми лежала такая бездна, а между тѣмъ онѣ стояли такъ близко другъ къ другу. Въ галлерей ихъ не поставили бы рядомъ: въ жизни онѣ сходились—и онъ смотрѣлъ одичалыми глазами на обѣ. Его пронимала дрожь ужаса и скорби. Онъ, противъ воли, группировалъ фигуры, давалъ положеніе тому, другому, себѣ, добавлялъ чего недоставало, исключалъ, что портило общій видъ картины. И въ тоже время самъ ужасался процесса своей безпощадной фантазіи, хватался рукой за сердце, чтобъ унять боль, согрѣть леденѣющую отъ ужаса кровь, скрыть муку, которая готова была страшнымъ воплемъ исторгнуться у него изъ груди при каждомъ ея болѣзненномъ стонѣ. Эта любовь на смертномъ одрѣ жгла его, какъ раскаленное желѣзо; каждую ласку принималъ онъ съ рыданіемъ, какъ сорванный съ могилы цвѣтокъ.

«Когда умолкала боль, и слышались только трудныя вздохи Наташи, передъ нимъ тихо развертывалась вся исторія этого, теперь угасающаго бытія. Онъ видѣлъ тамъ ее когда-то молоденькой дѣвочкой, съ стыдливимъ, простодушнымъ взглядомъ, живущей подъ слабымъ присмотромъ бѣдной, больной матери. Онъ узналъ Наташу въ опасную минуту, когда ея невѣдѣнію и невинности готовились сѣти. Матери, подъ видомъ участія и старой

друзбы, выхлопоталъ посѣдѣвшій мнимый другъ пенсіонъ, присылалъ доктора и каждый день прѣзжалъ, по вечерамъ, узнавать о здоровьѣ, отечески горячо цѣловалъ дочь... Между тѣмъ мать медленно умирала той же болѣзнью, отъ которой угасала теперь, немногими годами пережившая ее дочь. Райскій понялъ все и рѣшился спасти дитя. Спасая искренно и горячо отъ сѣтей «благодѣтеля», открывая глаза, и матери, и дочери, на значеніе его благодѣяній—онъ влюбился самъ въ Наташу, Наташа влюбилась въ него — и оба нашли счастье другъ въ другѣ, оба у смертнаго одра матери получили на него благословеніе. У обоихъ былъ одинъ простой и честный образъ семейнаго союза. Онъ уважалъ ея невинность, она цѣнила его сердце — оба протягивали руки къ брачному вѣнку—и оба.... не устояли. Полгода томилась мать на постели и умерла. Этотъ гробъ, ставши между ими и бракомъ — глубокій трауръ, вдругъ облекнѣвъ ея молодую жизнь, надломилъ и ея хрупкій, наслѣдственно-болѣзненный организмъ, въ которомъ, еще сильнѣе скорби и недуга, горѣла любовь и волновала нетерпѣніемъ и жаждой счастья. Доктора положили свой запретъ на нетерпѣливыя желанія: «надо подождать», говорили имъ, три мѣсяца, четыре. Брачный алтарь ждалъ, а любовь увлекла ихъ впередъ... И онъ спасъ ее отъ старика, спасъ отъ бѣдности, но не спасъ отъ себя. Она полюбила его не страстью, а какою-то, ни чѣмъ невозмутимою, ничего не боящеюся любовью, безъ слезъ, безъ стра-

даній, безъ жертвъ, потому что не понимала, что такое жертва, не понимала, какъ можно полюбить и опять не полюбить. Для нея любить — значило дышать, жить, не любить — перестать дышать и жить. На вопросы его: «любишь-ли? какъ?» Она, сжавъ ему крѣпко шею и стиснувъ зубы, по-дѣтски отвѣчала: «Вотъ такъ!» А на вопросъ: «перестанешь ли любить,» говорила задумчиво: «когда умру, такъ перестану». Она любила, ничего не требуя, ничего не желая, приняла друга, какъ онъ есть, и никогда не представляла себѣ, могли бы, или долженъ ли бы онъ быть инымъ? бываетъ ли другая любовь, или всѣ такъ любить, какъ она? А онъ мечталъ о страсти, о ея безконечно-разнообразныхъ видахъ, о всѣхъ сверкающихъ молніяхъ, о всемъ знѣ сильной, пылкой, ревнивой любви, и тогда, когда они вошли въ ея лѣто, въ жаркую пору. Наташа похорошѣла, пополнила, была весела, но ни разу на лицѣ у ней не блеснулъ таинственный лучъ затаеннаго, сдержаннаго упоенія, никогда — потеряннаго, безумнаго взгляда, которымъ выговаривается пожирающее душу пламя.

«А между тѣмъ тутъ все было для счастья: для сердца открывался вѣчный, теплый пріютъ. Для ума предстояла длинная, нескончаемая работа — развиваться, развивать ее, руководить, воспитывать молодой, женскій, воспріимчивый умъ. Работа тоже творческая — творить на благодарной почвѣ, творить для себя, создавать живой идеалъ собственнаго счастья.

«Но фантазія требовала роскоши, тревогъ. Покой усыплялъ ее—и жизнь его какъ-будто останавливалась. А она ничего этого не знала, не подозрѣвала, какой змѣй гнѣзвился въ немъ рядомъ съ любовью. Съ той минуты, какъ она полюбила, въ глазахъ и улыбкѣ ея засвѣтился тихій рай: онъ свѣтился два года и свѣтился еще теперь изъ ея умирающихъ глазъ. Похолодѣвшія губы шептали свое неизмѣнное «люблю», рука повторяла привычную ласку. Онъ иногда утомлялся, исчезалъ на мѣсяцы и, возвращаясь, бывалъ встрѣчаемъ опять той же улыбкой, тихимъ свѣтомъ глазъ, шепотомъ нѣжной, кроткой любви. Онъ былъ увѣренъ, что встрѣтитъ это всегда, долго наслаждался этой увѣренностью, а потомъ въ ней же нашелъ зерно скуки и начало разложенія счастья.

«Никогда—ни упрека, ни слезы, ни взгляда удивленія или оскорбленія за то, что онъ прежде былъ не тотъ, что завтра будетъ опять иной, чѣмъ сегодня, что она проводитъ дни оставленная, забытая, въ страшномъ одиночествѣ. У ней и въ сердцѣ и въ мысли не было упрековъ и слезъ, не сходили укоризны съ языка. Она не подозрѣвала, что можно сердиться, плакать, ревновать, желать, даже требовать чего-нибудь именемъ своихъ правъ. У ней было одно желаніе и право: любить. Она думала и вѣрила, что такъ, а не иначе, надо любить и быть любимой и что весь міръ такъ любить и любимъ. На отлучки его она смотрѣла, какъ на неприятное, случайное обстоятельство, какъ, напримѣръ, на то,

еслибъ онъ заболѣлъ. А возвращался онъ, — она была кротко счастлива, и полагала, что если его не было, то это такъ надо, это въ порядкѣ вещей. Обида, зло падали въ жизни на нее иногда и съ другихъ сторонъ: она блѣднѣла отъ боли, отъ изумленія, подкашивалась и бессознательно страдала, принимая зло покорно, не зная, что можно отдать обиду, заплатить зломъ. Она привязывалась къ тому, что нравилось ей, и умирала съ привязанностью, все думая, что *такъ надо*. Это былъ чистый, свѣтлый образъ, какъ Перуджиніевская фигура, просто-душно и бессознательно жившій и любившій, съ любовью пришедшій въ жизнь и съ любовью отходящій отъ нея, да съ кроткой и тихой молитвой. Жизнь и любовь какъ-будто пропѣли ей гимнъ и она сладко задумалась, слушая его, и только слезы умиленія и вѣры застывали на ея умирающемъ лицѣ, безъ укоризны за зло, за боль, за страданія.

«Умирала она, частію отъ небрежнаго воспитанія, отъ небрежнаго присмотра, отъ проведеннаго, въ скудости и тѣснотѣ, болѣзненнаго дѣтства, отъ попавшей въ ея организмъ наслѣдственной капли яда, развившагося въ смертельный недугъ, отъ того наконецъ, что всѣ эти «такъ надо», хотя не встрѣчали ни воплей, ни раздраженія съ ея стороны, а все же ложились на слабую, молодую грудь и подтачивали ее. Она прожила бы до старости, не упрекнувъ, ни жизнь, ни друга, ни его непостоянную любовь, и никого ни въ чемъ, какъ не упрекаетъ теперь никого и ничего за свою смерть. И ея

болѣзненная, страдальческая жизнь, и преждевременная смерть казались ей—*такъ надо*. Она никогда не искала смысла той апатіи, скуки и молчанія, съ которыми другъ ея иногда смотрѣлъ на нее, не догадывалась объ отжившей любви и не поняла бы никогда причинъ. А онъ думалъ часто, сидя, какъ убитый, въ зломъ молчаніи, около нея, не слушая ея простодушнаго лепета, не отвѣчая на восторгъ ласки: «нѣтъ—это не та женщина, которая, какъ сильная рѣка, ворвется въ жизнь, унесетъ всѣ преграды, разольется по полямъ. Или какъ огонь, освѣтитъ путь, вызоветъ силы, закалитъ ихъ энергіей и броситъ трепеть, жаръ, нѣгу и страсть въ каждый моментъ, въ каждую мысль... направить жизнь, поможетъ угадать ея смыслъ, задачу и совершить ее. Гдѣ взять такую львицу? А этотъ ягненокъ нѣжно щиплетъ траву, обмахивается хвостомъ и жметъ ко мнѣ, какъ къ маткѣ... Нѣтъ, это растительная жизнь, не жизнь, а сонъ...» Онъ широкой зѣвотой отвѣчалъ на ея лепетъ, ласки, бралъ шляпу и исчезалъ по недѣлямъ, по мѣсяцамъ, или въ студию художника, или на тѣ обѣды и ужины, гдѣ охватывалъ его чадъ и шумъ.

«Сидя теперь у одра, онъ мысленно читалъ исторію Наташи и своей любви, и когда вся исторія тихо развилась, и образъ умирающей сталъ передъ нимъ нѣмымъ укоромъ, онъ поблѣднѣлъ. Онъ вспомнилъ свое забвеніе, небрежность,—другихъ оскорбленій быть не могло: самъ дьяволъ упалъ бы на колѣни передъ этимъ голубинымъ, нѣжнымъ, безот-

вѣтнымъ взглядомъ. Онъ клялъ себя, что не отвѣчалъ цѣлымъ океаномъ любви на отданную ему одному жизнь, что не окружилъ ее оградой нѣжности отца, брата, мужа, далъ дохнуть на нее, не только вѣтру, но и смерти.

«Смерть! Боже, дай ей жизнь и счастье и возьми у меня все!» вопила въ немъ поздняя, отчаянная мольба. Онъ мысленно всходилъ на эшафотъ, самъ клалъ голову на плаху и кричалъ: «Я преступникъ!... если не убилъ, то далъ убить ее: я не хотѣлъ понять ее, искалъ ада и молній тамъ, гдѣ былъ только тихій свѣтъ лампы и цвѣты. Чтò же я такое, Боже мой! Злодѣй! Ужели я...» Онъ опять принималъ лицомъ къ ея подушкѣ и мысленно молилъ не умирать, творилъ обѣты счастья до самопожертвованія. «Поздно! Поздно!» говорило ему отчаяніе и ея трудные вздохи.

«Онъ вспомнилъ, что когда она стала будто бы цѣлью всей его жизни, когда онъ ткалъ узоръ счастья съ ней, — онъ, какъ змѣй, убирался въ ея цвѣта, окружалъ себя, какъ въ картинѣ, этимъ же тихимъ свѣтомъ; увидѣвъ въ ней искренность и нѣжность, изъ которыхъ создано было ея нравственное существо, онъ былъ искрененъ, улыбался ея улыбкой, любовался съ ней птичкой, цвѣткомъ, радовался дѣтски ея новому платью, шель съ ней плакать на могилу матери и подруги, потому что плакала она, сажалъ цвѣты... И вспомнилъ онъ, что любовался птичкой, сажалъ цвѣты и плакалъ — искренно, какъ и она. Куда же дѣлись эти слезы,

улыбки, наивныя радости, и зачѣмъ опошлились онѣ, и зачѣмъ она не нужна для него теперь?..

— «О чемъ ты думаешь? раздался слабый голосъ у него надъ ухомъ: дай еще пить... Да не гляди на меня, продолжала она, напившись: я стала ни на что не похожа! Дай мнѣ гребенку и чепчикъ, я надѣну. А то ты... разлюбишь меня, что я такая... гадкая!...

«Она думала, что онъ еще не разлюбилъ ее! Онъ подаль ей гребенку, маленькій чепчикъ; она хотѣла причесаться, но рука съ гребенкой упала на колѣни.

«Не могу, устала! сказала она и печально задумалась. А его рѣзали ножи, голова у него горѣла. Онъ вскочилъ и ходилъ съ своей картиной въ головѣ по комнатѣ, бросаясь почти въ изступленіи во всѣ углы, не помня себя, не зная, что онъ дѣлаетъ. Онъ вышелъ къ хозяйкѣ, спросилъ, ходилъ ли докторъ, которому онъ поручилъ ее. Та сказала, что ходилъ и привозилъ съ собой другихъ, что она переплатила имъ вотъ столько-то. «У меня записано», прибавила она.—Чтожь тѣ? спросилъ онъ. «Извѣстно что: смотрѣли ее, слушали ея грудь, выходили въ другую комнату, молча пожимали плечами и сжавъ въ кулакъ сунутую ассигнацію, застегивали фракъ и проворно исчезали». Райскій, цѣпенѣя отъ ужаса, выслушалъ этотъ краткій отчетъ и опять шелъ къ постели. Оживленный пиръ съ друзьями, артисты, пѣвицы, хмѣльное веселье, — все это пропало вмѣстѣ со всякой надеж-

дой продлить эту жизнь. Передъ нимъ было только это угасающее лицо, страдающее безъ жалобы, съ улыбкой любви и покорности; — это, не просящее ничего, ни защиты, ни даже немножко силъ, существо! А онъ стоялъ тутъ, полный здоровья и этой силы, которую расточалъ еще сегодня, гдѣ не нужно ея, и бросилъ эту птичку на долю бурь и непогодъ! Зачѣмъ не приковалъ онъ себя тутъ, зачѣмъ уходилъ, когда привыкъ къ ея красотѣ, когда оттискъ этой, когда-то милой, нѣжной головки сталъ блѣднѣть въ его фантазіи? Зачѣмъ, когда туда стали тѣсниться другіе образы, онъ не перетерпѣлъ, не воздержался, не остался вѣренъ ему? Это былъ не подвигъ, а долгъ. Безъ жертвъ, безъ усилій и лишеній нельзя жить на свѣтѣ: «жизнь — не садъ, въ которомъ растутъ только одни цвѣты», поздно думалъ онъ и вспомнилъ картину Рубенса: «Садъ любви», гдѣ подъ деревьями попарно сидятъ изящные господа и прекрасныя госпожи, а около нихъ порхаютъ амуры. «Лежецъ! обозвалъ онъ Рубенса: зачѣмъ, въ перемѣжку съ любовниками, не насажалъ онъ въ саду нищихъ въ рубищѣ и умирающихъ больныхъ: это было бы вѣрно!...» «А могъ ли бы я?» спросилъ онъ себя. Что бы было, еслибъ онъ принудилъ себя жить съ нею и для нея? Сонъ, апатія и лютѣйшій врагъ — скука! Явилась въ готовой фантазіи длинная перспектива этой жизни, картина этого сна, апатіи, скуки: онъ видѣлъ тамъ себя, какъ онъ былъ мраченъ, жестокъ, сухъ, и какъ, можетъ быть, еще скорѣе свелъ бы ее въ

могилу. Онъ съ отчаяніемъ махнулъ рукой. «Можно удержаться отъ бѣшенства, оправдывалъ онъ себя, но отъ апатіи не удержишься, скуку не утаишь, хоть подвинь всю свою волю на это!» А это убило бы ее: съ лѣтами она догадалась бы... Да, съ лѣтами, а потомъ примирилась бы, привыкла, утѣшилась—и жила! А теперь умираетъ, и въ жизни его вдругъ ложится неожиданная и быстрая драма, цѣлая трагедія, глубокой, психологическій романъ.

— «Поди сюда, посиди со мной!» раздался голосъ Наташи, прервавшій его мысли.

«Черезъ недѣлю послѣ того онъ шелъ съ поникшей головой за гробомъ Наташи, то читая себѣ проклятія за то, что разлюбилъ ее скоро, забывалъ по-долгу и по-часту, не берегъ, то утѣшаясь тѣмъ, что онъ не властенъ былъ въ своей любви, что сознательно онъ никогда не огорчилъ ее, былъ съ нею нѣженъ, внимателенъ, что наконецъ не въ немъ, а въ ней не доставало матеріала, чтобъ поддержать неугасимое пламя, что она уснула въ своей любви и уже никогда не выходила изъ тихаго сна, не будила и его, что въ ней не было признака страсти, этого бича, которымъ подгоняется жизнь, отъ которой рождается благотворная сила, производительный трудъ... «Нѣтъ, нѣтъ,—она не то, она — голубь, а не женщина»! думалъ онъ, заливаясь слезами и глядя на тихо качающійся гробъ.

«Онъ задумчиво стоялъ въ церкви, смотрѣлъ на вибрацію воздуха отъ теплящихся свѣчъ — и на небольшую кучку провожатыхъ: впереди всѣхъ стоялъ

какой-то толстый, высокій господинъ, родственникъ, и равнодушно нюхалъ табакъ. Рядомъ съ нимъ виднѣлось расплывшееся и раскраснѣвшееся отъ слезъ лицо тетки, тамъ кучка дѣтей и нѣсколько убогихъ старухъ. У гроба на полу стояла на колѣняхъ послѣ всѣхъ пришедшая и болѣе всѣхъ пораженная смертью Наташи ея подруга: волосы у ней были не причесаны, она дико осматривалась вокругъ, потомъ глядѣла на лицо умершей, и положивъ голову на полъ, судорожно рыдала...

«Онъ медленно ушелъ домой и двѣ недѣли ходилъ убитый, молчаливый, не заглядывалъ въ студию, не видался съ пріятелями, и бродилъ по уединеннымъ улицамъ. Горе укладывалось, слезы изсыкли, острая боль затихла и въ головѣ только оставалась вибрація воздуха отъ свѣтъ, тихое пѣніе, расплывшееся отъ слезъ лицо тетки и безмолвный, судорожный плачъ подруги...» Здѣсь кончилась рукопись.

Райскій, окончивъ чтеніе, сидѣлъ нѣсколько времени угрюмый, задумчивый. «Блѣденъ этотъ очеркъ! сказалъ онъ про себя: такъ теперь не пишутъ. Эта наивность достойна эпохи «Бѣдной Лизы». «И портретъ ея (онъ подошелъ къ мольберту)—не портретъ, а чуть подмалеванный эскизъ. Бѣдная Наташа! со вздохомъ отнесся онъ наконецъ къ ея памяти, глядя на эскизъ: ты и живая была также блѣдно окрашена въ цвѣта жизни, какъ и на полотнѣ моей кистью, и на бумагѣ перомъ! Надо передѣлать и то, и другое!» заключилъ онъ. Потомъ со вздохомъ спряталъ тетрадь, взялъ кучку

бѣлыхъ листовъ и началъ набрасывать программу новаго своего романа. Эпизодъ, обратившійся въ воспоминаніе, представлялся ему чужимъ событіемъ. Онъ смотрѣлъ на него объективно и внесъ на первый планъ въ своей программѣ. Онъ прописалъ до свѣта, возвращался къ тетрадамъ не одинъ разъ во дню, приходя домой вечеромъ опять садился къ столу и записывалъ, что снилось ему въ перспективѣ. Сцены, характеры, портреты родныхъ, знакомыхъ, друзей, женщинъ, передѣлывались у него въ типы и онъ исписалъ цѣлую тетрадь, носилъ съ собою записную книжку, и часто въ толпѣ, на вечерѣ, за обѣдомъ, вынималъ клочекъ бумаги, карандашъ, чертилъ нѣсколько словъ, пряталъ, вынималъ опять и записывалъ, задумываясь, забываясь, останавливаясь на полусловѣ, удаляясь внезапно изъ толпы въ уединеніе. Между тѣмъ жизнь будила и отрывала его отъ творческихъ сновъ и звала, отъ художественныхъ наслажденій и мукъ, къ живымъ наслажденіямъ и реальнымъ горестямъ, среди которыхъ самою лютою была для него скука. Онъ бросался отъ ощущенія къ ощущенію, ловилъ явленія, берегъ и задерживалъ почти силою впечатлѣнія, требуя пищи не одному воображенію, но все чего-то ища, желая, пробуя на чемъ-то остановиться...

Теперь онъ возложилъ какія-то, еще неясныя ему самому, надежды на кузину Бѣловодову—наслаждаясь сближеніемъ съ ней. Ему пока ничего не хотѣлось больше, какъ видѣть ее чаще, говорить, про-

буждать въ ней жизнь, если можно—страсть. Но она была непреступна. Онъ сталъ уставать, начала пробиваться скука...

XVI.

Прошелъ май. Надо было уѣхать куда-нибудь, спастись отъ полярнаго петербургскаго лѣта. Но куда? Райскому было все равно. Онъ дѣлалъ разные проекты, не останавливаясь ни на одномъ: хотѣлъ съѣздить въ Финляндію, но отложилъ и рѣшилъ поселиться въ уединеніи на Парголовскихъ озерахъ, писать романъ. Отложилъ и это и собрался не шутя съ Пахотиными въ Рязанское имѣніе. Но они измѣнили намѣреніе и остались въ городѣ. Общая лѣтняя эмиграція увлекла—было за границу и его, какъ вдругъ дѣло рѣшилось неожиданно иначе. Однажды, воротясь домой, онъ нашелъ у себя два письма, одно отъ Татьяны Марковны Бережковой, другое отъ университетскаго товарища своего, учителя гимназіи на родинѣ его, Леонтя Козлова. Сначала бабушка писывала къ нему часто, присылала счета: онъ на письма отвѣчалъ коротко, съ любовью и лаской къ горячо любимой старушкѣ, долго замѣнявшей ему мать, а счета рвалъ и бросалъ подъ столъ. Потомъ она стала писать рѣже, жалуясь на

старость, слѣпоту и на заботы по воспитанію внучекъ. Какъ онъ обрадовался, увидя ея почеркъ, крупный, четкій, рѣшительный!

«... Не грѣхъ-ли тебѣ, Борисъ Павловичъ, писала она между прочимъ: забывать меня старуху? У тебя вѣдь только и родни, что я. Видно, нынче, въ новыя времена, старухи стали лишнія на свѣтѣ: такъ разсуждаетъ молодость. А мнѣ и умереть нельзя: у меня на рукахъ двѣ внуки, давно невѣсты. Пока не пристрою ихъ, буду молить Бога продлить мнѣ вѣку, а тамъ—Его святая воля!

«Я не сѣтую на тебя, что забываешь меня: но если—сохрани Боже—меня не станетъ, дѣвочки мои, твои сестры, хоть и не родныя, останутся однѣ. Ты ихъ ближній родственникъ и покровитель. Подумай также и объ имѣніи: я становлюсь стара и прикащицей твоей долго не буду: на кого ты покинешь свое добро? Растащать все и не останется ничего. Ужели береженое добро прахомъ пойдетъ? У меня сердце замираетъ, какъ подумаешь, что твое фамильное серебро, бронза, картины, брилліанты и кружева, фарфоръ, хрусталь—все разойдутся по рукамъ челяди, перейдетъ къ жидамъ, ростовщикамъ, сплыветъ по Волгѣ, на ярмарку, и пропадетъ ни за-что! Пока бабушка жива, будь покоенъ, ни нитки не пропадетъ, а послѣ понадеяться не на кого. Двѣ внуки—что онѣ? Вѣра добрая и умная, да дикая нелюдимка, не входитъ ни во что. Марейнка будетъ примѣрная хозяйка, да

молода; нужды нѣтъ, что за-мужъ давно пора, а понятія у ней дѣтскія — и слава Богу! Успѣеть созрѣть, какъ опытъ придетъ, а я ее берегу, и она это цѣнитъ и изъ воли бабушки не выходитъ, за что наградить ее Господь. По дому она мнѣ помощница, а до имѣнія я ее не допускаю: не дѣвичье дѣло! У меня теперь въ дворнѣ есть серьезный мужикъ, Савельемъ зовутъ: сама я становлюсь слаба, онъ по деревнѣ, а Яковъ да Василиса по дому, у меня всѣ нужныя дѣла дѣлаютъ.

«Не откладывай же и порадуй бабушку приѣздомъ: она тебѣ близка — не по родству только, а и по сердцу: ты, будучи молодъ, это чувствовалъ, — не знаю, каковъ сталъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ, а былъ добрымъ внукомъ. Приѣзжай хоть на сестеръ посмотрѣть; а можетъ быть, тебѣ выпадетъ и счастье... Хотѣла смолчать до приѣзда, да по бабьей привычкѣ не утерплю. Къ намъ изъ Москвы переселился Мамыкинъ, откупщикъ: у него дочь невѣста, одна, больше дѣтей нѣтъ. Вотъ еслибъ Богъ благословилъ меня дожидаться такой радости: женить тебя и сдать имѣніе съ рукъ на руки, тогда я покойно закрыла бы глаза. Женись, Борюшка, ты ужъ давно въ лѣтахъ, тогда и дѣвочки мои не останутся послѣ меня бездомными сиротами. Ты будешь имъ братомъ, защитникомъ, а жена твоя доброй сестрой. При тебѣ, пока ты холостъ, имъ жить нельзя — женись, угоди бабушкѣ, и Богъ не оставитъ тебя!

«Буду ждать отвѣта: напиши напередъ, я велю

тебѣ очистить и убрать три комнаты внизу, а Марейнуку запрячу въ свѣтелку: ты хозяинъ!

«Титъ Никонъ тебѣ кланяется: онъ постарѣлъ, но еще молодецъ. Улыбка такая же, и все также умно говоритъ и пріятно кланяется: молодыхъ франтовъ за поясъ заткнетъ. Привези пожалуйста, другъ мой, замшевую фуфайку и панталоны: говорятъ, нынче отъ ревматизмовъ носить. Я бы ему скоръ призь сдѣлала.

«Посылаю счеты за послѣдніе два года. Приими мое благословеніе и т. д.

«Татьяна Бережкова».

«Бабушка! съ радостью воскликнулъ Райскій. Боже мой! она зоветъ меня: ѣду, ѣду! Вѣдь тамъ тишина, здоровый воздухъ, здоровая пища, ласки доброй, нѣжной, умной женщины; и еще двѣ сестры, два новыхъ, неизвѣстныхъ мнѣ, и въ тоже время близкихъ лица... («барышни въ провинціи! немного страшно: можетъ быть уроды!» успѣлъ онъ подумать поморщась) однако ѣду: это судьба посылаетъ меня... А если тамъ скука?»

Онъ испугался и потомъ опять успокоился. «Сей часъ же уѣду прочь, при первой зѣвотѣ! утѣшился онъ. ѣду, ѣду, тамъ и Леонтій, Леонтій!» произнесъ Райскій и разсмѣялся, вспомнивъ этого Леонтія. «Что онъ пишетъ?»

«...Вчера я нечаянно, и самъ не знаю какъ, забрелъ въ твои маѣтности: (писалъ Леонтій) должно быть по разсѣянности (за мной, ты знаешь, есть этотъ грѣхъ) попалъ не въ тотъ переулокъ, спустился подъ гору,

и когда поднялся, то узналъ, что очутился въ саду твоей бабушки, и хотѣлъ идти назадъ. Но Татьяна Марковна увидала меня изъ окна и, принявъ сначала въ сумерки за вора, спустила-было собакъ и людей, а узнавши, что это я, зазвала къ себѣ, обласкала, накормила до отвала ужиномъ, хотѣла даже спать укладывать, а пуще всего разбранила, что рѣдко бываю, и велѣла непременно написать къ тебѣ, уговаривать пріѣхать сюда. Имѣніе, говорить она, повѣрить и, если поселишься здѣсь, то принять его изъ рукъ въ руки—и лениться.

«Признаться, любезный мой другъ, Борисъ Павловичъ, я и самъ хотѣлъ писать, да духу не хватило, а почему—скажу ниже. Имѣніе—пустой предлогъ: бабушкѣ хочется повидаться съ тобой и она не знаетъ чѣмъ заманить. Лучше ея не упрямишь. Но это въ сторону: я затрудняюсь, не знаю, какъ коснуться главнаго предмета, который требуетъ твоего немедленнаго прибытія, потомъ строжайшаго суда и кары виновныхъ. Я говорю о твоей библіотекѣ.

«Послушай—ты любишь меня, я знаю. Въ школѣ и въ университетѣ, ты лучше всѣхъ былъ со мною: ты меня ободрялъ бывало, читывалъ со мной вмѣстѣ, любилъ меня и помогалъ иногда, платилъ хозяйкѣ.... бѣлье тоже... (Райскій быстро пропустилъ эту строку), не дразнилъ, не игралъ «штуку» со мной, не билъ—или билъ самую малость: оттащаль за волосы всего какихъ-нибудь два раза, тогда какъ другіе... Но Богъ съ ними,

съ повѣсами! они тоже не со зла, а такъ, отъ праздности и вертопрашества! И такъ, именемъ этой дружбы, прошу тебя не сердись... или нѣтъ, бей, отта McKay еще третій разъ, но выслушай. Помнишь старыя готскія изданія классиковъ (да какъ не помнить!) въ драгоцѣнныхъ переплетахъ? Ты, бывало, самъ любовался на нихъ. Помнишь стараго Шекспира, текстъ пополамъ съ комментаріями? Помнишь... французскихъ энциклопедистовъ въ пергаментѣ, первоначальныя изданія? Помнишь... (конечно помнишь — лучше бы ты забылъ!) вотъ каталогъ, мной составленный: противъ этихъ изданій я поставилъ, какъ на могилахъ, черные кресты! Слушай и бей меня: творенія св. отцовъ цѣлы, весь богословскій отдѣлъ остался неприкосновеннымъ; Платонъ, Оукидидъ — и другіе историки и поэты тоже уцѣлѣли. А Спиноза, Макиавелли и еще увражей полсотни изъ прочихъ отдѣловъ перепорчены... конечно, по моей слабости, трусости и проклятой довѣрчивости.

«Кто же? спросишь ты, этотъ Омаръ? Маркъ Волоховъ, зовутъ его: для него нѣтъ ничего святого въ мірѣ. Дай ему хоть эльзевира, онъ и оттуда выдеретъ листы. У него, какъ я съ ужасомъ узналъ, къ сожалѣнію поздно, есть скверная привычка: когда онъ читаетъ книгу, то изъ прочитаннаго вырываетъ листикъ и закуриваетъ сигару, или сдѣлаетъ изъ него трубочку и чиститъ ею ногти или уши. Я точно сквозь сонъ замѣчалъ, что книги возвращаются отъ него, какъ будто тоньше, нежели были прежде, но

долго не догадывался, отъ чего, пока онъ не сдѣлалъ это, сидя у меня. Какъ путный, взялъ Аристофана—гдѣ греческій текстъ напечатанъ съ французскимъ переводомъ—да тутъ же, при мнѣ, вдругъ сзади и вырвалъ страницу—я даже мигнуть не успѣлъ. Этотъ Волоховъ—чудо нашего города. Его здѣсь никто не любитъ и всѣ боятся. Что касается до меня, то я не могу не любить его, да и не бояться не могу. Онъ, то фуражку дорогой сниметъ съ меня и наслаждается, если я не замѣчу, то ночью застучитъ въ окна. За то иногда вдругъ принесетъ бутылку отличнаго вина, или съ огорода притащить (онъ у огородника на квартирѣ живетъ) цѣлый возъ овощей. Онъ присланъ сюда на житье, подъ присмотръ полиціи, и съ тѣхъ поръ городъ—нельзя сказать чтобъ былъ въ безопасности.

«Ради Бога, не передай ему этой моей рекомендаціи о немъ. Онъ непременно сдѣлаетъ штуку и со мной, и съ тобой, пожалуй. Я по поводу попорченныхъ книгъ потребовалъ-было объясненій, но онъ мнѣ такое лицо сдѣлалъ, что я не рѣшился продолжать. Онъ говоритъ, что былъ въ одно время съ нами въ университетѣ, только не по одному факультету. Кажется, вретъ.

«Здѣсь извѣстно, что онъ служилъ въ Петербургѣ въ полку, и тоже не ужился, переведенъ былъ куда-то внутри Россіи, вышелъ въ отставку, жилъ въ Москвѣ, попалъ въ какую-то исторію—и вотъ теперь присланъ сюда, какъ я сказалъ, подъ присмотръ

полиціи. Съ ней онъ въ вѣчной враждѣ. Нилъ Андреичъ, Татьяна Марковна, слышать о немъ не могутъ. Но довольно о немъ! Приѣзжай, самъ увидишь, каковъ онъ. Теперь я сбывъ тяжесть признаніемъ, и у меня легче на душѣ. Послѣ этого не такъ страшно встрѣтить тебя.

«Приѣзжай, Борисъ, другъ мой, повидаться съ бабушкой: еслибъ ты видѣлъ, какъ она любитъ тебя, какъ бережетъ твое имѣніе (не такъ какъ я библиотеку)! Какія у тебя красавицы сестры, Вѣра и Марѳа Васильевны, какъ тебя все это ждетъ, какой у тебя садъ, какіе виды на Волгу!.. Еслибъ ты все это зналъ, ты бы не мѣшкалъ ни минуты и приѣхалъ: приѣхалъ бы принять отъ Татьяны Марковны имѣніе, а отъ меня библиотеку, — приѣхалъ бы наказать и обнять виновнаго, но любящаго тебя товарища и друга

«Леонтія Козлова.»

«Жена моя тебѣ кланяется и велитъ сказать, что она любитъ тебя по прежнему; а когда приѣдешь, полюбитъ еще больше».

Райскій почти со слезами читалъ это длинное посланіе и вспоминалъ чудака Леонтья, его библиоманію, и смѣялся его тревогамъ на счетъ библиотеки. «Подарю ее ему», подумалъ онъ.

«Леонтій, бабушка! мечталъ онъ: красавицы троюродныя сестры, Вѣрочка и Марѳинька! Волга съ побережьемъ, дремлющая, блаженная тишь, гдѣ не живутъ, а растутъ люди и тихо вянутъ, гдѣ ни бурныхъ страстей, съ тонкими, ядовитыми наслаж-

деніями, ни мучительныхъ вопросовъ, ніякаго движенія мысли, воли—тамъ я сосредоточусь, разберу матеріалы и напишу романъ. Теперь только закончу какъ-нибудь портретъ Софьи, распрощаюсь съ ней—и dahin! dahin!

XVII.

Райскій съ ранняго утра сидитъ за портретомъ Софьи, и не первое утро сидитъ онъ такъ. Онъ измученъ этой работой. Посмотритъ на портретъ и вдругъ съ досадой наброситъ на него занавѣску и пойдетъ шагать по комнатѣ, остановится у окна, посвиститъ, побарабанитъ пальцами по стекламъ, иногда уйдетъ со двора и бродитъ угрюмый, недовольный. На утро опять та же исторія, то же недовольство и озлобленіе. А иногда сидитъ, сидитъ и вдругъ схватитъ палитру и живо примется подмазывать кое-гдѣ, подтушевывать, остановится, посмотритъ и задумается. Потомъ покачаетъ головой отрицательно, вздохнетъ и броситъ палитру.

А портретъ похожъ, какъ двѣ капли воды. Софья такая, какою всѣ видятъ и знаютъ ее: невозмутимая, сіяющая. Та же гармонія въ чертахъ; ея возвышенный бѣлый лобъ, открытый, невинный, какъ у дѣвушки; взглядъ, гордая шея, и спящая сномъ покоя высокая, пышная грудь. Она — вся она, а

онъ не доволенъ, терзается художническими болями! Онъ вызвалъ жизнь въ подлинникѣ, внесъ огонь во тьму, у ней явились волненія, признаки новой жизни, а въ портретѣ этого нѣтъ!

«Что это Кириловъ нейдетъ? а обѣщалъ. Можетъ быть, онъ навелъ бы на мысль, что надо сдѣлать, чтобъ изъ богини вышла женщина», подумалъ онъ.

И опять задумался, съ палитрою на пальцѣ, съ поникшей головой, съ мучительной жаждой овладѣть тайной искусства, создать на полотнѣ ту Софью, какая снится ему теперь. Онъ вспомнилъ ея волненіе, умоляющій голосъ оставить ее, уйти; какъ она хотѣла призвать на помощь гордость и не могла; какъ хотѣла отнять руку и не отняла изъ его руки, какъ не смогла одолѣть себя... Какъ она была тогда непохожа на этотъ портретъ!

Онъ видѣлъ, что заронилъ въ нее сомнѣнія, что эти сомнѣнія—гамлетовскія. Онъ читалъ ихъ у ней въ сердцѣ: «въ самомъ ли дѣлѣ я живу такъ, какъ нужно? Не жертвую ли я чѣмъ-нибудь живымъ, человѣческимъ, этой мертвой гордости моего рода и круга, этимъ приличіямъ? Вѣдь надо сознаться, что мнѣ иногда бываетъ скучно съ тетками, съ напà и съ Катринь... Одинъ только cousin Райскій...»

У Райскаго сердце забилося, когда онъ довелъ мечту Софьи до себя.

Онъ уже не видитъ портрета, а видитъ что-то другое. Глаза, какъ у лунатика, широко открыты, не мигнуть; они глядятъ куда-то и видятъ живую Софью, какъ она одна дома мечтаетъ о немъ, по-

груженная въ задумчивость, не замѣчаетъ, гдѣ сидитъ, или идетъ безъ цѣли по комнатѣ, останавливается, будто внезапно пораженная какимъ-то новымъ лучемъ мысли, подходитъ къ окну, открываетъ портьеру и погружаетъ любопытный взглядъ въ улицу, въ живой потокъ головъ и лицъ, зорко слѣдитъ за общественнымъ круговоротомъ; не дичится этого шума, не гнушается грубой толпы, какъ-будто и она стала ея частью, будто понимаетъ, куда такъ торопливо бѣжитъ какой-то господинъ, съ боязнью опоздать; она уже, кажется, знаетъ, что это чиновникъ, продающій за триста-четыреста рублей въ годъ двѣ-трети жизни, кровь, мозгъ, нервы. Ей жаль мужика, который едва тащитъ мѣшокъ на спинѣ. Она догадывается, что вонъ эта женщина торопится съ узломъ заложить послѣдній салонъ, чтобъ заплатить за квартиру и т. д. Всякаго и всякую провожаетъ задумчиво-заботливый взглядъ Софьи. Она долго глядитъ на эту жизнь и, кажется, понимаетъ ее и пѣхотя отходитъ отъ окна, забывъ опустить занавѣсъ. Она беретъ книгу, развертываетъ страницу и опять погружается въ мысль о томъ, какъ живутъ другіе. Красота ея осмыслена, глаза не глядятъ беззаботно и свѣтло, а думаютъ. Въ нихъ тревога за этихъ «другихъ», бѣгающихъ по улицѣ, скорбящихъ, нуждающихся, трудящихся и вопіющихъ. Она вдругъ почувствовала, что она не жила, а росла и прозябала. Ее мучитъ жажда этой жизни, ея живыхъ симпатій и скорбей, труда, но прежде симпатій. Книга выпадаетъ изъ рукъ на

поль. Софья не заботится поднять ее; она разсѣянно беретъ цвѣтокъ изъ вазы, не замѣчая, что прочіе цвѣты раскинулись прихотливо и нѣкоторые выпали. Она нюхаетъ цвѣтокъ и, погруженная въ себя, разсѣянно опципываетъ листья губами и тихо идетъ, не сознавая почти что дѣлаетъ, къ роялю, садится бокомъ, небрежно, на табуретъ, и одной рукой беретъ задумчивые аккорды и все думаетъ, думаетъ... Потомъ тихо, чуть-чуть, какъ духъ, произнесла чье-то имя и вздрогнула, робко оглянулась и закрыла лицо руками и такъ осталась. Въ комнатѣ никого, только въ незакрытое занавѣсомъ окно ворвались лучи солнца и вольно гуляютъ по зеркаламъ, дробятся на граненомъ хрусталѣ. Раскрытая книга валяется на полу, у ногъ ея опципанные листья цвѣтка...

Онъ схватилъ кисть и жадными, широкими глазами глядѣлъ на ту Софью, какую видѣлъ въ эту минуту въ головѣ, и долго, съ улыбкой мѣшалъ краски на палитрѣ, нѣсколько разъ готовился дотронуться до полотна и въ нерѣшительности оставливался, наконецъ провелъ кистью по глазамъ, потушевалъ, открылъ немного вѣки. Взглядъ у ней сталъ шире, но былъ все еще покоенъ. Онъ тихо, почти машинально, опять коснулся глазъ: они стали болѣе жизненны, говорящи, но еще холодны. Онъ долго водилъ кистью около глазъ, опять задумчиво мѣшалъ краски и провелъ въ глазу какую-то черту, поставилъ нечаянно точку, какъ учитель нѣкогда въ школѣ поставилъ на его безжизненномъ рисункѣ,

потомъ сдѣлалъ что-то, чего и самъ объяснить не могъ, въ другомъ глазу... И вдругъ самъ замеръ отъ искры, какая блеснула ему изъ нихъ. Онъ отошелъ, посмотрѣлъ и обомлѣлъ: глаза бросили снопу лучей прямо на него, но выраженіе все было строго. Онъ безсознательно, почти случайно, чуть-чуть измѣнилъ линію губъ, провелъ легкій штрихъ по верхней губѣ, смягчилъ какую-то тѣнь, и опять отошелъ, посмотрѣлъ: «она, она!» говорилъ онъ едва дыша: «нынѣшняя, настоящая Софья!» Онъ услышалъ сзади себя шаги и съ живостью обернулся: пришелъ Аяновъ.

— Иванъ Ивановичъ! торжественно сказалъ Райскій: — какъ я радъ, что ты пришелъ! Смотри — она, она? Говори же!

— Пстой, дай посмотрѣть.

Иванъ Ивановичъ долго смотрѣлъ. Райскій ждалъ съ нетерпѣніемъ.

— Кто это? флегматически спросилъ Аяновъ.

Райскій остолбенѣлъ.

— Ты не узналъ Софью? спросилъ онъ, едва приходя въ себя отъ изумленія.

— Какъ, Софья Николаевна? можетъ ли быть? говорилъ Аяновъ, глядя во всѣ широкіе глаза на портретъ. — Вѣдь у тебя былъ другой: тотъ, кажется, лучше: гдѣ онъ?

Райскій съ досадой, почти съ презрѣніемъ, махнулъ рукой.

— Все тотъ же! замѣтилъ онъ: — я только пере-
дѣлалъ. Какъ ты не видишь, напустился онъ на

Аянова:—что тотъ былъ безъ жизни, безъ огня, сонный, вялый, а этотъ!...

— Воля твоя, тотъ былъ больше похожъ! упрямо возражалъ Аяновъ: — а этотъ... она тутъ какъ будто пьяна.

— Самъ ты пьянъ! Поди прочь!

— Я вѣдь не знаю толку, равнодушно отозвался Аяновъ.

Райскій, не отвѣчая ему, сердито подмалевывалъ волосы, бархатъ на портретѣ.

Чрезъ четверть часа пришелъ Кириловъ. Это былъ маленькій, сухощавый человѣчекъ, весь спрятавшийся въ бакенбарды, усы и бороду. Тѣла почти совсѣмъ было не видно, только впалые глаза неестественно блестѣли, да носъ вдругъ рѣзкимъ горбомъ выходилъ изъ чащи, а концомъ опять упирался въ волосы, за которыми не видать было ни щекъ, ни подбородка, ни губъ. Шея крылась тоже подъ бородой, а все остальное туловище, точно въ мѣшокъ, было завернуто въ широкое, складками висѣвшее пальто, изъ подъ котораго выглядывали полы другого пальто или сюртука, покрытыя пятнами масляныхъ красокъ. На ногахъ была какая-то, мягко-шаркавшая при походкѣ обувь, шляпа истертая, съ лоскомъ, съ покривившимся бокомъ.

Глядя на эти задумчивые, сосредоточенные и горячіе взгляды, на это, какъ-будто уснувшее, подъ непроницаемымъ покровомъ волосъ, суровое, неподвижное лицо, особенно, когда онъ, съ налитрой

предъ мольбертомъ, въ своей темной аристической кельѣ, вонзить дикій и острый, какъ гвоздь, взглядъ въ ликъ изображаемаго имъ святого, не подумаешь, что это вольный, какъ птица, художникъ міра, ищущій свѣтлыхъ сторонъ жизни, а примешь его самого за мученика, за монаха искусства, вознепавидѣвшаго радости и понявшаго только скорби. Таковъ онъ, кажется, и былъ.

Онъ молча, медленно и глубоко погрузился въ портретъ. Райскій съ безпокойствомъ слѣдилъ за выраженіемъ его лица. Кириловъ въ первое мгновеніе съ изумленіемъ остановилъ глаза на лицѣ портрета и долго покоилъ, казалось, одобрительный взглядъ на глазахъ; морщины у него разгладились. Онъ какъ-будто видѣлъ пріятный сонъ. Потомъ вдругъ точно проснулся; нерадостное, а печальное изумленіе медленно разлилось по лицу, лобъ наморщился. Онъ отвернулся, положилъ шляпу на столъ, досталъ папирску и сталъ закуривать.

— Что же вы? спросилъ Райскій.

— За этимъ-то вы меня звали? спросилъ Кириловъ.

— А что?

— Прощайте: я пойду домой...

— Постойте, скажите что-нибудь.

— Что говорить: пустое!

— Ну, да, у васъ чуть изъ облаковъ спустишься—такъ пустое! возразилъ обиженный Райскій.—Ахъ, вы, мертвецы! Вы прежде во мнѣ признавали дарованіе, Семенъ Семенычъ...

— Что вамъ повторять? я ужъ говорилъ! (Онъ вздохнулъ). Если будете этимъ путемъ идти, тратить себя на модныя вывѣски...

— Модныя вывѣски! Знаете ли вы, кто это?

— Кто? повторилъ Кириловъ, бѣгло взглянувъ на портретъ. — Какая-нибудь актриса...

— Что вы, точно оба съ ума сошли! тотъ видѣть пьяную женщину, этотъ актрису! Что съ вами толковать!

Райскій сталъ закрывать портретъ.

— Повезу его къ ней: самъ оригиналъ оцѣнить лучше. Семенъ Семенычъ! отъ васъ я надѣялся хоть привѣтливаго слова: вы, бывало, во всякомъ моемъ трудѣ находили что-нибудь, хоть искру жизни..

— И здѣсь искра есть! сказалъ Кириловъ, указывая на глаза, на губы, на высокій бѣлый лобъ. — Это превосходно, это... Я не знаю подлинника, а вижу, что здѣсь есть правда. Это стоитъ высокой картины и высокаго сюжета. А вы дали эти глаза, эту страсть, теплоту, какой-нибудь вертушкѣ, куклѣ, кокеткѣ!

— Нѣтъ, Семенъ Семенычъ, выше этого сюжета не можетъ выбрать живописецъ. Это не вертушка, не кокетка: она достойна была бы вашей кисти: это идеаль строгихъ чистоты, гордости; это богиня, хоть олимпійская... но она въ нашемъ родѣ, то есть — не отъ міра сего!

— Это бы лицо, да съ молитвеннымъ, напряженнымъ взглядомъ, безъ этого страстнаго вожденія!.. По-

слушайте, Борисъ Павлычъ, передѣляйте портретъ въ картину; бросьте вашъ свѣтъ, глупости, волокитства... завѣсьте окна, да закупорьтесь мѣсяца на три, на четыре...

— Зачѣмъ?

— Сдѣляйте молящуюся фигуру! сморщившись, говорилъ Кириловъ, такъ-что и носъ ушелъ у него въ бороду и все лицо казалось щеткой. — Долой этотъ бархатъ, шелкъ! поставьте ее на колѣни, просто на камнѣ, набросьте ей на плечи грубую мантию, сложите руки на груди... Вотъ здѣсь, здѣсь (онъ пальцомъ чертилъ около щекъ) меньше свѣту, долой это мясо, смягчите глаза, накройте немного вѣки... и тогда сами станете на колѣни и будете молиться...

— Нѣтъ, Семенъ Семенычъ, я не хочу въ монастырь; я хочу жизни, свѣта и радости. Я безъ людей никуда, ни шагу; я поклоняюсь красотѣ, люблю ее (онъ нѣжно взглянулъ на портретъ) тѣломъ и душой, и, признаюсь... (онъ комически вздохнулъ) больше тѣломъ...

Кириловъ махнулъ рукой и началъ ходить по комнатѣ.

— Въ васъ погибаетъ талантъ; вы не выбьетесь, не выйдете на широкую дорогу. У васъ не достаетъ упорства, есть страстность, да страсти, терпѣнья нѣтъ! Вотъ и тутъ, смотрите, руки только-что намѣчены, и невѣрно, плеча несоразмѣрны, а вы ужъ завертываете, бѣжите показывать, хвастаться...

— Не въ мазаньи дѣло, Семенъ Семенычъ! воз-

разиль Райскій.—Сами же вы сказали, что въ глазахъ, въ лицѣ есть правда; и я чувствую, что поймалъ тайну. Что жъ за дѣло до волосъ, до рукъ?...

— Полноте, полноте лукавить! перебилъ Кириловъ:— не умѣете дѣлать рукъ, а поучиться—терпѣнья нѣтъ! Вѣдь, если вытянуть эту руку, она будетъ короче другой; уродецъ, въ сущности, ваша красавица! Вы все шутите, а ни жизнью, ни искусствомъ шутить нельзя. То и другое строго: оттого немного на свѣтѣ и людей, и художниковъ...

Онъ вздохнулъ и лицо глубже ушло въ волосы.

— Чтожъ, по вашему, спрятаться отъ жизни, отъ людей, нахмуриться, не улыбнуться никогда и...

— Да, не погнѣвайтесь! перебилъ Кириловъ:— если хотите въ искусствѣ чего-нибудь прочнѣе сладенькихъ улыбокъ да пухлыхъ плечъ, или почище заднихъ дворовъ и пьянаго мужичья, такъ бросьте красавицъ и пирушки, а будьте трезвы, работайте до тумана, до обморока въ головѣ; падо падать и вставать, умирать съ отчаянія и опять понемногу оживать, вскакивать ночью...

— Я дѣлаю это... почти... сказалъ Райскій:— вскакиваю съ постели, иногда плачу, дохожу до безумія...

— Всѣ вы сумасшедшіе, какъ погляжу! равнодушно замѣтилъ Аяновъ.

— Да, вскакиваете, чтобъ мазнуть вашу вотъ эту «правду» (онъ указалъ на открытое плечо Софьи). Нѣтъ, вы встаньте ночью, да эту же фигуру на-

чертите разъ десять, пока будетъ вѣрно. Вотъ вамъ задача на двѣ недѣли: я приду и посмотрю. А теперь прощайте.

— Пойдите, учитель, пойдите! останавливалъ Райскій.

— Пустите! Нѣтъ у васъ уваженія къ искусству, говорилъ Кириловъ:—нѣтъ уваженія къ самому себѣ. Общество художниковъ—это орденъ братства, все-равно, что масонскій орденъ: онъ разсѣянъ по всему міру и всѣ идутъ къ одной цѣли. Художники—ровесники «каменьщикамъ». Вспомните Хирама и его тайну. Дá, вотъ что! Нельзя наслаждаться жизнью, шалить, ѣздить въ гости, танцевать и, между прочимъ, сочинять, рисовать, чертить и ваять. Нѣтъ,—горячо и почти грубо напалъ онъ на Райскаго:—бросьте эти конфеты и пойдите въ монахи, какъ вы сами удачно выразились, и отдайте искусству все, молитесь и поститесь, будьте мудры и, вмѣстѣ, просты, какъ змѣи и голуби, и что бы ни дѣлалось около васъ, куда бы ни увлекала жизнь, въ какую бы яму ни падали, помните и исповѣдуйте одно ученіе, чувствуйте одно чувство, испытывайте одну страсть—къ искусству! Пусть васъ кланутъ, презираютъ во имя его—идите: тогда только призваніе и служеніе совершатся, и тогда будетъ «много ваша мзда», то-есть безсмертіе. А вамъ не достаетъ мужества, силы нѣтъ, и не достаетъ еще бѣдности. Отдайте ваше имѣніе нищимъ и идите вслѣдъ за спасительнымъ свѣтомъ творчества. Гдѣ вамъ! вы—баринъ, вы

родились не въ ясляхъ искусства, а въ шелку, въ бархатѣ. А искусство не любить баръ... оно тоже избираетъ «худородныхъ»... Закройте эту безстыдницу, или передѣлайте ее въ блудницу у ногъ Христа. Прощайте. Черезъ двѣ недѣли зайду посмотреть.

Онъ бросилъ папироску въ песочницу, схватилъ шляпу и исчезъ прежде, нежели Райскій успѣлъ остановить его.

— Каковъ! сказалъ Аяновъ. — Чудакъ! Онъ, въ самомъ дѣлѣ, не въ монахи ли собирается? Шляпа продавлена, весь въ масляныхъ пятнахъ, нищъ, ободранъ. Сущій мученикъ! Не пьетъ ли онъ?

— Кромѣ воды ничего.

— Ну, такъ удавится, или съ ума сойдетъ.

Райскій глубоко вздохнулъ.

— Да, сказалъ онъ:—это одинъ изъ послѣднихъ могиканъ: истинный, цѣльный, но ненужный болѣе художникъ. Искусство сходитъ съ этихъ высокихъ ступеней въ людскую толпу, т. е. въ жизнь. Такъ и надо! Что онъ проповѣдуетъ: это изувѣръ!

Однако, продолжая сравненіе Кирилова, онъ мысленно сравнилъ себя съ тѣмъ юношей, которому неудобно было войти въ царствіе небесное. Онъ задумчиво ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ. Уныніе поглотило его: у него на сердцѣ стояли слезы. Онъ въ эту минуту непритворно готовъ былъ бросить все, уйти въ пустыню, надѣть изношенное платье, ѣсть одно блюдо, какъ Кириловъ, завѣситься отъ жизни, какъ Софья, и мазать, ма-

зять до упадка, передѣлать Софью въ блудницу. Онъ даже быстро схватилъ новый натянутый холстъ, поставилъ на мольбертъ и началъ мѣломъ крупно чертить молящуюся фигуру. Онъ вытянулъ у ней руку и задорно, съ яростью, выдѣлывалъ пальцы; сотреть, опять начертить, опять сотреть — все не выходитъ! Его стало грызть нетерпѣніе, которое, при первомъ неудачномъ чертежѣ, перешло въ озлобленіе. Онъ стеръ, опять началъ чертить медленно, проводя густыя, яркія черты, какъ будто хотѣлъ продавить холстъ. Уже то отчаяніе, о которомъ говорилъ Кириловъ, начало смѣнять озлобленіе. Онъ положилъ мѣлъ, отеръ пальцы о волосы и подошелъ къ портрету Софьи.

«Передѣлать портретъ», думалъ онъ. «Правъ ли Кириловъ? Вся цѣль моя, задача, идея — красота! Я охваченъ ею и хочу воплотить этотъ, овладѣвшій мною, сіяющій образъ: если я поймалъ эту «правду» красоты — чего еще? Нѣтъ, Кириловъ ищетъ красоту въ небѣ, онъ аскетъ: я — на землѣ... Покажу портретъ Софѣ: что она скажетъ? а потомъ уже передѣлаю... только не въ блудницу!»

Онъ засмѣялся, подумавъ, что сказала бы Софья, еслибъ узнала эту мысль Кирилова? Онъ мало по малу успокоился, любуясь «правдой» на портретѣ, и возвратился къ прежнимъ, вольнымъ мечтамъ, вольному искусству и вольному труду. Тщательно оберегая портретъ, онъ повезъ его къ Софѣ.

XVIII.

Райскій вѣрилъ и не вѣрилъ, что увидить ее, и какъ и что будетъ говорить. «Какъ тутъ закипаетъ!» — думалъ онъ, трогая себя за грудь. «О! быть бурѣ, и дай Богъ бурю! Сегодня рѣшительный день, сегодня тайна должна выйти наружу, и я узнаю... любить ли она, или нѣтъ? Если да, жизнь моя... *наша* должна измѣниться, я не ѣду... или, нѣтъ, мы ѣдемъ туда, къ бабушкѣ, въ уголокъ, оба...» Онъ развернулъ портретъ, поставилъ его въ гостиной на кресло и тихо пошелъ по анфиладѣ къ комнатамъ Софьи. Ему сказали внизу, что она была одна: тѣтки уѣхали къ обѣднѣ. Онъ, держась за сердце, какъ-будто унимая, чтобъ оно не билось, шелъ на цыпочкахъ. Ему все снились разбросанные цвѣты, поднятый занавѣсъ, дерзкіе лучи, играющіе на хрусталѣ. Онъ тихо подкрался и увидѣлъ Софью. Она сидитъ, опершись локтями на столъ, положивъ лицо въ ладони и мечтаетъ, дремлетъ, или... плачетъ. Она въ неглижѣ, не затянута въ латы негнущагося платья, безъ кружевъ, безъ браслетъ, даже не причесана; волосы небрежно, кучей лежатъ въ сѣткѣ; блуза стелется по плечамъ и падаетъ широкими складками у ногъ. На коврѣ лежатъ двѣ атласныя туфли: ноги просто въ чулкахъ покоятся на бархатной скамеечкѣ. Онъ ни-

когда не видалъ ее такою. Она не замѣчаетъ его, а онъ боитсядохнуть.

— Кузина Sophie! назвалъ онъ ее чуть-чуть слышно.

Она вздрогнула, немного отшатнулась отъ стола и съ удивленіемъ глядѣла на Райскаго. У нея въ глазахъ стояли вопросы: «какъ онъ? откуда взялся? зачѣмъ тутъ?»

— Sophie! повторилъ онъ.

Она встала и выпрямилась во весь ростъ.

— Чтò съ вами, cousin? спросила она коротко.

— Виновать, кузина, уже безъ восторга сказалъ онъ:—я васъ засталъ нечаянно... въ такомъ поэтическомъ безпорядкѣ.

Она оглянулась около себя и вдругъ будто спохватилась и позвонила.

— Pardon, cousin, я одѣнусь! сухо сказала она и ушла съ дѣвужкой въ спальню.

Онъ слышалъ, что она сдѣлала выговоръ Пашѣ, зачѣмъ ей не доложили о приѣздѣ Райскаго.

«Чтò же это такое?» думалъ Райскій, глядя на привезенный имъ портретъ, «она опять не похожа, она все такая же!... Да нѣтъ, она не обманетъ меня: это спокойствіе и холодъ, которымъ она сейчасъ вооружилась передо мной, не прежній холодъ — о, нѣтъ! это натяжка, принужденіе. Тамъ что-то прячется, подъ этимъ льдомъ—посмотримъ!»

Наконецъ она вышла, причесанная, одѣтая, въ шумящемъ платьѣ. Она, не глядя на него, стала у зеркала и надѣвала браслетъ.

— Я привезъ вашъ портретъ, кузина.

— Гдѣ? Покажите, сказала она, и пошла за нимъ въ гостиную.

— Вы польстили мнѣ, cousin: я не такая, говорила она, вглядываясь въ портретъ.

— Ахъ, нѣтъ, я далеко отъ истины! сказалъ онъ съ непритворнымъ уныніемъ, видя передъ собой подлинникъ. — Красота, какая это сила! Ахъ, еслибъ мнѣ этакую!

— Что жъ бы вы сдѣлали?

— Что бы я сдѣлалъ? повторялъ онъ, глядя на нее пристально и лукаво. — Сдѣлалъ бы кого-нибудь очень-счастливымъ...

— И надѣлали бы тысячу несчастныхъ—да? Стали бы пробовать свою силу надъ всѣми, и не было бы пощады никому...

— А! поймалъ ее Райскій: — не изъ состраданія ли вы такъ неприступны?... Вы боитесь бросить лишній взглядъ, зная, что это никому не пройдетъ даромъ. Новая изящная черта! самоувѣренность вамъ къ лицу. Эта гордость лучше родовой спѣси: красота—это сила, и гордость тутъ имѣетъ смыслъ.

Онъ обрадовался, что открылъ, какъ казалось ему, почему она такъ упорно кроется отъ него, почему такъ вдругъ измѣнила мечтательную позу и ушла опять въ свои окопы.

— Не будьте однако слишкомъ сострадательны: кто откажется отъ страданій, чтобъ подойти къ вамъ, говорить съ вами? Кто не поползетъ на колѣняхъ вслѣдъ за вами на край свѣта, не только

для торжества, для счастья и побѣды — просто для одной слабой надежды на побѣду...

— Полноте, cousin, вы опять за свое! сказала она, но не совсѣмъ равнодушнымъ тономъ. Она какъ-будто сомнѣвалась, такъ ли она сильна, такъ ли всѣ поползли бы за ней, какъ этотъ восторженный, горячій, сумасбродный артистъ?

И этотъ тонкій оттѣнокъ сомнѣнія не ускользнулъ отъ Райскаго. Онъ прозрѣвалъ въ ея взгляды, слова, ловилъ, иногда бессознательно, всѣ лучи и тѣни, мелькавшія въ ней, не только проникалъ смысломъ, но какъ-будто чувалъ нервами, что произошло, даже что должно было произойти въ ней.

— Вы сами видите это, — продолжалъ онъ, — что за одинъ ласковый взглядъ, безъ особеннаго значенія, за одно слово, безъ обѣщаній награды, всѣ бѣгутъ, суетятся, ловятъ ваше вниманіе.

— Будто бы?

— А вы не замѣтили? Полноте!

— Право, нѣтъ.

— Право, замѣтили и втихомолку торжествуете, да еще издѣваетесь надо мной, заставляя высказывать васъ же самихъ. Вы знаете, что я говорю правду, и въ словахъ моихъ видите свой образъ и любуетесь имъ.

— Пока еще я видѣла его въ портретѣ, и то преувеличенно, а на словахъ вы только бранитесь.

— Нѣтъ, портретъ — это слабая, блѣдная копія; вѣренъ только одинъ лучъ вашихъ глазъ, ваша улыбка, и то не всегда: вы-рѣдко такъ смотрите

и улыбаются, какъ-будто боитесь. Но иногда это мелькнетъ; однажды мелькнуло, и я поймалъ, и только намекнулъ на правду, и ужъ смотрите, что вышло. Ахъ, какъ вы были хороши тогда!

— Когда это?

— Вотъ тутъ, когда я говорилъ вамъ... еще, помните, вашъ папъ привелъ этого Милари...

Она молчала.

— Милари? повторилъ онъ.

— Помню, сухо сказала она.

— Что, онъ часто бываетъ у васъ? спросилъ Райскій, замѣтивъ и эту сухость тона.

— Да... иногда. Онъ очень хорошо поетъ, прибавила она и сѣла на диванъ, спиной къ свѣту.

— Когда онъ будетъ у васъ, я бы заххалъ... дайте мнѣ знать.

— Здѣсь свѣжо! замѣтила она, дѣлая движеніе плечами: — надо велѣть затопить каминъ...

— Я пришелъ проститься съ вами; я ѣду — вы знаете? спросилъ онъ вдругъ, взглянувъ на нее.

Она ничего.

— Куда? спросила только.

— Въ деревню, къ бабушкѣ... Вамъ не жаль, не скучно будетъ безъ меня?

Она думала и, казалось, рѣшала эти вопросы про-себя.

— Видите, кузина, для меня и то ужъ счастье, что тутъ есть какое-то колебаніе, что у васъ не вырвалось ни да, ни нѣтъ. Внезапное да — значило бы обманъ, любезность, или ужъ такое счастье,

какого я не заслужилъ; а отъ *нѣтъ* было бы мнѣ больно. Но вы не знаете сами, жалъ вамъ, или нѣтъ: это ужъ много отъ васъ, это половина побѣды...

— А вы надѣтесъ на полную? спросила она съ улыбкой.

— «Плохой солдатъ, который не надѣтся быть генераломъ!» сказалъ бы я, но не скажу: это было бы слишкомъ... невозможно.

Онъ глядѣлъ на нее и хотѣлъ бы, далъ бы, Богъ-знаетъ что, даже втайнѣ ждалъ, чтобъ она спросила «почему?» но она не спросила, и онъ подавилъ вздохъ.

— Невозможно, позторилъ онъ: — и въ доказательство, что у меня нѣтъ такихъ колоссальныхъ надеждъ, я пришелъ проститься съ вами, можетъ быть надолго.

— Мнѣ жалъ васъ, *cousin*, вдругъ сказала она тихо, мягко и почти съ чувствомъ.

Онъ обернулся къ ней такъ живо, какъ человѣкъ, у котораго болѣли зубы и вдругъ прошла боль.

— «Жаль!» повторилъ онъ: — правда ли это?

— Совершенно. Вы знаете, я никогда не лгу.

Онъ взялъ ея ладонь и съ упоеніемъ цѣловалъ. Она не отнимала руки.

— Вотъ, вотъ, за это право цѣловать такъ вашу руку, чего бы не сдѣлали всѣ эти, которые толнятся около васъ!

— Стало-быть, вы счастливы: вы пользуетесь этимъ правомъ свободно...

— Дá, какъ *cousin*! Но чего бы не сдѣлалъ я,

говорилъ онъ, — глядя на нее почти пьяными глазами, чтобъ цѣловать эту ладонь иначе... вотъ такъ...

Онъ хотѣлъ опять цѣловать, она отняла руку.

— Не смѣю сомнѣваться, что вамъ немного... жаль меня, продолжалъ онъ: — но какъ бы хотѣлось знать, отчего? зачѣмъ бы вы желали иногда видѣть меня?

— Чтобъ слышать васъ. Вы много, конечно, преувеличиваете, но иногда объясняете вѣрно тамъ, гдѣ я понимаю, но не могу сама сказать, не умѣю...

— А, сознались наконецъ! Такъ вотъ зачѣмъ я вамъ нуженъ: вы заглядываете въ меня, какъ въ арабскій словарь... Незавидная роль! прибавилъ онъ со вздохомъ.

— Но вы сами, cousin, сейчасъ сказали, что не надѣетесь быть генераломъ, и что всякій, просто за вниманіе мое, готовъ бы... поползти куда-то... Я не требую этого, но если вы мнѣ дадите немного...

— Дружбы? спросилъ Райскій.

— Да.

— Ну, такъ, я зналъ. Охъ, эта дружба!

— Нѣтъ, cousin, я вижу, что вы не отказались отъ «генеральскаго чина»...

— Нѣтъ, нѣтъ, кузина, я не надѣюсь, и отъ того, повторяю, ѣду. Но вы сказали мнѣ, что вамъ скучно безъ меня, что меня вамъ будетъ недоставать, и я, какъ утопающій, хватаюсь за соломинку.

— И не напрасно хватаетесь: я предлагаю вамъ не бездѣлицу: дружбу. Если для одного ласковаго

изгляда или слова можно ползти такую даль, на край свѣта, то для дружбы, которой я никому легко не даю...

— Дружба хороша, кузина, когда она—шагъ къ любви, или, иначе, она просто нелѣпность, даже иногда оскорбленіе.

— Какъ это?

— Такъ. Вы мнѣ дадите право входить безъ доклада къ себѣ, и то не всегда: вотъ сегодня разсердились, будете гонять меня по городу съ порученіями—это привилегія кузенѣй, даже совѣтоваться со мной, если у меня есть вкусъ, какъ одѣться; удостоите искренняго отзыва о вашихъ родныхъ, знакомыхъ, и наконецъ, дойдетъ до оскорбленія... до того, что повѣрите мнѣ сердечный секретъ, когда влюбитесь...

У Софьи въ лицѣ показалось принужденіе; она даже притворно зѣвнула въ сторону. Онъ замѣтилъ.

— Не влюбились ли вы уже? вдругъ спросилъ онъ.

— А что?

— Что значить это смущеніе?

— Смущеніе? Я смутилась? говорила она и поглядѣла въ зеркало. — Я не смутилась, а вспомнила только, что мы условились не говорить о любви. Прошу васъ, cousin, вдругъ серьезно прибавила она: — помнить уговоръ. Не будемъ, пожалуйста, говорить объ этомъ.

Онъ удивился этой просьбѣ и задумался. Она и прежде просила, но шутя, съ улыбкой. Самолюбіе шепнуло-было ему, что онъ постучался въ ея сердце

не даромъ, что оно отзывается, что смущеніе и внезапная, неловкая просьба не говорить о любви — есть боязнь, осторожность. Потомъ онъ отбросилъ эту мысль и самъ покраснѣлъ отъ сознанія, что онъ фатъ, и искалъ другихъ причинъ, а сердце ноетъ, мучится, терзается, глаза вливаются въ нее съ вопросами, слова кипятъ на языкѣ и не сходятъ. Его уже гложетъ ревность.

«Что-жь это? Ужели я не шутя влюбленъ?» думалъ онъ. «Нѣтъ, нѣтъ! И что мнѣ за дѣло? Вѣдь я не для себя хлопоталъ, а для нея же... для развитія... «для общества». Еще послѣднее усиліе!...»

— Послѣдній вопросъ, кузина, сказалъ онъ вслухъ: — еслибъ... И задумался: вопросъ былъ рѣшительный: — еслибъ я не принялъ дружбы, которую вы подносите мнѣ, какъ похвальный листъ за благонавіе, а задался бы задачей «быть генераломъ»: что-бы вы сказали? могъ ли бы, могу ли я?... «Она не кокетка, она скажетъ истину!» подумалъ онъ.

— Поддержали бы вы эту надежду, кузина?

Онъ дрожа выговаривалъ послѣднія слова и боялся взглянуть на нее. Она засмѣялась.

— У васъ нѣтъ никакихъ надеждъ, cousin, произнесла она равнодушно.

Онъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе, какъ-будто сомнѣніе въ этомъ было невозможно.

— Нѣтъ, и не можетъ быть! повторила она рѣшительно. — Вы все преувеличиваете: простая любовь вамъ кажется какимъ-то *entrainement*, въ обыкновенномъ вниманіи вы видите страсть и сами

въ какомъ-то бреду. Вы выходите изъ роли кузена и друга — позвольте напомнить вамъ.

— Такъ вы смѣшиваете меня съ свѣтскими любезниками, волокитами?

— *Fi, quelles expressions!*

— Да, вотъ съ этими, что порхаютъ по гостинымъ, по ломамъ, съ псевдо-нѣжными взглядами, страстно-почтительными фразами и заученнымъ остроуміемъ. Нѣтъ, кузина, если я говорю о себѣ, то говорю, что во мнѣ есть; языкъ мой вѣрно переводитъ голосъ сердца. Вотъ годъ я у васъ: ухожу и уношу мысленно васъ съ собой, и что чувствую, то съумѣю выразить.

— Зачѣмъ мнѣ это? вдругъ спросила она.

Онъ замолчалъ, озадаченный этимъ «зачѣмъ». Тутъ былъ весь отвѣтъ на его вопросъ о надеждахъ на «генеральство». И довольно бы, не спрашивать бы ему дальше, а онъ спрашивалъ!

— Вы... не любите меня, кузина? спросилъ онъ тихо и вкрадчиво.

— Очень! весело отвѣчала она.

— Не шутите, ради Бога! раздражительно сказалъ онъ.

— Даю вамъ слово, что не шучу.

«Спросить, влюблены ли вы въ меня — глупо, такъ глупо», думалъ онъ, «что лучше уѣду, ничего не узнавъ, а ни за что не спрошу... Вотъ, поди-жъ ты: «выше міра и страстей», а хитрить, вертится и ускользаетъ, какъ любая кокетка! Но я узнаю! ^{хорошо}срякну неожиданно, что у меня бродитъ въ душѣ...»

Во время этого мысленнаго монолога, она съ лукавой улыбкой смотрѣла на него и, кажется, нечужда была удовольствія помучить его и помучила бы, еслибъ... онъ не «брякнулъ» неожиданнымъ вопросомъ.

— Вы влюблены въ этого итальянца, въ графа Милари — да? спросилъ онъ и погрузилъ въ нее взглядъ и чувствовалъ самъ, что блѣднѣеть, что однимъ мигомъ какъ-будто взвалилъ тысячи пудъ себѣ на плечи.

Улыбка, дружескій тонъ, свободная поза — все исчезло въ ней отъ его вопроса. Передъ нимъ холодная, суровая, чужая женщина. Она была такъ близка къ нему, а теперь казалась гдѣ-то далеко, на высотѣ, не родня и не другъ ему.

«Должно-быть, это правда: я угадалъ!» подумалъ онъ и разбиралъ, отчего угадалъ онъ, что подало поводъ ему къ догадкѣ? Онъ видѣлъ одинъ разъ Милари у ней, а только когда заговорилъ о немъ — у ней пробѣжала какая-то тѣнь по лицу, да пересѣла она спиной къ свѣту. «Боже мой! зачѣмъ я все вижу и знаю, гдѣ другіе слѣпы и счастливы? Зачѣмъ для меня довольно шороха, вѣтерка, самаго молчанія, чтобъ знать? Проклятое чутье! Вотъ теперь ядъ прососался въ сердце, а изъ какихъ благъ?»

Она молчала.

— Вы обидѣлись, кузина?

Она молчала.

— Скажите: да?

— Вы сами знаете, что можетъ произвести подобная догадка.

— Я знаю больше, кузина: я знаю и причину, почему вы обидѣлись.

— Позвольте узнать!

— Потому-что это правда.

Она сдѣлала движеніе и поглядѣла на него съ изумленіемъ, какъ-будто говоря: «вы еще настаиваете!»

— И этотъ взглядъ не вашъ, кузина, а заимствованный!

— Я притворяюсь! Вы приписываете себѣ много чести, мсье Райскій!

Онъ засмѣялся, потомъ вздохнулъ.

— Если это не правда, то... что обиднаго въ моей догадкѣ? сказалъ онъ: — а если правда, то опять-таки... что обиднаго въ этой правдѣ? Подумайте надъ этой дилеммой, кузина, и покайтесь, что вы напрасно хотѣли подавить достоинствомъ вашего бѣднаго cousin!

Она слегка пожала плечами.

— Да, это такъ, и все, что вы дѣлаете въ эту минуту, выражаетъ не оскорбленіе, а досаду, что у васъ похитили тайну... И самое оскорбленіе это— только маска.

— Какая тайна? Что вы! говорила она, возвышая голосъ и дѣлая большіе глаза. — Вы употребляете во зло права кузена — вотъ въ чемъ и вся тайна. А я неосторожна тѣмъ, что принимаю васъ во всякое время, безъ тѣтушекъ и папъ...

— Кузина, бросьте этотъ тонъ! началъ онъ дру-

жески, горячо и искренно, такъ-что она почти смягчилась и мало-по-малу приняла прежнюю, свободную, довѣрчивую позу, какъ-будто видѣла, что тайна ея попала не въ дурныя руки, если только тутъ была тайна.

— Вотъ что значить Олимпъ! продолжалъ онъ.— Будь вы просто женщина, не богиня, вы бы поняли мое положеніе, взглянули бы въ мое сердце и поступили бы не сурово, а съ пощадой, даже еслибъ я былъ вамъ совѣтъ чужой. А я вамъ близокъ. Вы говорите, что любите меня дружески, скучаете не видя меня... Но женщина бываетъ сострадательна, нѣжна, честна, справедлива, только съ тѣмъ, кого любить, и безжалостна ко всему прочему. У злодѣя подъ пожомъ скорѣе допросишься пощады, нежели у женщины, когда ей нужно закрыть свою любовь и тайну.

— Къ-чему вы это мнѣ говорите? со мной это вовсе не у мѣсту! А я еще просила васъ оставить разговоръ о любви, о страстяхъ...

— Знаю, кузина, знаю и причину: я касаюсь вашей раны. Но уже-ли мое дружеское прикосновеніе такъ грубо?... Уже-ли я не стою довѣренности?...

— Какой довѣренности? Какія тайны? ради Бога, cousin... говорила она, глядя въ безпокойствѣ по сторонамъ; какъ-будто хотѣла уйти, заткнуть уши, не слышать, не знать.

— Пусть я смѣшонъ съ своими надеждами на «генеральство», продолжалъ онъ, не слушая ее, го-

рячо и нѣжно: — но, однакожъ, чего-нибудь да стою я въ вашихъ глазахъ—не правда ли? Скажу больше: около васъ, во всей вашей жизни, никогда не было и нѣтъ, можетъ быть, и не будетъ чело-вѣка ближе къ вамъ. И вы сами давеча сказали то же, хотя не такъ ясно. У васъ не было чело-вѣка настоящаго, живого, который бы такъ коротко звалъ людей, и сердце, и объяснялъ бы вамъ васъ самихъ. Вы во мнѣ читаете свои мысли, повѣряете чувства. Я—не тетушка, не папá, не предокъ вамъ, не мужъ: никто изъ нихъ не зналъ жизни: всѣ они на ходуляхъ, всѣ замкнулись въ кружокъ старыхъ, скудныхъ понятій, условнаго воспитанія, такъ называемаго «тона», и нищенски пробавля-ются ими. Я живой, свѣжій чело-вѣкъ; я приношу къ вамъ сюда незнакомыя здѣсь понятія и чув-ства, я новость для васъ; я занимаю... виноватъ... занималъ васъ... Правда ли это, кузина?

Она молчала.

— Теперь, конечно, другое дѣло: теперь вы рады, что я ѣду, продолжалъ онъ: — всѣ прочіе могутъ остаться; вамъ нужно, чтобъ я одинъ уѣхалъ...

— Почему?

— Потому, что одинъ я лишній въ эту минуту, одинъ я прочелъ вашу тайну въ зародышѣ. Но... если вы мнѣ вѣрите ее, тогда я, послѣ *него*, буду дороже для васъ всѣхъ...

Она сдѣлала движеніе, встала, прошлась по ком-натѣ, оглядывая стѣны, портреты, глядя далеко въ

анфиладу комнатъ и какъ-будто не видя выхода изъ этого положенія, и съ нетерпѣніемъ сѣла въ кресло.

— Но... началъ онъ опять нѣжнымъ, дружескимъ голосомъ:—я васъ люблю, кузина (она выпрямилась), всячески люблю, и больше всего люблю за эту поразительную красоту; вы владѣете мной невольно и безсознательно. Вы можете сдѣлать изъ меня все—вы это знаете...

— Послушайте... Вы хотите увѣрить меня, что у васъ... что-то въ родѣ страсти, сказала она, дѣлая какъ-будто уступку ему, чтобъ отвлечь, затушевать его настойчивый анализъ:—смотрите, не лжете ли вы... положимъ — невольно? прибавила она, видя, что онъ собирается разразиться какимъ-нибудь монологомъ.—Мѣсяцъ, два тому назадъ, ничего не было, были какіе-то порывы — и вдругъ такъ скоро... Вы видите, что это ненатурально, ни ваши восторги, ни мученія: извините—cousin, я имъ не вѣрю, и оттого у меня нѣтъ и пощады, которой вы добиваетесь. Воля ваша, а мнѣ придется разжаловать васъ изъ кузней: вы самый спокойный cousin и другъ...

— Для страсти не нужно годовъ, кузина: она можетъ зародиться въ одно мгновеніе. Но я и не увѣряю васъ въ страсти, уныло прибавилъ онъ:—а что я взволнованъ теперь—такъ я не лгу. Не говорю опять, что я умру съ отчаянія, что это вопросъ моей жизни—нѣтъ; вы мнѣ ничего не дали и нечего вамъ отнять у меня, кромѣ надеждъ, ко-

торья я самъ возбудилъ въ себѣ... Я ихъ беру назадъ. Это ощущеніе: оно, конечно, скоро пройдетъ, я знаю. Впечатлѣніе, за недостаткомъ пищи, неупрочилось—и слава Богу!

Онъ вздохнулъ.

— Чего же вы хотите? спросила она.

— Меня оскорбляетъ вашъ ужасъ, что я заглянулъ къ вамъ въ сердце...

— Тамъ ничего нѣтъ, монотонно сказала она.

— Есть, есть, и мнѣ тяжело, что я не выигралъ даже этого довѣрія. Вы боитесь, что я не умѣю обойтись съ вашей тайной. Мнѣ больно, что васъ пугаетъ и стыдитъ мой взглядъ... кузина, кузина! А вѣдь это мое дѣло, моя заслуга, вѣдь я виноватъ... что вывелъ васъ изъ темноты и слѣпоты, что этотъ Милари...

Она слушала довольно-спокойно, но при послѣднемъ словѣ быстро встала.

— Если вы, cousin, дорожите немного моею дружбой, заговорила она, и голосъ у ней даже немного измѣнился, какъ-будто дрожалъ:—и если вамъ что-нибудь значить быть здѣсь... видѣть меня... то... не произносите имени!

«Да, это правда, я попалъ: она любитъ его!» рѣшилъ Райскій, и ему стало уже легче, боль замирала отъ безнадежности, отъ того, что вопросъ былъ рѣшенъ и тайна объяснилась. Онъ уже сталъ смотрѣть на Софью, на Милари, даже на самого себя со стороны, объективно.

— Не бойтесь, кузина, ради Бога, не бойтесь,

говорилъ онъ. — Хороша дружба! Бояться какъ шпиона, стыдиться...

— Мнѣ бояться и стыдиться некого и нечего!

— Какъ нечего, а свѣта, а ихъ! указалъ онъ на портреты предковъ. — Вонъ какъ они вытаращили глаза! Но развѣ я—они? развѣ я—свѣтъ?

— И правду сказать, есть чего бояться предковъ! замѣтила совершенно-свободно и покойно Софья, — если только они слышать и видятъ васъ! чего не было сегодня! И упрёки, и *déclaration*, и ревность... Я думала, что это возможно только на сценѣ... Ахъ, cousin!... съ веселымъ вздохомъ заключила она, впадая въ свой слегка-насмѣшливый и спокойный тонъ.

Въ самомъ дѣлѣ ей нечего было ужасаться и стыдиться: графъ Милари былъ у ней разъ шесть, всегда при другихъ, пѣлъ, слушалъ ея игру и разговоръ, никогда не выходилъ изъ предѣловъ обыкновенной учтивости, едва-замѣтнаго благоуханія тонкой и покорной лести. Другая бы сама бойко произносила имя красавца-Милари, тщеславилась бы его вниманіемъ, немного бы попокетничала съ нимъ, а Софья запретила даже называть его имя и не знала, какъ зажать ротъ Райскому, когда онъ такъ невпопадъ догадался о «тайнѣ». Никакой тайны нѣтъ, и если она приняла эту догадку равнодушно, такъ, вѣроятно, затѣмъ, чтобъ истребить и въ немъ даже тѣнь подозрѣнія. Она влюблена—какая нелѣпость, Боже сохрани! Этому никто и не повѣритъ. Она,

попрежнему, смѣло подняла голову и покойно глядѣла на него.

— Прощайте, кузина! сказалъ онъ вяло.

— Развѣ вы не у насъ сегодня? отвѣчала она ласково.—Когда вы ѣдете?

«Лестъ, хитрость: золотить пиллюлю!» думалъ Райскій.

— Зачѣмъ я вамъ? отвѣчалъ онъ вопросомъ.

— Вижу, что дружба моя для васъ—ничто! сказала она.

— Ахъ, неправда, кузина! Какая дружба: вы боитесь меня!

— Слава Богу, мнѣ еще нечего бояться.

— *Еще* нечего? А если будетъ что-нибудь, удостоите ли вы меня вашего довѣрія?

— Но вы говорите, что это оскорбительно: послѣ этого я боялась бы...

— Не бойтесь! Я сказалъ, что надежды могли бы разыграться отъ взаимности, а ея вѣдь... нѣтъ? робко спросилъ онъ и пытливо взглянулъ на нее, чувствуя, что, при всей безнадежности, надежда еще не совсѣмъ испарилась изъ него, и тутъ же мысленно назвалъ себя дуракомъ.

Она медленно и отрицательно покачала головой.

— И... быть не можетъ? все еще пытливо спрашивалъ онъ. Она засмѣялась.

— Вы неисправимы, cousin, сказала она.—Всякую другую вы поневолѣ заставите кокетничать съ вами. Но я не хочу и прямо скажу вамъ: нѣтъ.

— Слѣдовательно, вамъ и бояться нечего вѣриться мнѣ! съ уныніемъ договорилъ онъ.

— Parole d'honneur, мнѣ нечего вѣрять.

— Ахъ, есть, кузина!

— Чтò же такое хотите вы, чтобъ я вѣрила вамъ, dites positivement.

— Хорошо: скажите, чувствуете ли вы какую-нибудь перемѣну съ тѣхъ поръ, какъ этотъ Милари...

Она сдѣлала движеніе, и лицо опять мѣнялось у нея изъ дружескаго на принужденное и холодное.

— Нѣтъ, нѣтъ, pardon—я не назову его... съ тѣхъ поръ, хочу я сказать, какъ онъ появился, сталъ ѣздить въ домъ...

— Послушайте, cousin... начала она и остановилась на минуту, затрудняясь, повидимому, продолжать:—положимъ, еслибъ... enfin si c'était vrai—это быть не можетъ (скороговоркой, будто въ скобкахъ, прибавила она), но что... вамъ... за дѣло послѣ того какъ...

Онъ вспыхнулъ.

— Чтò за дѣло! вдругъ горячо перебилъ онъ, дѣлая большіе глаза.—Чтò за дѣло, кузина! Вы снизойдете до какаго-нибудь рагвену, до какаго-то Милари, итальянца, вы, Пахотина, блескъ, гордость, перлъ нашего общества! вы... вы! съ изумленіемъ, почти съ ужасомъ повторялъ онъ.

А она съ изумленіемъ смотрѣла на него, какъ онъ весь внезапно вспыхнулъ, какіе яростные взгляды металъ на нее.

— Но онъ, го-первыхъ, графъ... а не рагвени... сказала она.

— Купленный или украденный титутъ! возражалъ онъ въ пылу. — Это одинъ изъ тѣхъ проидохъ, что, по словамъ Лермонтова, прїѣзжаютъ сюда «на ловлю счастья и чиновъ», втираются въ большіе дома, ищутъ протекціи женщинъ, протираются въ службу и потомъ дѣлаются гран-сеньорами. Берегитесь, кузина, мой долгъ оберечь васъ! я вамъ родственникъ!

Все это онъ говорилъ чуть не съ пѣной у рта.

— Никто ничего подобнаго не замѣтилъ за нимъ! съ возрастающимъ изумленіемъ говорила она: — и если папá и *mes tantes* принимаютъ его...

— Папá и *mes tantes*! съ пренебреженіемъ повторилъ онъ: — много знаютъ они: послушайте ихъ!

— Кого же слушать: васъ? Она улыбнулась.

— Да, кузина, и я вамъ говорю: остерегайтесь! Это опасные выходцы: можетъ-быть, подъ этой интересной блѣдностью, мягкими кошачьими манерами, кроется безстыдство, алчность, и Богъ-знаетъ что! Онъ компрометируетъ васъ...

— Но онъ вездѣ принятъ, онъ очень-скроменъ, деликатенъ, прекрасно воспитанъ...

— Все это вы видите въ своемъ воображеніи, кузина — повѣрьте!

— Но вы его не знаете, *cousin*! возражала она съ полу-улыбкой, начиная наслаждаться его внезапной раздражительностью.

— Довольно мнѣ одной минуты было, чтобъ разглядѣть, что это одинъ изъ тѣхъ *chevaliers d'industrie*, которые сотнями бѣгутъ съ голода изъ Италіи, чтобы поживиться...

— Онъ артистъ, защищала она:— и если онъ не на сценѣ, такъ потому, что онъ графъ и богатъ... *c'est un homme distingué.*

— А! вы защищаете его—поздравляю! Такъ вотъ на кого упали лучи съ высоты Олимпа! Кузина! кузина! на комъ вы удостоили остановить взоры! Опомнитесь, ради Бога! Вамъ ли, съ вашими высокими понятіями, спизойти до какого-то безвѣстнаго выходца, можетъ-быть, самозванца-графа...

Она уже окончательно развеселилась и, казалось, забыла свой страхъ и осторожность.

— А Ельнинъ? вдругъ спросила она.

— Что Ельнинъ? спросилъ и онъ, внезапно остановленный ею. — Ельнинъ — Ельнинъ... замялся онъ:—это дѣтская шалость, институтское обожаніе. А здѣсь страсть, горячая, опасная!

— Что же: вы бредили страстью для меня—ну, вотъ я страстно влюблена, смѣялась она. — Развѣ мнѣ не все-равно идти туда (она показала на улицу), что съ Ельнинымъ, что съ графомъ? вѣтъ тамъ я должна «увидѣть счастье, упиться имъ»!

Райскій стиснулъ зубы, сѣлъ на кресло и злобно молчалъ. Она продолжала наслаждаться его положеніемъ.

«Уфъ!» говорилъ онъ, мучаясь, волнуясь, не отъ того, что его поймали и уличили въ противорѣчїи самому себѣ, не отъ того, что у него ускользала красавица - Софья, а отъ подозрѣнія только, что счастье быть любимымъ выпало другому. Не будь другого, онъ бы покойно покорился своей судьбѣ.

А она смотрѣла на него съ торжествомъ, такъ ясно, покойно. Она была права, а онъ запутался.

— Что же, cousin, чему я должна вѣрить: имъ ли? она указала на предковъ: — или, бросивъ все, не слушая никого, выѣхать въ толпу и жить «новой жизнью?»

— И тутъ вы остались вѣрны себѣ! возразилъ онъ вдругъ съ радостью, хватаясь за соломинку: — завѣтъ предковъ виситъ надъ вами: вашъ выборъ палъ все-таки на графа! Ха-ха-ха! судорожно засмѣялся онъ. — А остановили ли бы вы вниманіе на немъ, еслибъ онъ былъ не графъ? Дѣлайте, какъ хотите! съ досадой махнулъ онъ рукой... Вѣдь... «что мнѣ за дѣло?» возразилъ онъ ея словами. Я вижу, что онъ, этотъ *homme distingué*, изящнымъ разговоромъ, полнымъ ума, новизны, какого-то трепета, уже тронулъ, пошевелилъ и... и... да, да?

Онъ принужденно засмѣялся.

— Что-жь, прекрасно! Италія, небо, солнце и любовь... говорилъ онъ, качая, въ волненіи, ногой.

— Да, помните, въ вашей программѣ было и это, замѣтила она: — вы посылали меня въ чужіе

края, даже въ чухонскую деревню, и тамъ, «наединѣ съ природой»... По вашимъ словамъ, я должна быть теперь счастлива? дразнила она его. Ахъ, cousin! прибавила она и засмѣялась, потомъ вдругъ сдержала смѣхъ.

Онъ изнудобья смотрѣлъ на нее. Она опять становилась задумчива и холодна; опять осторожность начала брать верхъ.

— Успокойтесь: ничего этого нѣтъ, сказала она кротко: и мнѣ остается только поблагодарить васъ за этотъ новый урокъ, за предостереженіе. Но я въ затрудненіи теперь, чему слѣдовать: тогда вы толкали туда, на улицу — теперь... боитесь за меня. Что же мнѣ, бѣдной, дѣлать?... съ комическимъ послушаніемъ спросила она.

Оба молчали.

Я возьму портретъ съ собой, вдругъ сказалъ онъ.

— Зачѣмъ? вы говорили, что готовите мнѣ подарокъ.

— Нѣтъ, я передѣлаю: я сдѣлаю изъ него... грѣшницу...

Она опять засмѣялась.

— Дѣлайте, что хотите cousin, Богъ съ вами!

— И съ вами тоже! Но... кузина...

Онъ остановился: у него вдругъ отошло отъ сердца. Онъ засмѣялся добродушно, не то надъ ней, не то надъ собой.

— Но... но... ужели мы такъ разстанемся: холодно, съ досадой, не друзьями?... вдругъ прор-

валось у него, и досада миновала. Онъ, вставъ, протянулъ къ ней руки, и глаза опять съ уношеніемъ смотрѣли на нее. Ему не то, чтобы хотѣлось дружбы, не то, чтобы сердце развернулось къ прежнимъ, добрымъ чувствамъ. А зародышъ впечатлѣнія еще не совсѣмъ угасъ, еще искра тлѣла и его влекло къ ней, пока онъ ее видѣлъ. Въ голосъ у него все еще слышалась робкая дрожь. Говорила вмѣстѣ и доброта, прирожденная его душѣ, гдѣ не упрочиались никогда дурныя чувства.

— Друзьями! Какъ вы поступили съ моей дружбой?... упрекнула она.

— Дайте, возвратите ее, кузина, умолялъ онъ, простите немножко... влюбленного въ васъ cousin, и прощайте!

Онъ поцѣловалъ у ней руку.

— Развѣ я не увижу васъ больше? живо спросила она.

— За этотъ вопросъ дайте еще руку. — Я опять прежній Райскій и опять говорю вамъ: любите, кузина, наслаждайтесь, помните, что я вамъ говорилъ вотъ здѣсь... Только не забывайте до конца Райскаго. Но зачѣмъ вы полюбили... графа? съ улыбкой, тихо прибавилъ онъ.

— Вы опять свое: «любить!»...

— Полноте притворяться, полноте! Богъ съ вами, кузина:—что мнѣ за дѣло? Я закрываю глаза и уши, я слѣпъ, глухъ и нѣмъ, говорилъ онъ, закрывая глаза и уши. — Но если, вдругъ прибавилъ онъ, глядя прямо на нее:—вы почув-

ствуєте все, что я говорилъ, предсказывалъ, что, можетъ быть, вызвалъ въ васъ... на свою шею — скажете ли вы мнѣ?... я стою этого.

— Вы напрашиваетесь на «оскорбленіе?»

— Нужды нѣтъ, я буду героемъ, рыцаремъ дружбы, первымъ изъ кузней! Подумавъ, я нахожу, что дружба кузней и кузинъ очень пріятная дружба, и принимаю вашу.

— *A la bonne heure!* сказала она, протягивая ему руку: и если я почувствую что-нибудь, что вы предсказывали, то скажу вамъ однимъ, или никогда никому и ничего не скажу. Но этого никогда не будетъ и быть не можетъ! торопливо добавила она. — Довольно, *сюзин*, вонъ карета подъѣхала: это тетуски.

Она встала, оправилась у зеркала и пошла имъ на встрѣчу.

— А будете отвѣчать мнѣ на письма? спросилъ онъ, идучи за ней.

— Съ удовольствіемъ: обо всемъ; кромѣ... любви!

— «Неисправима!» подумалъ онъ: «но посмотримъ, что будетъ!»

Онъ-шелъ тихій, задумчивый, съ блуждающимъ взглядомъ, погруженный глубоко въ себя. Въ немъ постепенно гасли боли корыстной любви и печали. Не стало страсти, не стало какъ-будто самой Ссфьи, этой суетной и холодной женщины; исчезла пестрая мишура украшеній; исчезли портреты предковъ, тетки, не было и ненавистнаго Милари.

Передъ нимъ, какъ изъ тумана, возникалъ одинъ строгій образъ чистой женской красоты, не Софьи, а какой-то, будто античной, нетлѣнной, женской фигуры. Снилось одна только творческая мечта, развивалась грандіозной картиной, охватывала его все болѣе и болѣе. Онъ, притаивъ дыханіе, погружился въ артистическій сонъ и наблюдалъ видѣніе, боялсядохнуть.

Женская фигура, съ лицомъ Софьи, рисовалась ему бѣлой, холодной статуей, гдѣ-то въ пустынѣ, подъ яснымъ, будто луннымъ небомъ, но безъ луны; въ свѣтѣ; но не солнечномъ, среди сухихъ, нагихъ скалъ, съ мертвыми деревьями, съ петекущими водами, съ страннымъ молчаніемъ. Она, обративъ каменное лицо къ небу, положивъ руки на колѣни, полуоткрывъ уста, кажется жаждала пробужденія. И вдругъ изъ-за скалъ мелькнулъ яркій свѣтъ, задрожали листья на деревьяхъ, тихо за журчали струи водъ. Кто-то вострепнулся въ вѣтвяхъ, кто-то пробѣжалъ по лѣсу; кто-то вздохнулъ въ воздухѣ — и воздухъ заструился и лучъ озолотилъ блѣдный лобъ статуи; вѣки медленно открылись и искра пробѣжала по груди, дрогнуло холодное тѣло, блѣдныя щеки зардѣли, лучи упали на плечи. Сзади оторвалась густая коса и разсыпалась по спинѣ, краски облили камень, и волна жизни пробѣжала по бедрамъ, задрожали колѣни, изъ груди вырвался вздохъ — и статуя ожила, повела радостный взглядъ вокругъ... И дальше, дальше жизнь волнами вторгалась въ пробужденное созда-

ніе... Члены стали жизненны, тѣлесны; статуя шевелилась, широко глядѣла лучистыми глазами вокругъ, чего-то просила, ждала, о чемъ-то начала тосковать. Воздухъ наполнился тепломъ; надъ головой распростерлись вѣтви; у ногъ явились цвѣты... Райскій все шелъ тихо, глядя душой въ этотъ сонъ: статуя и все кругомъ постепенно оживало, дѣлалось ярче... И когда онъ дошелъ до дома, созданная имъ женщина мало-по-малу опять обращалась въ Софью. Пустыня исчезла; Софья, въ мечтѣ его, была уже опять въ своемъ кабинетѣ, зятая въ свое платье, за сонатой Бетховена, и въ трепетѣ слушала шопотъ блѣднаго, страстнаго Милари. Но ни ревности, ни боли онъ не чувствовалъ, и только трепеталъ отъ красоты, какъ-будто перерожденной, новой для него женщины. Онъ любовался уже ихъ любовью и радовался ихъ радостью, томясь жаждой превратить и то и другіе въ образы и звуки. Въ немъ умеръ любовникъ и ожилъ безкорыстный артистъ. «Да, артистъ не долженъ пускать корней и привязываться безвозвратно», мечталъ онъ въ забытіи, какъ въ бреду. «Пусть онъ любитъ, страдаетъ, платитъ всѣ человѣческія дани... но пусть никогда не упадетъ подъ бременемъ ихъ, но расторгнетъ эти узы, встанетъ бодръ, безстрастенъ, силенъ, и творить: и пустыню, и каменя, и наполнить ихъ жизнью и покажетъ людямъ — какъ они живутъ, любятъ, страдаютъ, блаженствуютъ и умираютъ... Зачѣмъ художникъ посланъ въ міръ!...»

Райскій тщательно внесъ въ программу будущаго романа и это видѣніе, какъ прежде внесъ разговоры съ Софьей и эпизодъ о Наташѣ и многое другое, что должно поступить въ лабораторію его фантазій. «Гдѣ же тутъ романъ? печально думалъ онъ: нѣтъ его! Изъ всего этого матеріала можетъ выйти развѣ прологъ къ роману: а самый романъ—впереди, или вовсе не будетъ его! Какой романъ найду я тамъ, въ глуши, въ деревнѣ! Идиллію, пожалуй, между курами и пѣтухами, а не романъ у живыхъ людей, съ огнемъ, движеніемъ, страстью!»

Однако онъ прежде всего погрузилъ на дно чемодана весь свой литературный матеріалъ, потомъ въ особый ящикъ помѣстилъ эскизы карандашемъ и кистью пейзажей, портретовъ и т. п., захватилъ краски, кисти, палитру, чтобы устроить въ деревнѣ небольшую мастерскую, на случай, если романъ не пойдетъ на ладъ. Потомъ уже уложилъ запасъ бѣлья, платья и нѣкоторые подарки бабушкѣ, сестрамъ, и замшевую фуфайку съ панталонами, Титу Никонычу, по порученію Татьяны Марковны.

— Ну, теперь—dabin! Посмотримъ, что будетъ! задумчиво говорилъ онъ, уѣзжая изъ Петербурга.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.





I.

Тихой, сонной рысью пробирался Райскій, въ рогожной перекладной кибиткѣ, на тройкѣ тощихъ лошадей, по переулкамъ, къ своей усадьбѣ. Онъ не безъ смущенія завидѣлъ дымокъ, вьющійся изъ трубъ родной кровли, раннюю, нѣжную зелень березъ и липъ, осѣняющихъ этотъ пріютъ, черепичную кровлю стараго дома и блеснувшую между деревьевъ и опять скрывшуюся за ними серебряную полосу Волги. Оттуда, съ берега, повѣяла на него струя свѣжаго, здороваго воздуха, какимъ онъ давно не дышалъ. Вотъ ближе, ближе: вонъ заперстрѣли цвѣты въ садикѣ, вонъ дальше видны аллеи липъ и акацій, и старый вязъ, лѣвѣе—яблони, вишни, груши. Вонъ рѣзвятся собаки на дворѣ, жмутся по угламъ и грѣются на солнцѣ котята; вонъ скворечники зыблются на тонкихъ жердяхъ; по кровлѣ новаго дома толкуются голуби, поверхъ рѣютъ ласточки. Вонъ за усадьбой, со стороны деревни, цѣлая луговина покрыта разостланными на солнцѣ

полотнами. Вонъ баба катитъ боченокъ по двору, кучеръ рубить дрова, другой, какой-то, садится въ телѣгу, собирается ѣхать со двора: все незнакомые ему люди. А вонъ Яковъ сонно смотритъ съ брыльца по сторонамъ. Это знакомый: какъ постарѣлъ! Вонъ другой знакомый, Егоръ, зубоскалъ, напрасно въ третій разъ силится вскочить верхомъ на лошадь, та не дается; горничныя, въ свою очередь, скалятъ надъ нимъ зубы. Онъ едва узналъ Егора: оставилъ его мальчишкой восемнадцати лѣтъ. Теперь онъ возмужалъ: усы до плечъ, и все тотъ же хохоль на лбу, тотъ же пахальный взглядъ и вѣчно-оскаленные зубы! Вонъ, кажется, еще знакомое лицо: какъ-будто Марина или Ое-досья—что-то въ этомъ родѣ: онъ смутно припомнилъ молодую, лѣтъ пятнадцати дѣвушку, похожую на эту самую, которая теперь шла черезъ дворъ. И все успѣлъ зоркимъ взглядомъ окинуть Райскій, пробираясь пѣшкомъ подлѣ экипажа, мимо рѣшетчатого забора, отдѣляющаго домъ, дворъ, цвѣтникъ и садъ отъ проѣзжей дороги. Онъ продолжалъ любоваться всей этой знакомой картиной, переходя глазами съ предмета на предметъ, и вдругъ остановилъ ихъ неподвижно на неожиданномъ явленіи.

На крыльцѣ, въ родѣ веранды, уставленной большими кадками, съ лимонными, померанцовыми деревьями, кактусами, алоэ и разными цвѣтами, отгороженной отъ двора большой рѣшеткой и обращенной къ цвѣтнику и саду, стояла дѣвушка, лѣтъ двадцати, и съ двухъ тарелокъ, которыя держала

передъ ней дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, босая, въ выбойчатомъ платьѣ, брала горстями пшено и бросала птицамъ. У ногъ ея толпились куры, индѣйки, утки, голуби, наконецъ воробьи и галки. «Цыпъ, цыпъ, ти, ти, ти! гуль! гуль, гуль», ласковымъ голосомъ приглашала дѣвушка птицъ къ завтраку. Куры, пѣтухи, голуби, торопливо хватали, отступали, какъ будто опасаясь ежеминутнаго предательства, и опять совались. А когда тутъ же вертѣлась галка и, подскакивая бокомъ, норовила воровски клюнуть пшена, дѣвушка топала ногой, «прочъ, прочъ; ты зачѣмъ?» кричала она, замахиваясь, и вся пернатая толпа въ летъ разбрасывалась по сторонамъ, а черезъ минуту опять головки кучей совались, жадно и торопливо клевать, какъ будто воруя зерна. «Ахъ ты, жадный!» говорила дѣвушка замахиваясь на большого пѣтуха—никому не даешь—кому ни брошу, вездѣ схватить»!

Утреннее солнце ярко освѣщало суетливую группу птицъ и самую дѣвушку. Райскій усиѣлъ разглядѣть большіе темно-сѣрые глаза, кругленькія здоровыя щеки, бѣлые тѣсные зубы, свѣтлорусую, вдвое сложенную на головѣ косу и вполне развитую грудь, рельефно отливавшуюся въ тонкой бѣлой блузѣ. На шеѣ не было ни косынки, ни воротничка: ничто не закрывало бѣлой шеи, съ легкой тѣнью загара. Когда дѣвушка замахнулась на прожорливаго пѣтуха, у ней половина косы, отъ этого движенія, упала на шею и спину, но она, не обращая вниманія, продолжала бросать

зерна. Она, то смѣялась, то хмурилась, глядѣла такъ свѣжо и бодро, какъ это утро, наблюдая, всѣмъ ли по ровну достается, не подскакиваетъ ли галка, не набралось ли много воробьевъ. «Гусенка не видала»? спросила она у дѣвочки груднымъ, звонкимъ голосомъ. — «Нѣтъ еще, барышня, сказала та: да его бы выкинуть кошкамъ. Афимья говорить, что околѣетъ». — «Нѣтъ, нѣтъ, я сама посмотрю, перебила дѣвушка, у Афимьи никакой жалости нѣтъ: она живого готова бросить». Райскій, не шевелясь, смотрѣлъ, ничѣмъ не замѣчаемый, на всю эту сцену, на дѣвушку, на птицъ, на дѣвчонку. «Такъ и есть: идилія! я зналъ! Это должно быть троюродная сестрица: думалъ онъ: какая она миленькая? Какая простота, какая прелесть! но которая: Вѣрочка или Маронька!»

Онъ, не дожидаясь, пока ямщикъ завернетъ въ ворота бросился впередъ, пробѣжалъ остатокъ рѣшетки и вдругъ очутился передъ дѣвушкой. «Сестрица!» вскрикнулъ онъ, протягивая руки. Въ одну минуту, какъ-будто по волшебству, все исчезло. Онъ не успѣлъ уловить, какъ и куда пропали дѣвушка и дѣвчонка: воробьи, мимо его носа, проворно и дружно махнули на кровлю. Голуби, хлопывая крыльями точно ладонями, въ разсыпную кружились надъ его головой, какъ слѣпые. Куры съ отчаяннымъ кудахтаньемъ бросились по угламъ, и пробовали съ испугу скакать на стѣну. Индѣйскій пѣтухъ, поднявъ лапу и озираясь во кругъ, неистово выругался по своему, точно сер-

дитый командиръ оборвалъ всю команду на ученьѣ за безпорядокъ. Всѣ люди на дворѣ, опѣшивъ за работой, съ разинутыми ртами, глядѣли на Райскаго. Онъ самъ почти испугался и смотрѣлъ на пустое мѣсто: передъ нимъ по землѣ были только одни разсыпанныя зерна.

Но въ домѣ уже послышался шумъ, говоръ, движеніе, звонъ ключей и голосъ бабушки: «Гдѣ онъ? гдѣ?» Она идетъ, торопится, лицо у ней сіяетъ, объятія растворяются. Она прижала его къ себѣ и около губъ ея улыбка образовала лучи. Она, хотя постарѣла, но постарѣла ровною, здороваю старостью: ни болѣзненныхъ пятенъ, ни глубокихъ нависшихъ надъ глазами и ртомъ морщинъ, ни тусклаго, скорбнаго взгляда! Видно, что ей живется крѣпко, хорошо, что она, если и борется, то не даетъ одолевать себя жизни, а сама одолеваетъ жизнь и тратитъ силы въ этой борьбѣ скупно. Голосъ у ней не такъ звонокъ, какъ прежде, да ходитъ она теперь съ тростью, но не горбится, не жалуется на недуги. Также она безъ чепца, также острижена коротко, и тотъ же блестящій здоровьемъ и добротой взглядъ озаряетъ все лицо, не только лицо, всю ея фигуру.

— Борюшка! другъ ты мой! — Она обняла его раза три. Слезы навернулись у ней и у него. Въ этихъ объятіяхъ, въ голосѣ, въ этой, вдругъ охватившей ее радости — точно какъ-будто обдало ее солнечное сіяніе — было столько нѣжности, любви, теплоты! Онъ почувствовалъ себя почти преступникомъ, что, шатаясь по свѣту, въ холостой, безпріютной

жизни своей, искалъ привязанностей, волоча сердце и соря чувствами, гоняясь за запретными плодами, тогда какъ здѣсь сама природа угостила ему теплый уголъ, симпатіи и счастье.

Теперь онъ готовъ былъ влюбиться въ бабушку. Онъ такъ и вѣхпился въ нее, цѣловалъ ее въ губы, въ плечи, цѣловалъ ея сѣдые волосы, руки. Она ему казалась совсѣмъ другой теперь, нежели пятнадцать, шестнадцать лѣтъ назадъ. У ней не было тогда такого значенія на лицѣ, какое онъ видѣлъ теперь, ума, чего-то новаго. Онъ удивлялся, не сообразивъ въ эту минуту, что тогда еще онъ самъ не былъ на столько мудръ, чтобы умѣть читать лица и гадывать по нимъ умъ или характеръ.

— Гдѣ ты пропадалъ? Вѣдь я тебя цѣлую неделю жду: спроси Марейнюку—мы не спали до полуночи, я глаза проглядѣлъ. Марейнюка испугалась какъ увидѣла тебя, и меня испугала—точно съумасшедшая прибѣжала. Марейнюка! гдѣ ты? Поди сюда.

— Это я виноватъ: я перепугалъ ее, — сказалъ Райскій.

— А она бѣжать: умна очень! А ждала со мной, не ложилась спать, ходила на встрѣчу, на кухню бѣгала. Вѣдь каждый день твои любимыя блюда готовимъ. Я, Василиса и Яковъ, собираемся по утрамъ на совѣтъ и все припоминаемъ твои привычки. Другіе все почти новые люди, а эти трое, да Прохоръ, да Маришка, да развѣ Улита и Терентій помнятъ тебя. Все придумываемъ, какъ тебя устроить, чѣмъ кормить, какъ укладывать спать, на чемъ тебѣ ѣздить.

А всѣхъ вострѣе Егорка: онъ напоминалъ больше всѣхъ: я его за это въ твои камердинеры пожаловала... Да что это я болтаю: соловья баснями не кормятъ! Василиса! Василиса! Чтожъ мы сидимъ: скорѣй вели собирать на столъ, до обѣда долго, онъ позавтракаетъ. Чай, кофе давай, птичьего молока достань!—И сама зясмѣялась.—Дай же взглянуть на тебя.—Бабушка поглядѣла на него пристально, подводя его къ свѣту.

— Какой ты пехорошій сталъ:.. сказала она, оглядывая его—пѣтъ, ничего, живетъ! загорѣлъ только! Усы тебѣ къ лицу. Зачѣмъ бороду отпускаешь! Обрѣй, Борюшка, я не люблю... Э, э! Кое-гдѣ сѣдые волоски: что это, батюшка мой, рано старѣться началъ!

— Это не отъ старости бабушка!

— Отчего же? Здоровъ ли ты?

— Здоровъ, живу—поговоримъ о другомъ. Вотъ вы, слава Богу, такая же...

— Какая такая?

— Не старѣйтесь: такая же красавица! Знаете: я не видалъ такой старческой красоты никогда...

— Спасибо за комплиментъ — внучекъ: давно я не слыхала — какая тутъ красота! Вонъ на кого полюбуйся — на сестеръ! скажу тебѣ на ухо, шепотомъ прибавила она: такихъ ни въ городѣ, ни близко отъ него нѣтъ. Особенно другая... развѣ Настинька Мамыкина поспорить: помнишь, я писала, дочь откупщика?

Она лукаво мигнула ему.

— Что-то не помню, бабушка...

— Ну, объ этомъ послѣ, а теперь завтракать скорѣй и отдохни съ дороги...

— Гдѣ же другая сестра? спросилъ Райскій оглядываясь.

— Гостить у попады за Волгой, — сказала бабушка, такой грѣхъ: та нездорова сдѣлалась и прислала за ней. Надо же въ это время случиться! Сегодня же пошлю за ней лошадей...

— Нѣтъ, нѣтъ, удержалъ ее Райскій: зачѣмъ для меня тревожить? Увижусь, когда воротится.

— Да какъ это ты подобрался: караулили, ждали и все даромъ! — говорила Татьяна Марковна. — Мужики караулили у меня по ночамъ. Вотъ и теперь послала-было Егорку верхомъ на большую дорогу, не увидитъ ли тебя? А Савелья въ городъ — узнать. А ты опять — какъ тогда! Да дайте же завтракать! Что это недождешься? Помѣщикъ пріѣхалъ въ свое родовое имѣніе, а ничего не готово: точно на станціи! Чтò прежде готово, то и подавайте.

— Бабушка! Ничего не надо. Я сытъ по горло. На одной станціи я пилъ чай, на другой молоко, на третьей попалъ на крестьянскую свадьбу — меня виномъ подчивали, ѣлъ медъ, пряники...

— Ты ѣхалъ къ себѣ, въ бабушкино гнѣздо, и не постыдился ѣсть всякую дрянъ. Съ утра пряники! Вотъ бы Марѣиньку туда: и до свадьбы и до пряниковъ охотница. Да войди сюда, не дичись! звала она, обращаясь къ двери. — Стыдится, что ты засталъ ее въ утреннемъ неглиже. Выйди, это не чужой, — братъ.

Принесли чай, кофе, наконецъ завтракъ. Какъ ни отговаривался Райскій, но долженъ былъ приняться за все: это было одно средство успокоить бабушку и не испортить ей утро.

— Я не хочу! отговаривался онъ.

— Какъ съ дороги не поѣсть: это ужъ обычай такой! твердила она свое.

— Вотъ бульону, вотъ цыпленка... Еще пирогъ есть...

— Не хочу, бабушка: — говорилъ онъ, но она клала ему на тарелку, не слушая его, и онъ ѣлъ и бульонъ и цыпленка.

— Теперь индѣйку, продолжала она: — принеси Василиса барбарису моченаго.

— Какъ можно индѣйку! — говорилъ онъ, принимаясь и за индѣйку.

— Сытъ ли дружокъ? спрашивала она: — доволенъ ли?

— Еще бы! Чего же еще? развѣ пирога... Тамъ пирогъ какой-то, говорили вы...

— Да, пирогъ забыли, пирогъ!

Онъ поѣлъ и пирога — все изъ «обычая».

— Что-же ты, Марейнька, давай свое угощенье: вотъ пріѣхалъ братъ! Выходи же.

Минуть черезъ пять тихо отворилась дверь, и медленно, съ стыдливою неловкостью, съ опущенными глазами, краснѣя вышла Марейнька. За ней Василиса внесла цѣлый подносъ всякихъ сластей, варенья, печенья и прочаго. Марейнька застѣпчиво стояла, съ полуулыбкой, взглядывая однако на него

съ лукавымъ любопытствомъ. На шеѣ и рукахъ были кружевные воротнички, волосы въ тугосложенныхъ косахъ плотно лежали на головѣ; на ней было ба-режевое платье, талія крѣпко опоясывалась голубой лентой.

Райскій вскочилъ, бросилъ салфетку и остано-вился передъ нею, любуясь ею.

— Какая прелесть! весело сказалъ онъ: — и это моя сестра Марѳа Васильевна! Рекомендуюсь! А гусенокъ живъ?

Марѳинька смутилась, неловко присѣла на его по-клонъ и стыдливо сѣла въ уголъ.

— Вы оба съ ума сошли, сказала бабушка: — развѣ такъ здороваются?

Райскій хотѣлъ поцѣловать у Марѳиньки руку.

— Марѳа Васильевна... сказалъ онъ.

— Это еще что за «Васильевна такая?» Ты развѣ разлюбилъ ее? Марѳинька—а не Марѳа Васильевна! Этакъ ты и меня въ Татьяны Марковны пожуешь! Поцѣлуйтесь: вы братъ и сестра.

— Я не хочу, бабушка: вонъ онъ дразнить меня гусенкомъ... Подсматривать не годится!.. сказала она строго.

Всѣ засмѣялись. Райскій поцѣловалъ ее въ обѣ щеки, взялъ за талію и она одолѣла смущеніе и вдругъ рѣшительно отвѣчала на его поцѣлуй, и вся робость слетѣла съ лица. Видно было, что еще ми-нута, одно слово—и изъ-за этой смущенной улыбки польется болтовня, смѣхъ. Она и такъ съ трудомъ сдерживала себя — и отъ этого была неловка.

— Марейничка? помните, помнишь... какъ мы тутъ бѣгали, рисовали... какъ ты плакала?..

— Нѣтъ.... ахъ, помню... какъ во снѣ... Бабушка, я помню или нѣтъ?...

— Гдѣ ей помнить: ей и пяти лѣтъ не было...

— Помню, бабушка, ей-богу помню, какъ во снѣ...

— Перестань, сударыня, божиться: это ты у Николая Андреича переняла!..

Едва Райскій коснулся старыхъ воспоминаній, Марейничка исчезла и скоро воротилась, съ тетрадями, рисунками, игрушками, подошла къ нему ласково и довѣрчиво заговорила, потомъ сѣла такъ близко, какъ не сѣла бы чопорная дѣвушка. Колѣни ихъ почти касались между собою, но она не замѣчала этого.

— Вотъ видите братецъ, — жиро заговорила она, весело бѣгая глазами по его глазамъ, усамъ, бородѣ, оглядывая руки, платье, даже взглянувъ на сапоги, — видите, какая бабушка: говоритъ что я не помню — а я помню, вотъ, право, помню, какъ вы здѣсь рисовали, я тогда у васъ на колѣняхъ сидѣла... Бабушка припрятала всѣ ваши рисунки, портреты, тетради, всѣ вещи — и берегла тамъ, вотъ въ этой темной комнатѣ, гдѣ у ней хранится серебро, брилльянты, кружева... Она недавно вынула, какъ только вы написали, что прійдете, и отдала мнѣ. Вотъ мой портретъ — какая я была смѣшная! а вотъ Вѣрочка. А вотъ бабушкинъ портретъ, вотъ Василисинъ. Вотъ Вѣроч-

кино рисованье. А помните, какъ вы меня несли черезъ воду одной рукой, а Вѣрочку посадили на плечо?

— Ты и это помнишь? спросила вслушавшись бабушка: — какая хвастунья — не стыдно тебѣ! Это недавно Вѣрочка разказывала, а ты за свое выдаешь! Та помнить кое-что, и то мало, чуть-чуть...

— Вотъ теперь какъ я рисую! сказала Марейника, показывая нарисованный букетъ цвѣтовъ.

— Это очень хорошо — браво, сестрица! съ натуры?

— Съ натуры.

— Я изъ воску умѣю лѣпить цвѣты!

— А музыкой занимаешься?

— Да, играю на фортепьяно.

— А Вѣрочка: рисуетъ, играетъ? — Марейника отрицательно качала головой.

— Нѣтъ, она не любитъ, — сказала она.

— Что же она, рукодѣльемъ занимается? — Марейника опять покачала головой.

— Читать любить? допытывался Райскій.

— Да, читаетъ, только никогда не скажетъ что, и книги не покажетъ, не скажетъ даже, откуда достала.

— Та совсѣмъ дикарка — странная такая у меня. Богъ знаетъ въ кого уродилась! серьезно замѣтила Татьяна Марковна, и вздохнула. — Не надоѣдай же пустяками брату, обратилась она къ Марейникѣ: онъ усталъ съ дороги, а ты глупости ему показы-

ваешь. Дай лучше намъ поговорить о серьезномъ, объ имѣніи. .

Все время, пока Борисъ занятъ былъ съ Марѣинькой, бабушка задумчиво глядѣла на него, опять припоминала въ немъ черты матери, но замѣтила и перемены: убѣгающую молодость, признаки зрѣлости, раннія морщины, и странный, непонятный ей взглядъ, «мудреное» выраженіе. Прежде, бывало, она такъ и читала у него на лицѣ, а теперь тамъ было написано много такого, чего она разобрать не могла.

А у него было тепло и свѣтло на душѣ. Его осыбила тихая задумчивость, навѣянная этими картинками и этой встрѣчей.

«Пусть такъ и останется: свѣтло и просто!» пожелалъ онъ мысленно.

«Постараюсь ослѣпить умомъ, хоть на канікулы, и быть счастливымъ! Только ощущать жизнь, а не смотрѣть въ нее, или смотрѣть за тѣмъ только, чтобы срисовывать сюжеты, не дотрогиваясь до нихъ разѣдающимъ, какъ укусъ, анализомъ... А то горе! Будемъ же смотрѣть, что за сюжеты Богъ далъ мнѣ? Марѣинька, бабушка, Вѣрочка — на что онѣ годятся: въ романъ, въ драму, или только въ идиллію?»

II.

Онъ зѣвнулъ широко, и когда очнулся отъ задумчивости, передъ нимъ бабушка стоитъ со сче-

тами, съ прихода-расходной тетрадью, съ дѣловымъ выраженіемъ въ лицѣ.

— Не усталъ-ли ты съ дороги? можетъ быть уснуть хочешь: вонъ ты зѣваешь? спросила она:— тогда оставимъ до утра.

— Нѣтъ, бабушка, я только и дѣлалъ что спать? Это нервическая зѣвота. А вы напрасно беспокоитесь: я счетовъ смотрѣть не стану...

— Какъ не станешь? Зачѣмъ же ты пріѣхалъ, какъ не принять имѣніе, не потребовать отчета?..

— Какое имѣніе! небрежно сказалъ Райскій.

— Какое имѣніе: вотъ посмотри, сколько тяглъ, земли? вотъ, года четыре назадъ, прикуплено — видишь, сто двадцать четыре десятины. Вотъ изъ нихъ подъ выгонъ отдаются...

— Право? машинально спросилъ Райскій; вы прикупили?

— Не я, а ты! не ты-ли мнѣ довѣренность прислалъ на покупку?

— Нѣтъ, бабушка, не я. Помню, что какія-то бумаги вы присылали мнѣ, я ихъ передалъ пріятелю своему, Ивану Ивановичу, а тотъ...

— Ты же подписалъ: гляди, вотъ копіи! показывала она.

— Можетъ быть, я и подписалъ, сказалъ онъ, не глядя, только не помню и не знаю что.

— О чемъ же ты помнишь? Вѣдь ты читалъ мои счета, вѣдомости, что я посылала гдѣ тебѣ?

— Нѣтъ, бабушка, не читалъ.

— Какъ же, тамъ все показано, куда поступали твои доходы—ты видѣлъ?

— Нѣтъ, не видалъ.

— Стало быть, ты не знаешь, куда я твои деньги тратила?

— Не знаю, бабушка, да и не желаю знать! отвѣчалъ онъ, приглядываясь изъ окна къ знакомой ему дали, къ синему небу, къ мѣловымъ горамъ за Волгой. — Представь, Марейнка: я еще помню стихи Дмитріева, что въ дѣтствѣ училъ:

О Волга пышна, величава,
Прости, но прежде удостой
Склонить свое вниманье къ кирѣ
Пѣвца, незнаемаго въ мірѣ,
Но воспоеннаго тобой...

— Ты, Борюшка, прости меня: а ты, кажется, полоумный! сказала бабушка.

— Можетъ быть, бабушка, равнодушно согласился онъ.

— Куда же ты дѣвалъ вѣдомости объ имѣніи, что я посылала тебѣ? Съ тобой онѣ?

Онъ покачалъ отрицательно головою.

— Гдѣ же онѣ?

— Какія вѣдомости, бабушка: ей-богу, не знаю.

— Вѣдомости о крестьянахъ, объ оброкѣ, о продажѣ хлѣба, объ отдачѣ огородовъ... Помнишь-ли, сколько за послѣдніе года дохода было? По тысячѣ четыреста двадцати пяти рублей — вотъ смотри... Она хотѣла щелкнуть на счетахъ. — Вѣдь ты получалъ деньги? послѣдній разъ тебѣ послано было

550 рублей ассигнаціями: ты тогда писалъ, чтобъ не посылать. Я и клала въ приказъ: тамъ у тебя...

— Чтѣ мнѣ до этого за дѣло, бабушка! съ нетерпѣніемъ сказалъ онъ.

— Кому же дѣло? съ изумленіемъ спросила она: ты этакъ не думаешь-ли, что я твоими деньгами пользовалась? смотри, вотъ здѣсь отмѣчена всякая копѣйка. Гляди... Она ему совала большую шнуровую тетрадь.

— Бабушка! я рвалъ всѣ счета, и эти, ей-богу, разорву, если вы будете приставать съ ними ко мнѣ.

Онъ взялъ-было счета, но она быстро вырвала ихъ у него.

— Разорвешь: какъ ты смѣешь? вспыльчиво сказала она.—Рвалъ счета!

Онъ засмѣялся и внезапно обнялъ ее и поцѣловалъ въ губы: какъ бывало дѣлывалъ мальчикомъ. Она вырвалась отъ него и вытерла ротъ.

— Я тутъ тружусь, сижу иногда за полночь, пишу, считаю каждую копѣйку: а онъ рвалъ! То-то ты ни слова мнѣ о деньгахъ, никакого приказа, распоряженія, ничего! Чтѣ же ты думалъ объ имѣніи?

— Ничего, бабушка. Я даже забывалъ, есть-ли оно, нѣтъ-ли. А если припоминалъ, такъ вотъ эти самыя комнаты, потому что въ нихъ живетъ единственная женщина въ мірѣ, которая любитъ меня и которую я люблю... За то только ее одну, и больше никого... Да вотъ теперь люблю сестеръ

—весело оборотился онъ, взявъ руку Марейньки и цѣлуя ее; все полюблю здѣсь — до послѣдняго ко-
тенка!

— Отъ роду не видывала такого человѣка! ска-
зала бабушка, снявъ очки и поглядѣвъ на него.—
Вотъ только Маркушка у насъ бездомный такой...

— Какой это Маркушка? Мнѣ что-то Леонтій
писалъ... Что Леонтій, бабушка, какъ поживаетъ?
Я пойду къ нему...

— Что ему дѣлается? сидитъ надъ книгами, воз-
зрится въ одно мѣсто и не оттащишь его! супруга
воззрится въ другое мѣсто... онъ и не видитъ, что
подъ носомъ дѣлается. Вотъ теперь съ Маркушкой
подружился: будетъ прокъ! Ужъ онъ приходилъ,
жаловался, что тотъ книги, что-ли, твои раста-
скалъ...

— Bu-ona sera! bu-ona sera! напѣвалъ Райскій
изъ «Севильскаго цирюльника».

— Странный, необыкновенный ты человѣкъ! го-
ворила съ досадой бабушка. — Зачѣмъ пріѣхалъ
сюда: говори толкомъ!

— Видѣть васъ, пожить, отдохнуть, посмотреѣть
на Волгу, пописать, порисовать...

— А имѣніе? Вотъ тебѣ и работа: пиши! Коли
не усталъ, поѣдемъ въ поле: озимь посмотреѣть.

— Послѣ, послѣ, бабушка.

— Ти, ти, ти, та, та, та, ля, ля, ля... выдѣлы-
валъ онъ тщательно опять мотивъ изъ «Севильскаго
цирюльника».

— Полно тебѣ: ти, ти, ти, ля, ля, ля! пере-

дразнила она: — хочешь смотрѣть и принимать
имѣніе?

— Нѣтъ, бабушка, не хочу!

— Кто же будетъ смотрѣть за нимъ: я стара,
мнѣ не угладѣть, не управиться. Я возьму да и
брошу: что тогда будешь дѣлать?...

— Ничего не буду дѣлать; махну рукой, да и
уѣду...

— Не прикажешь ли отдать въ чужія руки?

— Нѣтъ, пока у васъ есть охота — посмотрите,
поживите.

— А когда умру?

— Тогда.... оставить какъ есть.

— А мужики: пусть дѣлаютъ, что хотятъ?

Она кивнулъ головой.

— Я думалъ, что они и теперь дѣлаютъ, что
хотятъ. Ихъ отпустить бы на волю.... сказалъ онъ.

— На волю: около пятидесяти душъ, на волю!
повторила она: — и даромъ, ничего съ нихъ не
взять?

— Ничего!

— Чѣмъ же ты станешь жить?

— Они наймутъ у меня землю, будутъ платить
мнѣ что-нибудь.

— Что-нибудь: изъ милости, что вздумается! Ну,
Борюшка!

Она взглянула на портретъ матери Райскаго.
Долго глядѣла она на ея томные глаза, на задум-
чивую улыбку.

— Да, сказала потомъ вполголоса: не тѣмъ будь

помянута покойница, а она виновата! Она тебя держала при себѣ, шептала что-то, играла на клавишинѣ, да надъ книжками плакала. Вотъ что и вышло: пѣть да рисовать!

— Что же съ домомъ дѣлать? куда серебро, бѣлье, брилліанты, посуду дѣвать? спросила она, помолчавъ.—Мужикамъ что-ли отдать?

— А развѣ у меня есть брилліанты и серебро?... спросилъ онъ.

— Сколько я тебѣ лѣтъ твержу! Отъ матери осталось: куда оно денется? На вотъ, стой, я тебѣ реестры покажу....

— Не надо, ради Бога, не надо: мое, мое, вѣрю. Стало быть, я въ правѣ распорядиться этимъ по своему усмотрѣнію?

— Ты хозяинъ, такъ какъ же не въ правѣ? гони насъ вонъ: мы у тебя въ гостямъ живемъ —только хлѣба твоего не ѣдимъ, извини.... Вотъ гляди, мои доходы, а вотъ расходы....

Она совала ему другія большія шнуровыя тетради, но онъ устранилъ ихъ рукой.

— Вѣрю, вѣрю, бабушка: ну такъ вотъ что: пошлите за чиновникомъ въ палату и велите написать бумагу: домъ, вещи, землю, все уступаю я милымъ моимъ сестрамъ, Вѣрочкѣ и Марѣинкѣ, въ приданое....

Бабушка сильно нахмурилась и съ нетерпѣніемъ ждала конца рѣчи, чтобы разразиться.

— Но пока вы живы, продолжать онъ: все должно оставаться въ вашемъ непосредственномъ вла-

дѣннѣ и завѣдываніи. А мужиковъ отпустить на волю....

— Не бывать этому! пылко воскликнула Бережкова. — Онѣ не нищія, у нихъ по пятидесяти тысячъ у каждой. Да послѣ бабушки втрое, а можетъ быть и побольше останется: это все имъ! Не бывать, не бывать! и бабушка твоя, слава Богу, не нищая! У ней найдется уголъ, есть и клочекъ земли! и крышка, гдѣ спрятаться. Богачъ какой, гордецъ, въ даръ жалуетъ! не хотимъ, не хотимъ! Марейнишка! гдѣ ты? иди сюда!

— Здѣсь, здѣсь, сейчасъ! отозвался звонкій голосъ Марейнишки изъ другой комнаты, куда она вышла, и она впорхнула веселая, живая, рѣзвая, съ улыбкой, и вдругъ остановилась. Она глядѣла, то на бабушку, то на Райскаго, въ недоумѣніи. Бабушка сильно расходилась.

— Вотъ слышишь: братецъ тебѣ жаловать изволить домъ, и серебро, и кружева. Ты вѣдь безприданница, нищенка! присѣдай же ниже, благодари благодѣтеля, подѣлуй у него ручку. Чтò же ты?

Марейнишка прижалась къ печкѣ и глядѣла на обоихъ, не зная, чтò ей сказать.

Бабушка отодвинула отъ себя всѣ книги, счета, гордо сложила руки на груди и стала смотрѣть въ окно. А Райскій сѣлъ возлѣ Марейнишки, взялъ ее за руку.

— Скажи, Марейнишка, ты бы хотѣла переѣхать отсюда въ другой домъ, спросилъ онъ: — можетъ быть, въ другой городъ?

— Ахъ, сохрани Боже: какъ это можно! Кто это выдумалъ такую нелѣпость!...

— Вонъ кто, бабушка! сказалъ Райскій, смѣясь. Марейнька сконфузилась, а бабушка, къ счастью, не слыхала. Она сердито глядѣла въ окно.

— Вѣдь у меня тутъ все: садъ, и грядки, цвѣты.... А птицы? кто же будетъ ходить за ними? Какъ можно—ни за что....

— Ну, вотъ бабушка хочетъ уѣхать и увезти васъ обѣихъ.

— Бабушка, душенька, куда зачѣмъ? что это вы затѣяли? бросилась она ласкаться къ бабушкѣ.

— Отстань! сердито оттолкнула ее бабушка.

— Ты не хотѣла бы, Марейнька, не правда-ли, выпорхнуть изъ этого гнѣздышка?

— Нѣтъ, ни за что! качая головой, рѣшительно сказала она.—Бросить цвѣтникъ, мои комнатки... какъ это можно!

— И Вѣрочка тоже?

— Она еще пуще меня: она ни за что не разстанется съ старымъ домомъ...

— Она любить его?

— Она тамъ и живетъ, тамъ ей только и хорошо. Она умретъ, если ее увезутъ—мы обѣ умремъ.

— Ну, такъ вы никогда не уѣдете отсюда, прибавилъ Райскій; вы обѣ здѣсь выйдете замужъ, ты Марейнька, будешь жить въ этомъ домѣ, а Вѣрочка въ старомъ.

— Слава Богу: за чѣмъ же пугаете? А вы гдѣ сами станете жить?

— Я жить не стану, а когда приѣду погостить, вотъ какъ теперь, вы мнѣ дайте комнату въ мезонинѣ — и мы будемъ вмѣстѣ гулять, пѣть, рисовать цвѣты, кормить птицъ: ти, ти, ти, цыпъ, цыпъ, цыпъ! передразнилъ онъ ее.

— Ахъ, вы злой! сказала она. — Я думала, вы не успѣли даже разглядѣть меня, а вы все подслушали!

— Ну, такъ это дѣло рѣшеное: вы съ Вѣрочкой принимаете отъ меня въ подарокъ все это, да?

— Да... братецъ... весело сказала она и потянулась было къ нему.

— Не смѣть! горячо остановила бабушка, до тѣхъ поръ сердито молчавшая. Марейнька сѣла на свое мѣсто.

— Безстыдница! укоряла она Марейньку: гдѣ ты выучилась отъ чужихъ подарки принимать? Кажется, бабушка не тому учила; вѣкъ свой чужой копѣйкой не поживилась... А ты не успѣла и двухъ словъ сказать съ нимъ, и ужъ подарки принимаешь. Стыдно, стыдно! Вѣрочка ни за что бы у меня не приняла: та — гордая!

Марейнька надулась.

— Сами же давеча... сказали, говорила она сердито, что онъ намъ не чужой, а братъ, и велѣли поцѣловаться съ нимъ; а братъ можетъ все подарить.

— Это логично! противъ этого спорить нельзя, одобрялъ Райскій. — И такъ рѣшено: это все ваше, а у васъ гость...

— Не бери! повелительно сказала бабушка — скажи: не хочу, не надо, мы не нищія, у насъ у самихъ есть имѣніе.

Не хочу, братецъ, не надо... начала она съ ироніей повторять и засмѣялась. — Не надо, такъ не надо! прибавила она и вздохнула, лукаво поглядывая на него.

— Да ужъ ничего этого не будетъ тамъ у васъ, въ бабушкиномъ имѣніи, продолжалъ Райскій.

— Посмотри! какой коверъ вокругъ дома! Безъ садика что за житье?

— Я садикъ возьму! шепнула она, только бабушкѣ не го-во-ри-те... досказала она движеніями губъ, безъ словъ.

— А кружева, бѣлье, серебро? говорилъ онъ вполголоса.

— Не надо! кружева у меня есть свои, и серебро тоже! Да я люблю деревянной ложкой ѣсть... У насъ все по деревенски.

— А эти саксонскія чашки, эти пузатые чайники? такихъ теперь не дѣлаютъ. Ужели не возьмешь?

— Чашки возьму, шептала она, и чайники, еще вонъ этотъ диванчикъ возьму и маленькія кресельца, да эту скатерть, гдѣ вышита Діана съ собаками. Еще бы мнѣ хотѣлось взять мою комнату.... со вздохомъ прибавила она.

— Ну, весь домъ — пожалуйста, Марейнька, милая сестра....

Марейнька поглядѣла на бабушку, потомъ, украдкой, утвердительно кивнула ему.

— Ты любишь меня? да?

— Ахъ, очень! Какъ вы писали, что прїѣдете, я всякую ночь вижу васъ во снѣ, только совсѣмъ не такимъ...

— Какимъ же?

— Такимъ румянымъ, не задумчивымъ, а веселымъ; вы, будто, все шалите, да бѣгаете....

— Я вѣдь такой иногда бываю.

Она недовѣрчиво покосилась на него и покачала головой.

— Такъ возьмешь домикъ? спросилъ онъ.

— Возьму, только чтобъ и Вѣрочка старый домъ согласилась взять. А то одной стыдно: бабушка браниться станетъ.

— Ну, вотъ и кончено! громко и весело сказалъ онъ: милая сестра! Ты не гордая, не въ бабушку!

Онъ поцѣловалъ ее въ лобъ.

— Чтò кончено? вдругъ сказала бабушка: — ты приняла? Кто тебѣ позволилъ? Коли у самой стыда нѣтъ, такъ бабушка не допустить на чужой счетъ жить. Извольте, Борисъ Павловичъ, принять книги, счета, реестры и всѣ крѣпости на имѣніе. Я вамъ не прикащица досталась.

Она выложила передъ нимъ бумаги и книги.

— Вотъ четыреста-шестьдесятъ-три рубля денегъ— это ваши. Въ мартѣ мужики принесли за хлѣбъ. Тутъ по счетамъ увидите, сколько внесено въ приказъ, сколько отдано за постройку и починку службъ, за новый заборъ, жалованье Савелью — все есть.

— Бабушка!

— Бабушки нѣтъ, а есть Татьяна Марковна Бережкова. Позвать сюда Савелья! сказала она, отворивъ дверь въ дѣвичью.

Черезъ четверть часа вошелъ въ комнату, бокомъ, пожилой, лѣтъ сорока пяти мужикъ, сложенный плотно, будто изъ однѣхъ широкихъ костей, и оттого казавшійся толстымъ, хотя жиру у него не было ни золотника. Онъ былъ мраченъ лицомъ, съ нависшими бровями, широкими вѣками, которыя поднималъ медленно и даромъ не тратилъ ни взглядовъ, ни словъ. Даже движеній почти не дѣлалъ. Отъ одного разговора на другой онъ тоже переходилъ трудно и медленно. Мысленная работа совершается у него тяжело: когда онъ старается выговорить свою мысль, то помогаетъ себѣ бровями, складками на лбу, и отчасти указательнымъ пальцемъ. Онъ остриженъ въ скобку, бороду брѣтъ рѣдко, и у него на губахъ и на подбородкѣ почти всегда торчитъ щетина.

— Вотъ помѣщикъ пріѣхалъ! сказала бабушка, указывая на Райскаго, который наблюдалъ, какъ Савелій вошелъ, какъ медленно поклонился, медленно поднялъ глаза на бабушку, потомъ, когда она указала на Райскаго, то на него, какъ медленно повернулся къ нему и задумчиво поклонился.

— Ты теперь приходи къ нему съ докладомъ, говорила бабушка: — онъ самъ будетъ управлять имѣніемъ.

Савелій опять оборотился въ половину къ Рай-

скому, и изподлобья, но немного поживѣе, поглядѣлъ на него. «Слушаю!» разстановочно произнесъ онъ и брови поднялись медленно.

— Бабушка! удерживалъ полу-шутя, полу-серьезно Райскій.

— Внучекъ! холодно отозвалась она.

Райскій вздохнулъ.

— Чтò изволите приказать? тихо спросилъ Савелій, не поднимая глазъ. Райскій молчалъ и думалъ, чтò бы приказать ему.

— Чудесно! Вотъ чтò, живо сказалъ онъ. — Ты знаешь какого-нибудь чиновника въ палатѣ, который бы могъ написать бумагу о передачѣ имѣнія?

— Гаврила Ивановичъ Мѣшечниковъ пишетъ всѣ бумаги намъ, произнесъ онъ не вдругъ, а подумавши.

— Ну, такъ попроси его сюда!

— Слушаю! потупившись отвѣчалъ Савелій, и медленно, задумчиво поворотившись, пошелъ вонъ.

— Какой задумчивый этотъ Савелій! сказалъ Райскій, провожая его глазами.

— Будешь задумчивъ, какъ навяжется такая супруга, какъ Марина Антиповна! помнишь Анטיפа? ну, такъ его дочка! А золото-мужикъ, большія у меня дѣла дѣлаетъ: хлѣбъ продаетъ, деньги получаетъ, — честный, распорядительный: да вотъ гдѣ-нибудь да подстережетъ судьба! У всякаго свой крестъ! А ты чтò это затѣялъ, или въ самомъ дѣлѣ съума сошелъ? спросила бабушка помолчавъ.

— Вѣдь это мое? сказалъ онъ, обводя рукой

кругомъ себя вы: не хотите ничего брать и запрещаете внукамъ....

— Ну, пусть и будетъ твое! возразила она.— Зачѣмъ же отпускать на волю, дарить?

— Надо же что-нибудь дѣлать! Я уѣду отсюда, вы управлять не хотите: надо устроить...

— Зачѣмъ уѣзжать: я думала, что ты совсѣмъ приѣхалъ. Будетъ тебѣ мыкаться! женись и живи. А то хорошо устройство: отдать тысячь на тридцать всякаго добра!

Она безпокойно задумалась и, очевидно, боролась съ собой. Ей бы и въ голову никогда не пришло устранить отъ себя управленіе имѣніемъ и не хотѣла она этого. Она бы не знала что дѣлать съ собой. Она хотѣла только попугать Райскаго—и вдругъ онъ принялъ это серьезно. «Пожалуй, чего добраго? отъ него станется: вонъ онъ какой!» думала она въ страхѣ. «Такъ и быть, сказала она: я буду управлять, пока силы есть. А то, пожалуй, дядюшка такъ управить, что подъ опеку попадешь! Да чѣмъ ты станешь жить? Странный ты человѣкъ!»

— Мнѣ съ того имѣнія присылають деньги: тысячи двѣ серебромъ—и довольно. Да я работать стану, добавилъ онъ, рисовать, писать.... Вотъ собираюсь за-границу пожить: для этого то имѣніе заложу или продамъ....

— Богъ съ тобой, что ты Борюшка! Долго ли этакъ до суммы дойти! рисовать, писать, имѣніе продать! Не будешь ли по урокамъ бѣгать, школь-

никовъ учить? Эхъ ты! изъ офицеровъ вышелъ, вонъ теперь въ короткохвостомъ сертучишкѣ ходишь! Въмѣсто того, чтобы четверкой въ дормезѣ прикатить, притащился на перекладной, одинъ, безъ лакея, чуть не пѣшкомъ пришелъ! А еще Райскій! Загляни въ старыи домъ, на предковъ: постыдись хоть ихъ! Срамъ, Борюшка! то ли бы дѣло, съ такими эполетами, какъ у дяди Сергѣя Ивановича, пріѣхалъ: съ тремя тысячами душъ взялъ бы....

Райскій засмѣялся.

— Что смѣешься! Я дѣло говорю. Какая бы радость бабушкѣ! Тогда бы не сталъ дарить кружевъ да серебра: понадобилось бы самому....

— Ну, а какъ я не женюсь, и кружевъ не надо, то рѣшено, что это все Вѣрочкѣ и Марейнкѣ отдадимъ.... Такъ или нѣтъ?

— Ты опять свое! заговорила бабушка.

— Да, свое, продолжалъ Райскій, и если вы не согласитесь, я отдамъ все въ чужія руки — это кончено, даю вамъ слово...

— Вотъ — и слово далъ! безпокойно сказала бабушка. Она колебалась. — Имѣніе отдаетъ! Странный, необыкновенный человѣкъ! повторяла она, — совсѣмъ пропаціи! Да какъ ты живъ, что дѣлалъ, скажи на милость! Кто ты на семь свѣтѣ есть? Всѣ люди, какъ люди. А ты — кто! Вонъ еще и бороду отпустилъ — сбръй, сбръй, не люблю!

— Кто я, бабушка? повторилъ онъ вслухъ: — несчастнѣйшій изъ смертныхъ! — Онъ задумался и прилегъ головой къ подушкѣ дивана.

— Не говори этого никогда! боязливо перебила бабушка: — судьба подслушаетъ, да и накажетъ: будешь въ самомъ дѣлѣ несчастный! Всегда будь доволенъ, или показывай, что доволенъ.

Она даже боязливо оглянулась, какъ-будто судьба стояла у нея за плечами.

— Несчастный! а чѣмъ, позволь спросить? заговорила она: — здоровъ, уменъ, имѣніе есть, слава Богу, вонъ какое! — она показала головой въ окна. — Чего еще: рожна, что-ли, надо?

Марейника засмѣялась, и Райскій съ нею.

— Что это значить, рожонъ?

— А то, что человѣкъ не чувствуетъ счастья, коли нѣтъ рожна, сказала она, глядя на него черезъ очки. — Надо его ударить бревномъ по головѣ, тогда онъ и узнаетъ, что счастье было, и какое оно плохенькое ни есть, а все лучше бревна.

«Вотъ чтò, практическая мудрость!» подумалъ онъ.

— Бабушка! это жизненная замѣтка — это правда! вы философъ!

— Вотъ ты и умный, и ученый, а не зналъ этого!

— Помиримтесь? сказалъ онъ, вставши съ дивана: вы согласились опять взять въ руки этотъ клочекъ....

— Имѣніе, а не клочекъ! перебила она.

— Согласитесь же отдать всю ветонш и хламъ этимъ милымъ дѣвочкамъ. Я бобыль, мнѣ не надо, а онѣ будутъ хозяйками. Не хотите, отдадимъ на школы....

— Школьникамъ! Не бывать этому! чтобы этимъ озорникамъ досталось! Сколько они однихъ яблоковъ перетаскають у насъ черезъ заборъ!

— Берите скорѣй, бабушка! Ужели вы на старости лѣтъ бросите это гнѣздо?...

— Ветошь, хламъ! Тысячъ на десять серебра, бѣлья, хрусталя—ветошь!—твердила бабушка.

— Бабушка! просила Марѣинька: мнѣ цвѣтничекъ и садикъ, да мою зеленую комнату, да вотъ эти саксонскія чашки съ пастушкомъ, да салфетку съ Діаной....

— Замолчишь ли ты, безстыдница! скажутъ, что мы попрошайки, обобрали сироту!

— Кто скажетъ? спросилъ Райскій.

— Всѣ! первый Нилъ Андренчъ заголосить.

— Какой Нилъ Андренчъ?

— А помнишь: предсѣдатель въ палатѣ? Мы съ тобой заѣзжали къ нему, когда ты послѣ гимназій пріѣхалъ сюда — и не застали. А потомъ онъ въ деревню уѣхалъ; ты его и не видалъ. Тебѣ надо съѣздить къ нему: его всѣ уважають и боятся, даромъ что онъ въ отставкѣ....

— Чортъ съ нимъ! что мнѣ за дѣло до него! сказалъ Райскій.

— Ахъ, Борисъ, Борисъ — опомнись! сказала почти набожно бабушка.—Человѣкъ почтенный....

— Чѣмъ же онъ почтенный?

— Старый, серьезный человѣкъ, со звѣздой!

Райскій засмѣялся.

— Чему смѣешься?

— Чтò значить «серьезный»? спросилъ онъ.

— Говорить умно, учить жить, не запоешь: ти, ти, ти, да та, та, та. Строгий: за дурное осудить! вотъ чтò значить серьезный.

— Всѣ эти «серьезные» люди—или ослы великіе, или лицемѣры! замѣтилъ Райскій.—«Учить жить»: а самъ онъ умѣетъ ли жить?

— Еще бы не умѣлъ! нажилъ богатство, вышелъ въ люди....

— Иной думаетъ у насъ, что вышелъ въ люди, а въ самомъ-то дѣлѣ, онъ вышелъ въ свиньи....

Марейнъка засмѣялась.

— Не люблю, не люблю, когда ты такъ дерзко говоришь! гнѣвно возразила бабушка. — Ты во чтò самъ вышелъ, сударь: ни Богу свѣча, ни черту кочерга! А Нилъ Андреевъ все-таки почтенный человѣкъ, чтò ни говори: узнаетъ, что ты такъ небрежно имѣніемъ распоряжаешься — осудить! И меня осудить, если я соглашусь взять: ты сирота....

— Вы мнѣ когда-то говорили, что онъ племянницу обобралъ, въ казнѣ воровалъ,—и онъ же осудить....

— Помолчи, помолчи объ этомъ, торопливо отзывалась бабушка, помни правило: «языкъ мой — врагъ мой, прежде ума моего родился!»

— Развѣ я маленькій, что не въ правѣ отдать кому хочу, еще и родственницамъ? Мнѣ самому не надо, продолжалъ онъ, стало быть, отдать имъ — и разумно и справедливо.

— А если ты женишься?

— Я не женюсь.

— Почему знать? какая-нибудь встрѣча.... вонъ здѣсь есть богатая невѣста.... Я писала тебѣ....

— Мнѣ не надо богатства!

— Не надо богатства: что городить! Жену вѣдь надо?

— И жену не надо.

— Какъ не надо? какъ же ты проживешь? спросила она недовѣрчиво. Онъ засмѣялся и ничего не сказалъ.

— Пора, Борисъ Павловичъ, сказала она: вонъ въ вискѣ сѣдина показывается. Хочешь посватаю? а какая красавица, какъ воспитана!

— Нѣтъ, бабушка, не хочу!

— Я не шучу — замѣтила она: у меня давно было въ головѣ.

— И я не шучу, у меня никогда въ головѣ не было.

— Ты хоть познакомься!

— И знакомиться не стану.

— Женитесь, братецъ, вмѣшалась Марейнька; я бы стала нянчить дѣтей у васъ.... я такъ люблю играть съ ними.

— А ты, Марейнька, думаешь выйти замужъ?

Она покраснѣла.

— Скажи мнѣ правду, на ухо—говорилъ онъ.

— Да.... иногда думаю.

— Когда же иногда?

— Когда дѣтей вижу: я ихъ больше всего люблю....

Райскій засмѣлся, взялъ ее за обѣ руки и прямо смотрѣлъ ей въ глаза. Она покраснѣла, ворочалась то въ одну, то въ другую сторону, стараясь не смотрѣть на него.

— Ты послушай только: она тебѣ наговорить! приговаривала бабушка, вслушавшись и убирая счеты. — Точно дитя: что на умѣ, то и на языкѣ!

— Я очень люблю дѣтей, оправдывалась она, смущенная: мнѣ завидно глядѣть на Надежду Никитишну: у ней семь человѣкъ.... Куда не обернись, вездѣ дѣти. Какъ это весело! Мнѣ бы хотѣлось побольше маленькихъ братьевъ и сестеръ, или хоть чужихъ дѣточекъ. Я бы и птицъ бросила, и цвѣты, музыку, все бы за ними ходила. Одинъ шалить, его въ уголъ надо поставить, тотъ просить кашки, этотъ кричить, третій дерется; тому оспочку надо прививать, то ушки принимать, а этого надо учить ходить.... Что можетъ быть веселѣе! Дѣти—такіе милые, граціозные отъ природы, смѣшные, добрые, хорошенькіе!

— Есть и безобразные, сказалъ Райскій: развѣ ты и ихъ любила бы?...

— Есть больные, строго замѣтила Марѣинька: а безобразныхъ нѣтъ! Ребенокъ не можетъ быть безобразенъ. Онъ еще не испорченъ ничѣмъ....

Все это говорила она съ жаромъ, почти страстно, такъ что ея граціозная грудь волновалась подъ кисеей, какъ будто просилась на просторъ.

— Какой идеалъ жены и матери! милая Мар-

еинька — сестра! какъ счастливъ будетъ мужъ твой! — Она стыдливо сѣла въ уголъ.

— Она все съ дѣтьми: когда они тутъ, ее не отгонишь, замѣтила бабушка: поднимуть шумъ, гамъ, хоть вонъ бѣги!

— А есть у тебя кто-нибудь на примѣтѣ — продолжалъ Райскій: женихъ какой-нибудь?...

— Что это ты, мой батюшка, опомнись! какъ она безъ бабушкина спроса будетъ о замужествѣ мечтать?

— Какъ, и мечтать не можетъ безъ спроса?

— Конечно не можетъ.

— Вѣдь это ея дѣло.

— Нѣтъ, не ея, а пока бабушкино, замѣтила Татьяна Марковна. — Пока я жива, она изъ повиновенія не выйдетъ.

— Зачѣмъ это гамъ, бабушка?

— Что зачѣмъ?

— Такое повиновеніе: чтобъ Марейнька даже полюбить безъ вашего позволенія не смѣла?

— Выйдетъ замужъ, тогда и полюбитъ.

— Какъ «выйдетъ замужъ и полюбитъ:» полюбитъ и выйдетъ замужъ, хотите вы сказать!

— Хорошо, хорошо, это у васъ тамъ такъ, говорила бабушка, замахавъ рукой, — а мы здѣсь прежде осмотримъ, узнаемъ что за человекъ, пудъ соли съѣдимъ съ нимъ, тогда и отдаемъ за него.

— Такъ у васъ еще не выходятъ дѣвушки, а отдаютъ ихъ — бабушка! Есть ли смыслъ въ этомъ...

— Ты, Борюшка, пожалуйста, не учи ихъ этимъ

своимъ идеямъ!... Вонъ, покойница мать твоя была такая же... да и сошла прежде времени въ могилу!

Она вздохнула и задумалась.

«Нѣтъ, это все надо передѣлать! сказалъ онъ про себя... Не дають свободы—любить. Какая грубость! А вѣдь добрые, нѣжные люди! Какой еще туманъ, какое затмѣніе въ ихъ головахъ!» Марейника! я тебя просвѣщу! обратился онъ къ ней.

— Видите ли, бабушка: этотъ домикъ, со всѣмъ что здѣсь есть, какъ будто для Марейники выстроенъ, сказалъ Райскій: только дѣтскія надо надстроить! Люби, Марейника, не бойся бабушки. А вы, бабушка, мѣшаете принять подарокъ!

— Ну, добро, посмотримъ, посмотримъ—сказала она:—если не женишься самъ, такъ какъ хочешь, на свадьбу подари имъ кружева что ли: только чтобы никто не зналъ, пуще всего Нилъ Андреичъ... надо въ тихомолку...

— Свободный, разумный и справедливый поступокъ—въ тихомолку! Долго ли мы будемъ жить, какъ совы, бояться свѣта дневнаго, слушать совиную мудрость Ниловъ Андреевичей!...

— Шш! ш, ш! зашипѣла бабушка:—услыхалъ бы онъ! Человѣкъ онъ старый, заслуженный, а главное серьезный! Мнѣ не сговорить съ тобой—поговори съ Тигомъ Никонычемъ. Онъ обѣдать придетъ,—прибавила Татьяна Марковна.

«Станный, необыкновенный человѣкъ! думала она. — Все ему нипочемъ, ничего въ грошъ не ставить! имѣніе отдаетъ, серьезные люди у него—

дураки, себя несчастнымъ называютъ! Погляжу еще что будетъ!»

III.

Райскій взялъ фуражку и собрался идти въ садъ. Марейинька вызвалась показать ему все хозяйство: и свой садикъ, и большой садъ, и огородъ, цвѣтникъ, бесѣдки.

— Только въ лѣсъ боюсь; я не хожу съ обрыва, тамъ страшно, глухо!—говорила она.—Вѣрочка придетъ, она проводитъ васъ туда.—Она надѣла на голову косынку, взяла зонтикъ, и летала по грядамъ и цвѣтамъ, какъ сильфъ, блестя красками здоровья, веселостью сѣро-голубыхъ глазъ и лѣтнимъ нарядомъ изъ прозрачныхъ тканей. Вся она казалась сама какой-то радугой изъ этихъ цвѣтовъ, лучей, тепла и красокъ весны. Борисъ видѣлъ все это у себя въ умѣ и видѣлъ себя, задумчиваго, тяжелаго. Ему казалось, что онъ портитъ картину, для которой ему тоже нужно быть молодому, бодрому, живому, съ такими же, какъ у ней, налитыми жизненной влагой глазами, съ такой же рѣзвостью движеній. Ему хотѣлось бы рисовать ее безкорыстно, какъ артисту, безъ себя, вотъ какъ бы парисовалъ онъ, напримѣръ, бабушку. Фантазія услужливо рисовала

ее во всей старческой красотѣ: и выходила живая фигура, которую онъ наблюдалъ покойно, объективно.

А съ Марѣинькой это не удавалось. И садъ, казалось ему, хорошъ отъ того, что она тутъ. Марѣинька рѣяла около него, осматривала клумбы, поднимала головку, то у того, то у другого цвѣтка. «Вотъ этотъ розанъ вчера еще почкой былъ, а теперь посмотрите, какъ распустился» говорила она, съ торжествомъ показывая ему цвѣтокъ.

— Какъ ты сама!—сказалъ онъ.

— Ну, ужъ хороша роза!

— Ты лучше ея!

— Понюхайте, какъ она пахнетъ!—Онъ нюхалъ цвѣтокъ и шелъ за ней.

— А вотъ эти маргаритки надо полить, и піоны тоже!—говорила она опять, и уже была въ другомъ углу сада, черпала воду изъ бочки и съ граціознымъ усиліемъ несла лейку, поливала кусты, и зорко осматривала, не надо ли полить другіе.

— А въ Петербургѣ еще и сирени не зацвѣли;—сказалъ онъ.

— Ужели? А у насъ ужъ отцвѣли, теперь акаціи начинаютъ цвѣсти! Для меня праздникъ, когда липы зацвѣтутъ—какой запахъ!

— Сколько здѣсь птицъ! сказалъ онъ, вслушиваясь въ веселое щебетанье на деревьяхъ.

— У насъ и соловьи есть—вонъ тамъ, въ рощѣ! И мои птички всѣ здѣсь пойманы, говорила она.— А вотъ тутъ въ огородѣ мои грядки: я сама рабо-

- таю. Подальше—тамъ арбузы, дыни, вотъ тутъ цвѣтная капуста, артишоки...

— Пойдемъ, Марейинька, къ обрыву, на Волгу смотрѣть.

— Пойдемте, только я близко не пойду, боюсь. У меня голова кружится. И не охотница я до этого мѣста! Я не долго съ вами пробуду! бабушка велѣла объ обѣдѣ позаботиться. Вѣдь я хозяйка здѣсь! У меня ключи отъ серебра, отъ кладовой. Я вамъ велю достать вишневаго варенья: это ваше любимое: Василиса сказывала.—Онъ улыбкой поблагодарилъ ее.

— А что къ обѣду? спросила она.—Бабушка намѣрена угостить васъ на славу.

— Вѣдь я обѣдалъ. Развѣ къ ужину?

— До ужина еще полдникъ будетъ: за чаемъ простоквашу подаютъ: что вы лучше любите, творогъ со сливками... или...

— Да, я люблю творогъ... разсѣянно отвѣчалъ Райскій.

— Или простоквашу?

— Да, хорошо простоквашу...

— Что же лучше? спросила она, и не слыша отвѣта, обернувшись посмотрѣть, что его занимаетъ. А онъ пристально слѣдилъ, какъ она, переступая черезъ канавку, приподняла край платья и вышитой юбки и какъ изъ-подъ платья вытягивалась кругленькая, точно выточенная, и крѣпкая небольшая нога, въ бѣломъ чулкѣ, съ коротенькимъ, будто обрублен-

нымъ носкомъ, обутая въ лакированный башмакъ, съ красной сафьянной отдѣлкой и съ пряжкой.

— Ты любишь щеголять, Марейнька: лакированный башмакъ! сказалъ онъ. Онъ думалъ, что она смутится, пойманная въ располхъ, приготовился наслаждаться ея смущеніемъ, смотрѣть, какъ она быстро и стыдливо бросить изъ рукъ платье и юбку.

— Это мы съ бабушкой на ярмаркѣ купили, сказала она, приподнявъ еще немного юбку, чтобъ онъ лучше могъ разглядѣть башмакъ.—А у Вѣрочки лиловые, прибавила она.—Она любитъ этотъ цвѣтъ. Что же вамъ къ обѣду: вы еще не сказали?

Но онъ не слушалъ ее. «Милое дитя! думалъ онъ, тебѣ не надо притворяться стыдливой!»

— Я не хочу ѣсть, Марейнька. Дай руку, пойдемъ къ Волгѣ. Онъ прижалъ ея руку къ груди и чувствовалъ, какъ у него бьется сердце, чуя близость... чего? наивнаго, милаго ребенка, доброй сестры, или... молодой, расцвѣтшей красоты? Онъ боялся, станетъ ли его на то, чтобъ наблюдать ее какъ артисту, а не отдаться, по обыкновенію, легкому впечатлѣнію? У него передъ глазами былъ идеалъ простой, чистой натуры, и въ душѣ созидался образъ какого-то тихаго, семейнаго романа, и въ тоже время онъ чувствовалъ, что романъ понемногу захватывалъ и его самого, что ему хорошо, тепло, что окружающая жизнь какъ будто втягиваетъ его...

— Ты поешь, Марейнька? спросилъ онъ.

— Да... немножко, застѣнчиво отвѣчала она.

— Чтѣ же?

— Русскіе романсы; начала италіанскую музыку, да учитель уѣхалъ. Я пою Una voce roseo fa: только трудно очень для меня. А вы поете?

— Дикимъ голосомъ, но за то безпрестанно.

— Чтѣ же?

— Все.—И онъ запѣлъ изъ «Ломбардовъ», потомъ маршъ изъ «Семирамиды», и вдругъ замолкъ. Онъ взглядывалъ близко ей въ глаза, жалъ руку и соразмѣрялъ свой шагъ съ ея шагомъ. «Ничего больше не надо для счастья, думалъ онъ: умѣй только оставаться во время, не заглядывать вдаль. Такъ бы сдѣлалъ другой на моемъ мѣстѣ. Здѣсь все есть для тихаго счастья—но... это не мое счастье!» Онъ вздохнулъ. «Глаза привыкнуть... воображеніе устанетъ,—и впечатлѣніе износится... иллюзія лопнетъ какъ мыльный пузырь, едва разбудивъ нервы!...» Онъ выпустилъ ея руку и задумался.

— Чтѣ жъ вы молчите, спросила она? «Ничего не говорить!» про себя прибавила потомъ.

— Ты любишь читать... читаешь, Мароинька? спросилъ онъ очнувшись.

— Да, когда соскучусь, читаю.

— Чтѣ же?

— Чтѣ попадется: Титъ Никонъчъ журналы носить, повѣсти читаю. Иногда у Вѣрочки возьму французскую книгу какую-нибудь. «Елену» недавно читала, миссъ Еджевортъ, еще «Джанъ Айръ»... Это очень хорошо... Я двѣ ночи не спала: все читала, не могла оторваться.

— Чтò тебѣ больше правится? какой родъ чтенія?

Она подумала немного, очевидно затрудняясь опредѣлить родъ.

— Да вы смѣяться будете, какъ давича надъ гусенкомъ.... сказала она, не рѣшаясь говорить.

— Нѣтъ, нѣтъ, Марѣинька: смѣяться надъ такой милой, хорошенькой сестрой! Вѣдь ты хорошенькая?

— Ну, чтò за хорошенькая! небрежно сказала она: толстая, бѣлая! Вотъ Вѣрочка такъ хорошенькая, прелесть!

— Чтò же ты любишь читать? Поэзію читаешь: стихи?

— Да, Жуковского, Пушкина недавно «Мазепу» прочла.

— Что же, правится?

Она отрицательно покачала головой.

— Отчего?

— Жалко Марію. Вотъ «Гулливеровы путешествія» нашла у васъ въ библіотекѣ и оставила у себя. Я ихъ разъ семь прочла. Забуду немного и опять прочту. Еще «Кота Мура», «Братья Серапіоны», «Песочный человѣкъ»: это больше всего люблю.

— Какія же тебѣ книжки еще нравятся? Читала ли ты серьезное что-нибудь?

— Серьезное? повторила она, и лицо у ней вдругъ серьезно сморщилось немного: да, вонъ у меня изъ вашихъ книгъ остались нѣкоторыя, да я ихъ не могу одолѣть...

— Какія-же?

— Шатобриана—«*Les Martyrs....*» Это ужь очень высоко для меня!

— Ну, а исторію?

— Леонтій Ивановичъ давалъ «Мишле, *Précis de l'histoire moderne*», потомъ Римскую исторію, кажется, Жибона...

— То-есть, Джибона: что же?

— Я не дочитала... слишкомъ величественно! Это надо только учителямъ читать, чтобъ учить...

— Ну, романы читаешь?

— Да... только такіе, гдѣ кончается свадьбой.

Онъ засмѣялся, и она за нимъ.

— Это глупо? да? спросила она.

— Нѣтъ, мило. Въ тебѣ глупаго не можетъ быть.

— Я всегда прежде посмотрю, продолжала она смѣясь: и если печальный конецъ въ книгѣ—я не стану читать. Вонъ «Басурмана» начала, да Вѣрочка сказала, что жениха казнили, я и бросила.

— Стало-быть, ты и «Горя отъ ума» не любишь? Тамъ не свадьбой кончается.

Она потрясла головой.

— Софья Павловна гадкая, замѣтила она, а Чацкого жаль: пострадалъ за то, что умнѣе всѣхъ!

Онъ съ улыбкой вслушивался въ ея литературный лепетъ и съ возрастающимъ наслажденіемъ вглядывался ей въ глаза, въ бѣленькіе, тѣсные зубы, когда она смѣялась.

— Мы будемъ вмѣстѣ читать, сказалъ онъ: у тебя сбивчивыя понятія, вкусъ не развитъ. Хочешь

учиться? будешь понимать, дѣлать вѣрно критическую оцѣнку...

— Да, только выбирайте книжки, гдѣ веселый конецъ, свадьба...

— И дѣтки чтобъ были? лукаво спросилъ онъ:— чтобъ одного «кашкой кормили», другому «оспичку прививали?» Да?

— Злой, злой! ничего не стану говорить вамъ... Вы все замѣчаете, ничего не пропустите...

— Такъ ты не выйдешь ни за кого безъ бабушкина спроса?

— Не выйду! сказала она съ твердостью, даже немного хвастливо, что она не въ состояніи сдѣлать такого дурного поступка.

— Почему же такъ?

— А если онъ картежникъ, или пьяница, или дома никогда не сидитъ, или безбожникъ какой-нибудь, вонъ какъ Маркъ Ивановичъ... почему я знаю? А бабушка все узнаетъ...

— А Маркъ Ивановичъ безбожникъ?

— Никогда въ церковь не ходитъ.

— Ну, а если этотъ безбожникъ или картежникъ понравится тебѣ?...

— Все-равно, я не выйду за него!

— А если полюбишь ты?...

— Картежника, или такого, который смѣется надъ религіей, вонъ какъ Маркъ Ивановичъ: будто это можно? Я съ нимъ и не заговорю никогда; какъ же полюблю?

— Такъ что бабушка скажетъ, такъ тому и быть?

— Да, она лучше меня знаетъ.

— А когда же ты сама будешь знать и жить?

— Когда.... буду въ зрѣлыхъ лѣтахъ, буду своимъ домомъ жить, когда у меня будутъ свои....

— Дѣти? подсказалъ Райскій.

— Свои коровы, лошади, куры, много людей въ домѣ.... Да, и дѣти.... — краснѣя добавила она.

— А до тѣхъ поръ, все бабушка?

— Да. Она умная, добрая, она все знаетъ. Она лучше всѣхъ здѣсь и въ цѣломъ свѣтѣ! съ одушевленіемъ сказала она.

Онъ замолчалъ, припоминалъ Бѣловодову, разговоръ съ ней, сходство между той и другой, и разныя причины этого сходства, и причины несходства. У него рисовались оба образа, и просились во что-то: обѣ готовныя, обѣ прекрасныя — каждая своей красотой — обѣ разливали яркій свѣтъ на какую-то картину. Что изъ этого будетъ — онъ не зналъ, и пока рѣшилъ написать Марейинкинъ портретъ масляными красками.

Они подошли къ обрыву. Марейинка боязливо заглянула внизъ и, вздрогнувъ, попятилась назадъ.

Райскій бросилъ взглядъ на Волгу, забылъ все и замеръ неподвижно, воззрѣвъ въ ея задумчивое теченіе, глядя какъ она раскидывается по лугамъ широкими разливами. Полноводье еще не сбыло, и рѣка завладѣла плоскимъ побережьемъ, а у крутыхъ береговъ шумливо и кругами омывала подножія горъ.

Въ разныхъ мѣстахъ, незамѣтно, будто не двигаясь, плыли суда. Высоко на небѣ рядами висѣли облака. Марейинька подошла къ Райскому и смотрѣла равнодушно на всю картину, къ которой привыкла давно.

— Вотъ эти суда посуду везутъ, говорила она, — а это расшивы изъ Астрахани плывутъ. А вотъ, видите, какъ эти домики окружило водой? Тамъ бурлаки живутъ. А вонъ, за этими двумя горками, дорога идетъ къ попадѣ. Тамъ теперь Вѣрочка. Какъ тамъ хорошо, на берегу! Въ іюлѣ мы будемъ ѣздить на островъ, чай пить. Тамъ бездна цвѣтовъ.

Райскій молчалъ.

— Тамъ зайцы водятся, только теперь ихъ затопило, бѣдныхъ! У меня кролики есть, я вамъ покажу!

Онъ продолжалъ молчать.

— Въ концѣ лѣта суда съ арбузами придутъ, продолжала она: сколько ихъ тутъ столпится! Мы покупаемъ только мочить, а къ десерту свои есть, крупные, иногда въ пудъ вѣсомъ бываютъ. Прошлый годъ больше пуда одинъ былъ, бабушка архіерею отослала.

Райскій все смотрѣлъ.

«Все молчить!» шепнула Марейинька про себя.

— Пойдемъ туда! вдругъ сказалъ онъ, показывая на обрывъ и взявъ ее за руку.

— Ахъ, пѣтъ, пѣтъ, боюсь! говорила она, дрожа и пятась.

— Со мной боишься?

— Боюсь!

— Я тебѣ не дамъ упасть. Развѣ ты не вѣришь, что я сберегу тебя?

— Вѣрю, да боюсь. Вонъ Вѣрочка не боится: одна туда ходить, даже въ сумерки! Тамъ убійца похороненъ, а ей ничего!

— Ну, еслибъ я сказалъ тебѣ: «закрой глаза, дай руку и иди, куда я поведу тебя»,—ты бы дала руку? закрыла бы глаза?

— Да.... дала бы, и глаза бы закрыла, только.... однимъ глазомъ тихонько бы посмотрѣла....

— Ну, вотъ теперь попробуй — закрой глаза, дай руку; ты увидишь, какъ я тебя сведу осторожно: ты не почувствуешь страха. Давай же, ввѣрься мнѣ, закрой глаза.

Она закрыла глаза, но такъ, чтобъ можно было видѣть, и только онъ взялъ ее за руку и провелъ шагъ, она вдругъ увидѣла, что онъ сдѣлалъ шагъ внизъ, а она стоитъ на краю обрыва, вздрогнула и вырвала у него руку.

— Ни за что не пойду, ни за что! съ хохотомъ и визгомъ говорила она, вырываясь отъ него. — Пойдемте, пора домой, бабушка ждетъ! Что же къ обѣду? спрашивала она: любите ли вы макароны? свѣжіе грибы?

Онъ ничего не отвѣчалъ и любовался ею.

— Какая ты прелесть! Ты цѣльная, чистая натура! и какъ ты вѣрна ей, сказалъ онъ, ты находка для художника! Сама естественность!

Онъ поцѣловалъ у нея руку.

— Чего-чего не наговорили обо мнѣ! Да куда же вы?

Отвѣта не было. Она подошла къ обрыву шага на два, робко заглянула туда и видѣла, какъ съ шумомъ раздавались кусты врозь и какъ Райскій, точно по крупнымъ уступамъ лѣстницы, прыгалъ по горбамъ и впадинамъ оврага.

— Страсть какая! съ дрожью сказала она и пошла домой.

IV.

Райскій обогнулъ весь городъ и изъ глубины оврага поднялся опять на гору, въ противоположномъ концѣ отъ своей усадьбы. Съ вершины холма онъ сталъ спускаться въ предмѣстье. Весь городъ лежалъ передъ нимъ, какъ на ладони. Онъ съ пристрастнымъ чувствомъ, пробужденнымъ старыми, почти дѣтскими воспоминаніями, смотрѣлъ на эту кучу разнохарактерныхъ домовъ, домиковъ, лачужекъ, сбившихся въ кучу, или разбросанныхъ по высотамъ и по ямамъ, ползущихъ по окраинамъ оврага, спустившихся на дно его, домиковъ съ балконами, съ маркизами, съ бельведерами, съ пристройками, надстройками, съ венеціанскими окошками, или едва замѣтными щелями вмѣсто оконъ, съ голубятнями, скворечниками, съ пустыми,

заросшими травой, дворами. Смотрѣлъ на искривленные, безконечные, идущіе между плетнями, переулки, на пустыя, безъ домовъ, улицы, съ громкими надписями: «Московская улица», «Астраханская улица», «Саратовская улица», съ базарами, гдѣ навалены груды лыкъ, соленой и сушеной рыбы, кадки дегтю и калачи; на зіяющія ворота постоянныхъ дворовъ, съ далеко-разносящимся запахомъ навоза, и на бренчащіе по улицѣ дрожки.

Было за полдень давно. Надъ городомъ лежало оцѣпенѣніе покоя, штиль на сушѣ, какой бываетъ на морѣ, штиль широкой, степной, сельской и городской русской жизни. Это не городъ, а кладбище, какъ всѣ эти города. Онъ, не то умеръ, не то уснулъ, или задумался. Растворенныя окна зіяли, какъ разверзстыя, но не говорящія уста; нѣтъ дыханія, не бьется пульсъ. Куда же убѣжала жизнь? Гдѣ глаза и языкъ у этого лежащаго тѣла? Все пестро, зелено и все молчить. Райскій вошелъ въ переулки и улицы: даже вѣтеръ не ходитъ. Пыль, уже третій день нетронутая, однимъ узоромъ отъ проѣхавшихъ колесъ лежитъ по улицамъ; въ тѣни забора отдыхаетъ козель, да куры, вырывъ ямки, усѣлись въ нихъ, а неутомимый пѣтухъ ищетъ поживы, проворно раскапывая, то одной, то другой ногой, кучу пыли. Собаки, свернувшись по три, по четыре, лежатъ разношерстной кучей на любомъ дворѣ, бросаясь, по временамъ, отъ праздности, съ лаемъ на рѣдкаго прохожаго, до котораго имъ никакого дѣла нѣтъ.

Просторъ и пустота — какъ въ пустынь. Кое-гдѣ высунется изъ окна голова съ сѣдой бородой, въ красной рубашкѣ, поглядить, зѣвая, на обѣ стороны, плюнетъ, и спрячется. Въ другое окно, съ улицы, увидишь храпящаго, на кожаномъ диванѣ, человѣка, въ халатѣ: подлѣ него на столѣ лежатъ «Вѣдомости», очки, и стоитъ графинъ квасу. Другой сидитъ по цѣлымъ часамъ у воротъ, въ картузѣ, и въ мирномъ бездѣйствіи смотритъ на канаву съ крапивой и на заборъ на противоположной сторонѣ. Давно ужъ мнѣтъ носовой платокъ въ рукахъ — и все не рѣшается высморкаться: лѣнь. Тамъ кто-то бездѣйствуетъ у окна, съ пенковой трубкой, и когда бы кто ни прошелъ, всегда сидитъ онъ — съ довольнымъ, ничего не желающимъ и пескучающимъ взглядомъ. Въ другомъ мѣстѣ видѣлъ Райскій такую же, сидящую у окна, пожилую женщину, весь вѣкъ проводившую въ своемъ переулкѣ, безъ суматохи, безъ страстей и волненій, безъ ежедневныхъ встрѣчъ съ безконечно-разнообразной породой подобныхъ себѣ, и не вѣдающую скуки, которую такъ глубоко и тяжело вѣдаютъ въ большихъ городахъ, въ центрѣ дѣлъ и развлеченій.

Райскій, идучи изъ переулка въ переулокъ, видѣлъ кое-гдѣ семью за трапезой, а тамъ, въ мѣщанскомъ домѣ, ужъ подавали самоваръ. Въ безлюдной улицѣ за версту слышно, какъ разговариваютъ двое, трое между собой. Звонко раздаются голоса въ пустотѣ и шаги по деревянной мосто-

вой. Гдѣ-то въ сараѣ кучеръ рубить дрова, тутъ же поросенокъ хрюкаетъ въ навозѣ; въ низенькомъ окнѣ, въ уровень съ землею, отдувается коленкоровая занавѣска съ бахромой, путаясь въ резедѣ, бархатцахъ и бальсaminaхъ. Тамъ сидитъ, наклоненная надъ шитьемъ, бодрая, хорошенькая головка и шьетъ прилежно, не смотря на жаръ и всѣхъ одолѣвающую дремоту. Она одна бодрствуетъ въ домѣ и, можетъ быть, сторожитъ знакомые шаги... Изъ отворенныхъ оконъ одного дома обдало его сотней звонкихъ голосовъ, которые повторяли азы и дѣлали совершенно лишнюю надпись: «Школа» на дверяхъ. Дальше набрелъ онъ на постройку дома, на кучу щепокъ, стружекъ, бревенъ, и на кружокъ расположившихся около огромной деревянной чашки плотниковъ. Большой каравай хлѣба, накрошенный въ квасъ луку, да кусокъ красноватой соленой рыбы — былъ весь обѣдъ. Мужики сидѣли смирно, и молча, по очереди, опускали ложки въ чашку и опять клали ихъ, жевали, не торопясь, не смѣялись и не болтали за обѣдомъ, а прилежно, и будто набожно, исполняли трудную работу.

Райскому хотѣлось нарисовать эту группу усталыхъ, серьезныхъ, буро-желтыхъ, какъ у отаитянъ, лицъ, эти черствыя, загорѣлыя руки, съ негнущими пальцами, крѣпко вросшими, будто желѣзными, ногтями, эти широко и мѣрно растворяющіеся рты и медленно жующія уста, и этотъ—поглощающій хлѣбъ и кашу — голодъ. Да, голодъ, а не аппетитъ: у мужиковъ не бываетъ аппетита.

Аппетитъ выработывается праздностью, моціономъ и нѣгой, голодъ — времедемъ и тяжелой работой.

«Однако, какая широкая картина тишины и сна!—думалъ онъ, оглядываясь вокругъ — какъ могла! Широкая рама для романа! Только что я вставляю въ эту раму?» Онъ мысленно снималъ рисунокъ съ домовъ, замѣчалъ выглядывавшія фізіономіи встрѣчныхъ, группировалъ лица бабушки, дворни. Все это пока толпилось около Марейньки. Она была центромъ картины. Фигура Бѣловодовой отступила на второй планъ и стояла одиноко.

Онъ медленно, машинально шелъ по улицамъ, мысленно разрабатывая свой новый матеріалъ. Всѣ фигуры становились отчетливо у него въ головѣ, всѣхъ онъ видѣлъ ихъ тамъ, какъ живыми. «Что, еслибъ на этомъ сонномъ, неподвижномъ фонѣ—да легла картина страсти! мечталъ онъ. Какая жизнь вдругъ хлынула бы въ эту раму! Какія краски.... Да гдѣ взять красокъ и.... страсти тоже?...

«Страсть! повторилъ онъ очень страстно.—Ахъ, еслибъ на меня излился ея жгучій зной, сжегъ бы, пожралъ бы артиста, чтобъ я слѣпо утонулъ въ ней и утопилъ эти свои параллельные взгляды, это пытливое, двойное зрѣніе! Надо, чтобъ я не глазами, на чужой кожѣ, а чтобъ собственными перьями, костями и мозгомъ костей вытерпѣлъ огонь страсти, и послѣ—желчью, кровью и потомъ написалъ картину ея, эту геенну людской жизни! Страсть Софьи.... Нѣтъ, нѣтъ! холодно думалъ онъ. Она «выше міра и страстей». Страсть Марейньки! онъ

засмѣялся. Оба образа поблѣднѣли, и онъ печально опустилъ голову и равнодушно глядѣлъ по сторонамъ.

— Да, изъ нихъ выйдетъ романъ, думалъ онъ; романъ, пожалуй, вѣрный, но вялый, мелкій, у одной съ аристократическими, у другой съ мѣщанскими подробностями. Тамъ широкая картина холодной дремоты въ мраморныхъ саркофагахъ, съ золотыми, шитыми на бархатѣ, гербами на гробахъ; здѣсь — картина теплаго лѣтняго сна, на зелени, среди цвѣтовъ, подъ чистымъ небомъ, но все сна, непробуднаго сна!»

Онъ пошелъ поскорѣе, вспомнивъ, что у него была цѣль прогулки, и поглядѣлъ вокругъ, кого бы спросить, гдѣ живетъ учитель Леонтій Козловъ. И никого на улицѣ: ни признака жизни. Наконецъ, онъ рѣшился войти въ одинъ изъ деревянныхъ домиковъ. На крыльцѣ его обдалъ такой крѣпкій запахъ, что онъ засовался въ затрудненіи, которую изъ трехъ, бывшихъ тамъ дверей, отворить поскорѣе. За одной послышалось движеніе, и онъ вошелъ въ небольшую переднюю. «Кто тамъ?» съ изумленіемъ спросила пожилая женщина, которая держала въ объятіяхъ самоваръ и готовилась нести его, по видимому, ставить.

— Не можете-ли вы мнѣ сказать, гдѣ здѣсь живетъ учитель Леонтій Козловъ? спросилъ Райскій. Она съ испугомъ продолжала глядѣть на него во всѣ глаза.

— Кто тамъ? послышался голосъ изъ другой

комнаты, и въ то же время зашаркали туфли и показался человекъ, лѣтъ пятидесяти, въ пестромъ халатѣ, съ синимъ платкомъ въ рукахъ.

— Вотъ учителя какого-то спрашиваетъ! сказала одурѣлая баба.

Господинъ въ халатѣ тоже воззрился съ удивленіемъ на Райскаго.

— Какого учителя? здѣсь не живетъ учитель.... говорилъ онъ, продолжая съ изумленіемъ глядѣть на посѣтителя.

— Извините, я пріѣзжій, только сегодня утромъ пріѣхалъ, и не знаю никого: я случайно зашелъ въ эту улицу и хотѣлъ спросить....

— Не угодно-ли пожаловать въ комнату? ласково пригласилъ хозяинъ войти. Райскій послѣдовалъ за нимъ въ маленькую залу, гдѣ стояли простые, обитые кожей стулья, такое же канане и ломберный столикъ подъ зеркаломъ. — Прошу садиться! просилъ онъ.

— Вы какого учителя изволите спрашивать? продолжалъ онъ, когда они сѣли.

— Леоптія Козлова.

— Есть купецъ Козловъ, торгуетъ въ рядахъ.... задумчиво говорилъ хозяинъ.

— Нѣтъ, Козловъ, учитель древней словесности, повторилъ Райскій.

— Словесности.... нѣтъ, не знаю.... Вамъ бы въ гимназіи спросить—она тамъ на горѣ....

«Это я и самъ знаю», подумалъ Райскій.—Изви-

ните, сказалъ онъ, — я думалъ, что всякій его знаетъ, такъ какъ онъ давно въ городѣ.

— Позвольте.... не онъ ли у предсѣдателя учить дѣтей? Такъ онъ тамъ и живетъ: бравый такой изъ себя....

— Нѣтъ, нѣтъ—этотъ не бравый! съ усмѣшкой замѣтилъ Райскій уходя.

Выпедши на улицу, онъ наткнулся на какого-то прохожаго и спросилъ, не знаетъ ли онъ, гдѣ живетъ учитель Леонтій Козловъ. Тотъ подумалъ немного, оглядѣлъ съ ногъ до головы Райскаго, потомъ отвернулся въ сторону, высморкался въ пальцы и сказалъ, указывая въ другую сторону: «это должно быть тамъ, на выѣздѣ, за мостомъ: тамъ какой-то учитель живетъ». Къ счастію Райскаго, проходившій кантонистъ вслушался въ разговоръ.

— Эхъ ты: это садовникъ! сказалъ онъ.

— Знаю, что садовникъ, да онъ учитель, возразилъ первый.—Къ нему господа на выучку ребятъ присылаютъ....

— Имъ не его надо, возразилъ писарь, глядя на Райскаго: — пожалуйста за мной! прибавилъ онъ и проворно пошелъ впередъ. Райскій слѣдовалъ за нимъ изъ улицы въ улицу, и, наконецъ. вожатый привелъ его къ тому дому, откуда звонко и дружно раздавались азы.

— Вотъ школа, вонъ и учитель самъ сидитъ! прибавилъ онъ, указывая въ окно на учителя.

— Да это совсѣмъ не то! съ неудовольствіемъ

отозвался Райскій, бѣсясь на себя, что забылъ дома спросить адресъ Козлова.

— А то еще на горѣ есть гимназія.... сказала кантонистъ.

— Ну, хорошо, спасибо, я найду самъ! поблагодарилъ Райскій и вошелъ въ школу, полагая, что учитель вѣрно знаетъ, гдѣ живетъ Леонтій. Онъ не ошибся: учитель, загнувъ въ книгу палецъ, вышелъ съ Райскимъ на улицу и указалъ, какъ пройти одну улицу, потомъ завернуть направо, потомъ на лѣво. «Тамъ упретесь въ садикъ, прибавилъ онъ: тутъ Козловъ и живетъ.»

«Дѣ, долго еще до прогресса!» думалъ Райскій, слушая раздававшіеся ему вслѣдъ дѣтскіе голоса и проходя въ пятый разъ по однѣмъ и тѣмъ же улицамъ и опять не встрѣчая живой души. «Что за фигуры, что за правы, какія явленія! Всѣ, всѣ годятся въ романъ: всѣ эти штрихи, оттѣнки, обстановка — перлы для кисти! Каковъ-то Леонтій: измѣнился, или все тотъ же ученый, но недогадливый младенецъ? Онъ — тоже находка для художника!»—И вошелъ въ домъ.

V.

Леонтій принадлежалъ къ породѣ тѣхъ, погруженныхъ въ книги и ничего, кромѣ ихъ, не вѣдающихъ ученыхъ, живущихъ прошлою, или идеальною жизнію, жизнію цифръ, гипотезъ, теорій и

системъ, и не замѣчающихъ настоящей, кругомъ текущей жизни. Выводится и, кажется, вывелась теперь эта любопытная порода людей на бѣломъ свѣтѣ. Изида сняла вуаль съ лица, и жрецы ея, стыдась, сбросили парики, мантии, длиннополые сюртуки, надѣли фраки, пальто, и вмѣшались въ толпу. Рѣдко гдѣ встрѣтишь теперь небритыхъ, нечесаныхъ ученыхъ, съ неподвижнымъ и вѣчно задумчивымъ взглядомъ, съ одною, вертящеюся около науки рѣчью, съ одностороннимъ, ушедшимъ въ науку умомъ, иногда и здравымъ смысломъ, неловкихъ, стыдливыхъ, убѣгающихъ женщинъ, глубоко-мысленныхъ, съ забавною разсѣянностью и съ умиленной младенческой простотой,—этихъ мучениковъ, рыцарей и жертвъ науки. И педантъ науки—теперь сталъ анахронизмомъ, потому что его не удивишь никого.

Леонтій принадлежалъ еще къ этой породѣ, съ немногими смягченіями, какія сдѣлало время. Онъ родился въ одномъ городѣ съ Райскимъ, воспитывался въ одномъ университетѣ. Глядя на него, еще на ребенка, непременно скажешь, что и ученые, по крайней мѣрѣ такіе, какъ эта порода, подобно поэтамъ, тоже—*nascuntur*. Всегда, бывало, онъ съ растрепанными волосами, съ блуждающими гдѣ-то глазами, вѣчно копающійся въ книгахъ, или въ тетрадахъ, какъ-будто у него не было дѣтства, не было перва — шалить, рѣзвиться. Потѣшалась же надъ нимъ и молодость. То мазнетъ его сажей по лицу какой-нибудь шалунъ, Леонтій не догадается и

ходить съ пятномъ цѣлый день, къ потѣхѣ публики, да еще ему же достанется отъ надзирателя, зачѣмъ выпачкался. Дастъ ли ему кто щелчка или дернуть за волосы, ущипнетъ, — онъ сморщится, и вмѣсто того, чтобъ вскочить, броситься и догнать шалуна, онъ когда-то соберется обернуться, и посмотреть разсѣянно во всѣ стороны, а тотъ ужъ за версту убѣжалъ, а онъ почесываетъ больное мѣсто, опять задумывается, пока новый щелчекъ, или звонокъ къ обѣду, не выведутъ его изъ созерцанія. Съѣдятъ ли у него изъ-подъ рукъ завтракъ или обѣдъ, онъ не станетъ производить слѣдствія, а возьметъ книгу по-серьезнѣе, чтобы заморить аппетитъ, или уснетъ, утомленный голодомъ. Промыслить обѣдъ, стащить или просто попросить — онъ былъ еще менѣе способенъ, нежели преслѣдовать похитителей. За то, если ошибкой, невзначай, самъ набредетъ на съѣстное, чужое-ли, свое-ли — то непременно, бывало, съѣстъ.

Какъ однако ни потѣшались товарищи надъ его задумчивостью и разсѣянностію, но его теплое сердце, кротость, добродушіе и поражавшая даже ихъ, мальчишекъ въ школѣ, простота, цѣльность характера, чистаго и высокаго — все это пріобрѣло ему ничѣмъ ненарушимую симпатію молодой толпы. Онъ имѣлъ причины быть многими недоволенъ: имъ никто и никогда. Выросши изъ періода шалостей, товарищи поняли его и окружили уваженіемъ и участіемъ, потому что, кромѣ характера, онъ былъ авторитетомъ и по знаніямъ. Онъ походилъ на нѣмецкаго гелертера, зналъ древніе и новые языки,

хотя ни на одномъ не говорилъ, зналъ всѣ литературы, былъ страстный библіофилъ. Фактическія знанія его были обширны и не были стоячимъ болѣстомъ, не строились, какъ у нѣкоторыхъ изъ усидчивыхъ семинаристовъ въ умѣ строятся кладбища: гдѣ прибавляется знаніе за знаніемъ, какъ строится памятникъ за памятникомъ, и всѣ они поростають травой и безмолвствуютъ. У Леонтія, напротивъ, билась въ знаніяхъ своя жизнь, хотя прошлая, но живая. Онъ открытыми глазами смотрѣлъ въ минувшее. За строкой онъ видѣлъ другую строку. Къ древнему кубку придѣлывалъ и пиръ, на которомъ изъ него пили, къ монетѣ — карманъ, въ которомъ она лежала. Часто съ Райскимъ уходили они въ эту жизнь. Райскій, какъ дилетантъ — для удовлетворенія мгновенной вспышки воображенія, Козловъ — всѣмъ существомъ своимъ; и Райскій видѣлъ въ немъ въ эти минуты тоже лицо, какъ у Васюкова за скрипкой, и слышалъ живой, вдохновенный рассказъ о древнемъ бытѣ, или напротивъ самъ увлекалъ его своею фантазіей — и они полюбили другъ въ другѣ этотъ живой нервъ, которымъ каждый былъ по своему связанъ съ знаніемъ. Леонтій впадалъ въ пристрастіе къ греческой и латинской грамотѣ и бывалъ иногда сухъ, казался педантиченъ, и это не изъ хвастовства, а потому что она была ему мила, она была одеждой, сосудомъ, облекавшимъ милую, дорогую, изученную имъ и привѣтливо открывавшуюся ему старую жизнь, давшую начало настоящей и грядущей жизни. Онъ любилъ ее, эту родоначальницу на-

нихъ знаній, нашего развитія, но любилъ слишкомъ горячо, весь отдался ей, и отъ него ушла и спряталась современная жизнь. Онъ былъ въ ней какъ будто чужой, не свой, смѣшной, неловкій.

Леонтій былъ классикъ, и безусловно читалъ все, что истекало изъ классическихъ образцовъ или что подходило подъ нихъ. Уважалъ Корнеля, даже чувствовалъ слабость къ Расину, хотя и говорилъ съ усмѣшкой, что они заняли только тоги и туники, какъ въ маскарадѣ, для своихъ маркизовъ: но все же въ нихъ звучали древнія имена дорогихъ ему героевъ и мѣсть. Въ новыхъ литературахъ, тамъ, гдѣ не было древнихъ формъ, признавалъ только одну высокую поэзію, а тривіальнаго, всенеднежнаго не любилъ; любилъ Данте, Мильтона, усилился прочесть Клопштока — и не могъ. Шекспиру удивлялся, но не любилъ его; любилъ Гёте, но не романтика-Гёте, а классика, наслаждался римскими элегіями и путешествіями по Италіи больше, нежели Фаустомъ, Вильгельма Мейстера не признавалъ, но зналъ почти наизусть Прометей и Тасса. Онъ шелъ смотрѣть Рафаэля, но авторитета фламандской школы не уважалъ, хотя невольно улыбался, глядя на Тенъера.

Онъ былъ такъ бѣденъ, какъ нельзя уже быть бѣднѣе. Жилъ въ какомъ-то чуланчикѣ, между печкой и дровами, работалъ при свѣтѣ плошки, и еслибъ не симпатія товарищей, онъ не зналъ бы, гдѣ взять книгъ, а иногда бѣлья и платья. Подарковъ онъ не принималъ, потому что нечѣмъ было

отдарить. Ему находили уроки, заказывали диссертации и дарили за это бѣлье, платье, рѣдко деньги, а чаще всего книги, которыхъ отъ этого у него накопилось больше нежели дровъ.

Все юношество кипѣло около него жизнью, строя великолѣпные планы будущаго: одинъ онъ не мечталъ, не игралъ, ни въ полководцы, ни въ сочинители, а говорилъ одно: «буду учителемъ въ провинціи»; считая это скромное назначеніе своимъ призваніемъ. Товарищи, и между прочимъ Райскій, старались расшевелить его самолюбіе, говорили о творческой, производительной дѣятельности и о профессорской кафедрѣ. Это, конечно, былъ маршальскій жезлъ, вѣнецъ его желаній. Но онъ глубоко вздыхалъ въ отвѣтъ на эти мечты. «Да, прекрасно, говорилъ онъ, вдумываясь въ назначеніе профессора: дѣйствовать на ряды поколѣній живымъ словомъ, передавать все, что самъ знаешь и любишь! Сколько и самому для себя занятій, сколько средствъ: бібліотека, живые толки съ собратами, можно потомъ за границу, въ Германію, въ Кембриджъ... въ Эдинбургъ, одушевляясь прибавлялъ онъ: познакомиться, потомъ переписываться... Да, нѣтъ, куда мнѣ! прибавлялъ онъ отрезываясь: профессоръ обязанъ другими должностями, онъ въ совѣтахъ, его зовутъ на экзамены... Рѣчь на актѣ надо читать.... Я потеряюсь, куда мнѣ! нѣтъ, буду учителемъ въ провинціи!» заключалъ онъ рѣшительно и утыкалъ носъ въ книгу или тетради.

Все болѣе или менѣе обманулись въ мечтахъ. Кто хотѣлъ воевать, истреблять родъ людской, не успѣлъ вернуться въ деревню, какъ разсѣлъ кучу подобныхъ себѣ и осовѣлъ на мѣстѣ, погрузясь въ толки о долгахъ въ опекунскій совѣтъ, въ карты, въ обѣды. Другой мечталъ добиться высокаго поста въ службѣ, на которомъ можно свободно дѣйствовать на широкой аренѣ, и добился мѣста члена въ клубѣ, которому и посвятилъ свои досуги. Вотъ и Райскій мечталъ быть артистомъ, и все «носить еще огонь въ груди», все производить начатки, отрывки, мотивы, эскизы и широкіе замыслы, а имя его еще не громко, произведенія не радуютъ свѣта. Одинъ Леонтій достигъ заданной себѣ цѣли, и уѣхалъ учителемъ въ провинцію. Пришло время разставаться, товарищами постепенно уѣзжали одинъ за другимъ. Леонтій оглядывался съ безпокойствомъ, замѣчалъ пустоту и тосковалъ, не зная, по непрактичности своей, что съ собой дѣлать, куда дѣваться. «И ты?» уныло говорилъ онъ, когда кто-нибудь приходилъ прощаться. Рѣдкій могъ не заплакать, разставаясь съ нимъ, и самъ онъ задыхался отъ слезъ, не помня, ни щипковъ, ни пинковъ, ни проглоченныхъ насмѣшекъ и непроглоченныхъ, по ихъ милости, обѣдовъ и завтраковъ.

Наконецъ надо было и ему хлопотать о себѣ. Но гдѣ ему? Райскій поднялъ на ноги все, профессора приняли участіе, писали въ Петербургъ и выхлопотали ему желанное мѣсто въ желанномъ городѣ.

Тамъ на родинѣ, Райскій, съ помощью бабушки и нѣсколькихъ знакомыхъ, устроили его на квартирѣ, и только уладились всѣ эти внѣшнія обстоятельства, Леонтій припаялся за свое дѣло, съ усердіемъ и терпѣніемъ вола и осла вмѣстѣ, и ушелъ опять въ свою, или лучше сказать чужую, минувшую жизнь.

Татьяна Марковна не совсѣмъ была внимательна къ богатой библіотекѣ, доставшейся Райскому, и книги продолжали изводиться въ пыли и въ прахѣ стараго дома. Изъ нихъ Марейнка брала изрѣдка кое-какія книги, безъ всякаго выбора: какъ напримѣръ, Свифта, Павла и Виргинію, или возьметъ Шатобріана, потомъ Расина, потомъ романъ мадамъ Жанлисъ и книги берегла, если не больше, то наравнѣ съ своими цвѣтами и птицами. Прочими книгами въ старомъ домѣ одно время завѣдывала Вѣра, т. е. брала, что ей нравилось, читала или не читала, и ставила опять на свое мѣсто. Но все-таки до книгъ дотрогивалась живая рука, и онѣ кое-какъ уцѣлѣли, хотя нѣкоторыя, постарѣе и позамасленнѣе, тронуты были мышами. Вѣра писала объ этомъ черезъ бабушку къ Райскому, и онъ поручилъ передать книги на попеченіе Леонтья. Леонтій обмеръ, увидя тысячи три волюмовъ — и старыя, запыленные, заплеснѣвъшья книги получили новую жизнь, свѣтъ и употребленіе, пока, какъ видно изъ письма Козлова, какой-то Маркъ чуть было не dokonчилъ дѣла мышей.

VI.

Леонтій былъ женатъ. Экономъ какого-то казеннаго заведенія въ Москвѣ держалъ между прочимъ столъ для приходящихъ студентовъ, давая за рубль съ четвертью мѣдью, три, а за полтинникъ четыре блюда. Студенты гурьбой собирались туда. Ихъ привлекали не одиѣ щи; каша, лапша, макароны, блины и т. п. изъ казенной капусты, крупы и муки, не дешевизна стола, а также и дочь эконома, которая управляла и отцемъ и студентами.

Она была очень молоденькая въ ту эпоху, когда учились Райскій и Козловъ, но не смотря на свои шестнадцать или семнадцать лѣтъ, чрезвычайно бойкая, всегда порхавшая, быстроглазая дѣвушка. У ней былъ прекрасный носъ и граціозный ротъ, съ хорошенькимъ подбородкомъ. Особенно профиль былъ правиленъ, линія его строга и красива. Волосы рыжеватые, немного потемнѣе на затылкѣ, но чѣмъ шли выше, тѣмъ были свѣтлѣе, и верхняя половина косы, лежавшая на маковѣ, была золотисто-красноватаго цвѣта: отъ этого у ней на головѣ, на лбу, отчасти и на бровяхъ, тоже немного рыжеватыхъ, какъ-будто постоянно горѣлъ лучъ солнца. Около носа и на щекахъ роились веснушки и не совсѣмъ пропадали даже зимою. Изъ-подъ нихъ пробивался пунцовый пламень румянца. Но веснушки скрадывали огонь щекъ и придавали лицу тѣнь, безъ ко-

торой оно казалось какъ-то слишкомъ ярко освѣщено и открыто. Оно имѣло еще одну особенность: постоянно лежащій смѣхъ въ чертахъ, когда и не было чему, и не расположена она была смѣяться. Но смѣхъ какъ будто застылъ у ней въ лицѣ и шелъ больше къ нему, нежели слезы, да едва ли кто и видалъ ихъ на немъ.

Студенты всѣ влюблялись въ нее, по очереди, или по нѣскольку въ одно время. Она всѣхъ водила за носъ и про любовь одного рассказывала другому и смѣялась надъ первымъ, потомъ съ первымъ надъ вторымъ. Нѣкоторые изъ-за нея перессорились. Кто-то догадался и подарилъ ей парижскія ботинки и серьги, она стала ласковѣе къ нему: шепталась съ нимъ, убѣгала въ садъ и приглашала къ себѣ по вечерамъ пить чай. Другіе узнали и послѣдовали тому же примѣру: кто дарилъ матерію на платье, подъ предлогомъ благодарности за хлопоты о продовольствіи, кто доставалъ ложу, носили ей конфекты, и Улинька стала одинакова-любезна почти со всѣми. Тутъ развернулись ея способности. Если кто бывало станетъ ревновать ее къ другимъ, она начнетъ смѣяться надъ этимъ, какъ надъ дѣломъ невозможнымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ умѣла казаться строгой, бранила водокить за то, что увлекаютъ и потомъ бросаютъ неопытныхъ дѣвицъ. Она порицала и осмѣивала подругъ и знакомыхъ, когда онѣ увлекались, живо и съ удовольствіемъ расскажемъ всѣмъ, что сегодня на зарѣ застали Лизу, разговаривающую съ письмоводителемъ чрезъ заборъ въ саду, или что вонъ къ той

барынѣ (и имя, и отчество, и фамилію скажетъ) ѣздитъ все баринъ въ каретѣ и выходитъ отъ нея часу во второмъ ночи. Соперниковъ она учила, что и какъ говорить, когда спросятъ о ней, когда и гдѣ были вчера, куда уходили, что шептали, зачѣмъ пошли въ темную аллею или въ бесѣдку, зачѣмъ приходилъ вечеромъ тотъ или другой—все.

Леонтій, разумѣется, и не думалъ ходить къ ней: онъ жилъ на квартирѣ, на хозяйскихъ однообразныхъ харчахъ, т. е. на щахъ и кашѣ, и такой роскоши, чтобъ обѣдать за рубль съ четвертью, или за полтинникъ, ѣсть какіе-нибудь макароны, или свиные коклеты, — позволять себѣ не могъ. И одѣться ему было не во что: одинъ вицъ-мундиръ и двое брюкъ, изъ которыхъ однѣ напковые для лѣта, — вотъ весь его гардеробъ. Но Райскій разати повелъ его туда. Леонтій не обращалъ вниманія на Ульяну Андреевну и жадно ѣлъ, чавкая вслухъ и думая о другомъ, и потомъ робко уходилъ домой, не говоря ни съ кѣмъ, кромѣ сосѣда, т. е. Райскаго. И некрасивъ онъ былъ: худъ, задумчивъ, черты неправильныя, какъ-будто всѣ врознь, ни румянца, ни бѣлизны на лицѣ: оно было какое-то безцвѣтное. Только когда онъ углубится въ длинные разговоры съ Райскимъ, или слушаетъ лекцію о древней и чужой жизни, читаетъ старца-классика — тогда только появлялась вдругъ у него жизнь въ глазахъ, и глаза эти бывали умны, оживлены. Но гдѣ Улинькѣ было замѣтить такую красоту? Она замѣтила только, что у него, то на вицъ-мундирѣ

пуговицы нѣтъ, то панталоны разорваны, или худые сапоги. Да еще странно казалось ей, что онъ ни разу не посмотрѣлъ на нее пристально, а глядѣлъ, какъ на стѣну, на скатерть. Этого еще никогда ни съ кѣмъ не случалось, кто приходилъ къ ней. Даже и не впечатлительные молодые люди, и тѣ останавливать глаза прежде всего на ней.

А этотъ, ни на нее, ни на кухарку Устинью не взглянетъ, когда та подаетъ блюда, мѣняетъ тарелки. А Устинья тоже замѣчательна въ своемъ родѣ. Она — постоянный предметъ вниманія и развлеченія гостей. Это была нескладная баба, съ такимъ лицомъ, которое какъ-будто чему-нибудь сильно удивилось когда-то, да такъ на всю жизнь и осталось съ этимъ удивленіемъ. Но Леонтій и ее не замѣчалъ. Ужъ у Улиньки не разъ скалились зубы на его фигуру и разсѣянность, но товарищи, особенно Райскій, такъ много наговорили ей хорошаго о немъ, что она ограничивалась только своимъ насмѣшливымъ наблюденіемъ, а когда не хватало терпѣнія, то уходила въ другую комнату развиться смѣхомъ.

— Какой смѣшной этотъ Козловъ у васъ! говорила она.

— Онъ предобрый! хвалилъ его кто-нибудь.

— Преумный, съ какими познаніями: по-гречески только профессоръ, да протопопъ въ соборѣ лучше его знаютъ! говорилъ другой. — Его адъютантъ сдѣлаютъ.

— Высокой нравственности! — прибавлялъ съ увлеченіемъ третій.

Однажды—это было въ пятый или шестой разъ, какъ онъ пришелъ съ Райскимъ обѣдать—онъ, по разсѣянности, пересидѣлъ за обѣдомъ всѣхъ товарищей; всѣ ушли, онъ остался одинъ и задумчиво жевалъ какое-то пирожное изъ рису. Онъ не замѣтилъ, что Ульяна Андреевна подставила другую, полную миску, съ тѣмъ же рисомъ. Онъ продолжалъ машинально доставать ложкой рисъ и класть въ ротъ. Она тихонько перемѣнила третью, подложивъ еще рису, и сама изъ-за двери другой комнаты наблюдала, какъ онъ ѣлъ, и занимала платкомъ ротъ, чтобъ не расхохотаться вслухъ. Онъ все ѣлъ.

«Добрый!» думала она,—собакъ не бьетъ! Какая же это доброта, коли онъ ничего подарить не можетъ! «Умный!» продолжала она штудировать его: ѣсть третью тарелку рисовой каши и не замѣчаетъ! Не видать, что всѣ кругомъ смѣются надъ нимъ! «Высоко-нравственный»!—Она подумала, подумала надъ этимъ эпитетомъ, почесала себѣ пальцомъ темя, осмотрѣла разсѣяннo свои ногти и зѣвнула.

«На немъ, кажется, и рубашки нѣтъ: не видать! хороша нравственность!» заключила она.—Онъ все ѣлъ.

«Экъ жреть: и не взглянетъ!» думала она и не выдержала, принялась хохотать. Онъ услыхалъ смѣхъ, очнулся, растерялся и сталъ искать фуражку.

— Не торопитесь, дождайтесь, сказала она: хотите еще?

— Нѣтъ... нѣтъ.... Я домой.... говорилъ онъ стыдливо, не глядя на нее, и совался изъ угла въ уголъ, отыскивая фуражку. А Улинька давно схватила ее съ-окна и надѣла на себя.

— Гдѣ жъ она? Кто-нибудь изъ вашихъ унесъ, сказала она.

— Не можетъ быть.... говорилъ Леонтій, бросая туда и сюда разсѣянные взгляды: — свою бы оставилъ, а то нѣтъ никакой....

«Вездѣ глядѣть, только не на меня,—медвѣдь!» думала она.

— Нѣтъ ли какой-нибудь шапки? спросилъ онъ, —тутъ не далеко, я дойду какъ-нибудь.

— Куда вы? рано: пойдите въ садъ! Можетъ быть, фуражку сыщемъ, звала она.... — Не затащилъ ли кто-нибудь туда, въ бесѣдку?

Онъ машинально пошелъ за ней, и когда они прошли шаговъ десять по дорожкѣ, онъ взглянулъ случайно на нее и увидѣлъ свою фуражку. Кромѣ фуражки онъ опять ничего не замѣтилъ.

— Ахъ! обрадовался онъ, это вы.... Тутъ только онъ взглянулъ на нее, потомъ на фуражку, опять на нее, и вдругъ остановился съ удивленнымъ лицомъ, какъ у Устиньи, даже ротъ немного открылъ и сосредоточилъ на ней испуганные глаза, какъ-будто въ первый разъ увидалъ ее. Она засмѣялась. «Насилу разглядѣлъ!» подумала она и надѣла на него фуражку.

— Что жъ вы стали? идите со мной, сказала она.

— Мнѣ пора! отвѣчалъ онъ, не двигаясь съ мѣста.

— Куда пора? успѣете—я не пущу васъ.

Она быстро опять сняла у него фуражку съ головы; онъ машинально обѣими руками взялъ себя за голову, какъ-будто освидѣтельствоваль, что фуражки опять нѣтъ, и лѣниво пошелъ за ней, по временамъ робко и съ удивленіемъ глядя на нее.

— Отъ чего вы къ намъ обѣдать не ходите? приходите завтра, сказала она.

— Дорого! отвѣчалъ онъ.

— Дорого! развѣ вы... такъ бѣдны? съ любопытствомъ спросила она.

— Да, я очень... отвѣчалъ онъ, потупясь. Онъ было застыдился своей бѣдности, потомъ вдругъ ему стало стыдно этой мелкой черты, которая вдругъ откуда-то ошибкой закралась къ нему въ характеръ.—Я очень бѣденъ, сказалъ онъ: развѣ вамъ не говорилъ Райскій, что мнѣ иногда за квартиру нечѣмъ заплатить: вы видите?—Онъ показывалъ ей полинявшій, и отчасти замаслившійся рукавъ вицъ-мундира.

Она равнодушно глядѣла на изношенный рукавъ, какъ на дѣло до нея не касающееся, потомъ на всю фигуру его, довольно худую, на худыя руки, на выпуклый лобъ и безцвѣтныя щеки. Только теперь разглядѣлъ Леонтіи этотъ, далеко запрятанный въ черты ея лица смѣхъ.

— Вы смѣетесь надо мной? спросилъ онъ съ

удивленіемъ. Такъ неестественно казалось ему смѣяться надъ бѣдностью.

— И не думала, равнодушно сказала она: что за рѣдкость—изношенный мундиръ? Мало ли я ихъ вижу!

Онъ недовѣрчиво поглядѣлъ на нее; она дѣйствительно не смѣялась и не хотѣла смѣяться, только смѣялось у ней лицо.

— Вонъ у васъ пуговицы нѣтъ. Пойдите, не уходите, подождите меня здѣсь! замѣтила она, проворно побѣжала домой и черезъ двѣ минуты воротилась съ ниткой, иглой, съ наперсткомъ и пуговицей.

— Стойте смирно, не шевелитесь! сказала она, взяла въ одну руку бортъ его сюртука, прижала пуговицу, и другою рукою живо начала снова възадъ и впередъ иглой мимо носа Леонтья. Щека ее была у его щеки, и ему надо было удерживать дыханіе, чтобъ не дышать на нее. Онъ усталъ отъ этого напряженнаго положенія, и даже его немного бросило въ потъ. Онъ не спускалъ глазъ съ нея: «да у ней чистый римскій профиль»! съ удивленіемъ думалъ онъ.

Черезъ двѣ минуты она кончила, потомъ крѣпко прижалась щекой къ его груди, около самаго сердца, и откусила нитку. Леонтій опѣмѣлъ на мѣстѣ и стоялъ растерянный, глядя на нее изумленными глазами. Это кошачье проворство движеній, рука, чуть не задѣвающая его по носу, наконецъ прижатая къ груди щека кружили ему голову. Онъ будто охмѣлѣлъ. Отъ нея вѣяло на него теп-

ломъ и пѣжнымъ запахомъ какихъ-то цвѣтовъ «Что это такое, что же это?... Она, кажется, добрая: выгелъ онъ заключеніе; еслибъ она только смѣялась надо мной, то пуговицы бы не пришила. И гдѣ она взяла ее? Кто-нибудь изъ нашихъ потерялъ!

— Что жъ стоите? скажите *merci*, да поцѣлуйте ручку! Ахъ, какой! сказала она повелительно, и прижала крѣпко свою руку къ его губамъ, все съ тѣмъ же проворствомъ, съ какимъ пришивала прговицу, такъ что поцѣлуй его раздался въ воздухѣ, когда она уже отняла руку.

Леонтій взглянулъ на нее еще разъ и потомъ уже никогда не забылъ. Въ немъ зажглась вдругъ сильная, ровная и глубокая страсть.

— Приходите завтра обѣдать, сказала она.

— Дорого! отвѣчалъ онъ наивно. Но занялъ у Райскаго немного денегъ и пришелъ. Потомъ опять пришелъ.

Это замѣтили товарищи, и Райскій сталъ приглашать его чаще. Леонтій понялъ, что надъ нимъ подтруниваютъ, и хотѣлъ было съ разу положить этому конецъ, переставъ ходить. Онъ упрямился.

— Пойдемъ! звалъ его Райскій.

— Нѣтъ, Борисъ, не пойду, отговаривался онъ: —что мнѣ тамъ дѣлать: вы всѣ любезны, красивы, разговаривать мастера, а я! Что я ей? Она вонъ все смѣется надо мной!

— Да, можетъ быть, она не станетъ смѣяться... нерѣшительно говорилъ Райскій: когда покороче познакомится съ тобой...

— Станетъ, какъ не станетъ! говорилъ Леонтій съ жалкой улыбкой, оглядывая себя съ ногъ до головы.

Но однакожъ пошелъ и ходилъ часто. Она не гуляла съ нимъ по темной аллеѣ, не пряталась въ бесѣдку, и не разговорчивъ онъ былъ, не дарилъ онъ ее, но и не ревновалъ, не дѣлалъ сценъ, ничего, что дѣлали другіе, по самой простой причинѣ: онъ не видалъ, не замѣчалъ и не подозревалъ ничего, что дѣлала она, что дѣлали другіе, что дѣлалось вокругъ. Онъ видѣлъ только ея римскій чистый профиль, когда она стояла или сидѣла передъ нимъ, чувствовалъ вѣющій отъ нея на него жаръ и запахъ какихъ-то цвѣтовъ, да часто потрогивалъ себя за пришитую ея пуговицу. Онъ слушалъ, что она говорила ему, не слышалъ, что говорила другимъ, и вѣрилъ только тому, что видѣлъ и слышалъ отъ нея. И ей не нужно было притворяться передъ нимъ, лгать, прикидываться. Она держала себя съ нимъ прямо, просто, какъ держала себя, когда никого съ ней не было. Онъ такъ и принималъ за чистую монету всякій ея взглядъ, всякое слово, молчалъ, много ѣлъ, слушалъ, и только иногда воззрится въ нее странными, будто испуганными глазами, и молча слѣдитъ за ея проворными движеніями, за рѣзвой рѣчью, звонкимъ смѣхомъ, точно вчитывается въ новую, незнакомую еще ему книгу, въ ея нѣмое, вѣчно насмѣшливое лицо.

— Что ты видишь въ ней? приставали товарищи.

Онъ смущался, уходилъ и самъ не зналъ, что съ нимъ дѣлается. Передъ выходомъ у всѣхъ оказалось что-нибудь: у кого колечко, у кого вышитый кисеть, не говоря о тѣхъ знакахъ нѣжности, которые не оставляютъ слѣда по себѣ. Иные удивлялись, кто почувствительнѣе, ударились въ слезы, а большая часть посмѣялись надъ собой и другъ надъ другомъ.

Только Леонтій продолжалъ смотрѣть на нее серьезно, задумчиво, и вдругъ объявилъ, что женится на ней, если она согласится, лишь только онъ получитъ мѣсто и устроится. Надъ этимъ много смѣялись товарищи, и она также. Она прозвала его женихомъ и смѣясь общала написать къ нему, когда придетъ время выходить замужъ. Онъ принималъ это не шутя. Съ тѣмъ они и разстались. Что было съ ней потомъ, никто не знаетъ. Извѣстно только, что отецъ у ней умеръ, что она куда-то уѣзжала изъ Москвы и воротилась больная, худая, жила у бѣдной тетки, потомъ, когда поправилась, написала къ Леонтыю, спрашивала, помнитъ ли онъ ее и свои старыя намѣренія. Онъ отвѣчалъ утвердительно, и лѣтъ черезъ пять послѣ выпуска, ѣздилъ въ Москву и пріѣхалъ оттуда женатымъ на ней.

Онъ любилъ жену свою, какъ любятъ воздухъ и тепло. Мало того, онъ, погруженный въ созерцаніе жизни древнихъ, въ ихъ мысль и искусство, умудрился видѣть и любить въ ней какой-то блескъ и колоритъ древности, античность формы. Вдругъ иногда она мелькнетъ мимо него, сядетъ съ шитьемъ

напротивъ, онъ нечаянно изъ-за книги поразится лучемъ какого-то свѣта, какой играетъ на ея профилѣ, на рыжихъ вискахъ или на бѣломъ лбу. Его поражала линія ея затылка и шеи. Голова ея казалась ему похожей на головы римскихъ женщинъ на классическихъ барельефахъ, на камеяхъ: съ строгимъ, чистымъ профилемъ, съ такими же каменными волосами, немигающимъ взглядомъ и съ застывшимъ въ чертахъ лица сдержаннымъ смѣхомъ.

VII.

Леонтій не узналъ Райскаго, когда тотъ внезапно показался въ его кабинетѣ. — «Позвольте узнать, съ кѣмъ я имѣю честь говорить...» началъ было онъ. Но только Борисъ Павловичъ заговорилъ, онъ упалъ въ его объятія.

— Жена! Улинька! поди-ка, посмотри, кто пріѣхалъ! кричалъ онъ въ садикъ женѣ. Та бросилась и поцѣловала Райскаго.

— Какъ вы возмужали и... похорошѣли! сказала она, и глаза у нея загорѣлись отъ удовольствія. Она бросила бѣглый взглядъ на лицо, на костюмъ Райскаго, и потомъ лукаво и смѣло глядѣла ему прямо въ глаза. «Вы всѣхъ здѣсь съ ума сведете, меня первую... Помните....?» начала она, и глазами

договорила воспоминаніе. Райскій немного смутился и поглядывалъ на Леонтія, что онъ, а онъ ничего. Потомъ онъ, не скрывая удивленія, поглядѣлъ на нее, и удивленіе его возрасло, когда онъ увидѣлъ, что годы такъ пощадили ее: въ тридцать съ небольшимъ лѣтъ она казалась, если уже не прежней дѣвочкой, то только развѣ разцвѣтшей, развившейся и прекрасно сложившейся физически женщиной. Бойкость выглядывала изъ ея позы, глазъ, всей фигуры. А глаза по прежнему мечутъ искры; тотъ же у пей пунцовый румянецъ, веснушки, тотъ же веселый, безпечный взглядъ, и кажется, таже дѣвическая рѣзвость!

— Какъ вы... сохранились, сказалъ онъ: — все такая же...

— Моя рыжая Клеопатра! замѣтилъ Леонтій. — Что ей дѣлается: дѣтей нѣтъ, горя мало...

— Вы не забыли меня: помните? спросила она.

— Еще бы не помнить! отвѣчалъ за него Леонтій. — Если ее забылъ, такъ кашу не забываютъ...

А Улинька правду говорить: ты очень возмужалъ, тебя узнать нельзя: съ усами, съ бородой! Ну, что бабушка? Какъ, я думаю, обрадовалась! Не больше впрочемъ меня. Да радуйся же, Уля: что ты устала на него глаза и не скажешь?

— Что же мнѣ сказать?

— Скажи — *salve, amico...*

— Ну, ты свое: я и безъ тебя съумѣю поздороваться, не учи!

— Не знаетъ, что сказать лучшему другу своего мужа!

Ты вспомни, что онъ познакомилъ насъ съ тобой; съ нимъ мы просиживали ночи, читывали...

— Да, еслибъ не ты, перебилъ Райскій.—римскіе поэты и историки были бы для меня все равно, что китайскіе. Отъ нашего Ивана Ивановича не много узнали...

— А въ школѣ, продолжалъ Козловъ, не слушая его, — защищалъ отъ забіякъ, и самъ во все время оттаскалъ меня за волосы... всего два раза...

— Такъ было и это? спросила жена:—ужели вы его били?

— Вѣроятно, шутя...

— Ахъ, нѣтъ, Борисъ: больно! сказалъ Леонтій:— иначе бы я не помнилъ, а то помню, и за что. Одинъ разъ я нечаянно на твоёмъ рисункѣ на оборотѣ сдѣлалъ выписку откуда-то—для тебя же: ты взбѣлся! А въ другой разъ... ошибкой съѣлъ что-то у тебя...

— Не рисовую ли кашу? спросила жена.

— Вотъ, она мнѣ этой рисовой кашей житья не дастъ, замѣтилъ Леонтій:—увѣряетъ, что я незаметно съѣлъ три тарелки и что за кашей и за кашу влюбился въ нее. Что я, въ самомъ дѣлѣ, уродъ что-ли?

— Нѣтъ, ты у меня «умный, добрый и высокой нравственности», сказала она, съ своимъ застывшимъ смѣхомъ въ лицѣ, и похлопала мужа по лбу, потомъ поправила ему галстухъ, выправила воротнички рубашки и опять поглядѣла лукаво на Райскаго. Опъ, по взглядамъ, какіе она обращала къ

нему, видѣлъ, что въ ней улыбаются старыя воспоминанія, и что она не только не хоронитъ ихъ въ памяти, но передаетъ глазами и ему. Но онъ сдѣлалъ видъ, что не замѣтилъ того, что въ ней происходило. Онъ наблюдалъ ее молча и у него въ головѣ начался новый рисунокъ и два новые характера, ея и Леонтыя. «Все та же; все вѣрна себѣ, не измѣнилась», думалъ онъ. «А Леонтій знаетъ ли, замѣчаетъ ли? Нѣтъ, по прежнему, кажется, знаетъ наизусть чужую жизнь и не видитъ своей. Какъ они живутъ между собой... Увижу, посмотрю»....

— Кстати о кашѣ: ты съ нами обѣдаешь, да? спросилъ Леонтій.

— Какъ это можно! вступилась жена:—приглашать на такой столъ, какъ нашъ! вѣдь вы ужъ не студенты: Борисъ Павловичъ въ Петербургѣ избаловался, я думаю...

— Ты что ѣшь? спросилъ Леонтій.

— Все, отвѣчалъ Райскій.

— А если все, такъ будешь сытъ. Ну, вотъ, какъ я радъ. Ахъ, Борисъ... право, и высказать не умѣю!

Онъ сталъ собирать со стола бумаги и книги.

— Бабушка какъ бы не стала ждать... колебался Райскій.

— Ну, ужъ ваша бабушка! съ неудовольствіемъ замѣтила Ульяна Андреевна.

— А что?

— Не люблю я ее!

— За что-же?

— Командовать очень любить... и осуждать тоже...

— Да, правда, она деспотка. Это отъ привычки владѣть крѣпостными людьми. Старые нравы!

— Если послушать ее, продолжала Ульяна Андреевна,—такъ всѣ сиди на мѣстѣ, не поворачи головы, не взгляни ни на право, ни на лѣво, ни съ кѣмъ слова не смѣй сказать: мастерица осуждать! А сама съ Титомъ Никоничемъ неразлучна: тотъ и днюетъ и ночуетъ тамъ...

Райскій засмѣялся.—Что вы, она, просто, святая! сказалъ онъ.

— Ну, ужъ святая: то не хорошо, другое не хорошо. Только и свѣта, что внушки! А кто ихъ знаетъ, какія онѣ будутъ? Марейка только съ канарейками да съ цвѣтами возится, а другая сидитъ, какъ домовой, въ углу, и слова отъ нее не добьешься. Что будетъ изъ нея—посмотримъ!

— Это Вѣрочка? Я еще ее не видалъ, она за Волгой гостить...

— А кто ее знаетъ, что она тамъ дѣлаетъ за Волгой?

— Нѣтъ, я бабушку люблю, какъ мать, сказалъ Райскій:—и отъ многого въ жизни отдѣлался, а она все для меня авторитетъ. Умна, честна, справедлива, своеобразна: у ней какая-то сила есть. Она не дюжинная женщина. Мнѣ кое-что мелькнуло въ ней...

— Поэтому, вы повѣрите ей, если она...

Ульяна Андреевна отвела Райскаго къ окну, пока

мужъ ея собиралъ и пряталъ по ящикамъ разбросанныя по столу бумаги и ставилъ на полки книги.

— Поэтому, вы повѣрите, если она скажетъ вамъ...

— Всему, сказалъ Райскій.

— Не вѣрьте, неправда, говорила она, я знаю, она начнетъ вамъ шептать вздоръ... про М-г Шарля...

— Кто это М-г Шарль?

— Это французъ, учитель, товарищъ мужа: они тамъ сидятъ, читаютъ вмѣстѣ до глубокой ночи... Чѣмъ я тутъ виновата? А по городу, Богъ знаетъ, что говорятъ... будто я... будто мы...

Райскій молчалъ.

— Не вѣрьте — это глупости, ничего нѣтъ... Она смотрѣла какимъ-то русалочнымъ, фальшивымъ изглаголомъ на Райскаго, говоря это.

— Что мнѣ за дѣло? сказалъ Райскій, порываясь отъ нея прочь: — я и слушать не стану...

— Когда же къ намъ опять придете? спросила она.

— Не знаю, какъ случится...

— Приходите почаще... вы, бывало, любили...

— Вы все еще помните прошлыя глупости! сказалъ Райскій, отодвигаясь отъ нея: — вѣдь мы были почти дѣти...

— Да, хороши дѣти! я еще не забыла, какъ вы мнѣ руку оцарапали...

— Что вы! сказалъ Райскій, еще отступая отъ нея.

— Да, да. А кто до глубокой ночи караулил у рѣшетки?...

— Какой я дуракъ былъ, если это правда! да нѣтъ, быть не можетъ!

— Да, вы теперь умны стали, и тоже, я думаю, «высокой нравственности»... Шалунъ! прибавила она пѣвучимъ, нѣжнымъ голосомъ.

— Полноте, полноте! унималъ онъ ее. Ему становилось неловко.

— Да, мое время проходить... сказала она со вздохомъ, и смѣхъ на минуту пропалъ у нея изъ лица. — Немного мнѣ осталось... Чтò это, какъ мужчины счастливы: они долго могутъ любить...

— Любить! иронически, почти про себя, сказалъ Райскій.

— Вы теперь уже не влюбитесь въ меня—нѣтъ? говорила она.

— Полноте: ни въ васъ, ни въ кого! сказалъ онъ: — мое время ужъ прошло: вонъ сѣдина пробивается! И что вамъ за любовь — у васъ мужъ, у меня свое дѣло... Мнѣ теперь предстоитъ одно: искусство и трудъ. Жизнь моя должна служить и тому и другому...

Онъ задумался, и Марейнька, чистая, безупречная, съ свѣжимъ дыханіемъ молодости, мелькнула у него въ умѣ. Его тянуло домой, къ ней, и къ бабушкѣ, но радость свиданія съ старымъ товарищемъ удержала.

— Ну, ужъ выдумаютъ: трудъ! съ досадою отозвалась Ульяна Андреевна. — Состояніе есть, со-

бой молодецъ: только бы жить, а они — трудъ! Что это, право, скоро всѣ на Леонтья будутъ похожи: тотъ утѣнетъ носъ въ книги и знать ничего не хотеть. Да пусть его! Вы-то за чѣмъ туда же?.. Пойдемте въ садъ... Помните нашъ садъ?..

— Да, да, пойдемте! присталь къ нимъ Леонтьй: — тамъ и обѣдать будемъ. Вели, Улинька, давать, что есть — скорѣе. Пойдемъ, Борисъ, поговоримъ... Да... вдругъ спохватился онъ: что же ты со мной сдѣлаешь... за библіотеку?

— За какую библіотеку? Что ты мнѣ тамъ писалъ? Я ничего не понялъ! Какой-то Маркъ книги рвалъ...

— Ахъ, Борисъ Павловичъ, ты не можешь представить, сколько онъ мнѣ горя надѣлалъ, этотъ Маркъ: вотъ посмотри!

Онъ досталъ книги три и показалъ Райскому томы, съ вырванными страницами.

— Вотъ что онъ сдѣлалъ изъ Вольтера: какіе тоненькіе томы *Dictionnaire philosophique* стали... А вотъ тебѣ Дидро, а вотъ переводъ Бекона, а вотъ Макиавелли....

— Что мнѣ за дѣло? съ нетерпѣніемъ сказалъ Райскій, отталкивая книги... — Ты точно бабушка: та лѣзетъ съ какими-то счетами, этотъ съ книгами! Развѣ я за тѣмъ пріѣхалъ, чтобы вы меня со свѣта гнали?

— Да какъ же, Борисъ: не знаю тамъ, съ какими она счетами лѣзла къ тебѣ, а вѣдь это луч-

шее достояніе твое, это — книги, книги... Ты посмотри!

Онъ съ гордостью показывалъ ему ряды полокъ до потолка, кругомъ всего кабинета, и книги въ блестящемъ порядкѣ.

— Вотъ только на этой полкѣ почти все порчено: проклятый Маркъ! А прочія всѣ цѣлы! Смотри! У меня каталогъ составленъ: полгода сидѣлъ за нимъ. Видишь!...

Онъ хвастливо показывалъ ему толстую писанную книгу, въ переплетѣ. — Все своей рукой написалъ! прибавилъ онъ, поднося книгу къ посту Райскаго.

— Отстань, я тебѣ говорю! съ нетерпѣніемъ отозвался Райскій.

— Ты вотъ садись на кресло и читай вслухъ по порядку, а я влѣзу на лѣстницу и буду тебѣ показывать книги. Онѣ всѣ по номерамъ.... говорилъ Леонтій.

— Вонъ что выдумалъ! Отстань, я ѣсть хочу.

— Ну, такъ послѣ обѣда — и въ самомъ дѣлѣ теперь не успѣемъ.

— Послушай: тебѣ хотѣлось бы имѣть такую библіотеку? спросилъ Райскій.

— Мнѣ? Такую библіотеку? — Ему вдругъ какъ будто солнцемъ ударило въ лицо: онъ просіялъ и усмѣхнулся во всю ширину рта, такъ что даже волосы на лбу зашевелились. — Такую библіотеку, произнесъ онъ: — вѣдь тутъ тысячи три: почти

все! сколько мемуаровъ однихъ! Миѣ? — Опъ качалъ головой. — Съ ума сойду!

— Скажи: ты любишь меня, спросилъ Райскій: — по прежнему?

— Еще бы! Изъ нужды выручалъ, оттащавъ за волосы всего два раза...

— Ну, такъ возьми себѣ эти книги въ вѣчное и потомственное владѣніе, но на одномъ условіи...

— Миѣ, взять эти книги! — Леонтій смотрѣлъ, то на книги, то на Райскаго, потомъ махнулъ рукой и вздохнулъ.

— Не шути, Борисъ: у меня въ глазахъ рябитъ... Нѣтъ, *vade retro*... Не обольщай...

— Я не шучу.

— Бери, когда даютъ! живо прибавила жена, которая услышала послѣднія слова.

— Вотъ, она у меня всегда такъ! жаловался Леонтій. — Отъ купцовъ на праздники и къ экзамену родители явятся съ гостинцами — я вонъ гоню отсюда, а она ихъ приметъ оттуда, со двора. Взятчица! Съ виду точь-въ-точь Тарквиніева Лукреція, а любитъ лакомиться, не такъ, какъ та!...

Райскій улыбнулся, она разсердилась.

— Поди ты съ своей Лукреціей! небрежно сказала она: — съ кѣмъ опъ тамъ меня не сравниваетъ? Я — и Клеопатра, и какая-то Постумія, и Лавинія, и Корнелія, еще матрона... Ты лучше книги бери, когда дарятъ! Борисъ Павловичъ подаритъ миѣ...

— Не смѣй просить! повелительно крикнулъ

Леонтій.—А мы что ему подаримъ? Тебя, что ли, отдамъ? добавилъ онъ, нѣжно обнявъ ее рукой.

— Отдай: я пойду—возьмите меня!—сказала она, вдругъ сверкнувъ Райскому въ глаза взглядомъ, какъ будто огнемъ.

— Ну, если не берешь, такъ я отдамъ книги въ гимназію: дай сюда каталогъ! Сегодня же отошлю къ директору... сказалъ Райскій и хотѣлъ взять у Леонтія реестръ книгъ.

— Помилуй: это значить, гимназія не увидитъ ни одной книги... Ты не знаешь директора? съ жаромъ возсталъ Леонтій и сжалъ крѣпко каталогъ въ рукахъ.—Ему столько же дѣла до книгъ, сколько мнѣ до духовъ и помады... Растаскаютъ, разорвутъ—хуже Марка!

— Ну, такъ бери!

— Да какъ же вдругъ этокое сокровище подарить! Ее продать въ хорошія, надежныя руки—такъ... Ахъ, Боже мой! Никогда не желалъ я богатства, а теперь тысячъ бы пять даль... Не могу, не могу взять: ты мотъ, ты блудный сынъ—или нѣтъ, нѣтъ, ты слѣпой младенецъ, невѣжа...

— Покорно благодарю...

— Нѣтъ, нѣтъ—не то, говорилъ растерявшись Леонтій. — Ты — артистъ: тебѣ картины, статуи, музыка. Тебѣ что книги? Ты не знаешь, что у тебя тутъ за сокровища! И тебѣ послѣ обѣда покажу...

— А! Ты и послѣ обѣда, вмѣсто кофе, хочешь мучить меня книгами: въ гимназію!

— Ну, ну, постой: на какомъ условіи ты хотѣлъ

отдать мнѣ библіотеку? Не хочешь ли изъ жалованья вычитать, я все продамъ, заложу себя и жену...

— Пожалуйста, только не меня... вступилась она:—я и сама сумѣю заложить или продать себя, если захочу!

Райскій поглядѣлъ на Леонтья, Леонтій на Райскаго.

— За словомъ къ карманъ не пойдетъ! сказалъ Козловъ.

— На какомъ же условіи? Говори! обратился онъ къ Райскому.

— Чтобъ ты никогда не заикался мнѣ о книгахъ, сколько бы ихъ Маркъ ни рвалъ...

— Такъ ты думаешь, я Марку дамъ теперь близко подойти къ полкамъ?

— Онъ не спросится тебя, подойдетъ и самъ, сказала жена: чего онъ испугается, этотъ уродъ?

— Да, это правда: надо крѣпкіе замки придѣлать, замѣтилъ Леонтій.—Да и ты хороша: вотъ, говорилъ онъ, обращаясь къ Райскому:—любить меня, какъ дай Богъ, чтобъ всякаго такъ любила жена... (Онъ обнялъ ее за плечи: она опустила глаза, Райскій тоже; смѣхъ у ней пропалъ изъ лица). Еслибъ не она, ты бы не увидалъ на мнѣ ни одной пуговицы, продолжалъ Леонтій; я бѣмъ, сплю покойно, хозяйство хоть и маленькое, а идетъ хорошо; какія мои средства: а на все хватаетъ!

Она мало-по-малу подняла глаза и смотрѣла прямо на нихъ обоихъ, отъ того, что послѣднее было правда.

— Только вотъ бѣда; продолжалъ Леонтій: — къ книгамъ холодна. По-французски болтаетъ проворно, а дашь книгу, половины не поймасть; по-русски о-сю пору съ ошибками пишетъ. Увидитъ греческую печать, говоритъ, что хорошо бы этакій узоръ на ситецъ, и ставитъ книги вверхъ дномъ, а полатыни заглавія не разберетъ. Opera Horatii—переводитъ «Гораціевы оперы!»...

— Ну, не поминай же мнѣ больше о книгахъ: на этомъ условіи я только и не отдамъ ихъ въ гимназію—заклучилъ Райскій. — А теперь давай обѣдать: или я къ бабушкѣ уйду. Мнѣ ѣсть хочется.

VIII.

— Скажи пожалуйста: ты такъ вѣкъ думаешь прожить? спросилъ Райскій послѣ обѣда, когда они остались въ бесѣдкѣ.

— Да, а какъ же? Чего же мнѣ еще? спросилъ съ удивленіемъ Леонтій.

— Ничего тебѣ не хочется, никуда не тянетъ тебя? Не просить голова свободы, простора? Не тѣсно тебѣ въ этой рамкѣ? Вѣдь въ глазахъ, вблизи—все вонъ этотъ заборъ, вдали—вотъ этотъ куполь церкви, дома.... подъ носомъ....

— А подь носомъ — вонъ что! Леонтій указалъ на книги: мало, что ли? Книги, ученики.... жена въ придачу (онъ засмѣялся), да душевный миръ.... Чего больше?

— Книги! Развѣ это жизнь? Старыя книги сдѣлали свое дѣло; люди рвутся впередъ, ищутъ улучшить себя, очистить понятія, прогнать туманъ, условиться по-опредѣлительнѣе въ общественныхъ вопросахъ, въ правахъ, въ нравахъ; наконецъ привести въ порядокъ и общественное хозяйство.... А онъ глядитъ въ книгу, а не въ жизнь!

— Чего нѣтъ въ этихъ книгахъ, того и въ жизни нѣтъ, или не нужно! — торжественно рѣшилъ Леонтій. — Вся программа, и общественной, и единичной жизни, у насъ позади: всѣ образцы даны намъ. Умѣй напасть на свою форму, а она готова. Не отступай только — и будешь знать, что дѣлать. Позади найдешь образцы формъ и политическихъ и общественныхъ порядковъ! И лично для себя тоже самое: кто ты: полководецъ, писатель, сенаторъ, консулъ, или певольникъ, или школьный мастеръ, или жрецъ? — Смотри: вотъ они всѣ — живые здѣсь — въ этихъ книгахъ. Учи ихъ жизнь и живи, учи ихъ ошибки и избѣгай, учи добродѣтели и, если можно, подражай! Да трудно! Ихъ лица строги, черты крупны, характеры цѣльны и не разбавлены мелочью! Трудно вливаться въ эти величавыя формы, какъ трудно надѣвать ихъ латы, поднимать мечи, сѣкиры! Не поднять и подвиговъ ихъ! Мы и давай выдумывать какую-то свою, повую жизнь! Вотъ

отчего мнѣ никогда ничего и никуда дальше своего угла не хотѣлось: не вѣрю я въ этихъ пынѣшнихъ великихъ людей....

Онъ говорилъ съ жаромъ, и черты лица у самого у него сдѣлались, какъ у тѣхъ героевъ, о которыхъ онъ говорилъ.

— Стало быть, по твоему, жизнь тамъ и кончилась, а это все не жизнь? Ты не вѣришь въ развитіе, въ прогрессъ?

— Какъ не вѣрить, вѣрю! Вся эта дрянь, мелочь, на которую рассыпался современный человѣкъ — исчезнетъ, все это приготовительная работа, сборъ и смѣсъ еще неосмысленнаго матеріала. Эти историческія брохи соберутся и сомнутся рукой судьбы опять въ одну массу, и изъ этой массы выльются со временемъ опять колоссальныя фигуры, опять потечетъ ровная, цѣльная жизнь, которая послѣдствіи образуетъ вторую древность. Какъ не вѣровать въ прогрессъ! Мы потеряли дорогу, отстали отъ великихъ образцовъ, утратили многіе секреты ихъ бытія. Наше дѣло теперь — понемногу опять вѣзбираться на потерянный путь и.... достигать той же крѣпости, того же совершенства въ мысли, въ наукѣ, въ правахъ, въ правахъ и въ твоёмъ «общественномъ хозяйствѣ»... цѣльности въ добродѣтеляхъ, и пожалуй, въ порокахъ! Низость, мелочи, дрянь — все поблѣднѣетъ: выпарится человѣкъ и опять встанетъ на желѣзныя ноги.... Вотъ и прогрессъ!

— Ты все тотъ же старый студентъ, Леонтіи!

Все нянчишься съ отжившей жизнью, а о себѣ не подумаешь; кто ты самъ?

— Кто? повторилъ Козловъ:—учитель латинскаго и греческаго языковъ. Я также нянчусь съ этими отжившими людьми, какъ ты съ своими, никогда не жившими идеалами и образами — ты кто! Вѣдь ты художникъ, артистъ? Чтò же ты удивляешься, что я люблю какіе-нибудь образцы? Давно ли художники перестали черпать изъ древняго источника....

— Да, художникъ! со вздохомъ сказалъ Райскій:—художество мое здѣсь—(онъ указалъ на голову и грудь) здѣсь образы, звуки, формы, огонь, жажда творчества, и вотъ еще я почти не началъ....

— Чтò же мѣшаетъ? Вѣдь ты рисовалъ какую-то большую картину: ты писалъ, что готовишь ее на выставку....

— Чортъ съ ними, съ большими картинами! съ досадой сказалъ Райскій:— я бросилъ почти живопись. Въ одну большую картину надо всю жизнь положить, а не выразишь и сотой доли изъ того живого, чтò проносится мимо и безвозвратно утекаетъ. Я пишу иногда портреты....

— Чтò же ты дѣлаешь теперь?

— Есть одно искусство: оно лишь можетъ удовлетворить современнаго художника: искусство слова, поэзія: оно безгранично. Туда уходитъ и живопись, и музыка—и еще тамъ есть то, чего не даетъ ни то, ни другое....

— Чтожъ ты, пишешь стихи?

— Нѣтъ... съ досадою сказалъ Райскій: стихи— это младенческій лепетъ. Ими споешь любовь, пиръ, цвѣты, соловья... лирическое горе, такую же радость— и больше ничего....

— А сатира? возразилъ Леонтій: вотъ, постой, вспомнимъ римскихъ старцовъ...

Онъ пошелъ было къ шкафу, Райскій остановилъ его.

— Сиди смирно, сказалъ онъ.— Да, иногда можно удачно хлестнуть стихомъ по больному мѣсту.— Сатира—плеть: ударомъ обожжетъ, но ничего тебѣ не выяснитъ, не дастъ животрепещущихъ образовъ, не раскроетъ глубины жизни съ ея тайными пружинами, не подставитъ зеркала... Нѣтъ, только романъ можетъ охватывать жизнь и отражать человѣка!

— Такъ ты пишешь романъ... о чемъ же?

Райскій махнулъ рукой.

— И самъ еще не знаю! сказалъ онъ.

— Не пиши, пожалуйста, только этой мелочи и дряни, что и безъ романа на всякомъ шагу въ глаза лѣзетъ. Въ современной литературѣ, всякаго червяка, всякаго мужика, бабу—все въ романъ суютъ... Возьми-ка предметъ изъ исторіи, воображеніе у тебя живое, пишешь ты бойко. Помнишь о древней Руси ты писалъ?... А то далась современная жизнь!... муравейникъ, мышьяная возня: дѣло ли это искусства?... Это газетная литература!

— Ахъ, ты старовѣръ! какъ ты отсталъ здѣсь! О газетахъ потише—это Архиметовъ рычагъ: онъ ворочаютъ міромъ...

— Ну, ужъ міръ! Эти ваши Наполеоны, да Пальмерстоны...

— Это современные титаны: Цесари и Антоніи... сказалъ Райскій...

— Полно, полно! съ усмѣшкой остановилъ Леонтій: развѣ титаниды, выродки старыхъ большихъ людей. Вонъ почитай у М-г Шарля есть кнѣжечка, *Napoleon le petit*, Гюго. Онъ современнаго Цесаря представляетъ въ настоящемъ видѣ: какъ этотъ Регулъ во фракѣ далъ клятву почти на форумѣ спасти отечество, а потомъ...

— А твой титанъ—настоящій Цесарь что: не тоже ли самое хотѣлъ сдѣлать?

— Хотѣлъ, да подлѣ случился другой титанъ—и не далъ!

— Ну, мы затѣяли съ тобой опять старый, безконечный споръ: сказалъ Райскій: когда ты осѣлаешь своего конька, за тобой не угоняешься: оставимъ это пока. Обращусь опять къ своему вопросу: ужели тебѣ не хочется никуда отсюда, дальше этой жизни и занятій?

Козловъ отрицательно покачалъ головой.

— Помилуй, Леонтій; ты ничего не дѣлаешь для своего времени, ты пятишься какъ ракъ. Оставимъ римлянъ и грековъ—они сдѣлали свое. Будемъ же дѣлать и мы, чтобъ разбудить это (онъ указалъ вокругъ на спящія улицы, сады и дома), превращать эти обширныя кладбища въ жилыя мѣста, встряхивать спящіе умы отъ застоя!

— Какъ же это сдѣлать?

— Я буду рисовать эту жизнь, отражать какъ въ зеркалѣ, а ты...

— Я.... тоже кое-что дѣлаю: нѣсколько поколѣній къ университету приготовилъ... робко замѣтилъ Козловъ и остановился, сомнѣваясь: заслуга ли это?

— Ты думаешь, я схожу въ классъ, а оттуда домой, да и забылъ? За водочку, потомъ вечеромъ за карты, или, или трюсь у губернатора на вечерахъ: ни ни! Вотъ моя академія, говорилъ онъ, указывая на бесѣдку: вотъ и портикъ—это крыльцо, а дождь идетъ—въ кабинетѣ: наберется ко мнѣ юности, облѣпять меня. Я съ ними рассматриваю рисунки древнихъ зданій, домовъ, утвари,—самъ черчу, объясняю, какъ бывало тебѣ: чтò самъ знаю, всѣмъ дѣлюсь. Кто постарше, съ тѣми впередъ заглядываю, разбираю имъ Софокла, Аристофана. Не все конечно; нельзя всего: гдѣ наготы много, я тамъ прималчиваю... Толкую имъ эту образцовую жизнь, какъ толкуютъ образцовыхъ поэтовъ: развѣ это теперь ужъ не надо никому? говорилъ онъ, глядя просительно на Райскаго.

— Хорошо, да все это не настоящая жизнь, сказалъ Райскій: такъ жить теперь нельзя. Многое умерло изъ того, чтò было, и многое родилось, чего не вѣдали твои греки и римляне. Нужны образцы современной жизни, очеловѣчиванія себя и всего около себя. Это задача каждаго изъ насъ....

— Ну, за это я не берусь: довольно съ меня и того, если я дамъ образцы старой жизни изъ книгъ, а самъ буду жить про себя и для себя. А живу я

тихо, скромно, ёмъ, какъ видишь, лапшу... Что-же дѣлать?... Онъ задумался.

— Жизнь «для себя и про себя» — не жизнь, а пассивное состояніе: нужно слово и дѣло, борьба. А ты хочешь жить барашкомъ!

— Я ужъ сказала тебѣ, что я дѣлаю свое дѣло и ничего знать не хочу, никого не трогаю и меня никто не трогаетъ!

— Ты напоминаешь мнѣ Софью, кузину: та тоже не хочетъ знать жизни — за-то она — великолѣпная кукла! Жизнь достанетъ вездѣ, и тебя достанетъ! Чтò ты тогда будешь дѣлать, неприготовленный къ ней?

— Чтò ей меня доставать? я такой маленькій человекъ, что она и не замѣтитъ меня. Есть у меня книги, хотя и не мои... (онъ робко поглядѣлъ на Райскаго). Но ты остаряешь ихъ въ моемъ полномъ распоряженіи. Нужды мои не велики, скуки не чувствую; есть жена: она меня любитъ...

Райскій посмотрѣлъ въ сторону.

— А я люблю ее... добавилъ Леонтій тихо. — Посмотри, посмотри: говорилъ онъ, указывая на стоявшую на крыльцѣ жену, которая пристально глядѣла на улицу и стояла къ нимъ бокомъ: — профиль, профиль: видишь, какъ сзади отдѣлился этотъ локопъ, видишь этотъ немигающій взглядъ? Смотри, смотри: линія затылка, очеркъ лба! падающая на шею коса! — Чтò, не римская голова?

Онъ заглядѣлся на жену, и тайное умиленіе медленнымъ лучемъ прошло у него по лицу и застыло

въ задумчивыхъ глазахъ. Даже румянецъ пробился на щекахъ. Видно было, что рядомъ съ книгами, которыми питалась его мысль, у него горячо приютилось и сердце, и онъ самъ не зналъ, чѣмъ онъ такъ крѣпко связанъ съ жизнью и съ книгами, не подозрѣвалъ, что еслибъ пропали книги, не пропала бы жизнь, а отними у него эту живую «римскую голову», по всей жизни его прошелъ бы параличъ. «Счастливое дитя! думалъ Райскій: спать, и въ ученомъ спѣ своемъ не чувствуетъ, что подлѣ него, эта любимая имъ, римская голова, полна тьмы, а сердце пустоты: и что одной ей безсиленъ онъ преподавать «образцы древнихъ добродѣтелей!»

IX.

Ужъ на закатѣ вернулся Райскій домой. Его встрѣтила на крыльцѣ Марейнка.

— Гдѣ это вы пропадали, братецъ? Какъ на васъ сердится бабушка! сказала она, — просто не глядитъ.

— Я у Леонтья былъ, отвѣчалъ онъ равнодушно.

— Я такъ и знала: ужъ я уговаривала, уговаривала бабушку — и слушать не хочетъ, даже съ Титомъ Никонычемъ не говорить. Онъ у пастъ теперь, и Полипа Карповна тоже. Нилъ Андрейчъ,

бнягиня, Василій Андреичъ, присылали поздравить съ прїѣздомъ...

— Имъ что за дѣло?

— Они каждый день присылали узнавать о прїѣздѣ.

— Очень пужно!

— Подите, подите къ бабушкѣ: она вамъ дастъ! пугала Мароинька. — Вы очень боитесь? сердце бьется?

Райскій усмѣхнулся.

— Она очень сердита. Мы наготовили столько блюдъ!

— Мы ужинать будемъ, сказалъ Райскій.

— Въ самомъ дѣлѣ: вы хотите, будете? Бабушка, бабушка! говорила она радостно, вбѣгая въ комнату. — Братецъ пришелъ: ужинать будетъ!

Но бабушка, насупясь, сидѣла и не глядѣла, какъ вошелъ Райскій, какъ они обнимались съ Титомъ Никоничемъ, какъ жеманно кланялась Полина Карповна, сороканятилѣтняя, разряженная женщина, въ кисейномъ платьѣ, съ весьма открытой шеей, съ плохо застегнутыми на груди крючками, съ тонкимъ кружевнымъ носовымъ платкомъ и съ вѣеромъ, которымъ она играла, то складывала, то кокетливо обмахивалась, хотя уже не было жарко.

— Какимъ молодцомъ! Какъ возмужали! васъ не узнаешь! говорилъ Титъ Никоничъ, сіяя добротой и удовольствіемъ.

— Очень, очень похорошѣли! протяжно, говорила почти про себя Полина Карповна Крицкая,

которая, къ соблазну бабушки, въ прошлый прїѣздъ наградила его поцѣлуемъ.

— Вы не перемѣнились, Титъ Никончъ! замѣтилъ Райскій, оглядывая его: почти не постарѣли, такъ бодры, свѣжи, и также добры, любезны?—

Титъ Никончъ расшаркался, поднявъ немного одну ногу назадъ.

— Слава Богу: только вотъ ревматизмы и желудокъ не совсѣмъ.... старость!— Онъ взглянулъ на дамъ и конфузливо остановился.

— Ну, слава Богу: вотъ вы и нашъ гость, благополучно доѣхали... продолжалъ онъ. — А Татьяна Марковна опасались за васъ: и овраги, и разбойники... На долго пожаловали?

— О, вѣрно лѣто пробудете, замѣтила Крицкая: здѣсь природа, чистый воздухъ! Здѣсь такъ многіе интересуются вами...

Онъ съ боку поглядѣлъ на нее и ничего не сказалъ.

— Какъ у предводителя всѣ будутъ рады! Какъ вице-губернаторъ желаетъ васъ видѣть!... окрестные помѣщики парочно прїѣдутъ въ городъ... приставала она.

— Они не знаютъ меня, что имъ?...

— Такъ много слышали интереснаго, говорила она, смѣло глядя на него. — Вы помните меня?

Бабушка отвернулась въ сторону, замѣтивъ, какъ играла глазами Полина Карповна.

— Нѣтъ... признаюсь... забылъ...

— Да, въ столицѣ всѣ впечатлѣнія скоро прохо-

дать! сказала она томно.—Какъ хорошъ вашъ дорожный туалетъ! прибавила потомъ, оглядывая его.

— Въ самомъ дѣлѣ, я еще въ дорожномъ пальто, сказалъ Райскій.—Тамъ надо бы вынуть изъ чемодана все платье и бѣлье... Надо позвать Егора.— Егоръ пришелъ, и Райскій отдалъ ему ключъ отъ чемодана.

— Вынь все изъ него и положи въ моей комнатѣ, сказалъ онъ, а чемоданъ вынеси куда-нибудь на чердакъ.

— Вамъ, бабушка, и вамъ, милыя сестры, я привезъ кое-какія бездѣлицы на память... Надо бы принести ихъ сюда...

Марейинька вся покраснѣла отъ удовольствія.

— Бабушка, гдѣ вы меня помѣстите? спросилъ онъ.

— Домъ твой: гдѣ хочешь, холодно сказала она.

— Не сердитесь, бабушка—я въ другой разъ не буду... смѣясь сказалъ онъ.

— Смѣйся, смѣйся, Борисъ Павловичъ, а вотъ при гостяхъ скажу, что не хорошо поступилъ: не успѣлъ носа показать и пропалъ изъ дома. Это неуваженіе къ бабушкѣ...

— Какое неуваженіе? Вѣдь я съ вами жить стану, каждый день вмѣстѣ. Я зашелъ къ старому другу и заговорился...

— Конечно, бабушка, братецъ не нарочно: Леонтіи Ивановичъ такой добрый...

— Молчи ты, сударыня, когда тебя не спрашиваютъ: рано тебѣ перечить бабушкѣ! Она знаетъ что говорить!

Марейника покраснѣла и съ усмѣшкой сѣла въ уголь.

— Уляпа Андреевна съумѣла лучше угостить тебя: гдѣ мнѣ столичныхъ франтовъ принимать! продолжала свое бабушка.—Что она тамъ тебѣ, какихъ фрикасе наставила? отчасти съ любопытствомъ спросила Татьяна Марковна.

— Была лапша, вспоминалъ Райскій, пирогъ съ капустой и яйцами... жареная говядина съ картофелемъ.

Бережкова иронически засмѣялась.

— Лапша и говядина!

— Да, еще каша на сковородѣ: превкусная, доказалъ Райскій.

— Такихъ рѣдкостей, ты, я думаю, давно не пробоваешь въ Петербургѣ.

— Какъ давно: я очень часто обѣдаю съ художниками.

— Это вкусныя блюда, снисходительно замѣтилъ Титъ Никонычъ,—но тяжелы для желудка.

— И вы тоже! Ну, хорошо, развеселясь сказала бабушка: завтра, Марейника, мы имъ велимъ потроховъ наготовить, студень, пироговъ съ морковью, не хочешь ли еще гуся...

— Фи, сдѣлала Полина Карновна, станутъ ли «они» кушать такія неделикатныя блюда?

— Хорошо, сказалъ Райскій, особенно если начинить его кашей....

— Это неудобосваримое блюдо? замѣтилъ Титъ Ни-

коничъ:—лучше всего легкій супецъ изъ крупы, котлетку, цыпленка и желе... вотъ настоящій обѣдъ...

— Нѣтъ, я люблю кашу, особенно ячменную, или изъ полбы! сказалъ Райскій, люблю еще деревенскій студень. Велите приготовить: я давно не ѣлъ...

— Грибы, братецъ, любите? спросила Марейнка: у насъ множество.

— Какъ не любить? Нельзя ли къ ужину?...

— Прикажи, Марейнка, Петру... сказала бабушка.

— Напрасно матушка, напрасно! говорилъ, морщась, Титъ Никоничъ: тяжелое блюдо....

— Ты не шути ужинать будешь? спросила Татьяна Марковна, смягчаясь.

— И очень не шути, сказалъ Райскій.—И если въ погребахъ моего «имѣнія» есть шампанское—прикажете подать бутылку къ ужину: мы съ Титомъ Никоничемъ выпьемъ за ваше здоровье. Такъ, Титъ Никоничъ?

— Да—и поздравимъ васъ съ пріѣздомъ,—хотя на ночь грибы и шампанское... неудобосваримо...

— Опять за свое! вели, Марейнка, шампанское въ ледъ поставить.... сказала бабушка.

— Какъ угодно—се *qu'une femme veut...* любезно заключилъ Ватутинъ, шаркнувъ ножкой и спрятавъ ее подъ стулъ.

— Ужинъ ужиномъ, а обѣдать слѣдовало дома: вотъ ты огорчилъ бабушку! Въ первый день пріѣзда изъ семьи ушелъ.

— Ахъ, Татьяна Марковна, вступилась Крицкая: это у насъ по-мѣщански, а въ столицѣ....

Глаза у бабушки засверкали.

— Это не мѣщане, Полина Карповна! съ крѣпкой досадой сказала Татьяна Марковна, указывая на портреты родителей Райскаго, и также Вѣры и Марѣишки, развѣшанные по стѣнамъ:—и не чиповники изъ палаты, прибавила она, намекая на покойнаго мужа Крицкой.

— Борисъ Павловичъ хотѣлъ сдѣлать передъ обѣдомъ моціонъ, вѣроятно зашелъ далеко, и тѣмъ самымъ поставилъ себя въ нѣкотораго рода невозможность поспѣть.... началъ оправдывать его Титъ Никонъчъ.

— Молчите вы съ своимъ моціономъ! добродушно крикнула на него Татьяна Марковна.—Я ждала его двѣ недѣли, отъ окна не отходила, сколько обѣдовъ пропадало! Сегодня наготовили, вдругъ прѣхалъ и пропалъ! На что похоже? И что скажутъ люди: обѣдалъ у чужихъ—лапшу да кашу: какъ-будто бабушкѣ нечѣмъ накормить!

Титъ Никонъчъ уклончиво усмѣхнулся, немного склоня голову, и замолчалъ.

— Бабушка! заключимъ договоръ, сказалъ Райскій: предоставимъ полную свободу другъ другу, и не будемъ взыскательны! Вы дѣлайте какъ хотите, и я буду дѣлать, что и какъ вздумаю... Обѣдъ я вашъ съѣмъ сегодня за ужиномъ, вино выпью и ночь всю пробуду до утра, по крайней мѣрѣ сего дня. А куда завтра дѣнусь, гдѣ буду обѣдать и гдѣ ночую—не знаю!

— Bravo, bravo! съ дѣтской рѣзвостью, восклицала Крицкая.

— Что же это такое? Цыганъ, что ли ты? съ удивленіемъ сказала бабушка.

— М-сье Райскій поэтъ, а поэты свободны, какъ вѣтеръ! замѣтила Полина Карповна, опять играя глазами, шевеля носкомъ башмака и всячески стараясь задѣть чѣмъ-нибудь вниманіе Райскаго. Но чѣмъ она больше хлопотала, тѣмъ онъ былъ холоднѣе. Его ужъ давно коробило отъ ея присутствія. Только Марейинька, глядя на нее, изъ-подтишка посмѣивалась. Бабушка не обратила вниманія на ея замѣчаніе.

— Два своихъ дома, земля, крестьяне, сколько серебра, хрустала—а онъ будетъ изъ угла въ уголь шататься... какъ окаянный, какъ Маркушка бездомный!

— Опять Маркушка! Надо его увидеть и познакомиться съ нимъ!

— Нѣтъ, ты не огорчай бабушку, не дѣлай этого! повелительно сказала бабушка. — Гдѣ увидишь его, бѣги!

— Почему же?

— Онъ тебя съ пути собьетъ!

— Нужды нѣтъ, а любопытно: онъ, должно быть, замѣчательный человѣкъ. Правда, Титъ Никонъчъ?

Ватутинъ усмѣхнулся.

— Онъ, такъ сказать, загадка для всѣхъ, отвѣчалъ онъ.—Должно быть, сбился въ ранней молодости съ прямого пути... Но, кажется, съ боль-

ними дарованіями и свѣдѣніями: могъ бы быть полезенъ...

— Грубъ, невѣжа! сказала съ достоинствомъ Крицкая, глядя въ сторону. Она немного пришепетывала.

— Да, съ дарованіями: тремястами рублей поплавились вы за его дарованія! Отдалъ ли онъ вамъ? спросила Татьяна Марковна.

— Я... не спрашивалъ! сказалъ Титъ Никонычъ: впрочемъ онъ со мной... почти вѣжливъ.

— Не бьетъ при встрѣчѣ, не стрѣлялъ еще въ васъ? Чуть Нила Андреевича не застрѣлилъ, сказала она Райскому.

— Собаки его мнѣ шлейфъ разорвали! жаловалась Крицкая.

— Не приходилъ опять обѣдать къ вамъ «безъ церемоніи?» спросила опять бабушка Ватутина.

— Нѣтъ, вамъ не угодно, чтобъ я его принималъ, я и отказываю, сказалъ Ватутинычъ. — Онъ однажды пришелъ ко мнѣ съ охоты ночью и попросилъ кушать: сутки не кушалъ, сказалъ Титъ Никонычъ, обращаясь къ Райскому: я накормилъ его — и мы пріятно провели время...

— Пріятно! возразила бабушка: слушать тошно! Пришелъ бы ко мнѣ объ эту пору: я бы ему дала обѣдъ! Нѣтъ, Борисъ Павловичъ: ты живи, какъ люди живутъ, побудь съ нами дома, кушай, гуляй, съ подозрительными людьми не водись, смотри, какъ я распоряжаюсь имѣніемъ, побрани, если что-нибудь не такъ...

— Все это, бабушка, скучно: будемъ жить, какъ кому вздумается...

— Обѣдать, гдѣ попало, лапшу, кашу? не придти домой... такъ что ли? Хорошо же: вотъ я буду уѣзжать въ Новоселово, свою деревушку, или соберусь гостить къ Аннѣ Ивановнѣ Тушиной, за Волгу: она давно зоветъ, и возьму всѣ ключи, не велю готовить, а ты вдругъ придешь къ обѣду: что ты скажешь?

— Ничего не скажу.

— Не удивить и не огорчить это тебя?

— Нисколько.

— Куда же ты дѣнешься?

— Въ трактиръ пойду.

— Въ трактиръ! съ ужасомъ сказала бабушка.

И Титъ Никонъичъ сдѣлалъ движеніе.

— Кто же васъ пустить въ трактиръ? возразилъ онъ: мой домъ, кухня, люди, я самъ — къ вашимъ услугамъ, — я за честь поставлю...

— Развѣ ты ходишь по трактирамъ? строго спросила бабушка.

— Я всегда въ трактирѣ обѣдаю.

— Не играешь ли на бильярдѣ, или не куришь ли?

— Охотникъ играть и курю. Надо достать сигары. Я васъ отличными попотчую, Титъ Никонъичъ.

— Покорнѣйше благодарю: я не курю. Никотинъ очень вредно дѣйствуетъ на легкія и на желудокъ: осадокъ дѣлаетъ и насильственно ускоряетъ пищевареніе. Притомъ.... непріятно дамамъ.

— Странный, необыкновенный человекъ! сказала бабушка.

— Нѣтъ, бабушка: вы необыкновенная женщина.

— Чѣмъ же я необыкновенная?

— Какъ же: ѣшь дома, не ходи туда, спи, когда не хочется—зачѣмъ стѣснять себя?

— Чтобъ угодить бабушкѣ.

— О деспотка, вы, бабушка, эгоистка! Угодить вамъ—не угодить себѣ: угодить себѣ—не угодить вамъ: нѣтъ ли выхода изъ этой крайности? Отчего же вы не хотите угодить внуку?

— Слышите: бабушка угождай внуку! Да я тебя маленькаго на рукахъ носила!

— Если вы будете очень стары, я васъ на себѣ повезу!

— Развѣ я не угождаю тебѣ? Кого я ждала недѣлю, почти не спала? Заботилась готовить, что ты любишь, хлопотала, красила, убирала комнаты, и новыя рамы вставила, занавѣски купила шелковые....

— Это все вы угождали себѣ, а не мнѣ!

— Себѣ! съ изумленіемъ повторила она.

— Да, вамъ эти хлопоты пріятны, они занимаютъ васъ; признайтесь, вамъ бы безъ нихъ и дѣлать нечего было? Обѣдами вы хотѣли похвастаться, вы добрая, радушная хозяйка. Приди Маркушка къ вамъ, вы бы и ему наготовили всего....

— Правда, правда, братецъ: непременно бы наготовила, сказала Марейнька: — бабушка предобрая, только притворяется....

— Молчи ты, тебя не спрашивают! опять остановила ее Татьяна Марковна: все переговаривает бабушку! Это она при тебѣ такая стала; она смиренная, а тутъ вдругъ! Чего не выдумаетъ: Маркушку угощать!

— Да, да, слѣдовательно вы дѣлали, что вамъ нравилось. А вотъ, какъ я вздумалъ захотѣть, что мнѣ нравится, это разстроило ваши распоряженія, оскорбило вашъ деспотизмъ. Такъ, бабушка, да? Ну, поцѣлуйте же меня и дадимъ другъ другу волю...

— Какой странный человѣкъ! Слышите, Титъ Никонычъ, что онъ говоритъ! обратилась бабушка къ Ватутину, отталкивая Райскаго.

— Пріятно слушать: очень, очень умно—я ловлю каждое слово! сказала Крицкая, которая все ловила взглядъ Райскаго; но напрасно.

Титъ Никонычъ потушился, потомъ дружески улыбнулся Райскому.

— И я не выжила изъ ума! отозвалась сердито бабушка на замѣчаніе гостя.

— Видно, что Борисъ Павловичъ читалъ много новыхъ, хорошихъ книгъ.... уклончиво произнесъ Ватутинъ. — Слогъ прекрасный! Однако, матушка, сюда самоваръ несутъ, я боюсь.... угара...

— Пойдемте на крыльцо, въ садикъ, чай пить! сказала Татьяна Марковна.

— Не сыро-ли будетъ тамъ? замѣтилъ Ватутинъ.

Въ тотъ же вечеръ бабушка и Райскій заключили, если не миръ, то перемиріе.

Бабушка убѣдилась, что внукъ любитъ и ува-

жаетъ ее: и какъ мало надо было, чтобы убѣдиться въ этомъ! Райскій разобралъ чемоданъ и вынулъ подарки: бабушкѣ онъ привезъ нѣсколько фунтовъ отличнаго чаю, до котораго она была большая охотница, потомъ новаго изобрѣтенія кофейникъ съ машинкой и шелковое платье темно-коричневаго цвѣта. Сестрамъ по браслету, съ вырѣзанными шифрами. Титу Никоничу замшевую фуфайку и панталоны, какъ просила бабушка, и кусокъ морского каната класть въ уши, какъ просилъ онъ. Бабушка была тронута до слезъ.

— Меня, старуху, вспомнилъ! говорила она, сѣвши подлѣ него и трепля его по плечу.

— Кого же мнѣ вспомнить: вы у меня однѣ, бабушка!

— Да какъ же это, говорила она: счета рвалъ, на письма не отвѣчалъ, имѣніе бросилъ, а тутъ вспомнилъ, что я люблю иногда рано утромъ одна напиться кофе: кофейникъ привезъ, не забылъ, что чай люблю, и чаю привезъ, да еще платье! Баловникъ, мотъ! Ахъ, Борюшка, Борюшка, ну, не странный ли ты человѣкъ!

Марейныка такъ покраснѣла отъ удовольствія, что щеки у ней во все время, пока разсматривали подарки и говорили о нихъ, оставались красны.

Она, какъ случается съ дѣтьми, отъ сильной радости, забыла поблагодарить Райскаго.

— А ты и не благодаришь—хороша! какъ обрадовалась! сказала Татьяна Марковна. Марейныка сконфузилась и присѣла. Райскій засмѣялся.

— Какая я дура — присѣдаю! сказала она. Она подошла и обняла его.

Титъ Никонъчъ смутился, растерялся въ шарканьѣ и благодарственныхъ привѣтствіяхъ.

Райскій тоже, увидя свою комнату, слѣдя за бабушкой, какъ она чуть не сама дѣлала ему постель, какъ опускала занавѣски, чтобъ утромъ не беспокоило его солнце, какъ заботливо распрашивала, въ которомъ часу его будить, что приготовить — чаю или кофе по утру, масла или яицъ, сливокъ или варенья — убѣдился, что бабушка не все угождаетъ себѣ этимъ, особенно когда она попробовала рукой, мягка ли перина, сама поправила подушки повыше и велѣла поѣхать графинѣ съ водой на столикъ, а потомъ раза три заглянула, спитъ ли онъ, не безпокойно ли ему, не нужно ли чего-нибудь.

Титъ Никонъчъ и Крицкая ушли. Последняя затруднялась, какъ ей одной идти домой. Она говорила, что не велѣла пріѣхать за собой, надѣясь, что ее проводить кто-нибудь. Она взглянула на Райскаго. Титъ Никонъчъ сейчасъ же вызвался, къ крайнему неудовольствію бабушки: «Егорка бы проводилъ! шептала она: сидѣла бы дома — кто просилъ!»

— Благодарю васъ, благодарю... сказала Полина Карповна мимоходомъ Райскому.

— За что? спросилъ онъ съ удивленіемъ.

— За пріятный, умный разговоръ — хотя не со мной.... но я много унесла изъ него....

— Разговоръ, больше, практическій, сказалъ онъ: о кашѣ, о гусѣ, потомъ ссорились съ бабушкой....

— Не говорите, я знаю.... говорила она нѣжно: я замѣтила два взгляда, два только.... они принадлежали мнѣ, да, признайтесь? О, я чего-то жду и надѣюсь.... Съ-этимъ она ушла. Райскій обратился къ Маронькѣ, взглядомъ спрашивая, что это такое.

— Какіе это два взгляда? сказалъ онъ. Маронька засмѣялась.

— Она всегда такая у насъ! замѣтила она.

— Что она тамъ тебѣ шептала? не слушай ее! сказала бабушка: она все еще о побѣдахъ мечтаетъ.

Райскій сбросилъ-было долой гору наложенныхъ одна на другую мягкихъ подушекъ и взялъ съ дивана одну жесткую, потомъ прогналъ Егорку, посланнаго бабушкой раздѣвать его. Но бабушка передѣлала опять по своему: велѣла положить на свое мѣсто подушки и воротила Егора въ спальню Райскаго.

— Какая настойчивая деспотка! говорилъ Райскій, терпѣливо снося, какъ Егорка снималъ сапоги, разстегнулъ ему платье, даже хотѣлъ было снять чулки. Райскій утонулъ въ мягкихъ подушкахъ.

Черезъ полчаса бабушка заглянула къ нему въ комнату,

— Что вы? спросилъ онъ.

— И пришла посмотреть, горитъ ли у тебя свѣчка: что ты не погасишь? замѣтила она. Онъ засмѣялся.

— Покурить хочется, да сигары забылъ у васъ на столѣ, сказалъ онъ.

Она принесла сигары. — На вотъ, кури скорѣй, а то я не лягу, боюсь, говорила она.

— Ну, такъ я не стану курить.

— Кури, говорятъ тебѣ! приказывала она. Но онъ потушилъ свѣчку. «Какой своеобычный: даже бабушки не слушаютъ! Странный человѣкъ!» думала Татьяна Марковна, ложась.

Райскій прожилъ этотъ день, какъ давно не жилъ, и заснулъ такимъ вольнымъ, здоровымъ сномъ, какимъ, казалось ему, не спалъ съ тѣхъ поръ, какъ оставилъ этотъ кровъ.

Х.

Райскій провелъ уже нѣсколько такихъ дней и ночей, и еще больше предстояло ему провести ихъ подъ этой кровлей, между огородомъ, цвѣтникомъ, старымъ, запущеннымъ садомъ и рощей, между новымъ, полнымъ жизни, уютнымъ домикомъ и старымъ, полинявшимъ, частію съ обвалившейся штукатуркой домомъ, въ поляхъ, на берегахъ, надъ Волгой, между бабушкой и двумя дѣвочками, между Леонтьемъ и Титомъ Никоничемъ. Онъ невольно пропитывался окружающимъ его воздухомъ, не могъ отмахаться отъ впечатлѣній, которыя клала на него

окружающая природа, люди, ихъ рѣчи, весь складъ и оборотъ этой жизни. Онъ на каждомъ шагу становился въ разладъ съ ними, но пока не страдалъ еще отъ этого разлада, а списходительно улыбался, поддавался кротости, простотѣ этой жизни, какъ, ложась спать, поддавался деспотизму бабунки и утонулъ въ мягкихъ подушкахъ. Если онъ зѣвалъ, то пока не отъ скуки, а отъ пищеваренія, или отъ здоровой усталости.

Жилось ему спосно: здѣсь не было ни въ комъ претензіи казаться чѣмъ-нибудь другимъ; лучше, выше, умнѣе, нравственнѣе; а между тѣмъ на самомъ дѣлѣ оно было выше, нравственнѣе, нежели казалось, и едва ли не умнѣе. Тамъ, въ кучѣ людей съ развитыми понятіями, бьются изъ того, чтобы быть проще и не умѣютъ; здѣсь, не думая о томъ, всѣ просты, никто не лѣзъ изъ кожи поддѣлаться подъ простоту.

Бабушка была, по-прежнему, хлопотлива, любила повелѣвать, распоряжаться, дѣйствовать, ей нужна была роль. Она вѣкъ свой дѣлала дѣло, и если не было, такъ выдумывала его. По-прежнему, у ней не было позыва идти вникать въ жизнь дальше стѣнъ, садовъ, огородовъ «имѣнія» и, наконецъ, города. Этимъ замыкался весь ея міръ. Она говоритъ языкомъ преданій, сыплетъ пословицы, готовые сентенціи старой мудрости, ссорится за нихъ съ Райскимъ, и весь наружный обрядъ жизни отправляется у ней по затверженнымъ правиламъ. Но когда Райскій приглядѣлся попристальнѣе, то уви-

дѣлѣ, что въ тѣхъ случаяхъ, которые не могли по-
чему-нибудь подойти подъ готовые правила, у ба-
бушки вдругъ выступали собственныя силы, и она
дѣйствовала своеобразно. Сквозь обветшавшую, и
иногда никуда не пригодную мудрость, у ней про-
бивалась живая струя здраваго практическаго смысла,
собственныхъ идей, взглядовъ и понятій. Только
когда она пускала въ ходъ собственныя силы, то
сама будто пугалась немного и беспокойно искала
подкрѣпить ихъ какимъ-нибудь бывшимъ примѣ-
ромъ.

Райскому правилась эта простота формъ жизни,
эта опредѣленная, тѣсная рама, въ которой прию-
тился человѣкъ, и пятьдесятъ, шестьдесятъ лѣтъ
житья повтореніями, не замѣчая ихъ, и все ожи-
дая, что завтра, послѣ завтра, на слѣдующій годъ,
случится что-нибудь другое, чего еще не было,
любопытное, радостное. «Какъ это они живутъ?»
думалъ онъ, глядя, что ни бабушкѣ, ни Марейнъ-
кѣ, ни Леонтью, никуда не хочется, и не смотрятъ
они на дно жизни, что лежитъ на немъ, и не уно-
сятся теченіемъ этой рѣки впередъ, къ устью, чтобы
остановиться и подумать, что это за океанъ, куда
вынесутъ струи? Нѣтъ! «Что Богъ дастъ!» говоритъ
бабушка.

Разсуждаетъ она о людяхъ, ей знакомыхъ, очень
мѣтко, разсуждаетъ правильно о томъ, что дѣлалось
вчера, что будетъ дѣлаться завтра; никогда не оши-
бается; горизонтъ ея кончается—съ одной стороны
полями, съ другой Волгой и ея горами, съ треть-

ей городомъ, а съ четвертой доро́гой въ міръ, до котораго ей дѣла нѣтъ.

Желаеть она въ концѣ зимы, чтобъ весна скорѣй наступила, чтобъ рѣка прошла къ такому-то дню, чтобъ лѣто было теплое и урожайное, чтобъ хлѣбъ былъ въ цѣпѣ, а сахаръ дешевъ, чтобъ, если можно, купцы давали его даромъ, также какъ вино, кофе и прочее. Любила, чтобъ къ ней губернаторъ изрѣдка заѣхалъ съ визитомъ, чтобы пріѣзжее изъ Петербурга важное или замѣчательное лицо непременно побывало у ней, и вице-губернаторша подошла, а не она къ ней, послѣ обѣдни въ церкви поздороваться, чтобъ, когда ѣдетъ по городу, ни одинъ встрѣчный не проѣхалъ и не прошелъ не поклонясь ей, чтобы купцы засуетились и бросили прочихъ покупателей, когда она явится въ лавку, чтобъ никогда никто не сказалъ о ней дурного слова, чтобы дома всѣ ее слушались, до того, чтобъ кучера никогда не курили трубки ночью, особенно на сѣновалѣ, и чтобъ Тараска не напивался пьянъ, даже когда они могли бы дѣлать это такъ, чтобъ она не узнала. Любила она, чтобы всякій день кто-нибудь завернулъ къ ней, а въ именины ея всѣ, начиная съ архіерея, губернатора и до послѣдняго понытчика въ палатѣ, чтобы три дня городъ поминалъ ея роскошный завтракъ, нужды нѣтъ, что ни губернаторъ, ни понытчики не пользовались ея искреннимъ расположеніемъ. Но если бы не пришелъ въ этотъ день М-г Шарль, котораго она терпѣть не могла, или Полина Карповна, она бы

искренно обидѣлась. Въ этотъ день она, по всей вѣроятности, втайнѣ желала, чтобы зашелъ на порогъ даже Маркушка.

До пріѣзда Райскаго, жизнь ея покоилась на этихъ простыхъ и прочныхъ основахъ, и ей въ голову не приходило, чтобы тутъ было что-нибудь не такъ, чтобы она весь вѣкъ жила въ какой-то «борьбѣ съ противорѣчіями», какъ говорилъ Райскій. Если когда-нибудь и случалось противорѣчіе, какой-нибудь разладъ, то она приписывала его, никакъ не себѣ, а другому лицу, съ кѣмъ имѣла дѣло, а если никого не было, такъ судьбѣ. А когда явился Райскій и соединилъ въ себѣ, и это другое лицо, и судьбу, она удивилась, отнесла это къ непослушанію внука и къ его странностямъ. Она горячо защищалась, сначала преданіями, сентенціями и пословицами, но когда эта мертвая сила, отъ перваго прикосновенія живой силы анализа, разлеталась въ прахъ, она сейчасъ хваталась за свою природную логику. Этого только и ждалъ Райскій, зная, что она сейчасъ очутится между двухъ огней: между стариной и новизной, между преданіями и здравымъ смысломъ — и тогда ей надо было, или согласиться съ нимъ, или отступить отъ старины. Но бабушка триумфа ему никогда не давала, она сдаваться не любила и кончала споръ, опираясь деспотически на авторитетъ, уже не мудрости, а родства и своихъ лѣтъ.

Райскій, не уступая ей на почвѣ логики, спускалъ флагъ передъ ея симпатіей и, смѣясь, стано-

вился передъ ней на колѣни и цѣловаль у ней руку.

Онъ удивлялся, какъ могло все это уживаться въ ней, и какъ бабушка, не замѣчая вѣчнаго разлада старыхъ и новыхъ понятій, ладила съ жизнью и переваривала все это вмѣстѣ, и была такъ бодра, свѣжа, не знала скуки, любила жизнь, вѣровала, не охлаждаясь ни къ чему, и всякій день былъ для нея какъ-будто новымъ, свѣжимъ цвѣткомъ, отъ котораго на завтра она ожидала плодовъ.

Бабушка, Марейнка, даже Леонтій, — а онъ мыслящій, ученый, читающій — всѣ нашли свою точку опоры въ жизни, стали на нее и счастливы.

Бабушка добыла себѣ, какъ-будто купила на вѣсъ, жизненной мудрости, пробавляется ею и знать не хочетъ того, чего съ ней не было, чего она не видала своими глазами, и не заботится, есть ли тамъ еще что-нибудь, или нѣтъ. Отъ этого она открыла большіе глаза на его «мудренныя», казавшіяся ей иногда шальными, слова, «цыганскіе» поступки, споры. «Станный, своеобразный человѣкъ», говорила она, и надивиться не могла, какъ это онъ не слушается ея и не дѣлаетъ, что она указываетъ. Развѣ можно жить иначе? Титъ Никопычъ въ восхищеніи отъ нея, самъ Нилъ Андреевъ отзывается одобрительно, весь городъ тоже уважаетъ ее, только Маркушка зубы скалитъ, когда увидитъ ее, — но онъ пропащій человѣкъ.

А тутъ внукъ, свой человѣкъ, котораго она мальчишкой воспитывала, «отъ рукъ отбился», смѣетъ

оправдываться, защищаться, да еще спорить съ ней, обвиняетъ ее, что она не такъ живетъ, не то дѣлаетъ, какъ нужно! А она, кажется, всю жизнь, какъ по пальцамъ, знаетъ: ни купцы, ни дворянъ ее не обмануть, въ городѣ всякаго насквозь видить, и въ жизни своей, и вѣренныя ея попеченію дѣвочки, и крестьянъ, и въ кругу знакомыхъ — никакихъ ошибокъ не дѣлаетъ, знаетъ, какъ гдѣ ступить, что сказать, какъ, и своимъ, и чужимъ добромъ распорядиться! Словомъ, какъ по нотаамъ играть! А онъ не слушается, и еще осуждаетъ ее!

Она сдѣлала изъ наблюденій и опыта мудрый выводъ, что всякому дается извѣстная линія въ жизни, по которой можно и должно достигать извѣстнаго значенія, выгоды, и что всякому дана возможность сдѣлаться (относительно) разнымъ или богатымъ, а кто прозѣваетъ время и удобный случай, пренебрежетъ данными судьбой средствами, тотъ и пеняй на себя! «Всякому — говорила она — судьба даетъ какой-нибудь даръ: одному, напримѣръ, дано много ума или какой-нибудь «остроты» и умѣнья (подъ этимъ она разумѣла талантъ, способности), — за то богатства не дала — и сейчасть примѣръ приводила: или архитектора, или лекаря, или Степку, мужика. «Дуракъ-дуракомъ, трехъ перечесть не можетъ, лба не умѣетъ перекрестить, едва знаетъ, гдѣ право, гдѣ лѣво, ни за сохой, ни въ саду: а посуду, чашки, ложки, или крестики точить, дѣтскіе кораблики, игрушки — точно изъ мѣди лить! И сколько

на ярмаркѣ продасть! Другой красивъ: картинка— за то — пѣтый дуракъ! вонъ Балакинъ: ни одна умная дѣвушка нейдетъ, а заглядѣнье! Не зѣвай, и онъ будетъ счастливъ. «Богъ дурака, поваля, кормить!» — приводила она и пословицу въ подкрѣпленіе:—найдетъ дуру съ богатствомъ! А есть и такіе, что ни «остроты» судьба не дала, ни богатства, за то дала трудолюбіе: этимъ берутъ! Ну, а кто лежебокой былъ, или прозѣвалъ, загубилъ даръ судьбы — самъ виновать! Оттого много на свѣтѣ погибшихъ: праздныхъ, пьяницъ, съ разодранными локтями, одна нога въ туфлѣ, другая въ калошѣ, носъ красный, губы растрескались, вишищемъ разить!»

Райскій расхохотался, слушая однажды такое разсужденіе, и особенно характеристическій очеркъ пьяницы, самаго противнаго и погибшаго существа, въ глазахъ бабушки: до того, что хотя она не замѣтила ни малѣйшей склонности къ вину въ Райскомъ, по всегда съ безпокойствомъ смотрѣла, когда онъ вздумаетъ выпить стаканъ, а не рюмку вина, или рюмку водки. «Хорошо ли тебѣ, не много ли?» говорила она, морщась и качая головой. Къ пьяницѣ и пьянству у ней было фізіологическое отвращеніе:

— Да, да, смѣйся! говорила она, а это правда!

— Можно, вѣдь, бабушка, погибнуть и по чужой винѣ, возражалъ Райскій, желая прослѣдить за развитіемъ ея житейскихъ понятій: есть между людей вражда, страсти. Чѣмъ виновать человекъ, когда

ему подставляють ногу, опутываютъ его интригой, крадутъ, убиваютъ?... Мало ли что!

— Виновать, виновать! рѣшала она, не слушая аппеляціи. — Ужь если кто несчастенъ, погибаетъ, свихнулся, вналъ въ нищету, въ крайность, какъ-нибудь обиженъ, опороченъ, и поправиться не можетъ, значить—самъ виновать. Какой-нибудь грѣхъ, да былъ за нимъ, или есть: если не порокъ, такъ тяжкая ошибка! «Вражда, страсти!» все одинъ и тотъ же трагъ стережетъ насъ всѣхъ!.. Богъ накажетъ иногда, да и проститъ, коли человекъ смирится и опять пойдетъ по хорошему пути. А кто все спотыкается, падаетъ и лежитъ въ грязи, значить, не прощенъ, а не прощенъ потому, что не одолѣеть себя, не сладить съ виномъ, съ картами, или укралъ, да не отдаетъ краденаго, или гордъ, обидчикъ, золь не въ мѣру, грязенъ, обманщикъ, предатель.... Мало ли зла: что-нибудь да есть! А хочетъ, такъ выползетъ опять на дорогу. А если просто слабъ, силенки нѣтъ, значить, вѣры нѣтъ: когда есть вѣра, есть и сила. Да, да, ужь это такъ, не говори, не говори, смѣйся, а молчи! прибавила она, замѣтивъ, что онъ хочетъ возразить. — Можетъ ли быть, чтобъ человекъ такъ проналъ, изъ-за другихъ, потому что захотѣли погубить? Не зѣвай, смотри за собой: упалъ, такъ вставай на ноги, да смотри, нѣтъ ли лукавства за самимъ? А нѣтъ, такъ помолись—и поправишься. Вонъ Алексѣя Петровича три губернатора гнали, имѣнье было въ онекъ, дошло до того, что

никто взаймы не давалъ, хоть *по-міру ступай: а теперь выждалъ, вытерпѣлъ, раскаялся—какіе были грѣхи—и вышелъ въ люди....

— Ну, хорошо, бабушка: а помните, былъ какой-то буянъ, полиціймейстеръ, или исправникъ: у васъ крышу велѣлъ разломать, постой вамъ поставилъ противъ правилъ, заборъ сломалъ, и чего-чего не дѣлалъ!

— Да, правда: онъ злой, негодный человѣкъ, врагъ мой былъ, не любила я его! Чѣмъ же кончилось: пріѣхалъ новый губернаторъ, узналъ всѣ его плутни и прогналъ! Онъ смотался, спился, своя же крѣпостная дѣвка завладѣла имъ—и пикнуть не смѣлъ. Умеръ—никто и не пожалѣлъ!

— Ну, вотъ видите! что же вы сдѣлали: вы ли виноваты?

— Я! сказала бабушка: я наказана не даромъ. Даромъ судьба не наказываетъ....

— Въ самомъ дѣлѣ! что же такое?

— Что? повторила она: молодъ ты, чтобъ знать бабушкины проступки. Ужъ такъ и быть, изволь, скажу: тогда откупа пошли, а я вздумала велѣть пиво варить для людей, водку гнали дома, немного, для гостей и для дворни, а все же запрещено было; мостовъ не чинила... Отъ меня взятки-то гладки, онъ и озлобился; видишь! Ужъ коли кто несчастливъ, такъ значитъ, по дѣломъ. Проси скорѣе прощенія, а то пропадешь, пойдетъ все хуже..... и.....

— И потомъ «красный носъ, растрескавшіяся губы, одна нога въ туфлѣ, другая въ калошѣ!» дого-

ворить Райскій, смѣясь.—Ахъ, бабушка, чего я не захочу, что принудить меня? или если скажу себѣ, что непремѣнно поступлю такъ, вооружусь волей.....

— Никогда не говори: «непремѣнно», живо перебила Татьяна Марковна.—Боже сохрани!

— Отъ чего? вотъ еще новости! сказалъ Райскій.—Марейника! я непремѣнно сдѣлаю твой портретъ, непремѣнно напишу романъ, непремѣнно познакомлюсь съ Маркушкой, непремѣнно проживу лѣто съ вами и непремѣнно воспитаю васъ всѣхъ трехъ, бабушку, тебя и.... Вѣрочку.

Марейника засмѣялась, а Татьяна Марковна посмотрѣла на него черезъ очки.

— Ты никакъ съ ума сошелъ; поучись-ка у бабушки жить. Самонадѣянъ очень. Дастъ тебѣ когда-нибудь судьба за это «непремѣнно»! Не говори этого! А прибавляй всегда: «хотѣлось бы», «Богъ дастъ, будемъ живы да здоровы»... А то судьба накажетъ за самонадѣянность: никогда не выйдетъ по твоему....

— У васъ, бабушка, о судьбѣ такое же понятіе, какъ у древняго грека о фатумѣ: какъ о личности какой-нибудь, какъ-будто воплощенная судьба тутъ стоитъ да слушаетъ...

— Да, да—говорила бабушка, какъ-будто озира-ясь: кто-то стоитъ да слушаетъ! Ты только не остерегись, забудь, что можно унасть—и упадешь. Понадѣйся безъ оглядки, судьба и обманетъ, вырветъ изъ рукъ, къ чему протягивалъ ихъ! Гдѣ меньше всего ждешь, тутъ и оплеуха...

— Ну, когда же счастье? ужели все оплеухи?

— Нѣтъ не все: когда ждешь скромно, сомнѣваешься, не забываешься: оно и упадетъ. Пуще всего не задирай головы и не подымай носа, побаивайся: пу, и дастся. Судьба любить осторожность, отъ того и говорятъ: «береженаго Ботъ бережетъ». И тутъ не пересаливай: кто слишкомъ трусливо пятится, она тоже не любитъ, и подстережетъ. Кто воды боится, весь вѣкъ бѣгаетъ рѣки, въ лодку не сядетъ, судьба подкараулитъ: когда-нибудь да сядетъ, тутъ и бултыхнется въ воду.

Райскій засмѣялся.

— О, судьба-проказница! продолжала она.—Когда ищешь въ кошелькѣ гривенника, попадаютъ все двугривенные, а гривенникъ послѣ всѣхъ придетъ; ждешь кого-нибудь: приходятъ да не тѣ, кого ждешь, а дверь, какъ на смѣхъ, хлопаетъ да хлопаетъ, а кровь у тебя кипитъ да кипитъ. Пропадетъ вещь: весь домъ перероешь, а она у тебя подъ носомъ—вотъ что!

— Какое рабство! сказалъ Райскій.—И такъ всю жизнь прожить, растеряться въ мелочахъ! За чѣмъ же, для какой цѣли эти штуки, бабушка, дѣлаетъ кто-то, по вашему мнѣнію, съ умысломъ? Нѣтъ, я отчаиваюсь воспитать васъ... Вы испорчены!

— Для какой цѣли? повторила она: а для такой, чтобъ человѣкъ не засыпалъ и не забывался, а помнилъ, что надъ нимъ кто-нибудь да есть; чтобы онъ шевелился, оглядывался, думалъ, да заботился. Судьба учить его терпѣнію, дѣлаетъ ему характеръ,

чтобъ поворачивался живо, оглядывался на все зоркимъ глазомъ, не лежалъ на боку и дѣлалъ, что каждому опредѣлилъ Господь...

— То-есть, вы думаете, что къ человѣку приставленъ какой-то невидимый квартальный надзиратель, чтобъ будить его?

— Шутя, а шутя правду сказалъ, замѣтила бабушка.

— Какъ жизнь-то эластична! задумчиво произнесъ Райскій.

— Что?

— Я думаю—говорилъ онъ, не то Марейникъ, не то про себя—во что хочешь вѣруй: въ божество, въ математику, или въ философію, жизнь поддается всему. Ты, Марейника, гдѣ училась?

— Въ пансіонѣ у M-me Meyer.

— По тысячѣ двѣсти рублей ассигнаціями платила за каждую — сказала бабушка: обѣ пять лѣтъ были тамъ.

— Ты помнишь Птоломееву систему міра?

— Птоломей... вѣдь это царь былъ... сказала Марейника, немного покраснѣвъ отъ того, что не помнила никакой системы.

— Да, царь и ученый: ты знаешь, что прежде въ центрѣ міра полагали землю, и все обращалось вокругъ нея, потомъ Галилей, Коперникъ нашли, что все обращается вокругъ солнца, а теперь открыли, что и солнце обращается вокругъ другого солнца. Проходили вѣка—и явленія физическаго міра поддавались всякой изъ этихъ теорій. Такъ и жизнь:

подводили ее подъ фатумъ, потомъ подъ разумъ, подъ случай—подходить ко всему. У бабушки есть какой-то домовой....

— Не домовой, а Богъ и судьба, сказала она.

— Слѣдовательно двое, и вотъ шестьдесятъ лѣтъ, со всѣми маленькими явленіями, улеглись въ эту теорію. И какъ ловко приплось! А тутъ мучаешься, бьешься.... изъ чего?

Онъ мысленно проводилъ параллель между собою и бабушкой.

«Я бьюсь, размышлялъ онъ, чтобы быть гуманнымъ и добрымъ: бабушка не подумала объ этомъ никогда, а гуманна и добра.

«Я недоувѣрчивъ, холоденъ къ людямъ и горячъ только къ созданіямъ своей фантазіи, бабушка горяча къ ближнему и вѣритъ во все. Я вижу, гдѣ обманъ, знаю, что все—иллюзія, и не могу ни къ чему привязаться, не нахожу ни въ чемъ примиренія: бабушка не подозрѣваетъ обмана ни въ чемъ и ни въ комъ, кромѣ купцовъ, и любовь ея, снисхожденіе, доброта, покоятся на тепломъ довѣріи къ добру и людямъ, а если я.... бываю снисходителенъ, такъ это изъ холоднаго сознанія принципа, у бабушки принципъ весь въ чувствѣ, въ симпатіи, въ ея натурѣ! Я ничего не дѣлаю, она весь вѣкъ трудится...»

XI.

Онъ задумался, и отъ бабушки перепесъ глаза на Марейну и съ нѣжностью остановилъ ихъ на ней. «А что, думалось ему: не увѣровать-ли и мнѣ въ бабушкину судьбу, (здѣсь всему вѣрится) и не смириться-ли, не склонить-ли голову подъ иго этого кроткаго быта, не стать-ли героемъ тихаго романа? «Судьба» пошлетъ и мнѣ долю, «удачу, счастье». Право, не жениться-ли?..» Онъ потянулся и зѣвнулъ, глядя на Марейну, любясь нѣжной бѣлизной ея лба, мягкостью и здоровымъ цвѣтомъ щекъ и рукъ. Какъ онъ ни разглядывалъ ее; какъ ни пыталъ, съ какой стороны ни заходилъ, а все видѣлъ пока только, что Марейнка была свѣжая, бѣлокурая, здоровая, склонная въ полнотѣ дѣвушка, живая и веселая. Она прилежна, любитъ шить, рисуетъ. Если сядетъ за шитье, то углубится серьезно и молча, долго можетъ просидѣть; сядетъ за фортепіано, непременно проиграетъ все до конца, что предположить; книгу прочтетъ всю и долго рассказываетъ о томъ, что читала, если ей понравится. Поетъ, ходитъ за цвѣтами, за птичками, любитъ домашнія заботы, охотница до лакомствъ. У ней есть шкапикъ, гдѣ всегда спрятанъ изюмъ, черносливъ, конфекты. Она разливаетъ чай, и вообще присматриваетъ за хозяйствомъ. Она любитъ воздухъ; ей нужды нѣтъ загорѣть: она любитъ, какъ ящерица, зной. Желанія у ней враща-

ются въ кругу ея быта: она любитъ, чтобы святая недѣля была сухая, любитъ святки, сильный морозъ, чтобы сани скрипѣли и за носъ щипало. Любитъ катанье и танцы, толпу, праздники, прїѣздъ гостей и выѣзды съ визитами — до страсти. Охотница до нарядовъ, украшеній, мелкихъ бездѣлокъ на столѣ, на этажеркахъ. Но не смотря на страсть къ танцамъ, ждетъ съ нетерпѣніемъ лѣта, поры плодовъ, любитъ, чтобы много вишенъ уродилось и арбузы вышли большіе, а яблоковъ народилось бы столько, какъ ни у кого въ садахъ.

Марейнюку всегда слышно и видно въ домѣ. Она, то смѣется, то говоритъ громко. Голосъ у ней прїятный, грудной, звонкій, въ саду слышно, какъ она пѣсенку поетъ на верху, а черезъ минуту слышишь ужъ ея говоръ на другомъ концѣ двора, или раздается смѣхъ по всему саду.

Еще въ дѣтствѣ, бывало, узнаетъ она, что у мужика пала корова или лошадь, она влѣзетъ на колѣни къ бабушкѣ и выпроситъ лошадь и корову. Изба ретха, или строеніе на дворѣ, она попроситъ лѣску. Умеръ у бабы сынъ, мать отстала отъ работы, сидѣла въ углу какъ убитая, Марейнюка каждый день ходила къ ней и сидѣла часа по два, глядя на нее, и приходила домой съ распухшими отъ слезъ глазами. Коли мужикъ заболѣвалъ трудно, она приласкается къ Ивану Богдановичу, лекарю, и сама вскочитъ къ нему на дрожки и повезетъ въ деревню. То и дѣло проситъ у бабушки чего-нибудь: холста, коленкору, сахару, чаю, мыла. Дѣвкамъ даетъ ста-

рыя платья, велить держать себя чисто. Къ слѣпому старику посить чего-нибудь лакомаго поѣсть, или дать немного денегъ. Знаетъ всѣхъ бабъ, даже ребятишекъ по именамъ, послѣднимъ покупаетъ башмаки, шьетъ рубашонки и крестить почти всѣхъ поворожденныхъ. Если случится свадьба, Мароинька не знаетъ предѣла щедрости: съ трудомъ ее ограничиваетъ бабушка. Она даетъ бѣлье, обувь, придумаетъ какой-нибудь затѣйливый сарафанъ, истратитъ всѣ свои карманныя деньги и долго послѣ того экономничаетъ. Только пьяницъ, какъ бабушка же, не любила, и однажды даже замахнулась зонтикомъ на мужика, когда онъ, пьяный, хотѣлъ ударить при ней жену. Когда идетъ по деревнѣ, дѣти отъ нея безъ ума: они, завидя ее, бѣгутъ къ ней толной, она раздаетъ имъ пряники, орѣхи, иною приведетъ къ себѣ, умоетъ, возится съ ними. Всѣ собаки въ деревнѣ знаютъ и любятъ ее; у ней есть любимыя коровы и овцы.

Она никогда не задумывалась, а смотрѣла на все бодро, зорко.

Когда не было никого въ комнатѣ, ей становилось скучно, и она шла туда, гдѣ кто-нибудь есть. Если разговоръ на минуту смолкнетъ, ей ужъ не ловко станетъ, она зѣвнетъ и уйдетъ, или сама заговорить. Въ будни она ходила въ простомъ шерстяномъ или холстинковомъ платьѣ, въ простыхъ воротничкахъ, а въ воскресенье непременно нарядится, зимой въ шерстяное или шелковое, лѣтомъ въ кисейное платье, и держать себя немного

важнѣе, особенно до обѣдни, не сядетъ гдѣ попало, не примется ни за домашнее дѣло, ни за рисованіе, развѣ послѣ обѣдни поиграетъ на фортепіано. «Счастливое дитя! думалъ Райскій, любуясь ею: проснешься-ли ты, или проиграешь и пропоешь жизнь подъ защитой бабушкиной «судьбы»? Попробовать разбудить этотъ сонъ... что будетъ?...

— Пойдемъ, Марейника, гулять, сказалъ онъ однажды вскорѣ послѣ пріѣзда. — Покажи мнѣ свою комнату и комнату Вѣрочки, потомъ хозяйство, знакомъ съ дворней. Я еще не оглядѣлся.

Онъ ничѣмъ не могъ сдѣлать ей больше удовольствія. Она весело побѣжала впередъ, отворяя ему двери, обращая его вниманіе на каждую мелочь, болтая, прыгая, напѣвая.

Въ ея комнатѣ было все уютно, миниатюрно и весело. Цвѣты на окнахъ, птицы, маленькій кіотъ надъ постелью, множество разныхъ коробочекъ, ларчиковъ, гдѣ напратано было всякаго добра, лоскутковъ, нитокъ, шелковъ, вышиванья (она славно шила шелкомъ и шерстью по канвѣ). Въ ящикахъ лежали ладонки, двойныя сросшіеся орѣшки, восковые огарочки, въ папкахъ пасушено было множество цвѣтовъ, на окнахъ лежали найденные на Волгѣ въ пескѣ цвѣтные камешки, раковинки. Стѣну занималъ большой шкафъ съ платьями — и все въ порядкѣ, все чисто прибрано, уложено, завѣшано. Постель была маленькая; но заваленная подушками, съ узорчатымъ шелковымъ на ватѣ одѣяломъ, обшитымъ кисейной бахромой. По стѣнамъ висѣли

англійскія и французскія гравюры, взятыя изъ стараго дома и изображающія семейныя сцены: то старика, уснувшаго у камина и старушку, читающую библию, то мать и кучу дѣтей около стола, то снимки съ Теньеровскихъ картинъ, наконецъ голову собаки и множество вырѣзанныхъ изъ книжекъ картинъ, съ животными, даже нѣсколько картинокъ модъ.

Она отворила шкапъ, откуда пахнуло запахомъ сластей.

— Не хотите ли миндалю? спросила она.

— Нѣтъ, не хочу.

— Ну, изюму? это кишмишъ, мелкій, сладкій такой.—Она разгрызла орѣхъ и взяла въ ротъ двѣ изюминки.

— Пойдемъ въ комнату Вѣры: я хочу видѣть! сказалъ Райскій.

— Надо сходить за ключомъ отъ стараго дома: Райскій подождалъ на дворѣ. Яковъ принесъ ключъ, и Марейника съ братомъ поднялись на лѣсницу, прошли большую переднюю, корридоръ, взошли во второй этажъ и остановились у двери комнаты Вѣры.

Райскій уже нарисовалъ себѣ мысленно эту комнату: представилъ себѣ мебель, убранство, гравюры, мелочи, почему-то все не такъ, какъ у Марейники, а иначе.

Онъ съ любопытствомъ переступилъ порогъ, оглядѣлъ комнату и—обманулся въ ожиданіи: тамъ ничего небыло! «Вотъ бабушка сказала бы, подумалъ онъ, что судьба подшутила: ожидаешь одного, не оглянешься, не усумнишься, забудешься—и обманетъ». Простая про-

вать съ большимъ занавѣсомъ, тонкое бумажное одѣ-
яло и одна подушка. Потомъ диванъ, коверъ на полу,
круглый столъ передъ диваномъ, другой маленькій
письменный у окна, покрытый клеенкой, на кото-
ромъ однакоже не было признаковъ письма, неболь-
шое старинное зеркало и простой шкафъ съ плать-
ями. И все тутъ. Ни гравюры, ни книги, никакой
мелочи, почему бы можно было узнать вкусъ и склон-
ности хозяйки.

— Гдѣ же у ней все? спросилъ Райскій.

— У ней ничего нѣтъ.

— Какъ ничего? гдѣ чернильница, бумаги?...

— Это все въ столѣ — и ключъ у ней.

Райскій подошелъ сначала къ одному, потомъ къ
другому окну. Изъ оконъ открывались виды на
поля и деревню съ одной стороны, на садъ, обрывъ
и новый домъ съ другой.

— Пойдемте, братецъ, отсюда: здѣсь пустотой
пахнетъ, сказала Марѣинья: какъ ей не страшно
одной: я бы умерла! А она еще не любитъ, когда
къ ней сюда придешь. Безстрашная такая! пожа-
луй, на кладбище одна ночью пойдетъ, вонъ туда:
видите? — Она указала ему изъ окна на кучу кре-
стовъ, сжавшихся тѣсно на холмѣ, поодаль отъ
крестьянскихъ дворовъ.

— А ты не ходишь? спросилъ онъ.

— Я днемъ хожу туда, и то съ Агафьей, или
мальчишку изъ деревни возьму. А то такъ на по-
хороны, если мужичекъ умретъ. У насъ, слава
Богу, рѣдко мрутъ.

Райскій опять поглядѣлъ на пустую комнату, старался припомнить черты маленькой Вѣры и припоминалъ только тоненькую, черпенькую дѣвочку, съ темнокарими глазками, съ бѣленькими зубками, и часто съ замаранными ручонками. «Какая же она теперь? «Хорошенькая», говоритъ Марейнька и бабушка тоже: «увидимъ!» думалъ онъ, а теперь пока шель слѣдомъ за Марейнькой.

ХІІ.

Они вышли на другой дворъ, гдѣ были разныя службы, кладовыя, людскія, погреба и конюшни. На дворѣ все суетилось, въ кухнѣ трещалъ огонь, въ людской обѣдали люди, въ сараѣ Тарасъ возился около экипажей, Прохоръ велъ поить лошадей. За столомъ въ людской слышался разговоръ. До Райскаго и Марейньки долеталъ грубый говоръ, грубый смѣхъ, смѣшанные голоса, внезапно пріутихшіе, какъ скоро люди изъ оконъ замѣтили барина и барышню.

Однако до нихъ успѣлъ долетѣть маленькій отрывокъ изъ дружелюбной бесѣды.

— А что, Мотья: вѣтъ ты скоро умрешь! говорилъ, не то Егорка, не то Васька.

— Полно тебѣ, не грѣши! унималъ его задумчивый и набожный Яковъ.

— Право, ребята, помяните мое слово, продолжалъ первый голосъ: у кого грудь ввалилась, волосы изъ дымчатыхъ сдѣлались красными, глаза ушли въ лобъ, — тотъ безпремѣнно умретъ... Прощай, Мотинька: мы тебѣ гробокъ сколотимъ, да полѣнцо въ голову положимъ...

— Нѣтъ, погоди: я тебя еще вздую... отозвался голосъ, должно быть Мотьки.

— На ладонь дышешь, а задоришься! Поцѣлуйте его, Матрена Ѳадеевна: вонъ онъ какой красавецъ: лучше покойника не найдешь!.. И пятна желтыя на щекахъ: прощай Мотя...

— Полно Бога гнѣвить! строго унималъ Яковъ.

Дѣвки тоже вступились за больного и напали на озорника.

Вдругъ этотъ разговоръ нарушенъ былъ чѣмъ-то воплемъ съ другой стороны. Изъ дверей другой людской вырвалась Марина и быстро, почти не перебирая ногами, промчалась черезъ дворъ. За ней вслѣдъ вылетѣло полѣно, очевидно направленное въ нее, но, благодаря ея увертливости, пролетѣвшее мимо. У ней однакожъ были растрепаны волосы, въ рукѣ она держала гребенку и выла.

— Чтò такое? не успѣлъ спросить Райскій, какъ она очутилась возлѣ нихъ. «Чтò это, баринъ!» вопила она съ плачущимъ, искаженнымъ лицомъ, остановясь передъ нимъ и указывая на дверь, изъ которой выбѣжала. «Чтò это такое, барышня! обрательная она увидѣвши Марѣиньку, житья нѣтъ!» Тутъ же, увидѣвъ выглядывавшій на нее изъ кухни

лица дворни, она вдругъ сквозь слезы засмѣялась и показала рядъ бѣлыхъ, блестящихъ зубовъ, потомъ опять быстро смѣхъ смѣнился плачущей миной. «Я къ барынѣ пойду: онъ убьетъ меня!» — говорила она и пронеслась въ домъ.

— Что такое? спрашивалъ Райскій у людей. Егорка скалилъ зубы, у иныхъ женщинъ былъ тоже смѣхъ на лицѣ, прочія опустили головы и молчали. — Что такое? повторилъ Райскій, обращаясь къ Маренинкѣ. Изъ дома слышались жалобы Марины, прерываемыя выговорами Татьяны Марковны.

Райскій вошелъ въ комнату.

— Вотъ посмотри, каково ее мужъ отдѣлалъ! обратилась бабушка къ Райскому. — А за дѣло, негодяйка, за дѣло!

— Понапрасну, барыня, все понапрасну. Пѣсь его знаетъ, что померещилось ему, чтобъ сгинуть ему, проклятому! Я ходила въ кусты, сучьевъ наломать, тутъ встрѣтился графскій садовникъ: дай, говорить — я тебѣ помогу, и дотащилъ сучья до калитки, а Савелій выдумалъ...

— Врешь, врешь, негодяйка! строго говорила барыня? не даромъ, не даромъ!

— Вотъ сквозь землю провалиться! Дай Богъ до утра не дожить...

— Перестань клясться! На той недѣлѣ ты выпросилась ко всеобщей, а тебя видѣли въ слободкѣ съ фельдшеромъ...

— Не я, барыня, дай Богъ околѣтъ мнѣ на этомъ мѣстѣ...

— Какъ же Яковъ тебя видѣлъ? онъ лгать не станетъ!

— Не я, барыня, должно быть, чортъ былъ во образѣ моемъ...

— Прочь съ глазъ моихъ! Позвать ко мнѣ Савелья! заключила бабушка.

— Борисъ Павлычъ, ты баринъ, разбери ихъ!

— Я ничего не понимаю!—сказалъ онъ. Савелій встрѣтился съ Мариной на дворѣ. До ушей Райскаго долетѣлъ звукъ глухого удара, какъ будто кулакомъ по спинѣ, или по шеѣ, потомъ опять визгъ, плачъ.

Марина рванулась, быстро пробѣжала черезъ дворъ и скрылась въ людскую, гдѣ ее встрѣтилъ хохотъ, на который и она, отирая передникомъ слезы и втыкая гребень въ растрепанные волосы, отвѣчала хохотомъ же. Потомъ опять боль напомнила о себѣ. «Дьяволъ, лѣшій, чтобъ ему издохнуть!»—говорила она, то плача, то отвѣчая, на злой хохотъ дворни, хохотомъ.

Савелій, съ опущенными глазами, неловко и тяжело переступилъ порогъ комнаты и сталъ въ углу.

— Что это ты не уймешься, Савелій? начала бабушка выговаривать ему. — Долго ли до грѣха? вѣдь ты такъ когда-нибудь ударишь, что и духъ вонъ, а проку все не будетъ.

— Собакѣ собачья и смерть! мрачно проговорилъ Савелій, глядя въ землю. На лбу у него собрались крупныя складки; онъ былъ блѣденъ.

— Ну, какъ хочешь, а я держать тебя не стану,

я не хочу уголовного дѣла въ домѣ. Шутка ли, что попадется подъ руку, съ плеча и бьетъ! Вѣдь я говорила тебѣ: не женись, а ты все свое, не послушалъ—и вотъ!

— Это точно что... проговорилъ онъ тихо, опуская голову.

— Это въ послѣдній разъ! замѣтила бабушка. — Если еще разъ случится, я ее отправлю въ Новоселово.

— Чтожъ съ ней дѣлать? тихо спросилъ Савелій.

— А что ты сдѣлаешь дракой? Уймется что ли она?

— Все-таки... острастка... сказалъ Савелій, глядя въ землю.

— Ступай, да чтобъ этого не было, слышишь?

Онъ медленно взглянулъ изподлобья, сначала на барыню, потомъ на Райскаго, и медленно обернувшись, задумчиво прошелъ дворъ, отворилъ дверь и бокомъ перешагнулъ порогъ своей комнаты. А Егорка, пока Савелій шелъ по двору, скаля зубы, показывалъ на него сзади пальцемъ дворнѣ и толкалъ Марину къ окну, чтобы она взглянула на своего супруга. «Отстань ты, чортъ этакой!» И она съ досадою замахнулась на него, потомъ широко улыбнулась, показывая зубы.

— Что это такое, бабушка? спросилъ Райскій.

Бабушка объяснила ему это явленіе. Въ дворню изъ деревни была взята Марина дѣвчонкой шестнадцати лѣтъ. Проворствомъ и способностями она превзошла всѣхъ и каждаго и превзошла ожиданія бабушки. Не было дѣла, котораго бы она не разу-

мѣла; гдѣ другому надо часъ, ей не нужно и пяти минутъ. Другой только еще выслушаетъ приказаніе, почешетъ голову, спину, а она ужъ на другомъ концѣ двора, ужъ сдѣлала дѣло, и всегда отлично, и воротилась. Позовутъ ли ее одѣть барышень, гладить, сбѣгать куда-нибудь, убрать, приготовить, купить, на кухнѣ ли помочь: въ нее всю какъ-будто вложена какая-то молнія, рукамъ дана цѣпкость, глазу вѣрность. Она все замѣтитъ, угадаетъ, сообразитъ и сдѣлаетъ — въ одну и ту же минуту. Она вѣчно двигалась, дѣлала чтѣ-нибудь, и когда остановится безъ дѣла, то руки хранятъ пріемъ, по которому видно, что она только-что дѣлала чтѣ-нибудь или собирается дѣлать. И чиста она была на руку: ничего не стащить, не спрячетъ, не присвоить, не корыстна и не жадна: не съѣстъ тихонько. Даже немного ѣла, все на ходу; моетъ посуду и съѣстъ чтѣ-нибудь съ собранныхъ съ господскаго стола тарелокъ, какой-нибудь огурецъ, или хлебнетъ стоя щей ложки двѣ, отщипнетъ кусочекъ хлѣба и ужъ опять бѣжитъ.

Татьяна Марковна не знала ей цѣны, и сначала взяла ее въ комнаты, потомъ, по просьбѣ Вѣрочки, отдала ей въ горничныя. Въ этомъ званіи Маринѣ мало было дѣла, и она продолжала дѣлать все и за всѣхъ въ домѣ. Вѣрочка какъ-то полюбила ее, и она полюбила Вѣрочку и умѣла угадывать по глазамъ, чтѣ ей нужно, чтѣ нравилось, чтѣ нѣтъ.

Но... несмотря на все это, бабушка разжаловала ее изъ камерфрейлинъ въ дворовыя дѣвки,

потомъ обрекла на черную работу, мыть посуду, бѣлье, полы и т. п. Только ради ея проворства и способностей, она оставлена была при старомъ домѣ и продолжала пользоваться довѣренностью Вѣры, и та употребляла ее по своимъ особымъ порученіямъ.

Марина потеряла милости барыни за то, что познала «любовь и ея тревоги», въ лицѣ Никиты, потомъ Петра, потомъ Терентья, и такъ далѣе, и такъ далѣе. Не было лакея въ дворнѣ, виднаго парня въ деревнѣ, на которомъ бы она не остановила благосклоннаго взгляда. Границъ и предѣловъ ея любвамъ не было. Будь она въ Москвѣ, въ Петербургѣ, или другомъ городѣ и положеніи, — тамъ опасеніе, страхъ лишиться хлѣба, мѣста, положили бы какую-нибудь узду на ея склонности. Но въ ея обезпеченномъ состояніи крѣпостной дворовой дѣвки, узды не существовало. Ее не прогонять, куска хлѣба не лишать, а къ стыду можно притерпѣться, какъ скоро однажды навсегда узнаеть все тѣсный кружокъ лицъ, съ которыми она болѣе или менѣе состояла въ родствѣ, кумовствѣ, или нѣжныхъ отношеніяхъ.

Марина была, не то что хороша собой, а было въ ней что-то втягивающее, раздражающее, нельзя назвать, что именно, что привлекало къ ней многочисленныхъ поклонниковъ: не то скользящій быстро по предметамъ, ни на чемъ не останавливающійся взглядъ этихъ, изъ желта-сѣрыхъ, лукавыхъ и безстыжихъ глазъ, не то какая-то неренная дрожь плечъ

и бедра, и подвижность, игра во всей фигурѣ, въ щекахъ, въ губахъ, въ рукахъ; легкій, будто летучій шагъ, широкая ли, внезапно все лицо и рядъ бѣлыхъ зубовъ освѣщавшая улыбка, какъ-будто къ нему вдругъ поднесутъ въ темнотѣ фонарь, также внезапно пропадающая и уступающая мѣсто слезамъ, даже, когда нужно, воплямъ — Богъ знаетъ что! Только кто съ ней поговорить, поглядить на нее, а она на него, даже кто просто встрѣтитъ ее, тотъ поворотитъ съ своей дороги и пойдетъ за ней. Она даже не радѣла слишкомъ о своемъ туалетѣ, особенно, когда разжаловали ее въ чернорабочія: платье на ней толстое, рукава засучены, шея и руки по локоть грубы отъ загара и отъ работы; но сейчасъ же, за чертой загара, начиналась бѣлая, мягкая кожа. Сложена она была хорошо: талія ея, безъ корсета и кринолина, тонко и стройно покачивалась надъ грязной юбкой, когда она неслась по двору, будто летѣла.

Съ Савельемъ случилось тоже, что съ другими: т. е. онъ поглядѣлъ на нее раза два изподлобья, и хотя былъ не красивъ, но удостоился ея благо-склоннаго вниманія, ни болѣе ни менѣе, какъ прочіе. Потомъ пошелъ къ барынѣ просить позволенія жениться на Маринѣ. «Ты съума сошелъ!» въ изумленіи сказала Татьяна Марковна. «Я выкупъ дамъ», произнесъ въ отвѣтъ на это Савелій. — «Не надо мнѣ выкупа, а ты знаешь ее: какъ же ты будешь жить?» — «Это мое дѣло», промолвилъ Савелій. Бережкова дала ему сроку двѣ недѣли, и черезъ двѣ не-

дѣли ровно онъ пришелъ въ комнаты и сталъ въ углу. «Что ты?» — «Позвольте повѣнчаться», былъ отвѣтъ. «Да вѣдь она не уймется!» — «Уймется, не будетъ!» — «Ну, смотри, пеняй на себя! Я напишу къ Борису Павловичу, Марина не моя, а его, — какъ онъ хочетъ.» Бабушка написала, Райскій ничего не отвѣчалъ, и Савелій женился.

Марина не думала мѣняться, и о супружествѣ имѣла темное понятіе. Не прошло двухъ недѣль, какъ Савелій засталъ у себя въ гостяхъ гарнизоннаго унтеръ-офицера, который быстро ускользнулъ изъ дверей и перелѣзъ черезъ заборъ. Савелій поблѣднѣлъ и вопросительно взглянулъ на жену: та истощила весь запасъ клятвъ, ничего не помогло. Онъ подумалъ немного, потупившись, крупныя складки показались у него на лбу, потомъ заперъ дверь, медленно засучилъ рукава, и взявъ старую возжу, изъ висѣвшихъ на гвоздѣ, началъ отвѣшивать медленные, но тяжелые удары по чему ни попало. Марина выказала всю данную ей природой ловкость, извиваясь какъ змѣя, бросаясь изъ угла въ уголь, прыгая на лавки, на столы, металась къ окнамъ, на печь, даже пробовала въ печь: возжа слѣдовала за ней и доставала ее повсюду, пока, наконецъ, Марина не попала случайно на дверь. Она откинула крючекъ съ петли, и избитая, растрепанная, съ плачемъ и воплемъ, вырвалась на дворъ. Дворня съ ужасомъ внимала этому истязанію, вопли дошли до слуха барыни. Она съ тревогой вышла на балконъ: тутъ жертва супружескаго гнѣва предстала

передъ ней съ тѣми же воплями, жалобами и клят-
вами, какихъ былъ свидѣтелемъ Райскій. Но этотъ
урокъ не повелъ ни къ чему. Марина была все таже,
опять претерпѣвала истязаніе и бѣжала къ барынѣ,
или ускользала отъ мужа и пряталась дня три на
чердакахъ, по сараямъ, пока не проходилъ первый
пыль. Она была живуча, какъ кошка, и быстро
оправлялась отъ побоевъ, сама дружно и безстыдно
раздѣляла смѣхъ дворни надъ ревностью мужа, надъ
его стараніями испраить ее, и даже надъ побоями.

Но Савелій мѣнялся, сталъ худѣть, рѣже по-
казывался въ людской, среди дворни, и сильно
задумывался. На жену онъ и прежде смотрѣлъ из-
подлобья, а потомъ почти вовсе не глядѣлъ, но всегда
зналъ, въ какую минуту гдѣ она, что дѣлаетъ. Этому
она сама надивиться не могла: ужъ она ли не про-
ворна, она-ли не мастерица скользнуть какъ тѣнь
изъ одной двери въ другую, изъ переулка въ сло-
бодку, изъ сада въ лѣсъ—нѣтъ, увидитъ, узнаетъ,
точно чутьемъ, и явится, какъ тутъ, и почти все-
гда съ возжей! Это составляло зрѣлище, потѣху
дворни.

Савелій падалъ духомъ, молился Богу, сидѣлъ
молча, какъ бирюкъ, у себя въ клѣтушкѣ, тяжело
покрывая. Между тѣмъ онъ же впадалъ въ стран-
ное противорѣчіе: на ярмаркѣ онъ всѣ деньги ис-
тратить на жену, купить ей платье, платковъ, баш-
маковъ, серьги какія-нибудь. На святую недѣлю,
молча, поведетъ ее подъ качели и столько накупить,
и молча же, насуетъ ей въ руки орѣховъ, прини-

ковъ, черныхъ стручевъ, моченыхъ грушъ, что она унотчуетъ всю дворню.

— Чтò ты скажешь? спросила Татьяна Марковна, сообщивъ всѣ эти подробности внуку.

— Это прелесть! сказалъ онъ.—Это цѣлая драма! И сейчасъ въ головѣ у него быстро возникъ очеркъ народной драмы. Какъ этотъ угрюмый, сосредоточенный характеръ мужика могъ сложиться въ цѣльную, оригинальную и сильную фигуру? Какъ не опошлится онъ среди всякой мелочи? Какъ устояла страсть среди этого омута разврата? Онъ надивиться не могъ и далъ себѣ слово глубже вникнуть въ источникъ этого характера. И Марина улыбалась ему въ художественномъ очеркѣ. Онъ видѣлъ въ ней, не просто распущенную дворовую женщину, въ родѣ горькихъ, безнадежныхъ пьяницъ между мужчинами, а безкорыстную жрицу культа, «матерь наслажденій»...

— Что же съ ними дѣлать? спросила бабушка: надумался-ли ты? Не сослать ли ихъ?...

— Ахъ, нѣтъ, не трогайте, не мѣшайте! съ испугомъ вступился онъ.—Вы мнѣ испортите эту живую, натуральную драму...

— Ну, скажите на милость: не трогать! Онъ убьетъ ее.

— Такъ что-же! У насъ нѣтъ жизни, нѣтъ драмъ вовсе: убиваютъ въ дракѣ, пьяные, какъ дикари! А тутъ, въ кои-то вѣки завязался настоящій человѣческій интересъ, сложился въ драму, а

вы — мѣшать!... Оставьте, ради Бога! Посмотримъ, чѣмъ это разрѣшится... кровью, или...

— Вотъ что я сдѣлаю, сказала Татьяна Марковна: попрошу священника, чтобъ онъ поговорилъ съ Савельемъ: да кстати, Борюшка, и тебя надо отчитать. Радуется, что бѣда надъ головой!

— Скажите, бабушка: Марина одна такая у насъ, или....

Бабушка сердито махнула рукой на дворню.

— Всѣ въ родствѣ! съ омерзѣніемъ сказала она: Матрешка неразлучна съ Егоркой, Машка, помнишь, за дѣтми ходила дѣвчонка? у Прохора въ сараѣ живмя живетъ. Акулина съ Нивиткой, Танька съ Васькой... Только Василиса да Яковъ и есть порядочные! Но тѣ всѣ прячутся, стыдъ еще есть: а Марина!...

Она плюнула, а Райскій засмѣялся.

— Сейчасъ же пойду, непременно набросаю очеркъ... сказалъ онъ: — слава Богу, страсть! Прошу покорно — Савелій!

— Опять «непременно!» замѣтила бабушка.

Онъ живо вскочилъ, и только хотѣлъ бѣжать къ себѣ, какъ, и бабушка, и онъ, оба увидали Полину Карповну Крицкую, которая входила на крыльцо и уже отворяла дверь. Спрятаться и отказать не было возможности: поздно.

— Вотъ тебѣ и «непременно!» шепнула Татьяна Марковна: видишь! Теперь пойдетъ таскаться, не отъучишь ее! Принесла нелегкая! стоить Марины! Что это, по твоему: тоже драма?

— Нѣтъ, это, кажется... комедія! сказалъ Райскій и поневолѣ сталъ всматриваться въ это явленіе.

— *Bon-jur, bon-jur!* нѣжно пришепetyвала Полина Карповна: какъ я рада, что вы дома; вы не хотите посѣтить меня, я сама опять пришла. Здравствуйте, Татьяна Марковна!

— Здравствуйте, Полина Карповна! живо заговорила бабушка, переходя внезапно въ радушный тонъ: милости просимъ, садитесь сюда, на диванъ! Василиса, кофе, завтракъ чтобъ былъ готовъ!

— Нѣтъ, *merci*, я пила.

— Помилуйте, какъ можно, теперь рано: до обѣда долго.

— Нѣтъ, я ничего не хочу, благодарю васъ.

— Нельзя же: отъ васъ далеко... И бабушка настояла, чтобъ подали кофе. Райскій съ любопытствомъ глядѣлъ на барыню, набѣленную пудрой, въ локонахъ, съ розовыми лентами на шляпкѣ и на груди, значительно открытой, и въ ботинкѣ пятилѣтняго ребенка, такъ что кровь отъ этого прилила ей въ голову. Перчатки были новыя, желтыя лайковыя, но онѣ лопнули по швамъ, потому что были меньше руки. За ней шелъ только-что выпущенный кадетъ, съ чуть-чуть пробивающимся пушкомъ на бородѣ. Онъ держалъ на рукѣ шаль Полины, зонтикъ и вѣеръ. Онъ, вытянувъ шею, стоялъ почти не дыша за нею.

— Вотъ, позвольте познакомить васъ: Michel Раминъ, въ отпуску здѣсь... Татьяна Марковна уже знакома съ нимъ.

Юноша, вмѣсто поклона, болтнулся всей фигурой, густо покраснѣлъ, и опять окоченѣлъ на мѣстѣ.

— *Dites quelque chose, Michel!* сказала вполголоса Крицкая. Но Мишель покраснѣлъ еще гуще и остался на мѣстѣ.

— *Asseyez-vous donc*, сказала она и сама сѣла.

— Нынче жарко: *très cheux!* продолжала она: гдѣ мой вѣеръ? Дайте его сюда, Michel!—Она начала обмахиваться, глядя на Райскаго.

— Не хотѣли посѣтить меня! повторила она.

— Я нигдѣ не былъ, сказалъ Райскій.

— Не говорите, не оправдывайтесь; я знаю причину: боялись....

— Чего?

— *Ah, le monde est si méchant!*

— Чортъ знаетъ, что такое! думалъ Райскій, глядя на нее во всѣ глаза.

— Такъ? угадала? говорила она.—Я еще въ первый разъ замѣтила, *que nous nous entendons!* Эти два взгляда—помните? *Voilà, voilà, tenez...* этотъ самый! о, я угадываю его....

Онъ засмѣялся.

— Да, да: правда? О, *nous nous convenons!* Что касается до меня, я умѣю презирать свѣтъ и его мнѣнія. Не правда ли, это заслуживаетъ презрѣнія? Тамъ, гдѣ есть искренность, симпатія, гдѣ люди понимаютъ другъ друга, иногда безъ словъ, по одному такому взгляду....

— Кофейку, Полина Карповна! прервала ее Татьяна Марковна, подвигая къ ней чашку. «Не

слушай ее! шепнула она, косясь на полуоткрытую грудь Крицкой: все вретъ, безстыжая!» Возьмите вашу чашку, прибавила она, обратясь къ юношѣ, вотъ и булки!

— *Débarassez-vous de tout cela*, сказала ему Крицкая, и взяла у него зонтикъ изъ рукъ. «Я, признаться ужъ пилъ...» подъ носъ себѣ произнесъ кадетъ, однако взялъ чашку, выбралъ побольше булку и откусилъ половину ея, точно отрѣзалъ, опять густо покраснѣвъ.

Полина Карповна вдова. Она все вздыхаетъ, вспоминая «несчастное супружество», хотя всѣ говорятъ, что мужъ у ней былъ добрый, смиренный человѣкъ и въ ея дѣла никогда не вмѣшивался. А она называетъ его «тираномъ», говорить, что молодость ея прошла безплодно, что она не жила любовью и счастьемъ, и вѣрить, что «часъ ея пробьетъ, что она полюбитъ и будетъ любить идеально».

Татьяна Марковна не совѣмъ была права, сравнивъ ее съ Мариной. Полина Карповна была покойнаго темперамента: она не искала такъ-называемаго «паденія», и измѣны своимъ обязанностямъ на совѣсти не имѣла. Не была она тоже сентиментальна, и если вздыхала, возводила глаза къ небу, разливалась въ нѣжныхъ рѣчахъ, то дѣлала это притворно, прибѣгая къ этому, какъ къ условнымъ приемамъ кокетства. Но ей до смерти хотѣлось, чтобъ кто-нибудь былъ всегда въ нее влюбленъ, чтобы объ этомъ знали и говорили всѣ въ

городѣ, въ домахъ, на улицѣ, въ церкви, т. е. что кто-нибудь по ней «страдаетъ» плачетъ, не спитъ, не ѣстъ, пусть бы даже это была неправда. Въ городѣ ее уже знаютъ, и она теперь старается заманивать новичковъ, заѣзжихъ студентовъ, прапорщиковъ, молодыхъ чиновниковъ. Она ласкаетъ ихъ, кормитъ, лакомитъ, раздражаетъ ихъ самолюбіе. Они адски ѣдятъ, пьютъ, накурятъ и уйдутъ. А она подъ рукой распускаетъ слухъ, что тотъ или другой «страдаетъ» по ней. «*Pauvre garçon!*» говорить она съ жалостью.

Теперь при ней состоялъ заѣзжій юноша, Michel Раминъ, пріѣхавшій прямо съ школьной скамьи въ отпускъ. Онъ держалъ себя прямо, мундиръ у него съ иголочки: онъ всегда застегнутъ на всѣ пуговицы, густо краснѣетъ, на вопросы, силымъ, робкимъ басомъ, говоритъ *да-сѣ* или *нѣтъ-сѣ*. У него были такіа большія руки, съ такими длинными и красными пальцами, что ни въ какія перчатки, кромѣ замшевыхъ, не входили. Онъ былъ одержимъ кадетскимъ аппетитомъ и институтскою робостью. Полина Карповна стала было угощать и его конфектами, но онъ стѣдалъ фунта по три въ одинъ присѣсть. Теперь онъ сопровождаетъ барыню вездѣ, таская шаль, мантилью и вѣеръ за ней. «*Je veux former le jeune homme, ce pauvre enfant!*» такъ объясняетъ она официально свои отношенія къ нему.

— Что вы намѣрены сегодня дѣлать? Я объѣдаю

у васъ: се projet vous sourit-il? обратилась она къ Райскому.

У бабушки внутри прошла судорога, но она и вида не подавала, даже выказала радость.

— Милости просимъ, Марейнька! Марейнька!

Вошла Марейнька. Крицкая весело поздоровалась съ ней, а юноша густо покраснѣлъ. Марейнька, поглядѣвъ на туалетъ Полины Карповны, хотѣла засмѣяться, но удержалась. При взглядѣ на ея спутника, лицо у ней наполнилось еще больше смѣхомъ.

— Мареа Васильевна! неожиданно, басомъ, сказалъ юноша: у васъ коза въ огородъ зашла — я видѣлъ: какъ бы въ садъ не забралась!

— Покорно благодарю, я сейчасъ велю выгнать. Это Машка, замѣтила Марейнька, она меня ищетъ. Я хлѣбца ей дамъ. — Бабушка пошептала ей на ухо, что приготовить для неожиданныхъ гостей къ обѣду, и Марейнька вышла.

— Въ городѣ всѣ говорятъ о васъ и всѣ въ претензіи, что вы до сихъ поръ ни у кого не были, ни у губернатора, ни у архіерея, ни у предводителя, — обратилась Крицкая къ Райскому.

— И я ему тоже говорила! замѣтила Татьяна Марковна, да нынче бабушекъ не слушаютъ. Не хорошо, Борисъ Павловичъ; ты бы съѣздилъ хоть къ Нилу Андреичу: уважилъ бы старика. А то онъ не проститъ. Я велю вычистить и вымыть коляску...

— Я не поѣду ни къ кому, бабушка, зѣвая сказалъ Райскій.

— А ко мнѣ? спросила Крицкая.

Онъ, глядя на нее, учтиво молчалъ.

— Не принуждайте себя: *de grâces, faites ce qu'il vous plaira*. Теперь я знаю вашъ образъ мыслей, я увѣрена (она сдѣлала удареніе на этихъ словахъ), что вы хотите.... и только слѣтъ... и злые языки....

Онъ засмѣялся.

Ну, да—да. Я вижу, я угадала! О, мы будемъ счастливы! Enfin!.. будто про себя шепнула она, но такъ, что онъ слышалъ.

«Ужели она часто будетъ душить меня?» думалъ Райскій, съ ужасомъ глядя на нее. «Куда спастись отъ нея? А она не годится и въ романъ: слишкомъ карикатурна! Никто не повѣритъ»...

ХІІІ.

Тихо тянулись дни, тихо вставало горячее солнце и обтекало синею небу, распростершееся надъ Волгой и ея побережьемъ. Медленно ползли снѣгообразныя облака въ полдень, и иногда, сжавшись въ кучу, потемняли лазурь и разсыпались веселымъ дождемъ на поля и сады, охлаждали воздухъ и уходили дальше, давъ просторъ тихому и теплomu вечеру. Если же вдругъ останавливалась надъ городомъ и Малиновкой (такъ звали деревушку Райскаго) черная туча и разрѣшалась продолжительной, почти тропической

грозой—все робѣло, смущалось, весь домъ принималъ, какъ-будто передъ нашествіемъ непріятеля, оборонительное положеніе. Татьяна Марковна походила на капитана корабля во время шторма. «Гасить огни, закрывать трубы, окна, запирайте двери!» слышалась ея команда. «Поди Василиса, посмотри, не курятъ-ли трубокъ? Нѣтъ-ли гдѣ сквозного вѣтра? Отойди, Марейнька, отъ окна!» Пока вѣтеръ качалъ и гнулъ къ землѣ деревья, столбами несъ пыль, метя поля, пока молніи жгли воздухъ и громъ тяжело, какъ хохотъ, катался въ небѣ, бабушка не смыкала глазъ, не раздѣвалась, ходила изъ комнаты въ комнату, заглядывала, что дѣлаютъ Марейнька и Вѣрочка, крестила ихъ и крестилась сама, и тогда только успокоивалась, когда туча, истративъ весь пламень и трескъ, блѣднѣла и уходила въ даль. Утромъ восходило опять радостное солнце и играло въ каждой повисшей на листьяхъ, капелькѣ, въ каждой лужѣ, заглядывало въ каждое окно и било въ стекла и щели счастливаго пріюта.

Такимъ же монотоннымъ узоромъ тянулась и жизнь въ Малиновкѣ. Райскій почти не чувствовалъ, что живетъ. Онъ кончилъ портретъ Марейньки и исправилъ литературный эскизъ Наташи, предполагая вставить его въ романъ впоследствии, когда раскинется и округлится у него въ головѣ весь романъ, когда явится «цѣль и необходимость» созданія, когда всѣ лица выльются каждое въ свою форму, какъ живыя,дохнутъ, окрасятся колоритомъ жизни и всѣ свяжутся между собою этою «необходимостью и цѣлью» — такъ

что, читая романъ, всякій скажетъ, что онъ былъ нуженъ, что его недоставало въ литературѣ. Онъ рѣшилъ писать его эпизодами, набрасывая фигуру, какая его займетъ, сцену, которая его увлечетъ или поразитъ, вставляя себя вездѣ, куда его повлечетъ ощущение, впечатлѣніе, наконецъ чувство и страсть, особенно страсть! «Ахъ, дай Богъ, страсть!» молилъ онъ иногда, томимый скукой.

Онъ бы уже соскучился въ своей Малиновкѣ, уѣхалъ бы искать въ другомъ мѣстѣ «жизни», радостно захлебываться ею подъ дыханіемъ страсти, или не находить по обыкновенію ни въ чемъ примиренія съ своими идеалами, страдать отъ уродливостей и томиться мертвымъ равнодушіемъ ко всему на свѣтѣ.

Все это часто повторялось съ нимъ, повторилось бы и теперь: онъ ждалъ и боялся этого. Но еще въ немъ не изжили пока свой срокъ впечатлѣнія наивной среды, куда онъ попалъ. Ему еще пока пріятенъ былъ ласковый лучъ солнца, добрый взлядъ бабушки, радушная услужливость дворни, рождающаяся нѣжная симпатія Марейны—особенно последнее. Онъ по утрамъ съ удовольствіемъ ждалъ, когда она, въ холстинковой блузѣ, безъ воротничковъ и нарукавниковъ, еще съ томными, не совсѣмъ прозрѣвшими глазами, не остывшая отъ сна, привставши на цыпочки, положить ему руку на плечо, чтобъ размѣняться поцалуемъ, и угощаетъ его чаемъ, глядя ему въ глаза, угадывая желанія и бросаясь исполнять ихъ. А потомъ надѣнетъ соломенную шляпку

съ широкими полями, ходить около него, или подъ руку съ нимъ, по полю, по садамъ—и у него кровь бѣжитъ быстрѣе, ему пока не скучно. Ему любо было пока возиться и съ бабушкой: отдавать свою волю въ ея опеку и съ улыбкой смотрѣть и слушать, какъ она учила его уму-разуму, порядку, остерегала отъ пороковъ и соблазновъ, старалась свести его съ его «цыганскихъ» понятій о жизни на свою крѣпкую, житейскую мудрость. Нравился ему и Титъ Никонъ, остатокъ прошлаго вѣка, живущій подъ знаменемъ вѣчной учтивости, приличнаго тона, уклончивости, изящнаго смиренія и таковыхъ же манеръ, все всѣмъ прощающій, ничѣмъ не оскорбляющійся и берегущій свое драгоценное здоровье, всѣми любимый и всѣхъ любящій. Иногда, въ добрую минуту, его даже забавляла эксцентрическая барыня, Полина Карповна. Она умѣла заманить его къ себѣ обѣдать и увѣряла, что «онъ, или не равнодушенъ къ ней, но скрываетъ, или *sur le point de l'être*, но противится и немного остерегается, *mais que tôt ou tard cela finira par là et comme elle sera contente, heureuse! etc.*

Онъ убаюкивался этой тихой жизни, по временамъ записывая кое-что въ романъ: черту, сцену, лицо, записалъ бабушку, Маренишку, Леонтья съ женой, Савелья и Марину, потомъ смотрѣлъ на Волгу, на ея теченіе, слушалъ тишину и глядѣлъ на сонъ этихъ разсыпанныхъ по побережью селъ и деревень, ловилъ въ этомъ океанѣ молчанія какіе-то, одному ему слышимые звуки, и шелъ играть и пѣть

ихъ, и упивался, прислушиваясь къ созданнымъ имъ мотивамъ, бросалъ ихъ на бумагу и пряталъ въ портфель, чтобъ «современемъ» обработать — вѣдь времени много впереди, а дѣлъ у него нѣтъ. Глядѣлъ и на ту картину, которую до того вѣрно парисовалъ Бѣловодовой, что она, по ея словамъ, «дурно спала ночь»: на тупую задумчивость мужа, на грубую, медленную и тяжелую его работу—какъ онъ тянетъ ремянную лямку, таща барку, или, затерявшись въ бороздахъ нивы, шагаетъ медленно, весь въ поту, будто несетъ на рукахъ и соху и лошадь вмѣстѣ—или какъ беременная баба, спаленная зноемъ, возится съ серпомъ во ржи. Онъ рисуетъ эти загорѣлыя лица, ихъ избы, утварь, ловить воздухъ, т. е. набросаетъ слегка эскизъ и спрячетъ въ портфель, опять до «времени».

— Ну, чтожь я выражу этимъ, если изображу эту природу, этихъ людей: гдѣ же смыслъ, ключъ къ этому созданію? «Въ самомъ созданіи!» говорилъ художническій инстинктъ: и онъ оставлялъ перо и шелъ на Волгу обдумывать, что такое созданіе, почему оно само по себѣ имѣетъ смыслъ, если оно — созданіе, и когда именно оно созданіе? Потомъ передъ нимъ выростали трудности: постепенность развитія, полнота и законченность характеровъ, связь между ними, а тамъ, сквозь художественную форму, пробивался анализъ и охлаждалъ... «Une mer à boire», говорилъ онъ со вздохомъ, складывалъ листки въ портфель и звалъ Марейнку въ садъ.

Онъ далъ себѣ слово объяснить, при первомъ

удобномъ случаѣ, окончательно вопросъ, не о томъ, что такое Марейнка: это было слишкомъ очевидно, а что изъ нея будетъ,—и потомъ уже поступить въ отношеніи къ ней, смотря потому, что окажется послѣ объясненія. Способна ли она къ дальнѣйшему развитію, или уже дошла до своихъ геркулесовыхъ столповъ? И если, «паче чаянія» въ ней откроется ему внезапный золотиносный принскъ, съ богатыми залогомъ,—въ женщинахъ перѣдки такіа неожиданности, — тогда конечно онъ поставитъ здѣсь свой домашній жертвенникъ и посвятитъ себя развитію милаго существа: она и искусство будутъ его кумирами. Тогда и эти эпизоды, эскизы, сцены—все пойдетъ въ дѣло. Ему не надъ чѣмъ будетъ расбрасываться, жизнь его сосредоточится и опредѣлится.

Но опыты надъ Марейнкой пока еще не подвигались впередъ, и не будь она такая хорошенькая, онъ бы усталъ давно отъ бесплодной работы надъ ея развитіемъ. Какъ онъ ни затрогиваетъ ея умъ, самолюбіе, ту или другую сторону сердца—никакъ не можетъ вывести ее изъ круга раннихъ, дѣвическихъ понятій, теплыхъ, домашнихъ чувствъ, логики преданій и преподанныхъ бабушкой уроковъ. Она все дѣвочка. и ни разу не высказывалась въ ней даже дѣвица. Быть «дѣвой», по своей здоровой натурѣ и по простому, почти животному воспитанію, она рѣшительно не общала. Но вѣдь все-таки она грядущая женщина: какая же она будетъ; какою быть должна?

Онъ смотрѣлъ мысленно и на себя, какъ это у него дѣлалось невольно, само собой, безъ его вѣдома («и какъ дѣлалось у всѣхъ, думалъ онъ, непремѣнно, только эти всѣ не наблюдаютъ за собой, или не сознаются въ этой, врожденной человѣку, чертѣ: одни — только казаться, а другіе и быть и казаться какъ можно лучше—одни, натуры мелкія—только наружно, т. е. рисоваться, натуры глубокія, серьезныя, искреннія — и внутренно, что въ сущности и значить работать надъ собой, улучшаться») и вдумывался, какая роль достается ему въ этой встрѣчѣ: таковъ ли онъ, каковъ долженъ быть, и каковъ именно долженъ онъ быть? Братъ, нѣжный покровитель и руководитель ея юности — или въ самомъ дѣлѣ будущій ея мужъ? Едва онъ остановился на этой послѣдней роли, какъ вздохнулъ глубоко, заранѣе предвидя, что, или онъ, или она, не продержатся до свадьбы на высотѣ идеала, поэзія улетучится, или рассыплется въ мелкій дождь мѣщанской комедіи! И онъ хладѣетъ, зѣваетъ, чувствуетъ уже симптомы скуки. Волноваться такъ, безъ цѣли, и подновать ее—безнравственно. Что же дѣлать: какъ держать себя съ ней? Просто быть братомъ невозможно, надо бѣжать: она слишкомъ мила, тепла, нѣжна, прикосновеніе ея грѣетъ, жжетъ, шевелить нервы. Онъ же приходится ей братъ въ третьемъ колѣнѣ, т. е. не братъ, и близость такой сестры опасна.... А между тѣмъ онъ поддавался нѣгѣ ея ласкъ, и отвѣтныя его ласки были не ласки брата, а нѣжнѣе; въ поцѣлуй про-

крадывался какой-то страстный змѣй.... «Еще опытъ», думалъ онъ: одинъ разговоръ, и я буду ея мужемъ, или.... Диогенъ искалъ съ фонаремъ «человѣка» — я ищу женщины: вотъ ключъ къ моимъ поискамъ! А если не найду въ ней, и боюсь что не найду, я, разумѣется, не затушу фонаря, пойду дальше.... Но Боже мой! гдѣ кончится это мое странствіе? (Онъ зѣвнулъ). «Уѣду отсюда и напишу романъ: картину вѣлаго сна, вѣлой жизни....»

Онъ еще пуще зѣвнулъ.

— Скажи, Марѣинька, началъ онъ однажды, сидя съ нею въ сумерки на дерновомъ диванѣ, подъ акаціями: не скучно тебѣ здѣсь? Не надоѣли тебѣ: бабушка, Титъ Никоничъ, садъ, цвѣты, пѣсенки, книжки съ веселымъ окончаніемъ?...

— Нѣтъ: сказала она, удивляясь этимъ вопросамъ, — чего же мнѣ еще нужно?

— Не кажется тебѣ иногда это... однообразно, пошло, скучно?

— Пошло, скучно! повторяла она задумчиво — нѣтъ! развѣ здѣсь скучно?

— Все это ребячество, Марѣинька: цвѣты, пѣсенки, а ты ужъ взрослая дѣвушка (онъ бросилъ бѣглый взглядъ на ея плечи и бюстъ): ужели тебѣ не приходитъ въ голову что-нибудь другое, серьезное? Развѣ тебя ничто больше не занимаетъ?

Она задумалась, потупивъ глаза. Ей было немного стыдно и неловко, что ее считают еще ребенкомъ. «А вѣдь я давно не ребенокъ: мнѣ идетъ четырнадцать аршинъ матеріи на платье:

столько-же, сколько бабушкѣ — нѣтъ больше: бабушка не носить широкихъ юбокъ» успѣла она въ это время подумать. «Но Боже мой! что это за вздоръ у меня въ головѣ? Что я ему скажу? пусть бы Вѣрочка поскорѣй пріѣхала на подмогу»... Она не знала, чтò ей надо дѣлать, чтобъ быть не ребенкомъ, чтобъ на нее смотрѣли, какъ на взрослую, уважали, боялись ее. Она безпокойно оглядывалась вокругъ, тиранила пальцами кончикъ передника, смотрѣла себѣ подъ ноги. У ней многое проносилося въ головѣ, росли мысли, являлись вопросы, но такъ туманно, блѣдно, что она не успѣвала вслушиваться въ нихъ, какъ они исчезали, и не умѣла высказать.

— Послушайте, братецъ, отвѣчала она: вы не думайте, что я дитя, потому что люблю птицъ, цвѣты: я и дѣло дѣлаю. Бабушка часто велитъ мнѣ записывать приходъ и расходъ. Я знаю, сколько засѣвается ржи, овса, когда что поспѣваетъ, куда и когда сплавляютъ хлѣбъ, знаю, сколько лѣсу надо мужику, чтобъ избу построить»... Она смѣлѣе поглядѣла на него. — Я бы могла и за полевыми работами смотрѣть, да бабушка не пускаетъ. Что же еще? прибавила она, глядя на него во всѣ глаза и думая, выросла-ли она хоть немного въ его глазахъ?

— Да, это все конечно хорошо, и со временемъ изъ тебя можетъ выйти такая же бабушка. Разнѣ ты хотѣла бы быть такою?

— Ахъ, дай Богъ: да гдѣ мнѣ!

— А другою тебѣ не хочется быть?

— Зачѣмъ? вѣдь еслибъ я была другою, я бы здѣсь была не на мѣстѣ...

— Такъ, умно сказано, Марейняка: да зачѣмъ же здѣсь? Ты слыхала про Москву, про Петербургъ, про Парижъ, Лондонъ: развѣ тебѣ не хотѣлось бы побывать вездѣ?

— За чѣмъ мнѣ?

— Какъ за чѣмъ! Ты читаешь книги, тамъ говорится, какъ живутъ другія женщины: вонъ хоть бы эта Елена, у миссъ Эджевортъ. Развѣ тебя не тянетъ, не хочется тебѣ испытать этой другой жизни?...

Она медленно и задумчиво качала головой.

— Нѣтъ, сказала она: чего не знаешь, такъ и не хочется. Вонъ Вѣрочка, той все скучно, она часто груститъ, сидитъ, какъ каменная, все ей будто чужое здѣсь! Ей бы надо куда-нибудь уѣхать, она не здѣшняя. А я — ахъ, какъ мнѣ здѣсь хорошо: въ полѣ, съ цвѣтами, съ птицами, какъ дышется легко! какъ весело, когда съѣдутся знакомые!.. Нѣтъ, нѣтъ, я здѣшняя; я вся вотъ изъ этого песочку, изъ этой травки! не хочу нигуда. Что бы я одна дѣлала тамъ въ Петербургѣ, за границей? я бы умерла съ тоски....

— Ты бы не одна была.

— Съ кѣмъ же? бабушка никогда не выѣдетъ изъ деревни.

— За чѣмъ тебѣ бабушка? со мной.... съ мужемъ.. Поѣхала бы со мной?

Она покачала отрицательно головой.

— Отъ чего?

— Я боялась бы, что вамъ скучно со мной...

— Ты привыкла бы ко мнѣ.

— Нѣтъ, не привыкла бы... Вотъ другая недѣля, какъ вы здѣсь... а я боюсь васъ.

— Чего же? кажется, я такой простой: сижу, гуляю, рисую съ тобой....

— Нѣтъ, вы не простой. Иногда у васъ что-то такое въ глазахъ... Нѣтъ, я не привыкну къ вамъ...

— Но вѣдь это скучно: вѣкъ свой съ бабушкой и ни шагу безъ нея...

— Да я сама бы ничего не выдумала: что бы я стала дѣлать безъ нея?

Она безпокойно глядѣла по сторонамъ, и опять встревожилась тѣмъ, что нечего ей больше сказать въ отвѣтъ.

«Ахъ, Боже мой! Онъ сочтетъ меня дурочкой... Что бы сказать мнѣ ему такое... самое умное?... Господи помоги!» молилась она про себя.

Но ничего «умнаго» не приходило ей въ голову, и она въ тоскѣ тиранила свои пальцы.

— Не мучаешься ты ничѣмъ внутренно? нѣтъ ничего у тебя на душѣ?... приставалъ онъ.

Она глубоко вздохнула. «Бабушка велѣла, чтобъ ужинъ былъ хорошій — вотъ что у меня на душѣ: какъ я ему скажу это!...» подумала она.

— Какъ не быть? я взрослая, не дѣвочка! съ печальной важностью сказала она, помолчавъ.

— А! грѣшки есть: ну, слава Богу! А я уже было отчаявался въ тебѣ! Говори же, говори что?

Онъ подвинулся къ ней, взявъ ее за руки.

— Что! повторила она задумчиво, не отнимая руки: а совѣсть?

— Совѣсть! О-го! это большими грѣхами пахнетъ!

Онъ засмѣялся было, а потомъ вдругъ подумалъ, не кроется ли подъ этой наивностью какой-нибудь крупный грѣшокъ, не притворная ли она смиренница?..

— Что же можетъ быть у тебя на совѣсти? до-вѣрься мнѣ и разберемъ вмѣстѣ. Не пригожусь ли я тебѣ на какую-нибудь услугу?

— То, что, я думаю, у всякаго есть...

— Напримѣръ?

— Послушайте-ка проповѣди отца Василія о томъ, какъ надо жить, что надо дѣлать! А какъ мы живемъ: дѣлаемъ ли хоть половину того, что онъ велитъ? внушительно говорила она.—Хоть бы одинъ день прожить такъ... и то не удастся! «Отречься отъ себя», «быть всѣмъ слугой», отдавать все бѣднымъ, любить всѣхъ больше себя, даже тѣхъ, кто насъ обижаетъ, не сердиться, трудиться, не думать слишкомъ о нарядахъ и о пустякахъ, не болтать... ужасъ, ужасъ! Всего не вспомнишь! Я какъ стану думать, такъ и растеряюсь: страшно станетъ. Не достанетъ всей жизни, чтобъ сдѣлать это! Вонъ бабушка: есть ли умнѣе и добрѣе ея на свѣтѣ! а и она... грѣшитъ... (шепотомъ произнесла Мар-

ошибка); сердится напрасно, терпѣть не можетъ Анну Петровну Токееву: даже не похристосовалась съ ней! Полину Карповну не любить. На людей часто сердится; не все прощаетъ имъ; бабъ притворщицами считаетъ, когда онѣ жалуются на нужду... Деньги очень бережетъ... (еще тише шепнула Марейнька). А когда ошибется въ чемъ-нибудь, никогда не сознается: гордая! Бабушка! Она лучше всѣхъ здѣсь: какія же мы съ Вѣрочкой! и какой надо быть, чтобъ...

— Такой, какъ ты есть, сказалъ Райскій.

— Нѣтъ... Она задумчиво покачала головой.—Я многого не понимаю, и отъ того не знаю, какъ мнѣ иногда надо поступить. Вонъ Вѣрочка знаетъ, и если не дѣлаетъ, такъ не хочетъ, а я не умѣю...

— И ты часто мучаешься этимъ?

— Нѣтъ: иногда, какъ заговорятъ объ этомъ, бабушка побранить... Заплачу, и пройдетъ, и опять дѣлаюсь весела, и все что говоритъ отецъ Василій—будто не мое дѣло! Вотъ что худо!

— И больше нѣтъ у тебя заботы, счастливое дитя?

— Какъ будто этого мало! Развѣ вы никогда не думаете объ этомъ? съ удивленіемъ спросила она.

— Нѣтъ, душенька: вѣдь я не слыхалъ отца Василья.

— Какъ же вы живете: вѣдь есть и у васъ что-нибудь на душѣ?

— Вотъ теперъ ты!

— Я! обо мнѣ бабушка заботится, пока жива...

— А какъ она умретъ?

— Бабушка? Боже сохрани! торопливо прибавила она, крестьясь.

— Должно же это случиться...

— Богъ съ вами: что за мысли, что за разговоръ у васъ такой!... Она старалась не слушать его.

— Неужели ты думаешь, что она вѣчно будетъ жить?..

— Перестаньте, ради Бога: я и слушать не хочу!

— Ну, а если?

— Тогда и мы съ Вѣрочкой умремъ, потому что безъ бабушки...

Она тяжело вздохнула.

— Отъ этого и надо думать, что птичекъ, цвѣтовъ и всей этой мелочи не станетъ, чтобъ прожить ея цѣлую жизнь. Нужны другіе интересы, другія связи, симпатіи...

— Что же мнѣ дѣлать? почти въ отчаяніи сказала она.

— Надо любить кого-нибудь, мужчину... помолчавъ говорилъ онъ, наклоняя ея лобъ къ своимъ губамъ.

— Выйти замужъ? Да, вы мнѣ говорили, и бабушка часто намекаетъ на то же, но...

— Но... что-же?

— Гдѣ его взять? стыдливо сказала она.

— Развѣ тебѣ не нравится никто? не замѣтила ты между молодыми людьми...

— Ужъ хороши здѣсь молодые люди! Вонъ у Бочкова три сына: все собираютъ мужчинъ къ себѣ по вечерамъ, такихъ же какъ сами, пьютъ да въ

карты играютъ. А на утро глаза у всѣхъ красные. У Чеченина сынъ прїѣхалъ въ отпускъ и съ самаго начала объявилъ, что ему надо приданое во сто тысячъ, а самъ хуже Мотьки: маленькій, кривоногій и все курить! Нѣтъ, нѣтъ... Вотъ Николай Андреичъ—хорошенькій, веселый и добрый, да...

— Да чтó?

— Молодъ: ему всего двадцать три года!

— Кто это такой?

— Викентьевъ: ихъ усадьба за Волгой, недалеко отсюда. Колчино — ихъ деревня, тутъ только сто душъ. У нихъ въ Казани еще триста душъ. Маленька его звала насъ съ Вѣрочкой гостить, да бабушка одиѣхъ не пускаетъ. Мы однажды только на одинъ день ѣздили... А Николай Андреичъ одинъ сынъ у нея—больше дѣтей нѣтъ. Онъ учился въ Казани, въ университетѣ, служить здѣсь у губернатора, по особымъ порученіямъ.

Она проговорила это живо, съ веселымъ лицомъ и скороговоркой.

— А! такъ вотъ кто тебѣ нравится: Викентьевъ! говорилъ онъ и прижавъ ея руку къ лѣвому своему боку, сидѣлъ, не шевелясь, любовался, какъ безпечно Марейнька принимала и возвращала ласки, почти не замѣчала ихъ, и ничего, кажется, не чувствовала. «Можетъ быть, одна искра, думалъ онъ, одно жаркое пожатіе руки вдругъ пробудятъ ее отъ дѣтскаго сна, откроютъ ей глаза и она внезапно вступитъ въ другую пору жизни»..... А она щебетала безпечно, какъ птичка.

— Что вы: Викентьевъ! сказала она задумчиво, какъ будто справляясь сама съ собою, нравится ли онъ ей.

— Теперь темно, а то вѣрно ты покраснѣла! поддразнивалъ ее Райскій, глядя ей въ лицо и пожимая руку.

— Вовсе нѣтъ! Отъ чего мнѣ краснѣть? Вотъ его двѣ недѣли не видать совсѣмъ, мнѣ и нужды нѣтъ....

— Скажи, онъ нравится тебѣ?

Она молчала.

— Что: угадалъ?

— Что вы! я только говорю, что онъ лучше всѣхъ здѣсь: это всѣ скажутъ.... Губернаторъ его очень любить и никогда не посылаетъ на слѣдствія: «что, говорить, ему грязниться тамъ, разбирать убійства да воровства—нравственность испортится! Пусть, говорить, побудетъ при мнѣ!» Онъ теперь при немъ, и когда не у насъ, тамъ обѣдаетъ, танцуетъ, играетъ....

— Однимъ словомъ, служить! сказалъ Райскій.

— У него ужъ крестикъ есть: маленькій такой! съ удовольствіемъ прибавила Марейинька.

— Бываетъ онъ здѣсь?

— Очень часто: вотъ что-то теперь запалъ. Не уѣхалъ ли въ Колчино, къ татан? Надо его побранить, что не сказавшись уѣхалъ. Бабушка выговоръ ему сдѣлаетъ: онъ боится ее... А когда онъ здѣсь—не посидитъ смирно: бѣгаетъ, поетъ. Ахъ, какой онъ шалунъ! И какъ много кушаетъ! Недавно

большую, пребольшую сковороду грибовъ съѣлъ! Сколько булочекъ скушаетъ за чаемъ! Что ни дай, все скушаетъ. Бабушка очень любитъ его за это. Я тоже его...

— Любишь? живо спросилъ Райскій, наклоняясь и глядя ей въ глаза.

— Нѣтъ, нѣтъ! — Онъ закачала головой: нѣтъ, не люблю, а только онъ... славный! лучше всѣхъ здѣсь! держитъ себя хорошо, не ходитъ по трактирамъ, не играетъ на бильярдѣ, вина никакого не пьетъ....

— Славный! повторилъ Райскій, приглаживая ей волосы на вискахъ: и ты славная! Какъ жаль, что я старъ, Марейнька: какъ бы я любилъ тебя! тихо прибавилъ онъ, притянувъ ее немного къ себѣ.

— Что вы за стары: нѣтъ еще! снисходительно замѣтила она, поддаваясь его ласкѣ.— Вотъ только у васъ въ бородѣ есть немного бѣлыхъ волосъ, а то вѣдь вы иногда бываете прехорошенькій.... когда смѣетесь, или что-нибудь живо рассказываете. А вотъ, когда нахмуритесь, или смотрите какъ-то особенно.... тогда вамъ точно восемьдесятъ лѣтъ...

— Въ самомъ дѣлѣ, я тебѣ не кажусь страшень и старъ?

— Вовсе нѣтъ.

— И тебѣ пріятно.... поцѣловать меня?

— Очень.

— Ну, поцѣлуй.

Она пристала немного, оперлась колѣнкой на его ногу и звучно поцѣловала его, и хотѣла сѣсть,

но онъ удержалъ ее. Она попробовала освободиться, ей было нѣловко такъ стоять, наконецъ сѣла, раскраснѣвшись отъ усилія, и стала поправлять сдвинувшуюся съ мѣста косу. Онъ, напротивъ, былъ блѣденъ, сидѣлъ, закинувъ голову назадъ, опираясь затылкомъ о дерево, съ закрытыми глазами, и почти безсознательно держалъ ее крѣпко за руку. Она хотѣла привстать, чтобъ половчѣе сѣсть, но онъ держалъ крѣпко, такъ что она должна была опираться рукой ему на плечо.

— Пустите, вамъ тяжело, сказала она: я вѣдь толстая — вонъ какая рука — троньте!

— Нѣтъ, не тяжело... тихо отвѣчалъ онъ, наклоня опять ее голову къ своему лицу и оставаясь такъ неподвижно.

— Тебѣ хорошо такъ?

— Хорошо, только жарко, у меня щеки и уши горять, посмотрите: я думаю, красныя! У меня много крови: дотроньтесь пальцомъ до руки, сейчасъ бѣлое пятно выступить и пропадетъ.

Онъ молчалъ и все сидѣлъ съ закрытыми глазами. А она продолжала говорить обо всемъ, что приходило въ голову, глядѣла по сторонамъ, чертила носкомъ ботинки по песку.

— Обрѣйте бороду! сказала она: вы будете еще лучше. Кто это выдумалъ такую нелѣпую моду — бороды носить? У мужиковъ переняли! Ужели въ Петербургѣ всѣ съ бородами ходятъ?

Онъ машинально кивнулъ головой.

— Вы обрѣтетесь, да? А то Нилъ Андреечъ уви-

дить—разсердится. Онъ терпѣть не можетъ бороды: говорить, что только революціонеры носятъ ее.

— Все сдѣлаю, что хочешь — нѣжно сказалъ онъ. — Зачѣмъ только ты любишь Викентьева?

— Опять! Вотъ вы какіе: сами затѣяли разговоръ, а теперь выдумали, что люблю. Ужъ и люблю! Онъ и мечтать не смѣетъ! Любить—какъ это можно! Что еще бабушка скажетъ? прибавила она, разсѣянно играя бородой Райскаго и не подозрѣвая, что пальцы ея, какъ змѣи, ползали по его нервамъ, поднимали въ немъ тревогу, зажигали огонь въ крови, туманили разсудокъ. Онъ пьянѣлъ съ каждымъ движеніемъ пальцевъ.

— Люби меня, Марейнька: другъ мой, сестра!.. бредилъ онъ, сжимая крѣпко ей талию.

— Охъ, больно, братецъ, пустите, ей-богу, задохнусь! говорила она, невольно падая ему на грудь. Онъ опять прижалъ ея щеку къ своей и опять шепталъ: «хорошо тебѣ?»

— Неловко ногамъ.

Онъ отпустилъ ее, она поправила ноги и сѣла подлѣ него.

— Зачѣмъ ты любишь цвѣты, котятъ, птицъ?

— Кого же мнѣ любить?

— Меня, меня!

— Вѣдь я люблю.

— Не такъ, иначе! говорилъ онъ, положивъ ей руки на плеча.

— Вонъ одна звѣздочка, вонъ другая, вонъ третья — какъ много! говорила Марейнька, глядя

на небо. — Ужели это правда, что тамъ, на звѣздахъ, тоже живутъ люди? Можетъ быть, не такіе, какъ мы... Ахъ, молнія! Нѣтъ, это зарница играетъ за Волгой: я боюсь грозы... Вѣрочка отворить окно и сядетъ смотрѣть грозу, а я всегда спрячусь въ постель, задерну занавѣски, и если молнія очень блеситъ, то положу большую подушку на голову, а уши заткну, и ничего не вижу, не слышу... Вонъ звѣздочка покатила! Скоро ужинать! прибавила потомъ, помолчавъ. — Еслибъ васъ не было, мы бы рано ужинали, а въ одиннадцать часовъ спать; когда гостей нѣтъ, мы рано ложимся.

Онъ молчалъ, положилъ щеку ей на плечо.

— Вы спите? спросила она.

Онъ отрицательно покачалъ головой.

— Ну, дремлете: вонъ у васъ и глаза закрыты. Я тоже, какъ лягу, сейчасъ засну, даже иногда не успѣю чулокъ снять, такъ и повалюсь. Вѣрочка долго не спитъ: бабушка бранить ее, называетъ полунощницей. А въ Петербургѣ рано ложатся?

Онъ молчалъ.

— Братецъ!

Онъ все молчалъ.

— Что вы молчите?

Онъ пошевелился было и опять онѣмѣлъ, мечтая о возможности постоянного счастья, держа это счастье въ рукахъ, и не желая выпустить.

Она зѣвнула до слезъ.

— Какъ тепло! сказала она. — Я прошусь иногда

у бубушки спать въ бесѣдку—не пускаеть. Даже и въ комнатѣ велить окошко запираеть.

Онъ ни слова.

«Все молчить: какъ привыкнешь къ нему?» подумала она, и безпечно опять склонилась головой къ его головѣ, разсѣянно пробѣгая усталымъ взглядомъ по небу, по сверкавшимъ сквозь вѣтви звѣздамъ, глядѣла на темную массу лѣса, слушала шумъ листьевъ, и задумалась, наблюдая, отъ нечего дѣлать, какъ подъ рукой у нея бьется въ лѣвомъ боку у Райскаго. «Какъ странно! думала она: отъ чего это у него такъ бьется? а у меня?» и приложила руку къ своему боку — «нѣтъ, не бьется!» Потомъ хотѣла встать, но почувствовала, что онъ держитъ ее крѣпко. Ей стало неловко.

— Пустите, братецъ! шепотомъ, будто стыдливо, сказала она. — Пора домой!

Ему все жаль было выпустить ее, какъ-будто онъ разставался съ ней навсегда.

— Больно, пустите... говорила Марейнька, съ возрастающей тоской, напрасно порываясь прочь, — ахъ, какъ неловко!

Наконецъ она наклонилась и вынырнула изъ-подъ рукъ.

Онъ тяжело вздохнулъ.

— Что съ вами? раздался ея дѣтскій, покойный голосъ надъ нимъ.

Онъ поглядѣлъ на нее, вокругъ себя и опять вздохнулъ, какъ-будто просыпаясь.

— Что съ вами? повторила она: какіе вы странные!

Онъ вдругъ отрезвился, взглянулъ съ удивленіемъ на Марейнку, что она тутъ, осмотрѣлся кругомъ и быстро всталъ со скамейки. У него вырвался отчаянный «ахъ!»

Она положила было руку ему на плечо, другой рукой поправила ему всклокочившіеся волосы и хотѣла опять сѣсть рядомъ.

— Нѣтъ, пойдемъ отсюда, Марейника! въ волненіи сказалъ онъ, устраниая ее.

— Какіе вы странные: на себя не похожи! Не болить ли голова?

Она дотронулась рукой до его лба.

— Не подходи близко, не ласкай меня! Милая сестра! сказалъ онъ, цѣлуя у нея руку.

— Какъ же не ласкать, когда вы сами такъ ласковы! Вы такой добрый, такъ любите насъ. Домъ, садикъ подарили, а я что за статуя такая!...

— И будь статуей! Не отвѣчай никогда на мои ласки, какъ сегодня...

— Отчего?

— Такъ; у меня иногда бываютъ припадки.... тогда уйди отъ меня.

— Не дать ли вамъ чего-нибудь выпить? у бабушки гофманскія капли есть. Я бы сбѣгала: хотите?

— Нѣтъ, не надо. Но ради Бога, если я когда-нибудь буду слишкомъ ласковъ, или другой также, этотъ Викентьевъ, напимѣрь....

— Смѣлъ бы онъ! съ удивленіемъ сказала Марейника.—Когда мы въ горѣлки играемъ, такъ онъ не смѣетъ взять меня за руку, а ловить всегда за

рукавъ! Чтò выдумали: Викентьевъ! Позволила бы я ему!

— Ни ему, ни мнѣ, никому на свѣтѣ... Помни, Марейнька, это: люби, кто понравится, но прячь это глубоко въ душѣ своей, не давай воли, ни себѣ, ни ему, пока.... позволить бабушка и отецъ Василій. Помни проповѣдь его....

Она молча слушала и задумчиво шла подлѣ него, удивляясь его припадку, вспоминая, что онъ передъ тѣмъ за часъ говорилъ другое, и не знала, чтò подумать.

— Вотъ видите, а вы говорили.... что.... начала она.

— Я ошибся: не про тебя то, чтò говорилъ я. Да, Марейнька, ты права: грѣхъ хотѣть того, чего не дано, желать жить, какъ живутъ эти барыни, о которыхъ въ книгахъ пишутъ. Боже тебя сохрани мѣняться, быть другою! Люби цвѣты, птицъ, занимайся хозяйствомъ, ищи веселаго окончанія и въ книжкахъ, и въ своей жизни...

— Это не глупо... любить птицъ: вы не смѣетесь, вы это правду говорите? робко спрашивала она.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты перлъ, ангель чистоты... ты свѣтла, чиста, прозрачна....

— Прозрачна? смѣялась она:—насквозь видно?

— Ты.... ты....

Онъ въ припадкѣ восторга не зналъ, какъ назвать ее.

— Ты вся—солнечный лучъ! сказалъ онъ: и пусть будетъ проклятъ, кто захочетъ бросить нечистое зерно

въ твою душу! Прощай! никогда не подходи близко ко мнѣ, а если я подойду—уйди!

Онъ подошелъ къ обрыву.

— Куда же вы? пойдемте ужинать! скоро и спать...

— Я не хочу, ни ужинать, ни спать.

— Опять вы отъ ужина уходите: смотрите, бабушка....

Она не кончила фразы, какъ Райскій бросился съ обрыва и исчезъ въ кустахъ.

«Боже мой! думалъ онъ, внутренно содрогаясь:— полчаса назадъ, я былъ честенъ, чистъ, гордъ; полчаса позже, этотъ святой ребенокъ превратился бы въ жалкое созданіе, а «честный и гордый» человѣкъ въ величайшаго негодяя! Гордый духъ уступилъ бы всемогущей плоти; кровь и нервы посмѣялись бы надъ философіей, нравственностью, развитіемъ! Однако духъ устоялъ, кровь и нервы не одолѣли: честь, честность спасены.... «Чѣмъ?» спросилъ онъ себя, останавливаясь надъ рывиной. «Прежде всего.... силой моей воли, сознаніемъ безобразія»... началъ было онъ говорить, выпрямляясь, «нѣтъ, нѣтъ», долженъ былъ сейчасъ же сознаться: это пришло послѣ всего, а прежде чѣмъ? Ангелъ-хранитель невидимо оградилъ? бабушкина судьба берегла ее? или.... что?» Что бы ни было, а онъ этому загадочному «или» обязанъ тѣмъ, что остался честнымъ человекомъ. Таилось ли это «или» въ ея святомъ, стыдливомъ невѣдѣніи, въ послушаніи проповѣди отца Василья, или, наконецъ, въ лимфатическомъ темпераментѣ—все же оно было въ ней, а не въ немъ...

«О, какъ скверно! какъ скверно!» твердилъ онъ, перескочивъ рытвину и продираясь между кустовъ на приволжскій песокъ.

Марейинька долго смотрѣла вслѣдъ ему, потомъ тихо, задумчиво пошла домой, срывая машинально листьѣя съ кустовъ и трогая по временамъ себя за щеки и уши. «Какъ разгорѣлись, я думаю, красныя!» шептала она. «Отчего онъ не велѣтъ подходить близко, вѣдь онъ не чужой? А самъ такъ ласковъ... Вонъ какъ горятъ щеки!»

Она прикладывала руку, то къ одной, то къ другой щекѣ.

Бабушка начала ворчать, что Райскій ушелъ отъ ужина. Молча, втроемъ, съ Титомъ Никоничемъ, отъужинали и разошлись.

Марейинька, обыкновенно все рассказывавшая бабушкѣ, колебалась, рассказать ли ей, или нѣтъ, о томъ, что братъ навсегда отказался отъ ея ласкъ, и кончила тѣмъ, что ушла спать, не рассказавши. Собиралась не разъ, да не знала, съ чего начать. Не сказала также ничего и о припадкѣ «братца», легла пораньше, но не могла заснуть скоро: щеки, и уши все горѣли. Наконецъ, пролежавъ напрасно, безъ сна, съ часъ въ постели, она встала, вытерла лицо огуречнымъ разсоломъ, что дѣлала обыкновенно отъ загара, потомъ перекрестилась и заснула.

XIV.

Райскій нижнимъ берегомъ выбрался на гору и дошелъ до домика Козлова. Завидя свѣтъ въ окнѣ, онъ пошелъ-было къ калиткѣ, какъ вдругъ замѣтилъ, что кто-то перелѣзаетъ черезъ заборъ, съ переулка въ садикъ. Райскій подождаль въ тѣни забора, пока тотъ перескочилъ совсѣмъ. Онъ колебался, на чтò ему рѣшиться, потому что не зналъ, воръ ли это, или обожатель Ульяны Андреевны, какой нибудь М-г Шарль, — и потому боялся поднять тревогу. Подумавъ, онъ однако счелъ нужнымъ слѣдить за незнакомцемъ: для этого послѣдовалъ его примѣру и также тихо перелѣзъ черезъ заборъ. Тотъ прокрадывался къ окнамъ, Райскій шелъ за нимъ и остановился въ нѣсколькихъ шагахъ. Незнакомецъ приподнялся до окна Леонтья и вдругъ забарабанилъ, чтò есть мочи, въ стекло.

«Это не воръ... это должно быть — Маркъ!» подумалъ Райскій и не ошибся.

— Философъ! отворяй! Слышишь ли ты, Платонъ? говорилъ голосъ. — Отворяй же скорѣй!

— Обойди съ крыльца! глухо, изъ-за стекла, отозвался голосъ Козлова.

— Куда еще пойду я на крыльцо, собакъ будить? Отворяй!

— Ну, стой; экой какой! говорилъ Леонтій, отворяя окно.

Маркъ влѣзъ въ комнату.

— Это кто еще за тобой лѣзетъ? Кого ты привелъ? съ испугомъ спросилъ Козловъ, пятясь отъ окна.

— Никого я не привелъ — что тебѣ чудится.... Ахъ, въ самомъ дѣлѣ, лѣзетъ кто то....

Райскій въ это время вскочилъ въ комнату.

— Борисъ, и ты? сказалъ съ изумленіемъ Леонтій. — Какъ вы это вмѣстѣ сошлись?

Маркъ мелькомъ взглянулъ на Райскаго и обратился къ Леонтыю.

— Дай мнѣ скорѣе другіе панталоны, да нѣтъ ли вина? сказалъ онъ.

— Что это, откуда ты? съ изумленіемъ говорилъ Леонтій, теперь только замѣтившій, что Маркъ почти по-поясъ былъ выпачканъ въ грязи, сапоги и панталоны промокли насквозь.

— Ну, давай скорѣй, печего разговаривать! нетерпѣливо отозвался Маркъ.

— Вина нѣтъ, у насъ Шарль обѣдалъ, мы все выпили: водка, я думаю, есть...

— Ну, гдѣ твое платье лежитъ?

— Жена спитъ, а я не знаю гдѣ: надо у Авдотьи спросить...

— Уродъ! Пусти, я самъ найду.

Онъ взялъ свѣчу и скрылся въ другую комнату.

— Вотъ — видишь какой! сказалъ Леонтій Райскому.

Черезъ десять минутъ Маркъ пришелъ съ панталонами въ рукахъ.

— Гдѣ это ты вымочился такъ? спросилъ Леонтій.

— Черезъ Волгу переѣзжалъ въ рыбацкѣй лодкѣ, да у острова дурачина рыбакъ со-слѣпа въ тину попалъ: надо было выскочить и стащить лодку.

Онъ, не обращая на Райскаго вниманія, пере-мѣнилъ панталоны и сѣлъ въ большомъ креслѣ, съ ногами, такъ что колѣнки припились въ ровень съ лицомъ. Онъ положилъ на нихъ бороду. Райскій молча разсматривалъ его. Маркъ былъ лѣтъ двадцати семи, сложенный крѣпко, точно изъ металла, и пропорціонально. Онъ былъ не блондинъ, а блѣдный лицомъ, и волосы, блѣдно-русые, закинутые густой гривой на уши и на затылокъ, открывали большой выпуклый лобъ. Усы и борода жидкіе, свѣтлѣе волосъ на головѣ. Открытое, какъ будто дерзкое лицо, далеко выходило впередъ. Черты лица не совсѣмъ правильныя, довольно крупныя, лицо скорѣе худощавое, нежели полное. Улыбка мелькавшая, по временамъ на лицѣ, выражала, не то досаду, не то насмѣшку, но не удовольствіе. Руки у него длинныя, кисти рукъ большія, правильныя и цѣпкія. Взглядъ сѣрыхъ глазъ былъ, или смѣлый, вызывающій, или по большей части холодный, и ко всему небрежный. Сжавшись въ комокъ, онъ сидѣлъ неподвиженъ: ноги, руки не шевелились, точно замерли, глаза смотрѣли на все покойно или холодно. Но подъ этой неподвижностью таилась зоркость, чуткость и тревожность, какая замѣтна иногда въ лежащей, повидимому, покойно и безза-

ботно, собакѣ. Лапы сложены вмѣстѣ, на лапахъ покоится спящая морда, хребетъ согнулся въ тяжелое, лѣнливое кольцо: спать совсѣмъ, только одно вѣко все дрожить, и изъ-за него чуть-чуть сквозить черный глазъ. А пошевелись кто-нибудь около, дунь вѣтерокъ, хлопни дверь, покажись чужое лицо—эти безпечно разбросанные члены мгновенно сжимаются, вся фигура полна огня, бодрости, лаетъ, скачетъ...

Посидѣвъ немного съ зажмуренными глазами, онъ вдругъ открылъ ихъ и обратился къ Райскому.

— Вы вѣрно привезли хорошихъ сигаръ изъ Петербурга: дайте мнѣ одну, — сказалъ онъ безъ церемоніи.

Райскій подалъ ему сигарочницу.

— Леонтій! Ты насъ и не представилъ другъ другу! упрекнулъ его Райскій.

— Да чего представлять: вы оба пришли одной дорогой и оба знаете, кто вы! отвѣчалъ тотъ.

— Какъ это ты обмолвился умнымъ словомъ, а еще ученый! сказалъ Маркъ.

— Это тотъ самый... Маркъ....что... Я писалъ тебѣ: помнишь... началъ-было Козловъ.

— Постой! Я самъ представляюсь! сказалъ Маркъ, вскочилъ съ креселъ и ставъ въ церемонную позу, расшаркался передъ Райскимъ.

— Честь имѣю рекомендоваться: Маркъ Волоховъ, пятнадцатаго класса, состоящій подъ надзоромъ полиціи чиновникъ, невольный здѣшняго города гражданинъ!

Потомъ откусилъ кончикъ сигары, закурилъ ее и опять свернулся въ комокъ на креслахъ.

— Что же вы здѣсь дѣлаете? спросилъ Райскій.

— Да то же, я думаю, что и вы...

— Развѣ вы... любите искусство: артистъ, можетъ быть?

— А вы... артистъ?

— Какъ же! выѣхался Леонтій: — я тебѣ говорилъ: живописецъ, музыкантъ... Теперь романъ пишетъ: смотри, братъ, какъ разъ тебя туда впечатъ. — Что ты: ужъ далеко? обратился онъ къ Райскому.

Райскій сдѣлалъ ему знакъ рукой молчать.

— Да, я артистъ, — отвѣчалъ Маркъ на вопросъ Райскаго. — Только въ другомъ родѣ. Я такой артистъ, что купцы называютъ «художникъ». Бабушка ваша, я думаю, вамъ говорила о моихъ произведеніяхъ!

— Она слышать о васъ не можетъ.

— Ну, вотъ видите! А я у ней пока всего сотню какую-нибудь яблокъ сорвалъ черезъ заборъ!

— Яблоки мои: я вамъ позволяю, сколько хотите...

— Благодарю: не нало; привыкъ ужъ все въ жизни безъ позволенія дѣлать, такъ и яблоки буду брать безъ спросу: слаще такъ!

— Я очень хотѣлъ видѣть васъ: мнѣ такъ много со всѣхъ сторонъ наговорили... сказалъ Райскій.

— Что же вамъ наговорили?

— Мало хорошаго...

— Вѣроятно, вамъ сказали, что я разбойникъ, извергъ, ужасъ здѣшнихъ мѣстъ!

— Почти...

— Чтò же васъ такъ позывало видѣть меня послѣ этихъ отзывовъ? Вамъ надо тоже пристать къ общему хору: я у васъ книги рвалъ. Вотъ онъ, я думаю, сказывалъ...

— Да, да: вотъ онъ на лицо: я радъ, что онъ самъ заговорилъ! — вмѣшался Леонтій. — Такъ бы и надо было сначала откомендовать тебя....

— Дѣлайте съ книгами чтò хотите, я позволяю! сказалъ Райскій.

— Опять! Кто просить вашего позволенія? Теперь не стану брать и рвать: можешь Леонтій спать покойно.

— А вѣдь въ сущности предобрый! замѣтилъ Леонтій про Марка: — когда прихворнешь, ходитъ какъ нянька, за лекарствомъ бѣгаетъ въ аптеку... И чего не знаетъ? Все? Только ничего не дѣлаетъ, да вотъ покою ни кому не даетъ: шалунище непроходимый...

— Полно врать, Козловъ! перебилъ Маркъ.

— Впрочемъ, не всѣ бранять васъ, вмѣшался Райскій: — Ватутинъ отзывается, или, по крайней мѣрѣ, старается отзываться хорошо.

— Неужели! Этотъ сахарный маркизъ! Кажется, я ему оставилъ кое-какіе сувениры: ночью будилъ не разъ, окна отворялъ у него въ спальнѣ. Онъ все, видите, нездоровъ, а какъ пріѣхалъ сюда, лѣтъ сорокъ назадъ, никто не помнитъ, чтобъ онъ

былъ боленъ. Деньги, что занялъ у него, не отдамъ никогда. Что же ему еще? А хвалить!

— Такъ вотъ вы какой артистъ! весело замѣтилъ Райскій.

— А вы какой? Расскажите теперь! просилъ Маркъ.

— Я... такъ себѣ, художникъ—плохой конечно: люблю красоту и поклоняюсь ей: люблю искусство, рисую, играю... Вотъ хочу писать—большую вещь, романъ...

— Да, да, вижу: такой же художникъ, какъ всѣ у насъ...

— Всѣ?

— Вѣдь у насъ все артисты: одни лѣпятъ, рисуютъ, бряччатъ, сочиняютъ—какъ вы и подобные вамъ. Другіе ѣздятъ въ палаты, въ правленія—по утрамъ, третьи сидятъ у своихъ лавокъ и играютъ въ шашки, четвертые живутъ по помѣстьямъ и продавливаютъ другія штуки — вездѣ искусство!

— У васъ нѣтъ охоты пристать къ которому-нибудь разряду? улыбаясь спросилъ Райскій.

— Пробовалъ, да не умѣю. А вы зачѣмъ сюда пріѣхали? спросилъ онъ въ свою очередь.

— Самъ не знаю, сказалъ Райскій: — мнѣ все равно, куда ни ѣхать... Подвернулось письмо бабушки, она звала сюда, я и пріѣхалъ.

Маркъ погрузился въ себя и не занимался больше Райскимъ, а Райскій, напротивъ, вглядывался въ него, изучалъ выраженіе лица, слѣдилъ за движеніями, стараясь помочь фантазіи, которая, по обык-

новенію, рисовала портретъ за портретомъ съ этой новой личности.

«Слава Богу! думалъ онъ: кажется, не я одинъ такой праздный, не опредѣлившійся, ни на чемъ не остановившійся человѣкъ. Вотъ что-то похожее: бродить, не примиряется съ судьбой, ничего не дѣлаетъ (я хоть рисую и хочу писать романъ), по лицу видно, что ничѣмъ и никѣмъ не доволенъ... Что же онъ такое? Такая же жертва разлада, какъ я? Вѣчно въ борьбѣ, между двухъ огней? Съ одной стороны фантазія обольщаетъ, возводитъ все въ идеалъ: людей, природу, всю жизнь, всѣ явленія, а съ другой—холодный анализъ разрушаетъ все—и не даетъ забываться, жить: оттуда вѣчное недовольство, холодъ... То ли и онъ, или другое что-нибудь?..»

Онъ вглядывался въ дремлющаго Марка, у Леонтья тоже слипаются глаза.

— Пора домой, сказалъ Райскій. — Прощай, Леонтій!

— Куда же я его дѣну? спросилъ Козловъ, указывая на Марка.

— Оставь его тутъ.

— Да, оставь козла въ огородѣ! А книги-то? Еслибъ можно было передвинуть его съ кресломъ сюда, въ темненькую комнату, да запереть! мечталъ Козловъ, но тотчасъ же отказался отъ этой мечты.

— Съ нимъ послѣ и не раздѣлаешься! сказалъ онъ:—да еще, пожалуй, проснется ночью, кровлю съ дома снесетъ!

Маркъ вдругъ засмѣлся, услыхавъ послѣднія слова, и быстро вскочилъ на ноги.

— И я съ вами пойду! сказалъ опъ Райскому, и надѣвши фуражку, въ одно мгновеніе высочилъ изъ окна, но прежде задулъ свѣчку у Леонтья, сказавъ: «Тебѣ спать пора: не сиди по ночамъ. Смотри, у тебя опять рожа желтая и глаза ввалились!»

Райскій послѣдовалъ, хотя не такъ проворно, его примѣру, и оба тѣмъ же путемъ, черезъ садикъ, и перелѣзши опять черезъ заборъ, вышли на улицу.

— Послушайте, сказалъ Маркъ:—мнѣ ѣсть хочется: у Леонтья ничего нѣтъ. Не можете ли вы мнѣ осадить какой-нибудь трактиръ?

— Пожалуй, но это можно сдѣлать и безъ осады...

— Нѣтъ, теперь поздно, такъ не дадутъ,—особенно когда узнаютъ, что я тутъ: надо взять съ бою. Закричимъ: «пожаръ!», тогда отворять, а мы и войдемъ.

— Потомъ выгонять.

— Нѣтъ, уже это напрасно: не впустить меня еще можно, а когда я войду, такъ ужъ не выгонишь!

— Осадить! Ночной шумъ — какъ это можно? сказалъ Райскій.

— А! испугались полиціи: что сдѣлаетъ губернаторъ, что скажетъ Нилъ Андреичъ, какъ приметъ это общество, дамы? смѣлся Маркъ. — Ну, прощайте, я ѣсть хочу и одинъ сдѣлаю приступъ...

— Пойдите, у меня другая мысль, забавнѣе этой. Моя бабушка — я говорилъ вамъ, не можетъ

слышать вашего имени, и еще недавно спорила, что ни за что и никогда не накормитъ васъ...

— Ну, такъ что-же?

— Пойдемъ-те ужинать къ ней: да кстати ужъ и почувуйте у меня! Я не знаю, что она сдѣлаетъ и скажетъ, знаю только что будетъ смѣшно.

— Идея не дурна: пойдемъ-те. Да только увѣрены ли вы, что мы достанемъ у ней ужинъ? Я очень голоденъ.

— Достанемъ ли ужинъ у Татьяны Марковны? Навѣрное можно накормить роту солдатъ.

Они молча шли дорогой. Маркъ курилъ сигару и шелъ, уткнувши носъ въ бороду, глядя подъ ноги и поплеывая.

Они пришли въ Малиновку и продолжали молча идти мимо забора, почти ощупью въ темнотѣ прошли ворота и подошли къ плетню, чтобъ перелѣзть черезъ него въ огородъ.

— Вонъ тамъ подальше лучше бы: отъ фруктоваго сада, или съ обрыва: сказалъ Маркъ.—Тамъ деревья, не видать, а здѣсь, пожалуй, собакъ встретишь, да далеко обходить! Я все тамъ хожу....

— Вы ходите... сюда, въ садъ? За чѣмъ?

— А за яблоками! Я вонъ ихъ тамъ въ прошломъ году рвалъ, съ поля, близъ стараго дома. И въ нынѣшнемъ августѣ надѣюсь, если... «вы позволите»...

— Съ удовольствіемъ: лишь бы не поймала Татьяна Марковна!

— Нѣтъ, не поймаешь. А вотъ не поймаетъ-ли

мы кого-нибудь? Смотрите, кто-то перескочилъ черезъ плетень: по нашему! Э, э, постой, не спрячешься. Кто тутъ? Стой! Райскій, спѣшите сюда, на помощь!

Онъ бросился впередъ шаговъ на десять и схватилъ кого-то.

— Что за кошачьи глаза у васъ: я ничего не вижу! говорилъ Райскій и поспѣшилъ на голосъ.

Маркъ уже держалъ кого-то: этотъ кто-то барахтался у него въ рукахъ, наконецъ упалъ на земь, прижавшись къ плетню.

— Ловите, держите тамъ: кто-то еще черезъ плетень пробирается въ огородъ! кричалъ опять Маркъ.

Райскій увидѣлъ еще фигуру, которая уже влѣзла на плетень и вытянула ноги, чтобъ соскочить въ огородъ. Онъ крѣпко схватилъ ее за руку.

— Кто тутъ? кто ты? зачѣмъ? говори? спрашивалъ онъ.

— Баринъ! пустите, не губите меня! жалобно шепталъ женскій голосъ.

— Это ты, Марина! сказалъ Райскій, узнавъ ее по голосу:—зачѣмъ ты здѣсь?

— Тише, баринъ, не зовите меня по имени: Савелій узнаетъ, больно прибѣтъ!

— Ну, ступай, иди-же скорѣй... Нѣтъ, постой! кстати попалась: не можешь-ли ты принести ко мнѣ въ комнату поужинать что-нибудь?

— Все могу, баринъ: только не губите, Христа ради!

— Не бойся, не погублю! Есть-ли что-нибудь на кухнѣ?

— Все есть: какъ не быть! цѣлый ужинъ! безъ васъ не хотѣли кушать, мало кушали. Заливныя стерляди есть, индѣйка, я все убрала на ледникъ....

— Ну, неси. А вино есть-ли?

— Осталась бутылка въ буфетѣ, и наливка у Марѣи Васильевны въ комнатѣ....

— Какъ-же достать: разбудишь ее?

— Нѣтъ, Марѣи Васильевна не проснется: люта спать! Пустите баринъ—мужъ услышитъ....

— Ну, бѣги-же, «Земфира», да не попадись ему, смотри!

— Нѣтъ, теперь ничего не возьметъ, если и встрѣтитъ: скажу на васъ, что вы велѣли....

Она засмѣялась своей широкой улыбкой во весь ротъ, глаза блеснули какъ у кошки, и она, далеко вскинувъ ноги, перескочила черезъ плетень, юбка задѣла за сучекъ. Она рванула ее, засмѣялась опять, и нагнувшись, по-кошачьи, промчалась между двумя рядами капусты.

А Маркъ въ это время все допытывался, кто прячется подъ плетнемъ. Онъ вытащилъ оттуда незнакомца, поставилъ на ноги и всматривался въ него, тотъ прятался и не давался узнавать себя.

— Савелій Ильичъ! заискивающимъ голосомъ говорилъ онъ: я—ничего такого... вы не деритесь: я самъ сдачи дамъ....

— Что-то лицо твое мнѣ знакомо! сказалъ Маркъ: какая темнота!

— Ахъ,—это не Савелій Ильичъ, ну, слава-те Господи! радостно сказалъ, отряхиваясь, незнакомый.—Я, сударь, садовникъ: вонъ оттуда...

Онъ показаль на садъ вдали.

— Что ты тутъ дѣлаешь?

— Да... пришелъ послушать, какъ соборный колоколь ударить... а не то чтобъ пустымъ дѣломъ заниматься.... У насъ часы остановились...

— Ну, тебя къ чорту! сказалъ Маркъ, оттолкнувъ его.

Тотъ перескочилъ чрезъ канаву и пропалъ въ темнотѣ.

Райскій мемду тѣмъ воротился къ главнымъ воротамъ: онъ старался отворить калитку, но не хотѣлъ стучаться, чтобъ не разбудить бабушку.

Онъ слышалъ чьи-то шаги по двору.

— Марина, Марина! звалъ онъ вполголоса, думая, что она несетъ ему ужинъ—отвори!

Съ той стороны отодвинули задвижку; Райскій толкнулъ калитку ногой, и она отворилась. Передъ нимъ стоялъ Савелій: онъ бросился на Райскаго и схватилъ его за грудь...

— А, постой, голубчикъ, я поквитаюсь съ тобой—вмѣсто Марины!—злобно говорилъ онъ: смотри, пожалуй, въ калитку лѣзетъ: а я тамъ, какъ пень, караулю у плетня!..

Онъ приперъ спиной калитку, чтобъ посѣтитель не ушелъ.

— Это я, Савелій! сказалъ Райскій.—Пусти.

— Кто это? — никакъ баринъ! въ недоумѣніи произнесъ Савелій и остановился, какъ вкопанный.

— Какъ-же вы изволили звать Марину! медленно произнесъ онъ, помолчавъ: — нешто вы ее видѣли?

— Да, я еще съ вечера просилъ ее оставить мнѣ ужинать, — солгалъ онъ въ пользу преступной жены, — и отпереть калитку. Она ужъ слышала, что я пришелъ... Пропусти гостя за мной, запри калитку и ступай спать.

— Слушаю-съ! медленно сказалъ онъ. Потомъ долго стоялъ на мѣстѣ, глядя вслѣдъ Райскому и Марку. «Вотъ что!» разстановисто произнесъ онъ и тихо пошелъ домой. На дорогѣ онъ встрѣтилъ Марину.

— Что тебѣ, лѣшій, не спится? сказала она, и согнувъ одно бедро, скользнула проворно мимо его: бродить по ночамъ! Ты бы хоть лошадямъ гривы заплеталъ, благо нѣтъ домового! Срамить меня только передъ господами!... ворчала она, несясь, какъ сильфъ, мимо его, съ тарелками, блюдами, салфетками и хлѣбами въ обѣихъ рукахъ, выше головы, но такъ, что ни одна тарелка не звенѣла, ни ложка, ни стаканъ не шевелились у ней.

Савелій, не глядя на нее, въ отвѣтъ на ея воззваніе, молча погрозилъ ей возжей.



XV.

Маркъ въ самомъ дѣлѣ былъ голоденъ: въ пять, шесть приемовъ пожемъ и вилкой, стерлядей какъ не бывало; но и Райскій не отставалъ отъ него. Марина пришла убрать и унесла остовъ индѣйки.

— Хорошо бы чего-нибудь сладкаго! сказалъ Борисъ Павловичъ.

— Пирожнаго не осталось, отвѣчала Марина: есть варенье, да ключи отъ подвала у Василисы.

— Что за пирожное! отозвался Маркъ: нельзя-ли сдѣлать жѣнку? Есть-ли ромъ?

Райскій вопросительно взглянулъ на Марину.

— Должно быть, есть: барышня на «пудень» выдавали повару на завтра: я посмотрю въ буфетѣ...

— А сахаръ есть?

— У барышни въ комнатѣ: я достану, сказала Марина и исчезла.

— И лимонъ! крикнулъ ей вслѣдъ Маркъ.

Марина принесли бутылку рому, лимонъ, сахаръ, и жѣнка запылала. Свѣчи потушили, и синее пламя зловѣщимъ блескомъ озарило комнату. Маркъ изрѣдка мѣшалъ ложкой ромъ; растопленный на двухъ вилкахъ сахаръ, шипя, капалъ въ чашку. Маркъ время отъ времени пробовалъ, готова-ли жѣнка, и опять мѣшалъ ложкой.

— И такъ... сказалъ помолчавъ Райскій и остановился.

- И такъ?... повторилъ Маркъ вопросительно.
- Давно-ли вы здѣсь въ городѣ?
- Года два...
- Вѣрно скучаете.
- Я стараюсь развлекаться...
- Извините... я...
- Пожалуйста, безъ извиненій! спрашивайте на прямикъ. Въ чемъ вы извиняетесь?
- Въ томъ, что не вѣрю вамъ...
- Въ чемъ?
- Въ этихъ развлеченіяхъ... въ этой роли, которую вы... или виновать...
- Опять «виновать?»
- Которую вамъ приписываютъ.
- У меня нѣтъ никакой роли: вотъ мнѣ и приписываютъ какую-то.

Онъ налилъ рюмку жѣнки и выпилъ.

— Выпейте: готова! сказалъ онъ, наливая рюмку и подвигая къ Райскому. Тотъ выпилъ ее медленно, безъ удовольствія, чтобъ только сдѣлать компанію собесѣднику.

— Приписываютъ, началъ Райскій: стало быть это не настоящая ваша роль?

— Экіе вы! я вамъ говорю, что у меня нѣтъ роли: ужели нельзя безъ роли прожить?...

— Но вѣдь въ насъ есть потребность что-нибудь дѣлать: а вы, кажется, ничего....

— А вы что дѣлаете?

— Я... говорилъ вамъ, что я художникъ....

— Покажите же мнѣ образчики вашего искусства....

—Теперь ничего нѣтъ: вотъ впрочемъ—бездѣлка: еще не совсѣмъ кончено....

Онъ всталъ съ дивана, снялъ холстину съ портрета Марейньки и зажегъ свѣчу.

— Да, похожъ! сказалъ Маркъ—хорошо!.... «У него талантъ!» сверкнуло у Марка въ головѣ.—Очень хорошо бы... да... голова велика, плечи немного широки...

«У него вѣренъ глазъ!» подумалъ Райскій.

— Лучше всего этотъ свѣтлый тонъ въ воздухѣ и въ аксессуарахъ. Вся фигура отъ этого легка, воздушна, прозрачна: вы поймали тайну фигуры Марейньки. Къ цвѣту ея лица и волосъ идетъ этотъ легкій колоритъ...

«У него есть и вкусъ и пониманіе! думалъ опять Райскій: ужъ не артистъ-ли онъ, да притаился?»

— А вы знаете Марейньку? спросилъ онъ.

— Знаю.

— А Вѣру?

— И Вѣру знаю.

— Гдѣ же вы ихъ видали? вы въ домѣ не бываете.

— Въ церкви.

— Въ церкви? Какъ-же говорятъ, что вы не заглядываете въ церковь?

— Не помню, впрочемъ, гдѣ видѣлъ: въ деревнѣ, въ полѣ встрѣчалъ...

Онъ выпилъ еще рюмку жѣнки.

— Не хотите-ли? прибавилъ онъ, наливая Райскому.

— Нѣтъ—я не пью почти: это такъ только, для компаніи. У меня и такъ въ голову бросилось.

— И у меня тоже, да ничего: выпейте. Еслибъ въ голову не бросалось, такъ и пить не нужно.

— Зачѣмъ же, если не хочется?

— И то правда, ну, такъ я за васъ!

Онъ выпилъ и его рюмку.

«Не пьяница-ли онъ?» подумалъ Райскій, боязливо глядя, съ какимъ удовольствіемъ онъ выпилъ еще рюмку.

— Вамъ странно смотрѣть, что я пью: сказалъ Маркъ, угадавшій его мысли: это отъ скуки и праздности... дѣлать нечего!—Онъ опять налилъ, но поставилъ рюмку подлѣ себя и попросилъ сигару. Райскій подвинулъ ему ящикъ.

«У него глаза покраснѣли», думалъ онъ: напрасно я зазвалъ его — видно бабушка правду говоритъ: какъ бы онъ чего-нибудь....»

— Праздность! вѣдь это...

— «Мать всѣхъ пороковъ», хотите вы сказать: перебилъ Маркъ.... запишите это въ въ свой романъ и продайте... И ново, и умно....

— Я хочу сказать, продолжалъ Райскій, что отъ насъ зависитъ быть празднымъ и не быть...

— Когда вы давеча перелѣзли черезъ заборъ къ Леонтью, перебилъ опять Маркъ, я думалъ, что вы порядочный человѣкъ, а вы, кажется, въ полку Нила Андреича служите, читаете мораль...

— Вотъ видите, я и правъ, что извинялся передъ вами: надо быть осторожнымъ на словахъ... замѣтилъ Райскій.

— Зачѣмъ? не надо. Говорите, что вздумается,

и мнѣ не мѣшайте отвѣчать, какъ вздумаю. Вѣдь я не спросилъ у васъ позволенія обругать васъ Ниломъ Андреичемъ—а ужъ чего хуже?

— Правда-ли, что вы стрѣляли по немъ? спросилъ Райскій съ любопытствомъ.

— Вздоръ: я стрѣлялъ вонъ тамъ на выѣздѣ по голубямъ, чтобъ ружье разрядить: я возвращался съ охоты. А онъ тамъ гулялъ: увидалъ, что я стрѣляю, и началъ кричать, чтобъ я пересталъ, что это грѣхъ, и тому подобныя глупости. Еслибъ только одно это, я бы назвалъ его дуракомъ и дѣло съ концомъ, а онъ затопалъ ногами, грозилъ пальцомъ, стучалъ палкой: «я тебя, говоритъ, мальчишку, въ острогъ; я тебя туда, куда воронъ костей не заносилъ; въ 24 часа въ мелкій порошокъ изотру, въ бараний рогъ согну, на поселеніе сошлю!» Я далъ ему истощить весь словарь этихъ нѣжностей, выслушалъ хладнокровно, а потомъ прицѣлился въ него.

— Что же онъ?

— Ну, началъ присѣдать, растерялъ палку, калоши, потомъ сѣлъ на земь и попросилъ извиненія. А я выстрѣлилъ на воздухъ и опустилъ ружье—вотъ и все.

— Это... развлеченіе? спросилъ съ мягкой ироніей Райскій.

— Нѣтъ, серьезно отвѣчалъ Маркъ: важное дѣло, урокъ старому ребенку.

— Что же послѣ?

— Ничего: онъ ѣздилъ къ губернатору жало-

ваться и солгалъ, что я стрѣлялъ въ него, да не попалъ. Еслибъ я былъ мирный гражданинъ города, меня бы сейчасъ на стѣзжую посадили, а такъ какъ я виѣ закона, на особенномъ счету, то губернаторъ разузналъ, какъ было дѣло, и посовѣтовалъ Нилу Андреичу умолчать: «чтобъ до Петербурга никакихъ исторій не доходило»: этого онъ, какъ огня, боится.

«Кажется, онъ хвастается удалью!» подумалъ Райскій, вглядываясь въ него. «Не провинціальный-ли это фанфаронъ низшаго разряда?»

— Я не хотѣлъ читать вамъ морали, сказалъ онъ вслухъ: говоря о праздности, я только удивился, что съ вашимъ умомъ, образованіемъ и способностями...

— Почему вы знаете мой умъ, образованіе и способности?

— Я вижу...

— Что же вы видите? что я умѣю лазить черезъ заборы, стрѣляю въ дураковъ, ѣмъ много, пью.... видите!...

Онъ еще вынулъ. Райскій съ безпокойствомъ смотрѣлъ на эти возліянія и подумывалъ, чѣмъ это все кончится. Онъ внутренно раскаявался въ своей затѣѣ подразнить бабушку.

— Вы морщитесь: не бойтесь, сказалъ Маркъ: я не сожгу дома и не зарѣжу никого. Сегодня я особенно пью, потому что усталъ и озябъ. Я не пьяница.

Онъ вылилъ остатки рома изъ бутылки въ чашку

и зажегъ опять ромъ. Потомъ, положивъ оба локтя на столъ, небрежно глядѣлъ на Райскаго. Въ манерахъ его, и безъ того развязныхъ, стала появляться и та свобода, обыкновенная за бутылкой, отъ которой всегда неловко становится трезвому собесѣднику. Разговоръ тоже принималъ оборотъ фамиллярности. Райскаго, несмотря на увѣреніе собесѣдника, не покидало безпокойство, что это перейдетъ границы.

— Вы тоже, можетъ быть, умны... говорилъ Маркъ, не то серьезно, не то иронически, и безцеремонно глядя на Райскаго, — я еще не знаю, а можетъ быть, и нѣтъ: а что способны, даже талантливы — это я вижу, — слѣдовательно больше васъ имѣю права спросить, отчего же вы ничего не дѣлаете?

— Я... все таки...

— Портретъ написали? перебилъ онъ. — Да вы портретистъ, что-ли?

— Да, я писалъ иногда....

— Ну, *иногда*—это не дѣло. Иногда и я дѣлалъ кое-что.

Онъ помѣшалъ новую жѣнку и хлебнулъ. Райскій и желалъ и боялся наводить его на дальнѣйшій разговоръ, чтобъ вино не оказало полного дѣйствія.

— Вы говорите, началъ однако онъ, что у меня есть талантъ — и другіе тоже говорятъ, даже находятъ во мнѣ таланты: я, можетъ быть, и худож-

никъ въ душѣ, искренній художникъ, — но я не готовился къ этому поприщу...

— Почему же?

— Да какъ вамъ сказать: у насъ нѣтъ этой арены, отъ того нѣтъ и приготовленія къ ней.

— Вотъ видите, замѣтилъ Маркъ: однако васъ учили; нельзя прямо сѣсть за фортепіано, да заиграть. Плечо у васъ на портретѣ и криво, голова велика, а все же надо выучиться держать кисть въ рукѣ.

— Да, если хотите, учили, «чтобъ имѣть въ обществѣ пріятные таланты», какъ говаривалъ мой опекунъ: рисовать въ альбомы, пѣть романсы въ салонѣ. Я и достигъ этого умѣнья очень быстро. А когда подросъ, узналъ, чтò значитъ призваніе—хотѣлъ одного искусства и больше ничего—мнѣ показали, въ какихъ черныхъ рукахъ оно держится. Заѣзжіе пѣвцы и пѣвицы давали концерты, на нихъ смотрѣли свысока. Учитель рисованья сидѣлъ безъ хлѣба. Бабушка руками всплеснула, когда узнала, какое поприще выбираю себѣ. У меня вонъ предки есть: съ историческими именами; въ мундирахъ, лентахъ и звѣздахъ: ну, и меня толкали въ камеръ-юнкеры, соблазняли гусарскимъ мундиромъ. Я былъ мальчикъ, соблазнился и пошелъ въ гусары.

— Ну, а потомъ? тамъ въ Петербургѣ есть академія....

— Потомъ...

— Чтò потомъ? перебилъ Маркъ и засмѣялся.

— Извѣстно чтò... поздно было: какая академія

послѣ чада петербургской жизни! съ досадой говорилъ Райскій, ходя изъ угла въ уголъ:—у меня, видите, есть имѣніе, есть родство, свѣтъ... Надо бы было все это отдать нищимъ, взять крестъ и идти... какъ говорить одинъ художникъ, мой пріятель. Меня отняли отъ искусства—какъ дитя отъ груди... Онъ вздохнулъ.—Но я ворочу и дойду! сказалъ онъ рѣшительно.—Время не ушло, я еще не старъ...—Маркъ опять засмѣялся.

— Нѣтъ, говорилъ онъ, не сдѣлаете: куда вамъ!

— Отъ чего нѣтъ? почему вы знаете? горячо приступилъ къ нему Райскій: вы видите, у меня есть воля и терпѣніе...

— Вижу, вижу: и лицо у васъ пылаетъ, и глаза горять—и всего отъ одной рюмки: то ли будетъ, какъ выпьете еще! Тогда тутъ же что-нибудь сочините или нарисуете. Выпейте, не хотите-ли?

— Да почему вы знаете? вы не вѣрите въ намѣренія?...

— Какъ не вѣрить: ими, говорятъ, вымощенъ адъ. Нѣтъ, вы ничего не сдѣлаете и не выйдете изъ васъ ничего, кромѣ того, что вышло, т. е. очень мало. Много такихъ у насъ было и есть: всѣ пропали, или спились съ кругу. Я еще удивляюсь, что вы не пьете: наши художники обыкновенно кончаютъ этимъ. Это все неудачники!—Онъ, съ усмѣшкой, подвинулъ ему рюмку и выпилъ самъ.

«Онъ холодный, злой, безъ сердца!» заключилъ Райскій. Между прочимъ его поразило послѣднее замѣчаніе. «Много у насъ такихъ!» шепталъ онъ

и задумался. «Ужели я изъ тѣхъ: съ печатью таланта, но грубыхъ, грязныхъ, утопившихъ даръ въ винѣ.... «одна нога въ калошѣ, другая въ туфлѣ» мелькнуло у него бабушкино живописное сравненіе. «Ужели я.... «неудачникъ? А это упорство, эта одна вѣчная цѣль, чтò это значитъ? Вреть онъ!»

— Вы увидите, что не всѣ такіе.... возразилъ онъ горячо: увидите, я непремѣнно... И остановился, вспомнивъ бабушкину мудрость о заносчивомъ «непремѣнно».

— Сами же видите, что я не топлю даръ въ винѣ... прибавилъ онъ.

— Да, не пьете: это правда: это улучшеніе, прогрессъ! Свѣтъ, перчатки, танцы и духи спасли васъ отъ этого. Впрочемъ, чадъ бываетъ различный: у кого пары бросаются въ голову, у другого... Не влюбчивы-ли вы?

Райскій слегка покраснѣлъ.

— Чтò, кажется, попалъ?

— Почему вы знаете?

— Да потому, что это тоже входитъ въ натуру художника: она не чуждается ничего человѣческаго: *nil humanum...* и такъ далѣе! Кто вино, кто женщинъ, кто карты, а художники взяли себѣ все.

— «Вино», «женщины», «карты!» повторилъ Райскій озлобленно: когда перестанутъ считать женщину какимъ-то наркотическимъ снадобьемъ и ставить рядомъ съ виномъ и картами! — Почему вы думаете, что я влюбчивъ? спросилъ онъ, помолчавъ.

— Вы давеча сами сказали, что любите красоту, поклоняетесь ей...

— Ну, такъ что же: поклоняюсь — видите...

— Вѣрно влюблены въ Марѣиньку: не даромъ портреть пишете! Художники, какъ лекаря и попы, даромъ не любятъ ничего дѣлать. Пожалуй, не прочь и того... увлечь дѣвочку, сыграть какой-нибудь романчикъ, даже драму...

Онъ глядѣлъ безцеремонно на Райскаго и засмѣлся злымъ смѣхомъ.

— Милостивый государь! сказалъ Райскій запальчиво: кто вамъ далъ право думать и говорить такъ...

И вдругъ остановился, вспомнивъ сцену съ Марѣинькой въ саду, и сильно почесалъ свои густые волосы.

— Тихе, бабушка услышитъ! небрежно сказалъ Маркъ.

— Послушайте! сдвинувъ брови, началъ опять Райскій...

— ...«если я васъ до сихъ поръ не выбросилъ за окошко, — договорилъ за него Маркъ, — то вы обязаны этимъ тому, что вы у меня подъ кровомъ!» Такъ, что-ли, слѣдуетъ дальше? ха, ха, ха!

Райскій прошелся по комнатѣ.

— Нѣтъ, вы обязаны тому, что вы пьяны! сказалъ онъ покойно, сѣлъ въ кресло и задумался. Ему вдругъ скучно стало съ своимъ гостемъ, какъ трезвому бываетъ съ пьянымъ.

— О чемъ вы думаете? спросилъ Маркъ.

— Угадайте, вы мастеръ угадывать.

— Вы раскаяваетесь, что зазвали меня къ себѣ.

— Почти... отвѣчалъ Райскій нерѣшительно: остатокъ вѣжливости мѣшалъ ему быть вполне откровеннымъ.

— Говорите смѣлѣе — какъ я: скажите все, что думаете обо мнѣ. Вы давеча интересовались мною, а теперь...

— Теперь, признаюсь, мало.

— Я вамъ надоѣлъ?

— Не то что надоѣли, а перестали занимать меня, быть новостью. Я васъ вижу и знаю.

— Скажите-же, что я такое?

— Что вы такое? повторилъ Райскій, остановясь передъ нимъ и глядя на него также безцеремонно, почти дерзко, какъ и Маркъ на него. — Вы не загадка: «свихнулись въ ранней молодости» — говорить Титъ Никонычъ: а я думаю, вы просто не получили никакого воспитанія, иначе бы не свихнулись; отъ того ничего и не дѣлаете... Я не извиняюсь въ своей откровенности: вы этого не любите; притомъ слѣдую вашему примѣру...

— Пожалуйста, пожалуйста, продолжайте, безъ оговорокъ! оживляясь сказалъ Маркъ: вы растете въ моемъ мнѣніи: я думаю, что вы такъ себѣ, дряблый, приторный, вѣжливый господинъ, какъ всѣ тамъ.. А въ васъ есть спиртъ... хорошо! продолжайте!

Райскій небрежно молчалъ.

— Что такое воспитаніе? заговорилъ Маркъ. — Возьмите всю вашу родню и знакомыхъ: воспитан-

ныхъ, умытыхъ, причесанныхъ, не пьющихъ, опрятныхъ, съ *belles manières*... Согласитесь, что они не больше моего дѣлаютъ? А вы сами тоже съ воспитаніемъ — вотъ не пьете: а за исключеніемъ портрета Марѳиньки, да романа въ программѣ...

Райскій сдѣлалъ движеніе нетерпѣнія, а Маркъ кончилъ свою фразу смѣхомъ. Смѣхъ этотъ раздражалъ нервы Райскаго. Ему хотѣлось вполне заплатить Марку за откровенность откровенностью.

— Да, вы правы: ни ихъ, ни меня къ дѣлу не готовили: мы были обезпечены... сказалъ онъ.

— Какъ не готовили? учили верхомъ для военной службы, дали хорошій почеркъ для гражданской. А въ университетѣ: и права, и греческую, и латынскую мудрость, и государственныя науки, чего не было? А все прахомъ пошло. Ну-съ, продолжайте, что же я такое?

— Вы замѣтили, сказалъ Райскій, что наши художники перестали пить, и справедливо видите въ этомъ прогрессъ, т. е. воспитаніе. Артисты вашего сорта — еще не улучшились.... все тѣ же, какъ я вижу...

— Какіе же это артисты — скажите, только, пожалуйста, напрямикъ?

— Артисты — *sans façons*, которые напиваются при первомъ знакомствѣ, бьютъ стекла по ночамъ, осаждаютъ трактиры, травятъ собаками дамъ, стрѣляютъ въ людей, занимаютъ вездѣ деньги...

— И не отдають! прибавилъ Маркъ. — Bravo! Славный очеркъ: вы его помѣстите въ романъ...

— Можетъ быть, помѣщу.

— А прогроз о деньгахъ: для полноты и вѣрности вашего очерка, дайте мнѣ рублей сто въ займы: я вамъ... никогда не отдамъ, развѣ что будете въ моемъ положеніи, а я въ вашемъ....

— Что это, шутка?

— Какая шутка! огородникъ, у котораго нанимаю квартиру, пристаётъ: онъ-же и кормитъ меня. У него ничего нѣтъ. Мы оба въ затрудненіи...

Райскій пожалъ плечами, потомъ порылся въ платяхъ, наконецъ отыскалъ бумажникъ и вынувъ оттуда нѣсколько ассигнацій, положилъ ихъ на столъ.

— Тутъ только восемьдесятъ: вы меня обсчитываете, сказалъ Маркъ, сосчитавъ.

— Больше нѣтъ: деньги спрятаны у бабушки: завтра пришло.

— Не забудьте. Пока довольно съ меня. Ну-съ, что же дальше: «занимаютъ деньги и не отдають?» говорилъ Маркъ, пряча ассигнаціи въ карманъ.

— Праздные повѣсы, которымъ противенъ трудъ и всякій порядокъ, продолжалъ Райскій: — бродячая жизнь, житье на распаху, на чужой счетъ — вотъ все, что имъ остается, какъ скоро они однажды выскочатъ изъ колеи. Они часто грубы, грязны; есть между ними фаты, которые еще гордятся своимъ цинизмомъ и лохмотьями...

Маркъ засмѣялся.

— Не въ бровь, а прямо въ глазъ: хорошо, хорошо! говорилъ онъ.

— Да, если много такихъ художниковъ, какъ я,

сказалъ Райскій, то такихъ артистовъ, какъ вы, еще больше: имя имъ легіонъ!

— Еще немножко, и вы заплатите мнѣ вполнѣ: замѣтилъ Маркъ, но прибавьте: легіонъ, пущенный въ стадо...

Онъ опять засмѣялся. За нимъ усмѣхнулся и Райскій.

— Что-жъ, это не правда? добавилъ Райскій: скажите по совѣсти! Я согласенъ съ вами, что я принадлежу къ числу тѣхъ художниковъ, которыхъ вы называли... какъ?

— Неудачниками.

— Ну, очень хорошо, и слово хорошее, мѣткое.

— Здѣшняго издѣлія: чѣмъ богаты, тѣмъ и рады! сказалъ, кланяясь, Маркъ. — Вамъ угодно, чтобъ я согласился съ вѣрностью вашего очерка: еслибъ я даже былъ стыдливъ, обидчивъ, какъ вы, еслибъ и не хотѣлъ согласиться, то принужденъ бы былъ сдѣлать это. Поэтому поздравляю васъ: наружно очеркъ вѣренъ — почти совершенно...

— Вы соглашаетесь и...

— И остаюсь все тѣмъ-же? досказалъ Маркъ: васъ это удивляетъ? Вы вѣдь то-же видите себя хорошо въ зеркалѣ: согласились даже благосклонно принять прозвище неудачника, — а все-таки ничего не дѣлаете?

— Но я хочу... дѣлать — и буду! съ азартомъ сказалъ Райскій.

— И я смертельно хочу дѣлать, но — я думаю — не буду.

Райскій пожалъ плечами.

— Отъ чего-же?

— Поприща, «арены» для меня нѣтъ... какъ вы говорите.

— Есть же у васъ какія-нибудь цѣли?

— Вы скажите мнѣ прежде, отъ чего я такой? спросилъ Маркъ—вы такъ хорошо сдѣлали очеркъ—замокъ передъ вами, приберите и ключъ. Что вы видите еще подъ этимъ очеркомъ? Тогда, можетъ быть, и я скажу вамъ, отъ чего я не буду ничего дѣлать.

Райскій началъ ходить по комнатѣ, вдумываясь въ этотъ новый вопросъ.

— Отъ чего вы такой? повторилъ онъ въ раздумьи, останавливаясь передъ Маркомъ: я думаю вотъ отъ чего: отъ природы вы были пылкій, живой мальчикъ. Дома, мать, няньки избаловали васъ....

Маркъ усмѣхнулся.

— Все это баловство повело къ деспотизму: а когда дядьки и няньки кончились, чужіе люди стали ограничивать дикую волю, вамъ не понравилось; вы сдѣлали эксцентрическій подвигъ, васъ прогнали изъ одного мѣста. Тогда ужъ стали мстить обществу: благоразуміе, тишина, чужое благосостояніе показались грѣхомъ и порокомъ, порядокъ противенъ, люди нелѣпы.... И давай тревожить покой смиренныхъ людей!...

Маркъ покачалъ головой.

— Одни изъ этихъ артистовъ просто утопаютъ въ картахъ, въ винѣ, продолжалъ Райскій, другіе ищутъ

роли. Есть и донъ-кихоты между ними: они хватаются за какую-нибудь невозможную идею, преслѣдуютъ ее иногда искренно; вообразить себя про-роками и апостольствуютъ въ кружкахъ слабыхъ головъ, по трактирамъ. Это легче, чѣмъ работать. Проврутсѣ что-нибудь дерзко про власть, ихъ переводятъ, пересылаютъ съ мѣста на мѣсто. Они всѣмъ въ тягость, вездѣ надоели. Кончаютъ они различно, смотря по характеру: кто угодить, вотъ какъ вы, на смиреніе....

— Да я еще не кончилъ: я начинаю только, что вы! перебилъ Маркъ.

— Другихъ запираютъ въ сумасшедшій домъ за ихъ идеи....

— Это еще не доказательство сумасшествія. Помните, что и того, у кого у первого родилась идея о силѣ пара, тоже посадили за нее въ сумасшедшій домъ, замѣтилъ Маркъ.

— А! такъ вотъ вы что! у васъ претензія есть: выражать собой и преслѣдовать великую идею!

— Да-съ, вотъ что! съ комической важностью подтвердилъ Маркъ..

— Какую же?

— Какіе вы нескромные! угадайте! сказалъ зѣвая Маркъ — и положивъ голову на подушку, закрылъ глаза.

— Спать хочется! прибавилъ онъ.

— Ложитесь здѣсь, на мою постель: а я лягу на диванъ—приглашалъ Райскій; вы гость....

— Хуже татарина.... сквозь сонъ бормоталъ

Маркъ:—вы ложитесь на постель, а я.... мнѣ все равно....

«Что онъ такое?» думалъ Райскій, тоже зѣвая:—витаешь, какъ птица, или бездомная, безпріютная собака, безъ хозяина, т. е. безъ цѣли! Праздный ли это, затерявшійся повѣса, заблудшая оца, или....

— Прощайте, неудачникъ! сказалъ Маркъ.

— Прощайте, русскій.... Карлъ Моръ! насмѣшливо отвѣчалъ Райскій и задумался. А когда очнулся отъ задумчивости, Маркъ спалъ уже всею сладостью сна, какой дается крѣпко озябшему, уставшему, наѣвшемуся и выпившему человѣку.

Райскій подошелъ къ окну, откинулъ занавѣску, смотрѣлъ на темную звѣздную ночь. Кое-гдѣ стучали въ доску, лѣниво раздавалось откуда-то протяжное: «слушай!» Только отъ собачьяго лая стоялъ глухой гулъ надъ городомъ. Но все перевозмогала тишина, темнота и невозмутимый покой. Въ комнатѣ, въ недонитой Маркомъ чашкѣ съ ромомъ, ползалъ чуть мерцающій синій огонекъ, и изрѣдка всныхивая, озарялъ на секунду комнату и опять горѣлъ тускло, готовый ежеминутно потухнуть. Кто-то легонько постучалъ въ дверь. «Кто тамъ?» тихо спросилъ Райскій. «Это я, Борюшка, отвори скорѣе! что у тебя дѣлается?» послышался испуганный голосъ Татьяны Марковны. Райскій отперъ. Дверь отворилась, и бабушка, какъ привидѣніе, вся въ бѣломъ, явилась на порогѣ.

— Батюшки мои! что это за свѣтъ? съ тревогой произнесла она, глядя на мерцающій огонь.

Райскій отвѣчалъ смѣхомъ.

— Что такое у тебя? Я въ окно увидала свѣтъ, испугалась, думала, ты спишь.... Что это горить въ чашкѣ?

— Ромъ.

— Ты по ночамъ пьешь пуншъ! шепотомъ, въ ужасѣ сказала она и съ изумленіемъ глядѣла, то на него, то на чашку.

— Грѣшенъ, бабушка, иногда люблю выпить....

— А это кто спитъ? съ новымъ изумленіемъ спросила она, вдругъ увидѣвъ спящаго Марка.

— Тише, бабушка, не разбудите: это Маркъ.

— Маркъ! Не послать ли за полиціей? Гдѣ ты взялъ его? какъ ты съ нимъ связался? шептала она въ изумленіи: по ночамъ съ Маркомъ пьеть пуншъ! Да что съ тобой сдѣлалось, Борисъ Павловичъ?

— Я у Леонтія встрѣтился съ нимъ, говорилъ онъ, наслаждаясь ея ужасомъ. — Намъ обоимъ захотѣлось ѣсть: онъ звалъ-было въ трактиръ...

— Въ трактиръ! Этого еще не доставало!

— А я привелъ его къ себѣ — и мы поужинали...

— Отъ чего же ты не разбудилъ меня! Кто вамъ подавалъ? Что подавали?

— Стерляди, индѣйку: Марина все нашла!

— Все холодное! Какъ же не разбудить меня! Дома есть мясо, цыплята... Ахъ, Борюшка, срамишь ты меня!

— Мы сыты и такъ.

— А пирожное? спохватилась она: вѣдь его не осталось! что же вы ѣли?

— Ничего: вонъ Маркъ пуншѣ сдѣлалъ. Мы сыты.

— Сыты! ужинали безъ горячаго, безъ пирожнаго! Я сейчасъ пришлю варенья...

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо! Если хотите, я разбужу Марка, спрошу...

— Что ты, Богъ съ тобой: я въ кофть! съ испугомъ отговаривалась Татьяна Марковна, прячась въ коридорѣ. — Богъ съ нимъ: пусть его спитъ! Да какъ онъ спитъ-то: свернулся, точно собачонка! Косая на Марка говорила она. — Стыдъ, Борисъ Павловичъ, стыдъ: развѣ перинъ нѣтъ въ домѣ? Ахъ, ты Боже мой! Да потуши ты этотъ проклятый огонь! Безъ пирожнаго!

Райскій задулъ синій огонь и обнялъ бабушку. Она перекрестила его, и покосаясь еще на Марка, на дыпочкахъ пошла къ себѣ.

Онъ уже ложился спать, какъ опять постучали въ дверь.

— Кто еще тамъ? спросилъ Райскій и отперъ дверь.

Марина поставила прежде на столъ банку варенья, потомъ втащила пуховикъ и двѣ подушки.

— Барыня прислала: не покушаете-ли варенья? сказала она.—А вотъ и перина: если Маркъ Ивановичъ проснется, такъ вотъ легли бы на перинѣ!

Райскій еще разъ разсмѣялся искренно отъ души, и въ тоже время почти до слезъ былъ тронутъ добротой бабушки, нѣжностью этого женскаго сердца, вѣрностью своимъ правиламъ гостепріимства и простымъ, указываемымъ сердцемъ, добродѣтелямъ.

XVI.

Рано утромъ легкій стукъ въ окно разбудилъ Райскаго. Это Маркъ выпрыгнулъ въ окошко. «Не любить прямой дороги!»... думалъ Райскій глядя, какъ Маркъ прокрадывался черезъ цвѣтникъ, черезъ садъ, и скрылся въ чащѣ деревьевъ, у самого обрыва.

Борису не спалось, и онъ, въ легкомъ утреннемъ пальто, вышелъ въ садъ, хотѣлъ-было догнать Марка, но увидѣлъ его уже далеко идущаго низомъ по волжскому побережью. Райскій постоялъ надъ обрывомъ: было еще рано; солнце не вышло изъ-за горъ, но лучи его уже золотили верхушки деревьевъ, вдали сіяли поля, облитыя росой, утренній вѣтерокъ вѣялъ мягкой прохладой. Воздухъ быстро нагрѣвался и обѣщалъ теплый день.

Райскій походилъ по саду. Тамъ уже началась жизнь; птицы пѣли дружно, суетились во всѣ стороны, отыскивая завтракъ; пчелы, шмели жужжали около цвѣтовъ. Издали, съ поля, доносилось мычанье Коровъ, по полю валило облако пыли, поднимаемое стадомъ овецъ; въ деревнѣ скрипѣли ворота, слышался стукъ телѣтъ; во ржи щелкали перепела. На дворѣ тоже начиналась забота дня. Прохоръ поилъ и чистилъ лошадей въ сараѣ, Кузьма или Степанъ рубилъ дрова, Матрена прошла съ корытцемъ муки въ кухню, Марина раза четыре проне-

слась по двору, бережно неся и держа далеко отъ себя выглаженные юбки барышни. Егорка дѣлалъ туалетъ, умываясь у колодца, въ углу двора; онъ полоскался, сморкался, плевалъ и уже скалилъ зубы надъ Мариной. Яковъ съ крыльца молился на крестъ собора, поднимавшійся изъ-за домовъ слободки. По двору, подъ ногами людей и около людскихъ, у корыта съ какой-то кашей, толпились куры и утки, да нахально вездѣ бѣгали собаки, лаявшія на-то-щакъ безъ толку на всякаго прохожаго, даже иногда на своихъ, наконецъ другъ на друга.

— Все тоже, что вчера, что будетъ завтра! прошепталъ Райскій.

Онъ постоялъ по срединѣ двора, лѣниво оглянулся во всѣ стороны, почесался, зѣвнулъ и вдругъ почувствовалъ симптомы болѣзни, мучившей его съ Петербурга. Ему стало скучно. Передъ нимъ, въ перспективѣ, стоялъ длинный день, съ вчерашними, третьягоднишними впечатлѣніями, ощущеніями. Кругомъ все таже наивно улыбающаяся природа, тотъ же лѣсъ, та же задумчивая Волга, обѣивалъ его тотъ же воздухъ. Тѣже все представленія, лишь онъ проснется, какъ неподвижная кулиса, вставали передъ нимъ; двигались тѣ же лица, разныя твари. Его и влекла и отталкивала отъ нихъ центробѣжная сила: его тянуло къ Леонтью, котораго онъ цѣнилъ и любилъ, но лишь только онъ приходилъ къ нему, его уже толкало вонъ. Леонтьй, какъ изваяніе, вылился весь окончательно въ назначенный ему образъ, угадалъ свою задачу и

окаменѣлъ навсегда. Райскій искалъ чего-нибудь другого, гдѣ бы онъ могъ не каменѣть, не слыша и не чувствуя себя. Онъ шелъ къ бабушкѣ, и у ней въ комнатѣ, на кожаномъ канапѣ, за рѣшетчатымъ окномъ, находилъ еще какое-то колыханье жизни, тамъ еще была ему какая-нибудь работа, ломать старый вѣкъ. Жизнь между ею и имъ становилась не иначе, какъ спорнымъ пунктомъ, и разрѣшалась иногда, послѣ нелегкой работы ума, кипѣнія крови, діалектикой, въ которой Райскій добывалъ какое-нибудь оригинальное наблюденіе надъ правами этого быта, или практическую, вѣрную замѣтку жизни, или слѣдилъ, какъ управлялась жизнь подъ наитіемъ наивной вѣры и подъ ферулой грубаго суевѣрія. Его все-таки что-нибудь да волновало: досада, смѣхъ, иногда пробивалось умиленіе. Но какъ скоро споръ кончался, интересъ падалъ—Райскому являлись только простыя формы одной и той же, невѣдомо куда и зачѣмъ текущей жизни.

Марейнька со вчерашняго вечера окончательно стала для него сестрой: другимъ ничѣмъ она быть не могла, и притомъ сестрой, къ которой онъ не чувствовалъ братской нѣжности. Онъ уже не считалъ нужнымъ передѣлывать ее: другое воспитаніе, другое воззрѣніе, даже дальнѣйшее развитіе нарушило бы строгую опредѣленность этой натуры, хотя, можетъ быть, оно вынуло бы наивность, унесло бы дѣтство, всѣ эти ребяческія понятія, бабочкино порханье, но что дало бы въ замѣнъ? Страстей, широкихъ движеній, какой-нибудь дальней и труд-

пой цѣли—не могло дать: не по натурѣ ей! А дало бы хаосъ, повело бы къ недоумѣніямъ—и много-много, еслибъ разрѣшилось претензіей съѣздить въ Москву, побывать на балѣ въ дворянскомъ собраніи, привезти платье съ Кузнецкаго моста, и потомъ хвастаться этимъ до глубокой старости передъ мелкими губернскими чиновницами.

Титъ Никонъчъ, и прочія немногія лица, примелькались ему, какъ примелькались старинные кожаные ганапе, шкафы, саксонскія чашки и богемскіе хрустали. Оставался Маркъ, да еще Вѣра, какъ туманныя пятна. Марка онъ видѣлъ, и какъ ни прятался тотъ въ діогеновскую бочку, а Райскій успѣлъ уловить главныя черты фізіономіи. Идти дальше, стараться объяснять его окончательно, значить напиваться съ нимъ пьянымъ, давать ему денегъ взаймы, и потомъ выслушивать незанимательныя повѣсти о томъ, какъ онъ въ полку нагрубилъ командиру, или побилъ жида, не заплатилъ въ трактирѣ денегъ, поднялъ знамя бунта противъ уѣздной или земской полиціи, и какъ за то исключенъ изъ полка, или посланъ въ такой-то городъ подъ надзоръ.

Райскій повѣсилъ голову и шелъ по двору, не замѣчая поклоновъ дворни, не отвѣчая на привѣтливое вилянье собакъ; набрелъ на утятъ и чуть не раздавилъ ихъ.

«Что за существованіе—размышлялъ онъ—остановить взглядъ на явленіи, приять образъ въ себя, вспыхнуть на минуту и потомъ холодѣть, скучать и

насиловать или искусственно подновлять въ себѣ періодическую охоту къ жизни, какъ ежедневный аппетитъ! Тайна умѣнья жить—только тайна длить эти періоды, или лучше сказать не тайна, а даръ, невольный, безсознательный. Надо жить какъ-то закрывши глаза и уши—и живетъ долго и прочно. И тѣ и правы, у кого нѣтъ жала въ мозгу, кто близорукъ, у кого туго обоняніе, кто идетъ, какъ въ туманѣ, не теряя иллюзій! А какъ удержать краски на предметахъ, никогда не взглянуть на нихъ простыми глазами и не увидѣть, что зелень не зелена, небо не сине, что Маркъ не заманчивый герой, а мелкій либераль, Марейника сахарная куколка, а Вѣра... Что такое Вѣра?» сдѣлалъ онъ себѣ вопросъ и зѣвнулъ.

Онъ пожималъ плечами, какъ будто ознобъ пробѣгалъ у него по спинѣ, морщился и заложивъ руки въ карманы, ходилъ по огороду, по саду, не замѣчая красокъ утра, горячаго воздуха, такъ нѣжно ласкавшего его нервы, не смотрѣлъ на Волгу, и только тупая скука грызла его. Онъ съ ужасомъ видѣлъ впереди рядъ длинныхъ, безцѣльныхъ дней.

Ему пришла въ голову прежняя мысль «писать скуку»: вѣдь жизнь многосторонняя и многообразная, и если, думалъ онъ, и эта широкая и голая, какъ степь, скука лежитъ въ самой жизни, какъ лежатъ въ природѣ безбрежные пески, нагота и скудость пустынь, то и скука можетъ и должна быть предметомъ мысли, анализа, пера или кисти, какъ одна изъ сторонъ жизни: «что-жъ, пойду, и среди

моего романа, вставлю широкую и туманную страницу скуки: этот холодъ, отвращеніе и злоба, которые вторглись въ меня, будутъ красками и колоритомъ... картина будетъ вѣрна»... -

Райскій хотѣлъ-было пойти сѣсть за свои тетради «записывать скуку», какъ увидѣлъ, что дверь въ старый домъ не заперта. Онъ заглянулъ въ него только мелькомъ, по приѣздѣ, съ Марейнкой, осматривая комнату Вѣры. Теперь вздумалось ему осмотрѣть его поподробнѣе, и онъ вступилъ въ сѣни и поднялся на лѣстницу. Онъ уже, не по прежнему съ стѣсненнымъ сердцемъ, а вяло прошелъ сумрачную залу съ колонадой, гостиной, съ статуями, бронзовыми часами, шкафами рококо, и ни на что не глядя, добрался до верхнихъ комнатъ; припомнилъ гдѣ была дѣтская и его спальня, гдѣ стояла его кровать, гдѣ сживала его мать. У него лѣнливо стали тѣсниться блѣдныя воспоминанія о ея ласкахъ, шепотѣ, о томъ, какъ она клала дѣтскіе его пальцы на клавиши и старалась наигрывать пѣсенку, какъ потомъ по-долгу играла сама, забывъ о немъ, а онъ, слушалъ, притмирѣвъ у ней на колѣняхъ, потомъ вела его въ угловую комнату, смотрѣть на Волгу и Заволжье. Заглянувъ въ свою бывшую спальню, въ двѣ, три другія комнаты, онъ вошелъ въ угловую комнату, чтобъ взглянуть на Волгу. Погрузясь въ себя, тихо и задумчиво отворилъ онъ ногой дверь, взглянулъ и... остолбенѣлъ. Въ комнатѣ было живое существо.

Глядя съ напряженнымъ любопытствомъ въ даль, на берегъ Волги, бокомъ къ нему, стояла дѣвушка лѣтъ двадцати двухъ, можетъ быть, трехъ, опершись рукой на окно. Бѣлое, даже блѣдное лицо, темные волосы, бархатный черный взглядъ и длинныя рѣсницы — вотъ все, что бросилось ему въ глаза и ослѣпило его. Дѣвушка неподвижно и напряженно смотрѣла въ даль, какъ будто пробожая кого-то глазами. Потомъ лицо ея приняло равнодушное выраженіе; она бѣгло окинула взглядомъ окрестность, потомъ дворъ, обернулась — и сильно вздрогнула, увидѣвъ его. На лицѣ мелькнуло изумленіе и уступило мѣсто недоумѣнію, потомъ, какъ тѣнь, прошло даже, кажется, неудовольствіе, и все разрѣшилось въ строгое ожиданіе.

— Сестра Вѣра! произнесъ Райскій. У ней лицо прояснилось и взглядъ остановился на немъ съ выраженіемъ сдержаннаго любопытства и скромности. Онъ подошелъ, взялъ ее за руку и поцѣловалъ ее. Она немного подалась назадъ и чуть-чуть повернула лицо въ сторону, такъ что губы его встрѣтили щеку, а не ротъ. Они оба сѣли у окна другъ противъ друга.

— Какъ я ждалъ васъ: вы загостились за Волгой! сказалъ онъ и съ нетерпѣніемъ ждалъ отвѣта, чтобъ слышать ея голосъ. «Голоса, голоса!» прежде всего просило воображеніе, въ добавокъ къ этому ослѣпительному образу.

— Я вчера только отъ Марины узнала, что вы здѣсь — отвѣчала она. Голосъ у ней не былъ зво-

нокъ, какъ у Марейники: онъ былъ свѣжъ, молодъ, по тихъ, съ примѣсю груднаго шепота, хотя она говорила вслухъ.

— Бабушка хотѣла посылать за вами, но я просилъ не давать знать о моемъ приѣздѣ. Когда же вы возвратились? мнѣ никто ничего не сказалъ.

— Я вчера послѣ ужина приѣхала: бабушка и сестра еще не знаютъ. Только одна Марина видѣла меня.

Она сидѣла, откинувшись на стулъ спиной, положивъ одинъ локоть на окно и смотрѣла на Райскаго не прямо, а какъ-будто случайно, когда доходила очередь взглянуть между прочимъ и на него.

А онъ глядѣлъ всею силою любопытства, долго сдерживаемаго. Отъ его жаднаго взгляда не ускользало ни одно ея движеніе.

На него, по обыкновенію, уже дѣлала впечатлѣніе эта новая красота, или, лучше сказать, новый родъ красоты, не похожій на красоту ни Бѣловодовой, ни Марейники. Нѣтъ въ ней строгости линій, бѣлизны лба, блеска красокъ и печати чистосердечія въ чертахъ, и вмѣстѣ холоднаго сіянія, какъ у Софьи. Нѣтъ и дѣтскаго, херувимскаго дыханія свѣжести, какъ у Марейники: но есть какая-то тайна, мелькаетъ невысказывающаяся сразу прелесть, въ лучѣ взгляда, въ внезапномъ поворотѣ головы, въ сдержанной граціи движеній, что-то неудержимо прокрадывающееся въ душу во всей фигурѣ. Глаза темные, точно бархатные, взглядъ бездонный. Бѣлизна лица матовая, съ мягкими

около глазъ и на шеѣ тѣнями. Волосы темные, съ каштановымъ отливомъ, густой массой лежали на лбу и на вискахъ ослѣпительной бѣлизны, съ тонкими, синими венами.

Она не стыдливо, а больше съ досадой, взяла и выбросила въ другую комнату кучу бѣлыхъ юбокъ, принесеннымъ Мариной, потомъ проворно прибрала со стульевъ узелокъ, брошенный, вѣроятно, наканунѣ вечеромъ, и подвинула къ окну маленькій столикъ. Все это въ двѣ, три минуты, и опять сѣла передъ нимъ на стулъ свободно и небрежно, какъ-будто его не было.

— Я велѣла кофе сварить, хотите пить со мной? спросила она. — Дома еще долго не дадутъ: Маринька поздно встаетъ.

— Да, да, съ удовольствіемъ, — говорилъ Райскій, продолжая изучать ея фізіономію, движенія, каждый взглядъ, улыбку. Взглядъ ея, то манилъ, втягивалъ въ себя, какъ въ глубину, то смотрѣлъ зорко и проникающе. Онъ замѣтилъ еще появляющуюся по временамъ въ одну и ту же минуту двойную мину на лицѣ, дрожащій отъ улыбки подбородокъ, потомъ не слишкомъ тонкій, но стройный, при походкѣ волнующійся станъ, наконецъ мягкій, неслышимый, будто кошачій, шагъ.

«Что это за пѣжное, не уловимое созданіе! думалъ Райскій: какая противоположность съ сестрой: та лучъ, тепло и свѣтъ; эта вся—мерцаніе и тайна, какъ ночь — полная мглы и искръ, прелести и чудесь!»... Онъ съ любовью артиста отдавался по-

вому и неожиданному впечатлѣнію. И Софья и Марейнька, будто по волшебству, удалились на далекій планъ, и скуки какъ не бывало: опять повѣяло на него тепломъ, опять природа стала нарядна, все ожило. Онъ торопливо уже зажигалъ діогеновскій фонарь и освѣщалъ имъ эту новую, неожиданно-возникшую передъ нимъ фигуру.

— Вы, я думаю, забыли меня, Вѣра? спросилъ онъ.

Онъ самъ слышалъ, что голосъ его, безъ намѣренія, былъ нѣженъ, взглядъ не отрывался отъ нея.

— Нѣтъ, говорила она, наливая кофе: я все помню.

— Все, но не меня?

— И васъ.

— Чтò же вы помните обо мнѣ?

— Да все.

— Я, признаюсь вамъ, слабо помню васъ обѣихъ: помню только, что Марейнька все плакала, а вы нѣтъ; вы были лукавы, изподтишка шалили, тихонько ѣли смородину, убѣгали однѣ въ садъ и сюда, въ домъ.

Она улыбулась въ отвѣтъ.

— Вы сладко любите? спросила она, готовясь класть сахаръ въ чашку.

«Какъ она холодна и.... свободна, не дичится совѣтъ!» подумалъ онъ.

— Да. Скажите, Вѣра, вспоминали вы иногда обо мнѣ? спросилъ онъ.

— Очень часто; бабушка намъ уши прожужжала про васъ.

— Бабушка! а вы сами?

— А вы о насъ? спросила она, слѣдя пристально, какъ кофе льется въ чашку и мелькомъ взглянувъ на него.

Онъ молчалъ, она подала ему чашку и подвинула хлѣбъ. А сама начала ложечкой пить кофе, кладя иногда на ложку маленькіе кусочки мякиша.

Ему хотѣлось бы закидать ее вопросами, которые кипѣли въ головѣ, но такъ безпорядочно, что онъ не зналъ, съ котораго начать.

— Я ужъ былъ у васъ въ комнатѣ.... Извините за нескромность.... сказалъ онъ.

— Здѣсь ничего пить, замѣтила она, оглядываясь внимательно, какъ-будто спрашивая глазами, не оставила ли она что-нибудь.

— Да, ничего.... Что это за книга? спросилъ онъ и хотѣлъ взять книгу у ней изъ-подъ руки. Она отодвинула ее и переложила сзади себя, на этажерку. Онъ засмѣялся.

— Спрятали, какъ бывало, смородину въ ротъ? Покажите!

Она сдѣлала отрицательный знакъ головой.

— Вотъ какъ: читаете такія книги, что и показать нельзя! шутить онъ.

Она спрятала книгу въ шкапъ и сѣла противъ него, сложивъ руки на груди и разсѣяннo глядя по сторонамъ, иногда взглядывая въ окно и, казалось, забывала, что онъ тутъ. Только когда онъ будилъ

ея вниманіе вопросомъ, она обращала на него простой взглядъ.

— Хотите еще кофе? спросила она.

— Да, пожалуйста. Послушайте, Вѣра, мнѣ хотѣлось бы такъ много сказать вамъ....

Онъ всталъ и прошелся по комнатѣ, затрудняясь завязать съ нею непрерывный и продолжительный разговоръ. Онъ вспомнилъ, что и съ Марейнкой сначала не вязался разговоръ. Но тамъ это было отъ ея ребяческой застѣнчивости, а здѣсь не то. Вѣра не застѣнчива: это видно сразу, а какъ-будто холодна, какъ-будто вовсе не интересовалась имъ.

«Что это значить: не научилась, что ли, она еще бояться и стыдиться, по природному невѣдѣнію, или хитрить, притворяется? думалъ онъ, стараясь угадать ее:—вѣдь я все-таки новость для нея. Ужъ не бродить ли у ней въ головѣ: «Не хорошо, глупо не совладѣть съ впечатлѣніемъ, отдаться ему, разинуть ротъ и уставить глаза!» Нѣтъ, быть не можетъ, это было бы слишкомъ тонко, изысканно для нея: не по-деревенски! Но во всякомъ случаѣ, что бы она ни была, она—не Марейнка. А какъ хороша, Боже мой! вотъ куда запряталась такая красота!»

Ему хотѣлось скорѣй вывести ее на свѣжую воду, затронуть какую-нибудь живую струну, вызвать на объясненіе. Но чѣмъ онъ больше торопился, чѣмъ больше раздражался, тѣмъ она становилась холоднѣе. А онъ бросался отъ вопроса къ вопросу.

— У васъ была моя библіотека на рукахъ? спросилъ онъ.

— Да, потомъ ее взялъ Леонтій Ивановичъ. Я была рада, что избавилась отъ заботы.

— Надѣюсь, онъ не всѣ книги взялъ? Вѣрно вы оставили какія-нибудь для себя?

— Нѣтъ, всѣ.... кажется: Марейнъка какія-то взяла.

— А вы?... развѣ вамъ не нужно было?

— Нѣтъ. Я прочла, что мнѣ пришлось, и отдала.

— А что вамъ пришлось?

Она молчала.

— Вѣра?

— Очень многое; теперь я забыла что именно, сказала она, поглядывая въ окно.

— Тамъ есть нѣсколько историческихъ увражей. Поэзія.... читали вы ихъ?

— Иныя, да.

— Какія же?

— Право, не помню! нѣхотя прибавила она, какъ-будто утомляясь этими распросами.

— Вы любите музыку? спросилъ онъ.

Она вопросительно поглядѣла на него при этомъ новомъ вопросѣ.

— Какъ «люблю-ли?» то-есть, играю ли сама, или слушать люблю?

— И то и другое.

— Нѣтъ, я не играю, а слушать.... Гдѣ же здѣсь музыка?

— Что вы любите вообще?

Она опять вопросительно поглядѣла на него.

— Любите хозяйство, или рукодѣля, вышиваете?

— Нѣтъ, не умѣю. Вонъ Марейнька любить и умѣетъ.

Райскій поглядѣлъ на нее, прошелся по комнатѣ и остановился передъ ней.

— Послушайте, Вѣра, вы.... боитесь меня? спросилъ онъ.

Она не поняла его вопроса и глядѣла на него во всѣ глаза, почти до простодушія, несвойственнаго ей умному и проницательному взгляду.

— Отъ чего вы не высказываетесь, скрываетесь? началъ онъ: вы думаете, можетъ быть, что я способенъ.... пошутить, или небрежно обойтись.... Словомъ, вамъ, можетъ быть, дико: вы конфузитесь, робѣете....

Она смотрѣла на него съ язвительнымъ удивленіемъ, такъ что онъ въ одно мгновеніе понялъ, что она не конфузится, не дичится и не робѣетъ.

Вопросъ былъ глупъ. Ему стало еще досаднѣе.

— Вонъ Марейнька боится, сказалъ онъ, желая поправиться: и сама не знаетъ почему...

— А я не знаю, чего надо бояться, и потому, можетъ быть, не боюсь, отвѣчала она съ улыбкой.

— Но что же вы любите? вдругъ кинулся онъ опять къ вопросу. — Книга васъ не занимаетъ, вы говорите, что вы не работаете.... Есть же что-нибудь: цвѣты, можетъ быть, любите....

— Цвѣты? да, люблю ихъ вонъ тамъ, въ саду, а не въ комнатѣ, гдѣ надо за ними ходить.

— И природу вообще?

— Да, этотъ уголокъ, Волгу, обрывъ — вонъ этотъ лѣсъ и садъ — я очень люблю! произнесла она, и взгляды ея покоились съ очевиднымъ удовольствіемъ на всей лежавшей передъ окнами мѣстности.

— Что же васъ такъ привязываетъ къ этому уголку?

Она молчала, продолжая съ наслажденіемъ останавливать ласковый взглядъ на каждомъ деревѣ, на бугрѣ, и, наконецъ на Волгѣ.

— Все, сказала она равнодушно.

— Да, это прекрасно, но однако этого мало: одинъ видъ, одинъ берегъ, горы, лѣсъ — все это прискучило бы, еслибъ это не было населено чѣмъ-нибудь живымъ, что вызывало и дѣлило бы эту симпатію.

— Да, это правда: прискучило бы! подтвердила и она.

— Стало быть, у васъ есть кто-нибудь здѣсь, съ кѣмъ вы дѣлитесь сочувствіемъ, мѣняетесь мыслями?

Она молчала и будто не слушала его.

— Вѣра?

— А? я не одна живу, вы знаете! сказала она, вслушавшись въ его вопросъ... Бабушка, Мар-
еинька....

— Будто вы съ ними дѣлитесь сочувствіемъ, мѣняетесь мыслями?

Она взглянула на него, и въ глазахъ ея стоялъ вопросъ: почему же нѣтъ?

— Нѣтъ, началъ онъ: есть ли кто-нибудь, съ кѣмъ бы вы могли стать вонъ тамъ, на краю утеса, или сѣсть въ чащѣ этихъ кустовъ — тамъ и скамья есть — и просидѣть утро, или вечеръ, или всю ночь, и не замѣтить времени, проговорить безъ умолку, или промолчать полдня, только чувствуя счастье — понимать другъ друга, и понимать не только слова, но знать о чемъ молчить другой, и чтобъ онъ умѣлъ читать въ этомъ вашемъ бездонномъ взглядѣ вашу душу, шепотъ сердца... вотъ что!

Она съ опущенными рѣсницами будто заснула въ задумчивости.

— Есть-ли такой вашъ двойникъ, — продолжалъ онъ, глядя на нее пытливо, — который бы невидимо ходилъ тутъ около васъ, хотя бы самъ былъ далеко, чтобы вы чувствовали, что онъ близко, что въ немъ посится частица вашего существованія; и что вы сами носите въ себѣ будто часть чужого сердца, чужихъ мыслей, чужую долю на плечахъ, и что не одними только своими глазами смотрите на эти горы и лѣсъ, не одними своими ушами слушаете этотъ шумъ и пьете жадно воздухъ теплой и темной ночи, а вмѣстѣ...

Она взглянула на него, сдѣлала какое-то движеніе, и въ одно время съ этимъ быстрымъ взглядомъ блеснулъ какой-то, будто внезапный свѣтъ отъ ея

лица, отъ этой улыбки, отъ этого живого движенія. Райскій остановился на минуту: но блескъ пропалъ и она неподвижно слушала.

— Тогда только, продолжалъ онъ, стараясь объяснить себѣ смыслъ ея лица, въ этомъ во всемъ и есть значеніе, тогда это и роскошь, и счастье. Боже мой, какое счастье! Есть-ли у васъ здѣсь такой двойникъ,—это другое сердце, другой умъ, другая душа, и подѣлились-ли вы съ нимъ, въ замѣнъ взятаго у него, своей душой и своими мыслями?... Есть ли?

— Есть! съ примѣсью грудного шепота произнесла она.

— Есть! кто же это счастливое существо? съ завистью, почти съ испугомъ, даже ревностью, спросилъ онъ.

Она помолчала немного.

— А... попадья, у которой я гостила: вамъ вѣрно сказали о ней! отвѣчала Вѣра и вставъ со стула, стряхнула съ передника крошки отъ сухарей.

— Попадья! недовѣрчиво повторилъ Райскій.

— Да, она—мой двойникъ: когда она гостить у меня, мы часто и долго любуемся съ ней Волгой и не наговоримся, сидимъ вонъ тамъ на скамьѣ, какъ вы угадали... Вы не будете больше пить кофе? я велю убрать...

— Попадья! повторилъ онъ задумчиво, не слушая ее и не замѣтивъ, что она улыбнулась, что у ней отъ улыбки задрожалъ подбородокъ. А у него на лицѣ повисло облако недоумѣнія, недовѣрчивости, какой-то безпричинной и безцѣльной грусти.

Онъ разбиралъ себя и наконецъ разобралъ, что онъ допрашивался у Вѣры о томъ, населялъ-ли кто-нибудь для нея этотъ уголъ живымъ присутствіемъ, не изъ участія, а частію за тѣмъ, чтобъ испытать ее, частію чтобы какъ будто отрекомендоваться ей, заявить свой взглядъ, чувства... Онъ долженъ былъ сознаться, что втайнѣ надѣялся найти въ ней ту же свѣжую, молодую, непочатую жизнь, какъ въ Марейнкѣ, и что, пока безсознательно, онъ самъ просился начать ее, населить эти мѣста для нея собою, быть ея двойникомъ. Словомъ, тѣ-же желанія и стремленія, какъ при встрѣчѣ съ Бѣловодовой, съ Марейнкой, заговорили и теперь, но только сильнѣе, испобѣдимѣе, потому что Вѣра была заманчиво, таинственно-прекрасна, потому что въ ней вся прелесть не являлась съ разу, какъ въ тѣхъ двухъ, и въ многихъ другихъ, а пряталась и раздражала воображеніе, и это еще при первомъ шагѣ! Чтò-же было еще дальше, впереди: кто она, чтò она? Лукавая кокетка, тонкая актриса, или глубокая и тонкая женская натура, одна изъ тѣхъ, которыя, по волѣ своей, играютъ жизнью человѣка, топчутъ ее, заставляя влачить жалкое существованіе, или даютъ уже такое счастье, лучше, жарче, живѣе какого не дается человѣку.

— Хотите еще кофе? повторила она.

— Нѣтъ, не хочу.—А бабушка, Марейнка: вы любите ихъ? задумчиво перешелъ онъ къ новому вопросу.

— Кого же мнѣ любить, какъ не ихъ?

— А меня? вдругъ сказалъ онъ, переходя въ шутиливый тонъ.

— Пожалуй, я и васъ буду любить, сказала она, глядя на него веселымъ взглядомъ: если... заслужите.

— Вотъ какъ! вѣдь я вамъ братъ: вы и такъ должны меня любить.

— Я никому ничего не должна.

— Хвастунья! «я никому не обязана, никому не кланяюсь, никого не боюсь: я горда!..» такъ что-ли?

— Нѣтъ, не такъ!

«Еще не выросла, не выбилась изъ этихъ общихъ мѣстъ жизни. Провинція!» думалъ Райскій сердито, ходя по комнатѣ.

— Какъ же заслужить это счастье? спросилъ онъ съ ироніей: позвольте спросить.

— Какое счастье?

— Счастье приобрѣсти вашу любовь.

— Любовь, говорятъ, дается безъ всякой заслуги, такъ. Вѣдь она слѣпая!.. Я не знаю впрочемъ...

— А иногда приходится и сознательно, замѣтилъ Райскій: путемъ довѣренности, уваженія, дружбы. Я бы хотѣлъ начать съ этого и окончить первымъ. Такъ что же надо сдѣлать, чтобъ заслужить ваше вниманіе, милая сестра?

— Не обращать на меня вниманія, сказала она, помолчавъ.

— Какъ, не замѣчать васъ, не...

— Не дѣлать такихъ большихъ глазъ, вотъ какъ теперь! подсказала она: не ходить безъ меня въ

мою комнату, не допытываться, что я люблю, что пить...

— Гордость! А скажите, сестра, вы... извините, я откровенен: вы не рисуетесь этой гордостью?

Она молчала.

— Не хочется вамъ похвастаться независимостью характера? Вы можете быть стремитесь къ self-government и хотите щегольнуть эмансипаціей отъ здѣшнихъ авторитетовъ: бабушки, Нила Андреевича, да?

— Вы, кажется, начинаете «заслуживать мое довѣріе и дружбу!» смѣясь замѣтила она, потомъ сдѣлалась серьезна и казалась утомленной или скучной.—Я не совсѣмъ понимаю, что вы сказали, прибавила она.

— Я потому это говорю, оправдывался онъ, что бабушка сказывала мнѣ, что вы горды.

— Бабушка? какая право! Вездѣ ее спрашиваютъ! Я совсѣмъ не горда. И по какому случаю она говорила вамъ это?

— Потому что я вамъ съ Марейнойкой подарилъ вотъ это все, оба дома, сады, огороды. Она говорила, что вы не примете. Правда ли?

— Мнѣ все равно, ваше-ли это, мое-ли, лишь бы я была здѣсь.

— Да она не хотѣла оставаться здѣсь: она хотѣла уѣхать въ Новоселово...

— Ну? отрывисто, грудью спросила она, будто съ тревогой.

— Ну, я все удалилъ: куда переѣзжать? Мар-

онька приняла подарокъ, но только съ тѣмъ, чтобы и вы приняли. И бабушка поколебалась, но окончательно не рѣшилась, ждетъ—кажется, что скажете вы. А вы что скажете? примете, да? какъ сестра отъ брата?

— Да, я приму, поспѣшно сказала она.—Нѣтъ, зачѣмъ принимать: я куплю. Продайте мнѣ: у меня деньги есть. Я вамъ пятьдесятъ тысячъ дамъ.

— Нѣтъ, такъ я не хочу.

Она остановилась, подумала, бросила взглядъ на Волгу, на обрывъ, на садъ.

— Хорошо, какъ хотите — я на все согласна, только чтобъ намъ остаться здѣсь.

— Такъ я велю бумагу написать?

— Да... благодарю — говорила она, подойдя къ нему и протянувъ ему обѣ руки. Онъ взялъ ихъ, пожалъ и поцѣловалъ ее въ щеку. Она отвѣчала ему крѣпкимъ пожатіемъ и поцѣлуемъ на воздухъ.

— Видно вы въ самомъ дѣлѣ любите этотъ уголокъ и старый домъ?

— Да, очень...

— Послушайте, Вѣра: дайте мнѣ комнату здѣсь въ домѣ—мы будемъ вмѣстѣ читать, учиться... хотите учиться?

— Чему учиться? съ удивленіемъ спросила она.

— Вотъ видите: мнѣ хочется пройти съ Маринькой практически исторію литературы и искусства. Не пугайтесь, поспѣшилъ онъ прибавить, замѣтивъ, что у ней на лицѣ показался какой-то туманъ: курсъ весь будетъ состоять въ чтеніи и

разговорахъ... Мы будемъ читать все, старое и новое, свое и чужое,—передавать другъ другу впечатлѣнія, спорить... Это займетъ меня, можетъ быть, и васъ. Вы любите искусство?

Она тихонько зѣвнула въ руку: онъ замѣтилъ.

«Кажется, ее нельзя учить, да и нечему: она, или уже все знаетъ, или не хочетъ знать!» рѣшилъ онъ про себя.

— А вы... долго останетесь здѣсь? спросила она, не отвѣчая на его вопросъ.

— Не знаю: это зависитъ отъ обстоятельствъ и... отъ васъ.

— Отъ меня? повторила она и задумалась, глядя въ сторону.

— Пойдемте туда, въ тотъ домъ. Я покажу вамъ свои альбомы, рисунки... мы поговоримъ... предлагалъ онъ.

— Хорошо, подите впередъ, а я приду: мнѣ надо тутъ вынуть свои вещи, я еще не разобралась....

Онъ медлил: она, держась за дверь, ждала, чтобъ онъ ушелъ.

«Какъ она хороша, Боже мой! И какая извѣстная красота!»! думалъ онъ, идучи къ себѣ и оглядываясь на ея окна.

«Вѣра Васильевна пріѣхала!» съ живостью сказалъ онъ Якову въ передней. «Бабушка, Вѣра пріѣхала!» крикнулъ онъ, проходя мимо бабушкинаго кабинета и постучавъ въ дверь. «Марейнька! закричалъ онъ у лѣсницы, ведущей въ Марейньгину

комнату: Вѣрочка пріѣхала!» Крикъ, шумъ, восклицанія, звонъ ключей, шипѣнье самовара, бѣготня—были отвѣтомъ на принесенную имъ вѣсть.

Онъ проворно раскопалъ свои папки, бумаги, вынесъ въ залу, разложилъ на столѣ и съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда Вѣра отдѣлается отъ объятій, ласкъ и распросовъ бабушки и Марейны и прибѣжитъ къ нему продолжать начатый разговоръ, которому онъ не хотѣлъ предвидѣть конца. И самъ удивлялся своей прыти, стыдился этой торопливости, какъ-будто въ самомъ дѣлѣ «хотѣлъ заслужить вниманіе, довѣріе и дружбу...» «Постой-же, думалъ онъ, я докажу, что ты больше ничего, какъ дѣвочка передо мной!»...

Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ. Но Вѣра не приходила. Онъ располагалъ увлечь ее въ бездонный разговоръ объ искусствѣ, откуда шагнулъ бы къ красотѣ, къ чувствамъ и т. д. «Не все-же открывала ей понады! думалъ онъ: не всѣ стороны ума и чувства извѣдала она: не успѣла, некогда! Посмотримъ, будешь ли ты владѣть собою, когда...» Но она все нейдетъ. Его взяло зло, онъ собралъ рисунки и только хотѣлъ унести опять къ себѣ на верхъ, какъ распахнулась дверь и предъ нимъ предстала... Полина Карповна, закутанная, какъ въ облака, въ кисейную блузу, съ голубыми бантами на шеѣ, на груди, на желудкѣ, на плечахъ, въ прозрачной шляпкѣ съ колосьями и незабудками. Сзади шелъ тотъ же кадетъ, съ вѣеромъ и складнымъ стуломъ.

— Боже мой! болѣзненно произнесъ Райскій.

— *Bonjour!* сказала она: не ждали? вижу, вижу! *Du courage!* Я все понимаю. А мы съ Мишелемъ были въ роцѣ и зашли къ вамъ. — *Michel! Saluez donc monsieur et mettez tout cela de côté!*—Что это у васъ? ахъ, альбомы, рисунки, произведенія вашей музы! Я заранѣе безъ ума отъ нихъ: покажите, покажите, ради Бога! Садитесь сюда, ближе, ближе...

Она осѣнила диванъ и нѣсколько креселъ своей юбкой. Райскому страхъ какъ хотѣлось пустить въ нее папками и тетрадами. Онъ стоялъ, не зная, уйти-ли ему внезапно, оставивъ ее тутъ, или покориться своей участи и показать рисунки.

— Не конфузьтесь, будьте смѣлѣе, говорила она. «*Michel! allez vous promener un peu dans le jardin!*— Садитесь, сюда, ближе! продолжала она, когда юноша ушелъ.

Райскій внезапно разразился нервнымъ хохотомъ и сѣлъ подлѣ нея.

— Вотъ такъ! Я вижу, что вы угадали меня... прибавила она шепотомъ.

Райскій окончательно развеселился: «эта, по крайней мѣрѣ, играетъ наивно комедію, не скрывается и не окружаетъ себя туманомъ, какъ та...» думалъ онъ.

— Ахъ, какъ это мило! *charmant, ce paysage!* говорила между тѣмъ Крицкая, рассматривая рисунки.—*Qu'est-ce que c'est que cette belle figure?* спрашивала она, останавливаясь надъ портретомъ

Бѣловодовой, сдѣланнымъ акварелью.—Ah, que c'est beau! Это ваша пассія—да? признайтесь.

— Да.

— Я знала — о, vous êtes terrible, allez! прибавила она, ударивъ его легонько вѣеромъ по плечу.

Онъ засмѣялся.

— N'est-ce pas? Много вздыхаютъ по васъ? признайтесь. А здѣсь еще что будетъ!

Она остановила на немъ плутовской взглядъ.

— Monstre! произнесла она лукаво.

«Боже мой! Какая противная: ее прибить можно!» со скрежетомъ думалъ онъ, опять впадая въ ярость.

— У меня есть просьба къ вамъ, M-r Boris... надѣюсь, я уже могу называть васъ такъ... Faites mon portrait!

Онъ молчалъ.

— Ma figure у prête, je l'espère bien?

Онъ молчалъ.

— Вы молчите, слѣдовательно это рѣшено: когда я могу придти? Какъ мнѣ одѣться? Скажите, я отдаюсь на вашу волю—я вся ваша покорная раба... говорила она шепелявымъ шепотомъ, нѣжно глядя на него и готовясь какъ-будто склонить голову къ его плечу.

— Пустите меня, ради Бога: я на свѣжій воздухъ хочу!... сказалъ онъ въ тоскѣ, вставая и выпутывая ноги изъ ея юбокъ.

— Ахъ, вы въ ажитациі: это натурально — да, да, я этого хотѣла и добила! говорила она, торжествуя и обмахиваясь вѣеромъ.—А когда портретъ?

Онъ молча выпутываль ноги изъ юбокъ.

— Вы въ плѣну, не выпутаетесь! шаловливо дразнила она, не пуская его.

— Пустите меня: не то закричу!

Въ это время отворилась тихонько дверь и на порогѣ показалась Вѣра. Она постояла нѣсколько мипуть, прежде нежели они ее замѣтили. Наконецъ Крицкая первая увидѣла ее.

— Вѣра Васильевна: вы поротились, ахъ, какое счастье! Vous vous manquiez! Посмотрите, вашъ cousin въ плѣну, неправда-ли, какъ левъ въ сѣтяхъ! Здоровы-ли вы, моя милая, какъ поправились, пополнѣли...

И Крицкая шла цѣловаться съ Вѣрой. Вѣра глядѣла на эту сцену молча, только подбородокъ дрожалъ у ней отъ улыбки.

— Я васъ давно ждалъ! замѣтилъ ей Райскій сухо.

— Я хорошо сдѣлала, что замѣшкалась, съ вѣжливой ироніей сказала Вѣра, поздоровавшись съ Крицкой. — Полина Карповна подоспѣла кстати...

— N'est-ce pas? подтвердила Крицкая.

— Она вѣрно лучше меня пойметъ: я безтолкова очень, у меня вкуса нѣтъ, продолжала Вѣра, и взявъ два, три рисунка, небрежно поглядѣла съ минутой на каждый, потомъ, положивъ ихъ, подошла къ зеркалу и внимательно смотрѣлась въ него.

— Какая я блѣдная сегодня! У меня немного голова болитъ: я худо спала эту ночь. Пойду отдохну. До свиданія, cousin! Извините, Полина Карповна! при-

бавила она и скользнула въ дверь. Шаговъ ея не слышно было за дверью, только скрипъ ступеней давалъ знать, что она поднималась по лѣстницѣ въ комнату Марейньки.

— Теперь мы опять одни! сказала Полина Карповна, осѣняя диванъ и половину круглаго стола юбкой: давайте смотрѣть! Садитесь сюда, поближе!...

Райскій молча, однимъ движеніемъ руки, сгребъ всѣ рисунки и тетради въ кучу, тиснулъ все въ самую большую папку, сильно захлопнулъ ее, и не оглядываясь, сердитыми шагами вышелъ вонъ.

ХІІІ.

Райскій рѣшилъ платить Вѣрѣ равнодушіемъ, не обращать на нее никакого вниманія, но вмѣсто того дулся дня три. При встрѣчѣ съ ней, скажетъ ей вскользь слова два, и въ этихъ двухъ словахъ проглядываетъ досада.

Онъ запирался у себя, писалъ программу романа и внесъ уже на страницы ея замѣтку «о ядовитости скуки». Страдая этимъ, уже не повѣйшимъ недугомъ, онъ подвергалъ его психологическому анализу, вынимая данныя изъ себя. Ему хотѣлось уѣхать куда-нибудь еще по-дальше и по-глуше, хоть въ бабушкино Новоселово, чтобъ наединѣ и

въ тишинѣ вдуматься въ ткань своего романа, уловить эту сѣть жизненныхъ сплетеній, дать одну точку всей картинѣ, осмыслить ее и возвести въ художественное созданіе.

Здѣсь все мѣшается ему. Вонъ издали доносится до него пѣсенка Марейны: «Ненаглядный ты мой, какъ люблю я тебя!» поетъ она звонко, чисто, и никакого звука любви не слышно въ этомъ голосѣ, который вольно раздается среди тишины въ огородѣ и саду; потомъ слышно, какъ она безпечно прервала пѣніе, и тѣмъ же тономъ, какимъ пѣла, приказываетъ изъ окна Матренѣ собрать съ грядъ салату, потомъ черезъ минуту ужъ звонко смѣется въ толпѣ сосѣднихъ дѣтей. Вотъ нѣсколько крестьянскихъ подводъ въѣхали на дворъ, съ овсомъ, съ мукой; скрипъ телѣгъ, говоръ дворни, хлопанье дверей—все мѣшается. Дальше изъ окна видно, какъ золотится рожь, бѣлѣетъ гречиха, маковый цвѣтъ да кашка, красными и розовыми пятнами, пестрятъ поля и отвлекаютъ глаза и мысль отъ тетрадей.

Райскій долго боролся, чтобъ не глядѣть, наконецъ украдкой отъ самаго себя взглянулъ на окно Вѣры: тамъ тихо, не видать ея самой, только лиловая занавѣска чуть-чуть колыхается отъ вѣтра. Вчера она досидѣла до конца вечера въ кабинетѣ Татьяны Марковны: всѣ были тамъ, и Марейны и Титъ Никоновичъ. Марейны работала, разливала чай, потомъ играла на фортепіано. Вѣра молчала, и если ее спросить о чемъ-нибудь, то отвѣчала, но сама

не заговаривала. Она чаю не пила, за ужиномъ раскопала два-три блюда вилкой, взяла что-то въ ротъ, потомъ съѣла ложку варенья и тотчасъ послѣ стола ушла спать.

Чѣмъ менѣе Райскій замѣчалъ ее, тѣмъ она была съ нимъ ласковѣе, хотя, не смотря на требованія бабушки, не поцѣловала его, звала не братомъ, а кузеномъ, и все еще не переходила на «ты», а онъ уже перешелъ, и бабушка приказывала и ей перейти. А чуть лишь онъ открывалъ на нее большіе глаза, пускался въ распросы, она становилась чутка, осторожна и уходила въ себя.

Райскому досадно было на себя, что онъ дуется на нее. Если ужъ Вѣра едва замѣтила его появленіе, то ему и подавно хотѣлось бы закутаться въ мантію совершенной недоступности, небрежности и равнодушія, забывать, что она тутъ, подлѣ него,—не съ цѣлію порисоваться тѣмъ передъ нею, а искренно стать въ такое отношеніе къ ней. Чѣмъ онъ больше старался объ этомъ, тѣмъ сильнѣе, къ досадѣ его, проглядывало мелочное и настойчивое наблюденіе за каждымъ ея шагомъ, движеніемъ и словомъ. Иногда онъ и выдержать себя минуты на двѣ, но любопытство мало по малу раздражить его и онъ бросить быстрый полувзглядъ изъ подлбья — все и пропало. Онъ ужъ и не отводитъ потомъ глазъ отъ нея. Она столько вносила перемѣны съ собой, что съ ея приходомъ, какъ-будто падалъ другой свѣтъ на предметы; простая комната превращалась въ какой-то храмъ, и Вѣра,

какъ бы ни запрятывалась въ уголъ, всегда была на первомъ планѣ, точно поставленная на пьедесталъ и освѣщенная огнями или луннымъ свѣтомъ. Идетъ-ли она по дорожкѣ сада, а онъ сидитъ у себя за занавѣской и пишетъ, ему бы сидѣть, не поднимать головы и писать: а онъ, при своемъ желаніи до боли не показать, что замѣчаетъ ее, тихонько, какъ шалунъ, украдкой, подниметъ уголокъ занавѣски и слѣдитъ, какъ она идетъ, какая мина у ней, на что она смотритъ, угадываетъ ея мысль. А она ужъ конечно замѣтитъ, что уголокъ занавѣски приподнялся, и угадаетъ, зачѣмъ приподнялся. Если самъ онъ идетъ по двору или по саду, то пройти бы ему до конца, не взглянувъ вверхъ: а онъ начнетъ маневрировать, посмотреть въ противоположную отъ ея оконъ сторону, оборотится къ нимъ будто невзначай, и встрѣтитъ ея взглядъ, иногда съ затаенной насмѣшкой надъ его маневромъ. Или спроситъ о ней Марину, гдѣ она, что дѣлаетъ, а если потеряетъ ее изъ вида, то бѣгаетъ, отыскивая точно потерянную булавку, и увидѣвши ее, начинаетъ разыгрывать небрежнаго.

Иногда онъ дня по два не говорилъ, почти не встрѣчался съ Вѣрой, но во всякую минуту знаетъ, гдѣ она, что дѣлаетъ. Вообще способности его, устремленныя на одинъ, занимающій его предметъ, изощрялись до невѣроятной тонкости, а теперь, въ этомъ безмолвномъ наблюденіи за Вѣрой, они достигли степени ясновидѣнія. Онъ за стѣнами какъ

будто слышалъ ея голосъ, и безсознательно соображалъ и предвидѣлъ ея слова и поступки. Онъ въ нѣсколько дней изучилъ ея привычки, вкусы, нѣкоторыя склонности, но все это относилось пока къ ея внѣшней и домашней жизни. Онъ успѣлъ опредѣлить ея отношенія къ бабушкѣ, къ Марейнкѣ, положеніе ея въ этомъ уголкѣ и все что относится къ образу жизни и быта.—Но нравственная фигура самой Вѣры оставалась для него еще въ тѣни.

Въ разговорѣ она не увлекалась въ слѣдъ за его пылкой фантазіей, на шутку отвѣчала легкой усмѣшкой, и если удавалось ему окончательно разсмѣшить ее, у ней отъ смѣха дрожалъ подбородокъ. Отъ смѣха она переходила къ небрежному молчанію, или просто задумывалась, забывая, что онъ тутъ, и потомъ просыпалась, почти содрогаясь, отъ этой задумчивости, когда онъ будилъ ее движеніемъ, или вопросомъ. Она не любила, чтобы къ ней приходили въ старый домъ. Даже бабушка не тревожила ее тамъ, а Марейнку она безъ церемоніи удаляла, да та и сама боялась ходить туда. А когда Райскій заставлялъ ее тамъ, она очевидно переживала, не уйдетъ ли онъ, и если онъ располагался подлѣ нея, она, посидѣвши изъ учтивости минутъ десять, уходила.

Привязанностей у ней, повидимому, не было никакихъ, хотя это было и неестественно въ дѣвушкѣ: но такъ казалось наружно, а проникать въ душу къ себѣ она не допускала. Она о бабушкѣ и о Марейнкѣ говорила покойно, почти равнодушно. За-

нѣтъ у нея постоянныхъ не было: читала, какъ и шила она, мимоходомъ, и о прочитанномъ мало говорила, на фортепіано не играла, а иногда брала неопредѣленные, безсвязные аккорды и къ нѣкоторымъ долго прислушивалась, или когда принесутъ Марѣинкѣ кучу нотъ, она брала то тѣ, то другія: «сыграй вотъ это», говорила она, «теперь вотъ это, потомъ это», слушала, глядѣла пристально въ окно и болѣе къ проигранной музыкѣ не возвращалась.

Райскій замѣтилъ, что бабушка, надѣлая щедро Марѣинку замѣчаніями и предостереженіями на каждомъ шагѣ, обходила Вѣру съ какой-то осторожностью, не то щадила ее, не то не надѣялась, что эти сѣмена не пропадутъ даромъ.

Но бывали случаи, и Райскій, по мелочности ихъ, не могъ еще наблюсти, какіе именно, когда вдругъ Вѣра охватывалась какой-то лихорадочною дѣятельностью, и тогда она кипѣла изумительной быстротой и обнаруживала тѣмъ мелкихъ способностей, какихъ въ ней нельзя было подозрѣвать—въ хозяйствѣ, въ туалетѣ, разныхъ мелочахъ. Такъ она однажды изъ куска кисеи часа въ полтора сдѣлала два чепца, одинъ бабушкѣ, другой—Крицкой, съ тончайшимъ вкусомъ, работая надъ ними со страстью, съ адскимъ проворствомъ и одушевленіемъ, потомъ черезъ пять минутъ забыла объ этомъ и сидѣла опять праздно. Иногда она какъ-будто прочтетъ упрекъ въ глазахъ бабушки, и тогда особенно одолѣетъ ея дикая, порывистая дѣятельность: она

примется помогать Марейникѣ по хозяйству, и въ пять, десять минутъ, все порывами, передѣлаетъ бездну, возьметъ что-нибудь въ руки, быстро сдѣлаетъ, оставитъ, забудетъ, примется за другое, опять сдѣлаетъ и выйдетъ изъ этого также внезапно, какъ войдетъ.

Бабушка иногда жалуется, что не управится съ гостями, ропщетъ на Вѣру за дикость, за то, что не хочетъ помочь. Вѣра хмурится и очевидно страдаетъ, что не можетъ церемочь себя, и наконецъ неожиданно явится среди гостей—и съ такимъ веселымъ лицомъ, глаза теплятся такимъ радушіемъ, она принесетъ столько тонкаго ума, граціи, что бабушка теряется до испуга. Ее ставало на цѣлый вечеръ, иногда на цѣлый день, а завтра, точно оборвется: опять уйдетъ въ себя—и никто не знаетъ, что у ней на умѣ или на сердцѣ.

Вотъ все, что пока могъ наблюдать Райскій, т. е. все, что видѣли и знали и другіе. Но чѣмъ меньше было у него положительныхъ данныхъ, тѣмъ дружнѣе работала его фантазія, въ союзѣ съ анализомъ, подбирая ключъ къ этой замкнутой двери.

Съ тѣхъ поръ, какъ у Райскаго явилась новая задача — Вѣра, онъ рѣже и холоднѣе спорилъ съ бабушкой и почти не занимался Марейникой, особенно послѣ вечера въ саду, когда она не подала никакихъ надеждъ на превращеніе изъ наивнаго, подъ часъ ограниченного ребенка въ женщину. Между тѣмъ они трое почти были неразлучны—т. е. Райскій, бабушка и Марейника. Послѣ чаю онъ съ

часть сидѣлъ у Татьяны Марковны въ кабинетѣ, послѣ обѣда также, а въ дурную погоду—и по вечерамъ. Вѣра являлась не на долго, здоровалась съ бабушкой, сестрой, потомъ уходила въ старый домъ, и не слышать было, что она тамъ дѣлаетъ. Иногда она вовсе не приходила, а присылала Марину принести ей кофе туда. Бабушка немного хмурилась, шептала про себя: «привередница, дикарка», но на своемъ не настаивала.

Равнодушный ко всему на свѣтѣ, кромѣ красоты, Райскій покорялся ей до рабства, былъ холоденъ ко всему, гдѣ не находилъ ея, и грубъ, даже жестокъ, ко всякому безобразію. Не только отъ міра виѣшняго, отъ формы, онъ настоятельно требовалъ красоты, но и на міръ нравственный смотрѣлъ онъ, не какъ онъ есть, въ его наружно-дикой, суровой разладицѣ, не какъ на початую отъ рожденія міра и неконченную работу, а какъ на гармоническое цѣлое, какъ на готовый ужѣ парадный строй созданныхъ имъ самимъ идеаловъ, съ dokonченными въ его умѣ чувствами и стремленіями, огнемъ, жизнью и красками. У него не ставало терпѣнія купаться въ этой вознѣ, суетѣ, въ черновой работѣ, терпѣливо и мучительно укладывать силы въ приготовленіе къ тому праздничному моменту, когда человечество почувствуетъ, что оно готово, что достигло своего апогея, когда насталъ бы и понесся въ вѣчность, какъ рѣка, одинъ безошибочный на вѣчныя времена установившійся потокъ жизни. Онъ только оскорблялся ежеминутнымъ и повсюднымъ

разладомъ дѣйствительности съ красотой своихъ идеаловъ, и страдалъ за себя и за весь міръ. Онъ вѣрилъ въ идеальный прогрессъ—въ совершенствованіе, какъ формы, такъ и духа, сильнѣе, нежели матеріалисты вѣрятъ въ утилитарный прогрессъ; но страдалъ за его черепашіи шагъ и впадалъ въ глубокую хандру, не вынося даже мелкихъ царапинъ близкаго ему безобразія. Тогда всѣ люди казались ему евангельскими гробами, полными праха и костей. Бабушкина старческая красота, т. е. красота ея характера, склада ума, старыхъ цѣльныхъ правовъ, доброты и проч., начала блѣднѣть. Кое-гдѣ мелькнетъ въ глаза неразумное упорство, кое-гдѣ эгоизмъ; феодальныя замашки ея казались ему животнымъ тиранствомъ, и въ минуты унынія, онъ не хотѣлъ даже извинить ее, ни вѣкомъ, ни воспитаніемъ.

Титъ Никоновичъ былъ старый, отжившій баринъ, ни на что не пужный, Леонтій — школьный недантъ, жена его—развратная дура, вся дворня въ Малиновкѣ — жадная стая дикихъ, не осмысленная никакой человѣческой чертой. Весь этотъ уголокъ, хозяйство съ избами, мужиками, скотиной и живностью, терялъ колоритъ веселаго и счастливаго гнѣзда, а казался просто хлѣвомъ, и онъ бы давно уѣхалъ оттуда, еслибъ.... не Вѣра!

Въ одинъ такой часъ хандры, онъ лежалъ съ сигарой на кушеткѣ въ комнатѣ Татьяны Марковны. Бабушка, не сидѣвшая никогда безъ дѣла, съ карандашемъ повѣрляла какіе-то, принесенные ей Са-

вельемъ счеты. Передъ ней лежали на бумажкахъ кучки овса, ржи. Марейнька царапала иглой клочекъ кружева, нашитаго на бумажкѣ, такъ пристально, что сжала губы, и около носа и лба у ней набѣжали морщинки. Вѣры, по обыкновенію, не было.

Райскій случайно поглядѣлъ на Марейньку и замѣялся. Она покраснѣла и поглядѣла на него восторженно.

— Какую ты смѣшную рожицу сдѣлала, — сказалъ онъ.

— Ну, слава Богу, улыбнулось красное солнышко! — замѣтила Татьяна Марковна. — А то смотрѣть тошно.

Онъ вздохнулъ.

— Чтò вздыхаешь-то: на свѣтѣ, что ли, тяжело жить!

— И такъ тяжело, бабушка. Ужели вамъ легко?

— Полно Бога гнѣвить! Видно въ самомъ дѣлѣ рожна захотѣлъ.

— Хоть бы и рожна, да чтобъ шевелилось что-нибудь въ жизни, а то — настоящій гробъ!

— Прости ему, Господи: самъ не знаетъ, что говорить! Эй, Борюшка, не накликай бѣду! Не сладко покажется, какъ бревно ударить по головѣ. Да, да, — помолчавши, съ тихимъ вздохомъ, прибавила она: — это такъ ужъ въ судьбѣ человѣческой написано — зазнаваться. Пришла и твоя очередь зазнаться: видно наука нужна. Образумить тебя судьба, помянешь меня!

— Чѣмъ же, бабушка: рожномъ? Я не боюсь. У меня—никого и ничего: какого же мнѣ рожна ждать?

— А вотъ узнаешь: всякому свой! Иному даетъ на всю жизнь—и несетъ его, тянетъ точно лямку. Вонъ Кирила Кирилычъ (бабушка сейчасъ бросилась къ любимому своему способу, къ примѣру): богатъ, здоровехонекъ, весь вѣкъ хи-хи-хи да ха-ха-ха, да жена вдругъ ушла: съ тѣхъ поръ и повѣсилъ голову, —шестой годъ ходитъ, какъ тѣнь.... А у Егора Ильича....

— У меня нѣтъ жены, стало быть и опасности нѣтъ....

— А ты женись!...

— Зачѣмъ: чтобъ жена ушла?

— Не всѣ жены уходятъ: хочешь, я тебѣ посватаю?

— Нѣтъ, благодарю; придумайте для меня другой рожонъ.

— Судьба придумаетъ! Да сохрани тебя, Господи, полно накликать на себя! А лучше вотъ что: поѣдемъ со мной въ городъ съ визитами. Мнѣ проходу не дадутъ, будто я не пускаю тебя. Вице-губернаторша, Нилъ Андреевичъ, княгиня: вотъ бы къ ней! Да ужъ и къ безстыжей надо заѣхать, къ Полинѣ Карповнѣ, чтобъ не шипѣла! А потомъ къ откупщику....

— Это зачѣмъ?

— Послѣ скажу.

— Зачѣмъ, Марѳинька, бабушка везетъ меня къ откупщику — не знаешь ли?

— У него дочь невѣста — помните, бабушка говорила однажды? такъ вѣрно хочетъ сватать вамъ ее...

— Вотъ она сейчасъ и догадалась! Спрашиваютъ тебя: вездѣ поспѣешь! — сказала бабушка. — Языкъ-то сталъ у тебя востеръ: сама я не умѣю, что-ли, сказать?

— Э, вотъ что! Хорошо... зѣвая сказалъ Райскій, — я поѣду съ визитами: только съ тѣмъ, чтобъ и вы со мной заѣхали къ Марку: надо же ему визитъ отдать.

Татьяна Марковна молчала.

— Что же вы, бабушка, молчите: заѣдемъ?

— Полно пустяки говорить: напрасно ты связался съ нимъ, — добра не будетъ, съ толку тебя собьютъ! О чемъ онъ съ тобой разговаривалъ?

— Онъ почти не разговаривалъ: мы поужинали и легли.

— А денегъ еще не просилъ взаймы?

— Просилъ.

— Ну, такъ и есть: ты смотри не давай!

— Да ужъ я далъ.

— Далъ! — жалостно воскликнула она.

— Вы кстати напомнили о деньгахъ: онъ просилъ сто рублей, а у меня было восемьдесятъ. Гдѣ мои деньги? Дайте, пожалуйста, надо послать ему...

— Борисъ Павловичъ! Не я ли говорила тебѣ, что онъ только и дѣлаетъ, что деньги занимаетъ! Боже мой! Когда же отдастъ?

— Онъ сказалъ, что не отдастъ.

Она заволновалась, зашевелилась, такъ что кресло заходило подъ ней.

— Чтѣ жъ это такое, говори не говори, онъ все свое дѣлаетъ! — сказала она: изъ рукъ вонъ!

— Дайте же денегъ.

— Ты оброкъ, чтѣ-ли, ему платишь?

— Ему ѣсть нечего!

— А ты кормить его взялся? ѣсть нечего! Цыгане и бродяги всегда чужое ѣдятъ: всѣхъ не накормишь! Восемдесятъ рублей!

Татьяна Марковна нахмурилась.

— Нѣту денегъ! — коротко сказала она. — Не дамъ: если не добромъ, такъ неволей послушаешься бабушки!

— Вотъ деспотизмъ-то! — замѣтилъ Райскій.

— Что жъ, велѣтъ, что ли, закладывать коляску? — спросила, помолчавши, бабушка.

— Зачѣмъ?

— А съ визитами ѣхать?

— Вы не дѣлаете по моему, и я не стану дѣлать по вашему.

— Сравнилъ себя со мной! Когда же курицу яйца учать? Грѣхъ, грѣхъ, сударь! Станный человѣкъ, необыкновенный: все свое!

— Не я, а вотъ вы такъ необыкновенная женщина!

— Чѣмъ это, батюшка, скажи на милость?

— Какъ чѣмъ? Не велите знакомиться, съ кѣмъ я хочу, деньгами мѣшаєте распоряжаться, какъ

вздумаю, везете куда мнѣ не хочется, а куда хочется сами не ѣдете. Ну, къ Марку не хотите, я и не приневоливаю васъ, и вы меня не приневоливайте.

— Я тебя въ хорошіе люди везу.

— По мнѣ, они не хорошіе.

— Что жъ, Маркушка хорошъ?

— Да, онъ мнѣ нравится. Живой, свободный умъ, самостоятельная воля, юморъ...

— Да ну его! — съ досадой прибавила она: ѣдешь, что ли, со мной къ Мамыкину?

— Это еще что за Мамыкинъ?

— А откупщикъ, у котораго дочь невѣста, вмѣшалась Марейинька. — Поѣзжайте, братецъ: на той недѣлѣ у нихъ большой вечеръ, будутъ звать насъ, — тише прибавила она: бабушка не поѣдетъ, намъ безъ нея нельзя, а съ вами пустятъ...

— Сдѣлай бабушкѣ удовольствіе, поѣзжай! прибавила Татьяна Марковна.

— А вы сдѣлайте мнѣ удовольствіе, не зовите меня.

— Чудный, необыкновенный человѣкъ! Я ему сдѣлай удовольствіе, а онъ мнѣ нѣтъ.

— Вѣдь подъ этимъ удовольствіемъ кроется замысль женить меня — такъ ли?

— Ну, хоть бы и такъ: что же за бѣда — я вѣдь счастья тебѣ хочу!

— Почему вы знаете, что для меня счастье жениться на дочери какого-то Мамыкина?

— Она красавица, воспитана въ самомъ доро-

гомъ пансіонѣ въ Москвѣ. Однихъ брильянтовъ тысячъ на восемьдесятъ... Тебѣ полезно жениться... Взялъ бы богатое приданое, зажилъ бы большимъ домомъ, у тебя бы весь городъ бывалъ, всѣ бы раболѣпствовали передъ тобой, поддержалъ бы свой родъ, связи... И въ Петербургѣ не ударилъ бы себя въ грязь... мечтала почти про себя бабушка.

— А вотъ я и не хочу раболѣпства—это гадость! Бабушка! я думалъ, вы любите меня — пожелаете чего-нибудь лучше, поразумнѣе...

— Чего тебѣ: рожна, что ли, въ самомъ дѣлѣ? я тебѣ добра желаю, а ты...

— Хорошо добро: ни съ того, ни съ сего, взять чужія деньги, брилліанты, да еще какую-нибудь Голендуху Парамоновну въ придачу!

— Нѣтъ, не Голендуху, а богатую и хорошенькую невѣсту! вотъ что, необыкновенный человѣкъ!

— Толкать человѣка жениться, на комъ не знаешь, на комъ не хочешь: необыкновенная женщина!

— Ну, Борюшка: не думала я, что изъ тебя такое чудище выйдетъ!

— Да не я, бабушка, а вы чудище...

— Ахъ! — почти въ ужасѣ закричала Марѣинька: — какъ это вы смѣете такъ называть бабушку!

— А она меня такъ назвала.

— Она постарше васъ, она вамъ бабушка!

— А что, бабушка, — вдругъ обратился онъ къ ней: еслибъ я сталъ уговаривать васъ выйти замужъ?

— Марейнька! перекрести его: ты тамъ поближе сидишь, — замѣтила бабушка сердито.

Марейнька засмѣялась.

— Право... шутилъ Райскій.

— Ты буфонишь, а я дѣло тебѣ говорила, добра хотѣла.

— И я добра вамъ хочу. Вотъ находятъ на васъ такія минуты, что вы скучаете, ропщете; иногда я подкарауливалъ и слезы. «Вѣкъ свой одна, не съ кѣмъ слова перемолвить», жалуетесь вы: «внучки разбѣгутся, маюсь, маюсь весь свой вѣкъ — хоть бы Богъ прибралъ меня! Выйдутъ дѣвочки замужъ, останусь какъ перстъ» и т. д. А тутъ бы подлѣ васъ сидѣлъ почтенный человѣкъ, цѣловалъ бы у васъ руки, вмѣсто васъ ходилъ бы по полямъ, подъ руку водилъ бы въ садъ, въ пикетъ съ вами игралъ бы... Право, бабушка, чтобы вамъ...

— Полно, Борисъ Павловичъ, вздоръ молоть, — печально, со вздохомъ, сказала бабушка. — Ты моложе былъ по умѣ, вздору не молоть. — Она черезъ очки посмотрѣла на него.

— А Титъ Никонычъ такъ и увивается около васъ, чуть на васъ не молится — всегда у вашихъ ногъ! Только подайте знакъ — и онъ будетъ счастливейшій смертный!

Марейнька не унималась отъ смѣху. Бабушка немного покраснѣла.

— Вотъ какъ: и жениха нашелъ! — сказала она небрежно.

— Чтожъ, продолжалъ шутить Райскій: вы

живете домкомъ, у васъ водятся деньжонки, а онъ бездомный... вотъ бы и кстати...

— Такъ это за то, что у меня деньжонки водятся, да домъ есть, и надо замужъ выходить: богадѣльня, что ли, ему достался мой домъ? И домъ не мой, а твой. И онъ самъ не бѣденъ...

— А это на чтò похоже, что вы хотите женить меня изъ-за денегъ?

— Ты можешь поправиться дѣвушкѣ и она тебѣ тоже: она миленькая...

— Вы съ Титомъ Никонычемъ тоже другъ другу правитесь, вы тоже миленькая...

— Отвяжись ты со своимъ Титомъ Никонычемъ! — вспылчиво перебила Татьяна Марковна, — я тебѣ добра хотѣла.

— И я вамъ тоже!

— Пустомеля, право, пустомеля: слушать тошно! Не хочешь угодить бабушкѣ, — такъ какъ хочешь!

— А вы мнѣ отчего не хотите угодить? Я еще не видалъ дочери Мамыкина и не знаю, какая она, а Титъ Никонычъ вамъ нравится, и вы сами на него смотрите какъ-то любовно....

— А вотъ еще, перебила Мароинька: я вамъ скажу, братецъ: когда Титъ Никонычъ захвораетъ, бабушка сама....

— Ты, сударыня, чтò, крикнула бабушка сердито: молода шутить надъ бабушкой! Я тебя и за ухо, да въ лапти: пужды пѣтъ что большая! Онъ отъ рукъ отбился, вышелъ изъ повиновенія: съ Маркушкой связался — послѣднее дѣло! Я на него

рукой махнула, а ты еще погоди, я тебя уйму! А ты, Борисъ Павлычъ, женись, не женись—мнѣ все равно, только отстань и вздору не мели. Я вотъ Тита Никоньча принимать не велю....

— Бѣдный Титъ Никоньчъ! комически, со вздохомъ, произнесъ Райскій и лукаво взглянулъ на Марейнюку.

— Ну, вотъ бабушка, наконецъ вы договорились до дѣла, до правды: «женись, не женись—какъ хочешь!» Давно бы такъ! Стало быть, и ваша и моя свадьба откладываются на неопредѣленное время.

— «Дѣло, правда!» ворчала бабушка: вотъ посмотримъ, какъ ты проживешь!

— По-своему, бабушка.

— Хорошо ли это?

— А какъ же: ужели по чужому?

— Какъ люди живутъ.

— Какіе люди? развѣ здѣсь есть люди?

Въ это время Василиса вошла и доложила, что гости пришли: «Колчинскій барченокъ...»

— Это Николай Андреевичъ Викентьевъ: проси! «Какіе люди!» хоть бы вотъ человѣкъ: Господи, не клиномъ міръ сошелся! сказала Бережкова.

Марейнюка немного покраснѣла и поправила платье, косынку и мелькомъ бросила взглядъ въ зеркало. Райскій тихонько погрозилъ ей пальцемъ; она покраснѣла еще сильнѣе.

— Что вы, братецъ.... вы.... опять.... начала она и не кончила.

Василиса пошла было и воротилась поспѣшно.

— Еще пришелъ этотъ.... что почеваль здѣсь, сказала она Райскому:—спрашиваетъ васъ!

— Ужъ не Маркушка ли опять? съ ужасомъ спросила бабушка.

— Онъ и есть! подтвердила Василиса.

— Вотъ это люди, такъ люди! сказалъ Райскій и поспѣшилъ къ себѣ.

— Какъ обрадовался, какъ бросился! Нашелъ человека! Деньги-то не забудь взять съ него назадъ! Да не хочетъ ли онъ трескать? я бы прислала.... крикнула ему вслѣдъ бабушка.

ХІІІ.

Въ комнату вошелъ, или вѣрнѣе, вскочилъ— среднего роста, свѣжій, цвѣтуцій, красиво и крѣпко сложенный молодой человекъ, лѣтъ двадцати трехъ, съ темнорусыми, почти каштановыми волосами, съ румяными щеками и съ сѣро-голубыми острыми глазами, съ улыбкой, показывавшей рядъ бѣлыхъ, крѣпкихъ зубовъ. Въ рукахъ у него былъ пучекъ васильковъ и еще что-то бережно завернутое въ посовой платокъ. Онъ все это вмѣстѣ со шляпой положилъ на стулъ.

— Здравствуйте, Татьяна Марковна, здравствуйте Марѳа Васильевна! заговорилъ онъ, цѣлуя руку у старушки, потомъ у Марѳиньки, хотя Марѳинька от-

дернула свою, но вышло такъ, что онъ успѣлъ дать летучій поцѣлуй. «Опять нельзя—какія вы!...» сказалъ онъ.— Вотъ я принесъ вамъ....

— Что это вы пропали: васъ совсѣмъ не видать? съ удивленіемъ, даже строго, спросила Бережкова.— Шутка-ли, почти три недѣли!

— Мнѣ никакъ нельзя было, губернаторъ не пускалъ никуда; велѣли дѣла канцеляріи приводить въ порядокъ... говорилъ Викентьевъ такъ торопливо, что нѣкоторые слова даже не договаривалъ.

— Пустяки, пустяки! не слушайте, бабушка: у него никакихъ дѣлъ нѣтъ.... самъ сказывалъ! вмѣшалась Марейника.

— Ей-богу, ахъ, какія вы: дѣла по горло было! У насъ новый правитель канцеляріи поступаетъ—мы дѣла скрѣпляли, описи дѣлали.... Я пятьсотъ дѣлъ по листамъ скрѣпилъ. Даже по ночамъ сидѣли.... ей-богу....

— Да не божитесь! что это у васъ за привычка божиться по пустякамъ: грѣхъ какой! строго оставила его Бережкова.

— Какъ по пустякамъ: вонъ Марѳа Васильевна не вѣрятъ! а я ей-богу....

— Опять!

— Правда ли, Татьяна Марковна, правда ли, Марѳа Васильевна, что у васъ гость: Борисъ Павловичъ пріѣхалъ? Не онъ ли это, я встрѣтилъ сейчасъ, прошелъ по коридору? Я нарочно пришелъ....

— Вотъ видите, бабушка, перебила Марейника?

онъ пришелъ братца посмотрѣть, а безъ этого долго бы пропадалъ! Что?

— Ахъ Марѳа Васильевна! какія вы! Я лишь только вырвался, такъ и прибѣжалъ! Я просился, просился у губернатора—не пускаетъ: говорить, не пушу до тѣхъ поръ, пока не кончите дѣла! У маменьки не былъ: хотѣлъ къ ней пообѣдать въ Колчино съѣздить—и то пустилъ только вчера, ей-богу...

— Здорова ли маменька? Что, у ней лишаи прошли?

— Проходятъ, покорно благодарю. Маменька кланяется вамъ, проситъ васъ не забыть день ея именинъ...

— Покорно благодарю! Ужъ не знаю, соберусь ли я сама: стара, да и черезъ Волгу боюсь ѣхать. А дѣвочки мои...

— Мы безъ васъ, бабушка, не поѣдемъ, сказала Марѳинька: я тоже боюсь переѣзжать Волгу.

— Не стыдно ли трусить? говорилъ Вивентьевъ.— Чего вы бонетесь? Я за вами самъ приѣду на нашемъ катерѣ.... Гребцы у меня всѣ пѣсенники....

— Съ вами ни за что и не поѣду, вы не посидите ни минуты покойно въ лодкѣ.... Чтò это шевелится у васъ въ бумагѣ? вдругъ спросила она: посмотрите бабушка... ахъ, не змѣя ли?

— Это я вамъ принесъ живого сазана, Татьяна Марковна: сейчасъ выудилъ самъ. Ъхалъ къ вамъ, а тамъ на рѣчкѣ, въ осокѣ, вижу, сидитъ въ лодкѣ Иванъ Матвѣичъ. Я попросился къ нему, онъ подѣхалъ, взялъ меня, я и четверти часа не сидѣлъ—

вотъ какого выудилъ! А это вамъ, Марѳа Васильевна, дорогой, вонъ тутъ во ржи нарвалъ васильковъ...

— Не надо, вы общали безъ меня не рвать—а вотъ теперь слишкомъ двѣ недѣли не были, васильки всѣ посохли: вонъ какая дрянь!

— Пойдемте сейчасъ нарвемъ свѣжихъ!...

— Дайте срокъ! остановила Бережкова.—Чтò это вамъ не сидится? не успѣли носа показать, вонъ еще и лобъ не простылъ, а ужъ въ ногахъ у васъ такъ и зудитъ? Чего вы хотите позавтракать: кофе что ли, или битаго мяса? А ты, Марѳинька, поди узнай, не хочетъ ли тотъ.... Маркушка... чего-нибудь? Только сама не показывайся, а Егорку пошли узнать....

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего не хочу, — заторопился Викентьевъ: я съѣлъ цѣлый пирогъ передъ тѣмъ, какъ ѣхать сюда....

— Видите, какой онъ, бабушка! сказала Марѳинька: «пирогъ съѣлъ!»—И сама пошла исполнить порученіе бабушки, потомъ воротилась, сказавъ, что ничего не надо и что гость скоро собирается уйти.

— А здѣсь не накормили бы васъ! упрекнула Татьяна Марковна, что вы назавтракались да пришли?

Викентьевъ сунулся было къ Марѳинькѣ.—Заступитесь за меня! сказалъ онъ.

— Не подходите, не подходите, не трогайте! сердито говорила Марѳинька.

Онъ не сидѣлъ, не стоялъ на мѣстѣ, то совался къ бабушкѣ, то бѣжалъ къ Марѳинькѣ и силился переговорить обѣихъ. Почти въ одну и ту же минуту

лицо его принимало серьезное выраженіе и вдругъ разливался по немъ смѣхъ и показывались крупные бѣлые зубы, на которыхъ отъ торопливости его говора, или отъ смѣха, иногда вскакивалъ и пропадалъ пузырь.

— Я вѣдь съѣлъ пирогъ отъ того, что подъ руку подвернулся. Кузьма отворилъ шкафъ, а я шелъ мимо—вижу пирогъ, одинъ только и былъ....

— Вамъ стало жаль сироту, вы и съѣли? договорила бабушка. Всѣ трое засмѣялись.

— Нѣтъ ли варенья, Марѳа Васильева: я бы поѣлъ....

— Вели принести—какъ не быть? А битого мяса не станете? вчерашнее жаркое есть, цыплята....

— Вотъ бы цыпленка хорошо...

— Не давайте ему, бабушка: чтò его баловать? не стоитъ.... Но сама пошла-было изъ комнаты.

— Нѣтъ, нѣтъ, Марѳа Васильевна, и точно не надо, вы только не уходите: я лучше обѣдать буду. Можно мнѣ пообѣдать у насъ, Татьяна Марковна?

— Нѣтъ, нельзя, сказала Марѳинька.

— А ты не шути этимъ, остановила ее бабушка: онъ, пожалуй, и убѣжитъ. И видно, что вы давно не были, обратилась она къ Викентьеву: стали спрашивать позволенія отобѣдать!

— Покорно благодарю-съ!... Марѳа Васильевна! куда вы? Пойдите, пойдите, и я съ вами!...

— Не надо, не надо, не хочу! говорила она.—Я велю вамъ жарить вашего сазана и больше ничего не дамъ къ обѣду.

Она двумя пальцами взяла за голову рыбу, а когда та стала хлестать хвостомъ взадъ и впередъ, она съ крикомъ: «ай, ай,» выронила ее на полъ и побѣжала по коридору. Онъ бросился за ней, и черезъ минуту оба уже гдѣ-то хохотали, а еще черезъ минуту слышались вверху звуки рѣзваго вальса на фортепіано, съ топотомъ ногъ надъ головой Татьяны Марковны, а потомъ кто-то точно скатился съ лѣстницы, а дальше промчались по двору и бросились въ садъ, сначала Марейнъка, за ней Викентьевъ, и звонко изъ саду доносились ихъ говоръ, пѣніе и смѣхъ.

Бабушка поглядѣла въ окно и покачала головой. На дворѣ куры, пѣтухи, утки, съ крикомъ бросились въ стороны, собаки съ лаемъ поскакали за бѣгущими, изъ людскихъ выглянули головы лакеевъ, женщинъ и кучеровъ, въ саду цвѣты и кусты зашевелились точно живые, и не на одной грядѣ или клумбѣ остался слѣдъ вдавленнаго каблука, или маленькой женской ноги, два три горшка съ цвѣтами опрокинулись, вершины тоненькихъ деревъ, за которыя хваталась рука, забачались и птицы всѣ до одной отъ испуга улетѣли въ рощу. А черезъ четверть часа уже оба смирно сидѣли, какъ ни въ чемъ не бывало, около бабушки, и весело смотрѣли кругомъ и другъ на друга: онъ, отирая потъ съ лица, она, обмахивая себѣ платкомъ лобъ и щеки.

— Хороши оба: на что похожи! упрекала бабушка.

— Это все онъ, жаловалась Марейнъка: погнался за мной! прикажите ему сидѣть на мѣстѣ.

— Нѣтъ, не я, Татьяна Марковна: онъ велѣли

мнѣ уйти въ садъ, а сами прежде меня побѣжали: я хотѣлъ догнать, а онѣ....

— Онъ мужчина, а тебѣ стыдно, ты не маленькая! журила бабушка.

— Вотъ видите, что я изъ-за васъ терплю! сказала Марѣинька.

— Ничего, Марѣа Васильевна, бабушки всегда немного ворчатъ—это ихъ священная обязанность.... Бабушка услышала.

— Что, что, сударь? полусерьезно остановила его Татьяна Марковна: подойдите-ка сюда, я вмѣсто маменьки, уши надеру, благо ее здѣсь нѣтъ, за этакія слова!

— Извольте, извольте, Татьяна Марковна—ахъ, надерите пожалуйста! Вы только грозите, а никогда не выдерите....

Онъ подскочилъ къ старушкѣ и наклонилъ голову.

— Надерите, бабушка, побольнѣе, чтобъ недѣлю красныя были! учила Марѣинька.

— Ну, вы надерите! сказалъ онъ ей, подставляя голову.

— Когда вы провинитесь передо мной, тогда надеру.

— Пойдите еще, я Нилу Андреевичу пожелаюсь, перескажу, что вы сказали теперь... А еще любимецъ его! говорила Татьяна Марковна.

Викентьевъ сейчасъ сдѣлалъ важную мину, сталъ посреди комнаты, опустилъ бороду въ галстухъ, сморщился, поднялъ палецъ вверхъ и дряблымъ

голосомъ произнесъ: «молодой человѣкъ! твои слова потрясаютъ авторитетъ старшихъ!...» Должно быть, очень было похоже на Нила Андреевича, потому что Марейника закатилась смѣхомъ, а бабушка нахмурила-было брови, но вдругъ добродушно засмѣялась и стала трепать его по плечу.

— Въ кого это ты, батюшка, уродился такой живчикъ, да на все гораздый? ласково говорила она. — Батюшка твой, царство ему небесное, былъ такой серьезный, слова на вѣтеръ не скажетъ, и маменьку отъучилъ смѣяться.

— Ахъ, Марѳа Васильевна, заговорилъ Викентьевъ: я досталъ вамъ новый романъ и еще журналъ, повѣсть отличная.... забылъ совсѣмъ...

— Гдѣ же они?

— Въ лодкѣ у Ивана Матвѣича оставилъ, все изъ-за этого сазана! Онъ у меня трепетался въ рукахъ — я книгу и ноты забылъ... Я побѣгу сейчасъ — можетъ быть, онъ еще на рѣчкѣ сидитъ — и принесу...

Онъ побѣжалъ-было и опять воротился.

— Я дамское сѣдло досталъ, Марѳа Васильевна: вамъ верхомъ ѣздить; графскій берейторъ берется въ мѣсяцъ васъ выучить — хотите, я сейчасъ привезу...

— Ахъ, какой вы милый, какой вы добрый! не вспомнясь отъ удовольствія, сказала Марейника. — Какъ весело будетъ.... ахъ, бабушка!

— Кто тебѣ позволить такъ проказничать? строго

замѣтила бабушка. — А вы что это, въ своемъ ли умѣ: дѣвчкѣ на лошади ѣздить!

— А Марья Васильевна, а Анна Николаевна — какъ-же ѣздить онѣ?...

— Ну, имъ и отдайте ваше сѣдло! сюда не заносите этихъ затѣй: пока жива, не позволю. Этакъ, пожалуй, и до грѣха недолго: курить станеть.

Марейнька надулась, а Викентьевъ постоялъ минуты двѣ въ недоумѣніи, почесывая то затылокъ, то брови, потомъ вмѣсто того, чтобъ погладить волосы, какъ дѣлаютъ другіе, поерошилъ ихъ, разстегнулъ и застегнулъ пуговицу у жилета, вскинулъ легонько фуражку вверхъ и, поймавъ ее, выпрыгнулъ изъ комнаты сказавши: «Я за нотами и за книгой—сейчасъ прибѣгу»..... и исчезъ.

Марейнька хотѣла тоже идти, но бабушка удержала ее.

— Послушай, душечка, поди сюда, что я тебѣ скажу: заговорила она ласково, и немного медлила, какъ будто не рѣшалась говорить. Марейнька подошла, и бабушка поправляла ей волосы, растрепавшіеся немного отъ бѣготни по саду, и глядѣла на нее, какъ мать, любуясь ею.

— Что вы, бабушка? вдругъ спросила Марейнька, съ удивленіемъ вскинувши на старушку глаза и ожидая, къ чему ведетъ это предисловіе.

— Ты у меня добрая дѣвочка, уважаешь каждое слово бабушки... не то что Вѣрочка....

— Вѣрочка тоже уважаетъ васъ: напрасно вы на нее....

— Ну, ты ея заступница! Уважаетъ, это правда, а думаетъ свое, значитъ не вѣрить мнѣ: бабушка-де стара, глупа, а мы, молодыя,—лучше понимаемъ, много учились, все знаемъ, все читаемъ. Какъ бы она не ошиблась... Не все въ книгахъ написано!

Бережкова задумчиво вздохнула.

— Чтò-же вы хотѣли сказать мнѣ? съ любопытствомъ спросила Марейника.

— А вотъ чтò: ты взрослая дѣвушка, давно невѣста: такъ ты будь немножко пооглядчивѣ....

— Какъ это пооглядчивѣ, бабушка?

— Погоди, не перебивай меня. Ты вотъ рѣзвишься, бѣгаешь, точно дитя, съ ребятишками возишься....

— Развѣ я все бѣгаю? Вѣдь я и работаю, шью, вышиваю, разливаю чай, хозяйствомъ занимаюсь...

— Опять перебила! Знаю, что ты умница,—ты кладъ, дай Богъ тебѣ здоровья, — и бабушки слушаешься! повторила свой любимый припѣвъ старушка.

— Такъ за чтò же вы браните меня?

— Погоди, дай сказать слово! Гдѣ-же я браню? Я говорю только, чтобъ ты была посерьезнѣ....

— Какъ, ужъ и бѣгать нельзя: это развѣ грѣхъ? А вонъ братецъ говорить....

— Чтò онъ говорить?

— Что я слишкомъ ужъ.... послушная, безъ бабушки ни на шагъ....

— А ты не слушай его: онъ тамъ посмотрѣлся на какихъ-нибудь англичанокъ да полячекъ: тѣ еще

въ дѣвкахъ однѣ ходять по улицамъ, переписку ведутъ съ мужчинами, и верхомъ скачуть на лошадахъ. Этого, что-ли, братецъ хочетъ? вотъ постой, я поговорю съ нимъ....

— Нѣтъ, бабушка, не говорите, — онъ разсердится, что я пересказала вамъ....

— И хорошо сдѣлала, и всегда такъ дѣлай! Мало-ли что онъ наговорить, братецъ твой! Видишь что: смущать вздумалъ дѣвочку!

— Развѣ я дѣвочка? обидчиво замѣтила Марюшка. — Миѣ четырнадцать аршинъ на платьѣ идетъ.... Сами говорите, что я невѣста!

— Правда, ты выросла, да сердце у тебя дѣтское, и дай Богъ, чтобъ долго такимъ осталось! А поумнѣть немного не мѣшаетъ.

— А зачѣмъ, бабушка: развѣ я дура? Братецъ говоритъ, что я проста, мила.... что я хороша и умна какъ есть, что я....

Она остановилась.

— Ну, что еще!

— Что я «естественная»!...

Татьяна Марковна помолчала, повидимому, толкуя себѣ значеніе этого слова. Но оно почему-то ей не понравилось.

— Братецъ твой пустяки говорить, сказала она.

— Вѣдь онъ умный—преумный, бабушка.

— Ну, да—умнѣе всѣхъ въ городѣ. И бабушка у него глупа: воспитывать меня хочетъ! Нѣтъ, ты старайся поумнѣть мимо его, живи своимъ умомъ.

— Господи! ужели я дура такая?

— Нѣтъ, нѣтъ, ты можетъ быть поумнѣе многихъ умницъ.... (бабушка взглянула по направленію къ старому дому, гдѣ была Вѣра), да умъ-то у тебя въ скорлупѣ—а пора смекать....

— — Зачѣмъ-же бабушка?

— А хоть бы за тѣмъ, внучка, чтобъ съумѣть понять рѣчи братца и отвѣтить на нихъ порядкомъ. Онъ, конечно, худого тебѣ не пожелаетъ; съ молоду былъ честенъ и любилъ васъ обѣихъ: вонъ имѣніе отдаетъ, да много болтаетъ пустого....

— Не все-же онъ пустое болтаетъ: иногда такъ умно и хорошо говорить....

— И Полина Карповна не дура: тоже хорошо говорить. Я не сравниваю Борюшку съ этой козой, а хочу только сказать, — острота остротой, а умъ умомъ! Вотъ ты и поумнѣй на столько, чтобъ знать, когда твой братецъ говоритъ съ остротой, когда съ умомъ. На остроту смѣйся, отвѣчай остротой, а умную рѣчь принимай къ сердцу. Острота фальшива, принарядится краснымъ словомъ, смѣхомъ, ползетъ, какъ змѣй, въ уши, наровить подкрасться къ уму и помрачить его, а когда умъ помраченъ, такъ и сердце не въ порядкѣ. Глаза смотрять, да не видять, или видять не то....

— За что же вы, бабушка, браните меня? съ нетерпѣніемъ спросила Марейнька.

У ней даже навернулись слезы.

— Вы говорите: не хорошо бѣгать, возиться съ дѣтьми, нѣтъ—ну, не стану....

— Боже тебя сохрани! Бѣгать, пользоваться воз-

духомъ — здорово. Ты весела, какъ птичка, и дай Богъ тебѣ остаться такой всегда, люби дѣтей, пой, играй....

— Такъ за что же браните?

— Не браню, а говорю только: знай всему мѣру и пору. Вотъ ты давеча побѣжала съ Николаемъ Андреевичемъ....

Марейнька вдругъ покраснѣла, отошла и сѣла въ уголь. Бабушка пристально поглядѣла на нее и начала опять, тономъ ниже и медленнѣе.

— Это не бѣда: Николай Андреичъ прекрасный, добрый—и шалунъ, такой же рѣзвый, какъ ты, а ты у меня скромница, лишняго, ни себѣ, ни ему, не позволишь. Куда бы вы ни забѣжали вдвоемъ, что бы ни затѣяли, я знаю, что онъ тебѣ не скажетъ ненутнаго, а ты и слушать не станешь....

— Не приказите ему приходить!—сердито замѣтила Марейнька. — Я съ нимъ теперь слова не скажу....

— Это хуже: и онъ, и люди, Богъ знаетъ, что подумаютъ. А ты только будь пооглядчивѣе, — не бѣгай по двору да по саду, чтобъ люди не стали осуждать: «вонъ, скажутъ, дѣвушка ужъ невѣста, а повѣсничааетъ, какъ мальчикъ, да еще съ постороннимъ»....

Марейнька вспыхнула.

— Ты не краснѣй: не отъ чего! Я тебѣ говорю, что ты дурного не сдѣлаешь, а только для людей надо быть пооглядчивѣе! Ну, что надулась: поди сюда, я тебя поцѣлую!

Бережкова поцѣловала Марѣиньку, опять поправила ей волосы, все любуясь ею, и ласково взяла ее за ухо.

— Николай Андреичъ сейчасъ придетъ, сказала Марѣинька: а я не знаю, какъ теперь мнѣ быть съ нимъ. Станетъ звать въ садъ, я не пойду, въ поле — тоже не пойду и бѣгать не стану. Это я все могу. А если станетъ смѣшать меня — я ужъ не утерплю, бабушка,—засмѣюсь, воля ваша! Или запоетъ, попросить сыграть: что я ему скажу?

Бабушка хотѣла отвѣчать, но въ эту минуту ворвался въ комнату Викентьевъ, весь въ поту, въ пыли, съ книгой и нотами въ рукахъ. Онъ положилъ и то и другое на столъ передъ Марѣинькой.

— Вотъ теперь ужъ... торопился онъ сказать, отирая лобъ и смахивая платкомъ пыль съ платья,—пожалуйте ручку! Какъ бѣжалъ — собаки по переулку за мной, чуть не съѣли....

Онъ хотѣлъ взять Марѣиньку за руку, но она спрятала ее назадъ, потомъ встала со стула, сдѣлала реверансъ и серьезно, съ большимъ достоинствомъ произнесла: «Je vous remercie, Mr. Викентьевъ: Vous êtes bien aimable».

Онъ вытаращилъ глаза на нее, потомъ на бабушку, потомъ опять на нее, поерошилъ волосы, взглянулъ мелькомъ въ окно, вдругъ сѣлъ, и въ ту же минуту вскочилъ.

— Марѣа Васильевна, заговорилъ онъ,—пойдемте въ залу, къ террасѣ — посмотрѣть: сейчасъ молодые пройдутъ....

— Нѣтъ, важно сказала она: мерсі, я не пойду: дѣвицѣ неприлично высовываться на балконъ и глазѣть...

— Ну, пойдемте же разбирать новый романсъ....

— Нѣтъ, благодарю: я ужъ попробую одна, или при бабушкѣ....

— Пойдемте къ рошѣ—сядемъ тамъ: я почитаю вамъ новую повѣсть. — Онъ взялъ книгу.

— Какъ это можно! строго сказала Марейнька и взглянула на бабушку: дитя, что ли, я?...

— Чтò это такое, Татьяна Марковна? говорил растерянный Викентьевъ: — житья нѣтъ отъ Марей Васильевны!

Викентьевъ посмотрѣлъ на нихъ обѣихъ пристально, потомъ вдругъ вышелъ на середину комнаты, сдѣлалъ сладкую мину, корпусъ наклонилъ немного впередъ, руки округлилъ, шляпу взялъ подъ мышку.

— Mille pardons, mademoiselle, de vous avoir dérangée—говорилъ онъ, сился надѣть перчатки, но большія, влажныя отъ жару руки не шли въ нихъ.

— Sacrebleu! ça n'entre pas — oh, mille pardons, mademoiselle...

— Полно вамъ, проказникъ, принеси ему варенья, Марейнька!

— Oh! Madame, je suis bien reconnaissant. Mademoiselle, je vous prie, restez de grâce, бросился онъ, почтительно устремляя руки впередъ, чтобъ загородить дорогу Марейнькѣ, которая пошла было къ дверямъ.

— Vraiment, je ne puis pas: j'ai des visites à faire... Ah, diable, ça n'entre pas....

Марейнька крѣпилась, кусала губы, но смѣхъ прорвался.

— Вотъ онъ какой, бабушка: жаловалась она:— «теперь М-г Шарля представляетъ: какъ тутъ утерпѣть!

— А что, похоже? спросилъ Викентьевъ.

— Полно вамъ, божьи младенцы! сказала Татьяна Марковна, у которой морщины превратились въ лучи, и улыбка озарила лицо.—Подите, Богъ съ вами, дѣлайте что хотите!

XIX.

На Марейньку и на Викентьева точно живой водой брызнули. Она схватила ноты, книгу, а онъ шляпу, и только было бросились къ дверямъ, какъ вдругъ снаружи, со стороны проѣзжей дороги, раздался и разнесся по всему дому чей-то дребезжащій голосъ.

— Татьяна Марковна! высокая и сановитая владычица сихъ мѣсть! Прости дерзновенному, ищущему предстать предъ твои очи и облобызать прахъ твоихъ ногъ! Прійми подъ гостепріимный кровъ твой странника, притекша издалеца вкусить отъ твоея трапезы и укрыться отъ зноя полдневнаго!

Дома ли, Богомъ хранимая хозяйка сей обители?...
Да тутъ никого нѣтъ!

Голова показалась съ улицы въ окно столовой. Всѣ трое, Татьяна Марковна, Марѣинька и Викентьевъ замерли, какъ были, каждый въ своемъ положеніи. — «Боже мой, Опенкинъ!» воскликнула бабушка почти въ ужасѣ: «дома нѣтъ, дома нѣтъ! на цѣлый день за Волгу уѣхала!» шепотомъ диктовала она Викентьеву,

— Дома нѣтъ, на цѣлый день за Волгу уѣхала! — громко повторилъ Викентьевъ, подходя къ окну въ столовой.

— А! нашему Николаю Андреевичу, любвеобильному и надеждами чреватому, села Колчина и многихъ иныхъ обладателю! — говорилъ голосъ. — Да прильнетъ языкъ твой къ гортани, зане ложъ изрыгаетъ! И возница, и колесница дома, а стало быть и хозяйка въ семъ мѣстѣ или окрестъ обрѣтается. Посмотримъ и поищемъ, либо пождемъ, дожде же изъ весей и пастбищъ, и изъ вертограда въ храмину паки вступить.

— Что дѣлать, Татьяна Марковна? — торопливо и шепотомъ спрашивалъ Викентьевъ: — Опенкинъ пошелъ на крыльцо, сюда идетъ.

— Нечего дѣлать, — съ тоской сказала бабушка: надо пустить. Чай, голоднехонекъ, бѣдный! Куда онъ теперь въ такую жару потащится? За то ужъ на цѣлый мѣсяцъ отдѣлаюсь! Теперь его до вечера не выживешь!

— Ничего, Татьяна Марковна, онъ напьется

живо и потомъ уйдетъ на сѣноваль спать. А послѣ прикажите Кузьмѣ отвезти его въ телѣгѣ домой...

— Матушка, матушка! — нѣжнымъ, но сирымъ голосомъ говорилъ, уже входя въ кабинетъ, Опенкинъ. — Зачѣмъ сей быстроногій повергъ меня въ печаль и страхъ! Дай ручку, другую! Марѳа Васильевна! Рахиль прекрасная, ручку, ручку...

— Полно, Акимъ Акимычъ, не тронь ее! Садись, садись — ну, будетъ тебѣ! Что, усталъ — не хочешь ли кофе?

— Давно не видалъ тебя, паше красное солнышко: въ тоску впалъ! говорилъ Опенкинъ, вытирая клѣтчатымъ бумажнымъ платкомъ лобъ. — Шелъ, шелъ — и зной палить, и отъ жажды и голода изнемогъ — а тутъ вдругъ — «за Волгу уѣхала!» Испужался, матушка, ей-богу, испужался: экой какой! — набросился онъ на Викентьева: невѣсту тебѣ за это рябую! Красавица вы, птичка садовая, бабочка цвѣтная! — обратился онъ опять къ Марѳинѣ: — изгоните вы его съ ясныхъ глазъ долой, злодѣя безжалостнаго — охъ, охъ, Господи, Господи! Что, матушка, за кофе: не къ рожѣ мнѣ! А вотъ еслибъ ангелъ сей небесный изъ сахарной ручки удостоилъ поднести...

— Водки? — живо перебилъ Викентьевъ.

— Водки! — передразнилъ Опенкинъ: — съ мѣсяцъ ее не видалъ, забылъ, чѣмъ пахнетъ. Ей-богу, матушка! — обратился онъ къ бабушкѣ: — вчера у Горошкина насильно заставляли: бросилъ все, безъ шапки ушелъ!

— Чего же хочешь, Акимъ Акимычъ?

— Вотъ еслибъ изъ ангельскихъ ручекъ мадерцы рюмочку-другую...

— Вели, Марейнька, подать: тамъ вчера только что почали бутылку отъ итальянца...

— Нѣтъ, нѣтъ, постой, ангель, не улетай! остановилъ онъ Марейньку, когда та направилась было къ двери: не надо отъ итальянца — не въ коня кормъ! не пройметъ, не почувствую: что мадера отъ итальянца, что вода — все одно! Она десять рублей стоитъ: не къ рожѣ! Удостою, матушка, отъ Ватрухина, отъ Ватрухина — въ два съ полтиной мѣдью!

— Какая же это мадера: онъ самъ ее дѣлаетъ — замѣтилъ Викентьевъ.

— То и ладно, то и ладно: значить, приспособился къ потребностямъ государства, вкусъ угадалъ, городъ успокоиваетъ. Теперь война, напирѣвъ, съ врагами: всѣ двери въ отечествѣ на запоръ. Ни человѣкъ не пройдетъ, ни птица не пролетитъ, ни амбре никакого не получишь, ни кургузаго одѣянiя, ни марго, ни бургонь — заговѣйся! А въ семъ богоспасаемомъ градѣ, источникъ мадеры не изсякнетъ у Ватрухина! Да здравствуетъ Ватрухинъ! Пожалуйте, сударыня, Татьяна Марковна, ручку!

Онъ схватилъ старушку за руку, изъ которой выскочилъ и покатился по полу серебряный рубль, приготовленный бабушкой, чтобъ послать къ Ватрухину за мадерой.

— Да ну, Богъ съ тобой, какой ты безпокойный: сидѣль бы смирно!—съ досадой сказала бабушка.— Марейинька, вели сходить къ Ватрухину, да постой, на вотъ еще денегъ, вели взять двѣ бутылки: одной, я думаю, мало будетъ...

— Мудрость, мудрость глаголетъ твоими устами—ручку... говорилъ Опенкинъ.

— Гдѣ бывалъ это время, Акимъ Акимычъ, что подбывалъ, горемычный?

— Гдѣ! со вздохомъ повторилъ Опенкинъ: вездѣ и нигдѣ, витаю, какъ птица небесная! Три дня у Горошениныхъ, передъ тѣмъ у Пестовыхъ, а передъ тѣмъ и не помню!

Онъ вздохнулъ опять и махнулъ рукой.

— Что дома не сидишь?

— Эхъ, матушка, радъ бы душой, да вѣдь ты знаешь сама: ангельскаго терпѣнія не станетъ.

— Знаю, знаю, да не самъ ли ты виновать тоже: не все же жена?

— Ну, иной разъ и самъ: правда, святая правда! Гдѣ бы помолчать, пожалуй, и пронесло бы, а тутъ зло возьметъ, не вытерпишь, и пошло! Сама по-суди: сядешь въ уголъ, молчишь: «зачѣмъ сидишь какъ чурбанъ, безъ дѣла?» Возьмешь дѣло въ руки: «не трогай, не суйся, гдѣ не спрашиваютъ!» Ляжешь: «что все валяешься?» Возьмешь кусокъ въ ротъ: «только жрешь!» Заговоришь: «молчи лучше!» Книжку возьмешь: вырвать изъ рукъ, да швырнуть на полъ! Вотъ мое житье—какъ передъ Господомъ

Богомъ! Только и свѣта, что въ Палатѣ, да по добрымъ людямъ!

Принесли вино. Марейника налила рюмку и подала Опенкину. Онъ, съ жадностью, одной дрожащей рукой, осторожно и плотно прижалъ ее къ нижней губѣ, а другую руку держалъ въ видѣ подпоса подъ рюмкой, чтобъ не пролить ни капли, и залпомъ опрокинулъ рюмку въ ротъ, потомъ отеръ губы и потянулся къ ручкѣ Марейники, но она ушла и сѣла въ свой уголъ.

Опенкинъ въ нѣсколькихъ словахъ самъ разсказалъ исторію своей жизни. Никто никогда не давалъ себѣ труда, да и не нужно никому было разбирать, кто правъ, кто виноватъ былъ въ домашнемъ разладѣ, онъ, или жена. Онъ ли пьянствомъ сначала вывелъ ее изъ терпѣнія, она ли характеромъ довела его до пьянства. Но дѣло въ томъ, что онъ дома былъ, какъ чужой человекъ, приходившій туда только ночевать, а иногда пропадавшій по нѣсколькимъ днямъ. Онъ предоставилъ женѣ получать за него жалованье въ Палатѣ и содержать себя и двоихъ дѣтей, какъ она знаетъ, а самъ изъ Палаты прямо шелъ куда-нибудь обѣдать и оставался тамъ до ночи, или на ночь, и на другой день, какъ ни въ чемъ не бывалъ, шелъ въ Палату и скрипѣлъ перомъ, трезвый, до трехъ часовъ. И такъ проживалъ свою жизнь по людямъ.

Къ нему всѣ привыкли въ городѣ, и почти вездѣ, кромѣ чопорныхъ домовъ, принимали его, ради его безобиднаго нрава, домашнихъ его несогласій

и ради провинціального гостепріимства. Бабушка не принимала его только, когда ждала «хорошихъ гостей», т. е. людей поважнѣе въ городѣ. Она никогда бы не пустила его къ себѣ ради пьянства, котораго терпѣть не могла, но онъ былъ несчастливъ, и притомъ, когда онъ становился неудобенъ въ комнатѣ, его безъ церемоніи уводили на сѣноваль или отводили домой. Запереть ему совсѣмъ двери было не въ нравахъ провинціи вообще, и не въ характерѣ Татьяны Марковны въ особенности, какъ ни тяготило ее присутствіе пьянаго въ комнатѣ, его жалобы и вздохи.

Райскій помнилъ, когда Опенкинъ хаживалъ бывало въ домъ его отца съ бумагами изъ Палаты. Тогда у него не было ни лысины, ни лиловаго носа; это былъ скромный и тихій человѣкъ изъ семинаристовъ, отвлеченный отъ духовнаго званія женитьбой по любви на дочери катого-то ассесора, не желавшей быть ни дьяконицей, ни даже попадѣй. Но Райскій не считалъ нужнымъ припоминать стараго знакомства, потому что не любилъ, какъ и бабушка, пьяныхъ, однако онъ со стороны наблюдалъ за нимъ и тутъ же карандашомъ начертилъ его карикатуру.

Опенкинъ, за обѣдомъ, пока еще не опьянѣлъ, продолжалъ чествовать бабушку похвалами, называлъ Вѣрочку съ Марѣинькой небесными горлицами, потомъ, опьянѣвши, вздыхалъ, сопѣлъ, а послѣ обѣда ушелъ на сѣноваль спать. Чай онъ пилъ съ ромомъ, за ужиномъ опять пилъ мадеру, и когда

все гости ушли домой, а Вѣра съ Марѳинькой по своимъ комнатамъ, Опенкинъ все еще томилъ Бережкову разказами о прежнемъ житьѣ-бытьѣ въ городѣ, о многихъ старикахъ, которыхъ все забыли, кромѣ его, о разныхъ событіяхъ добраго стараго времени, наконецъ о своихъ домашнихъ несчастіяхъ, и все прихлебывалъ холодный чай съ ромомъ, или просилъ рюмочку мадеры. Снисходительная старушка не рѣшалась напомнить ему о позднемъ часѣ, ожидая, что онъ догадается. Но онъ не догадывался. Она нѣсколько разъ уходила и наконецъ совсѣмъ ушла и подсылала, то Марину, то Якова, потушить свѣчи, кромѣ одной, закрыть ставни: все не дѣйствовало. Онъ заговаривалъ и съ Яковомъ и съ Мариной.

— А, ну что Маринушка: скоро ли позовешь въ кумовья? Я все жду, вотъ бы выпилъ на радостяхъ...

— Будетъ съ васъ: и такъ глаза-то налили! Барыня почивать хочетъ, говорить, пора вамъ домой.... порчала Марина, убирая посуду.

— Хулу глаголешь, печестивая: Татьяна Марковна не изгоняетъ гостей: гость—священная особа... Татьяна Марковна! заоралъ онъ во все горло: ручку пожалуйста недостойному...

— Что это за срамъ, какъ орете: разбудите барышень!—сказала ему Василиса, посланная барыней унять его.

— Голубочки небесныя! сладенькимъ голосомъ началъ Опенкинъ:—почиваютъ, спрятавъ головки подъ крылышко! Маринушка! поди дай обниму тебя..

— Ну, васъ, подите, говорятъ вамъ: вотъ дастъ вамъ знать жена, какъ придете домой...

— Избѣтъ, избѣтъ яко младенца, Маринушка!

Онъ началъ хныкать и всхлипывать.

— Дай мадерцы: выпилъ бы изъ твоихъ золотыхъ ручекъ! плача говорилъ онъ.

— Нѣту: видите, бутылка пустая! выкатили всю на лобъ себѣ!

— Ну, ромцу, сударушка: ты мнѣ ни разу не поднесла...

— Вотъ еще! пойду въ буфетъ рому доставать! Ключи у барышни...

— Давай, шельма!—закричалъ опять во все горло Опенкинъ.

Вскорѣ изъ спальни вышла Татьяна Марковна, въ ночномъ чепцѣ и салонѣ.

— Что это, въ умѣ ли ты, Акимъ Акимычъ? — строго сказала она.

— Матушка, матушка! завопилъ Опенкинъ, опускаясь на колѣни и хватая ее за ноги—дай ножку, благодѣтельница, прости...

— Пора домой: здѣсь не кабакъ — что это за срамъ! Впередъ не велю принимать...

— Матушка! кабакъ! кабакъ! Кто говорятъ кабакъ? Это храмъ мудрости и добродѣтели. Я честный человѣкъ, матушка: да, или нѣтъ? Ты только изреки — честный я, или нѣтъ? Обманулъ я, уязвилъ, нагаль, наклеветалъ, насплетничалъ на ближняго? изрыгалъ хулу, злобу? Николи!—гордо произнесъ онъ, стараясь выпрямиться. — Нарушилъ

ли присягу въ вѣрности царю и отечеству? производилъ поборы, извращалъ смыслъ закона, посягалъ на интересъ казны? Николи! Мухи не обидѣлъ, матушка: безвреденъ, яко червь пресмыкающійся...

— Ну, вставай, вставай, и ступай домой! Я устала, спать хочу...

— Да почиетъ благословеніе Божіе надъ тобою, праведница!

— Яковъ, вели Кузьмѣ проводить домой Акима Акимыча! — приказывала бабушка. — И проводи его самъ, чтобъ онъ не ушибся! Ну, прощай, Богъ съ тобой: не кричи, ступай, дѣвочекъ разбудишь!

— Матушка, ручку, ручку! горлицы, горлицы небесныя...

Бережкова ушла, нисколько не смущаясь этимъ явленіемъ, которое повторялось ежемѣсячно и сопровождалось все одиными и тѣми же сценами. Яковъ сталъ звать Опенкина, стараясь, съ помощью Марины, приподнять его съ пола.

— А! богобоязненный Іаковъ! — продолжалъ Опенкинъ: прими на лоно свое недостойнаго Іоакима и поднеси изъ благочестивыхъ рукъ своихъ рюмочку ямайскаго...

— Пойдемте, не шумите: барыню опять разбудите, пора домой!

— Ну, ну... ну... твердилъ Опенкинъ, кое-какъ барахтаясь и поднимаясь съ пола: пойдемъ, пойдемъ. Зачѣмъ домой: дабы змѣя лютая явила меня до

утрія? Нѣтъ, пойдѣмъ къ тебѣ, человѣче: я повѣдаю ти, како Іаковъ боролся съ Богомъ...

Яковъ любилъ поговорить о «божественномъ», и выпить тоже любилъ, и потому поколебался.

— Ну, ладно, пойдѣмте ко мнѣ, а здѣсь непригоже оставаться, сказалъ онъ.

Опенкинъ часа два сидѣлъ у Якова въ прихожей. Яковъ тупо и углубленно слушалъ эпизоды изъ священной исторіи; даже досталъ въ людской и принесъ бутылку пива, чтобы заохотить собесѣдника къ разсказу. Наконецъ Опенкинъ, кончивъ пиво, сталъ поминутно терять нить исторіи и перепуталъ до того, что Самсонъ у него проглотилъ кита и носилъ его три дня во чревѣ.

— Какъ.... позвольте, задумчиво остановилъ его Яковъ, — кто кого проглотилъ?

— Человѣкъ, тебѣ говорятъ: Самсонъ, то бишь— Іона!

— Да вѣдь титъ большущая рыба: сказываютъ, въ Волгѣ не уляжется...

— А чудо-то на что?

— Не другую ли какую рыбу проглотилъ человѣкъ? изъявилъ Яковъ сомнѣніе.

Но Опенкинъ успѣлъ захрапѣть. — «Проглотилъ, ей-богу, право, проглотилъ!» бормоталъ онъ несвязно въ просонѣхъ.

— Да кто кого: фу, ты, Боже мой,—скажете ли вы? допытывался Яковъ.

— Поднеси изъ благочестивыхъ рукъ.... чуть внятно говорилъ Опенкинъ, засыпая.

— Ну, теперь ничего не добьешься! Пойдемте. Онъ старался растолкать гостя, но тотъ храпѣлъ. Яковъ сходилъ за Кузьмой и вдвоемъ часа четыре употребили на то, чтобъ довести Опенкина домой, на противоположный конецъ города. Тамъ, сдавъ его на руки кухаркѣ, они сами на другой день къ обѣду только вернулись домой. Яковъ съ Кузьмой провели утро въ слободѣ, подъ гостепріимнымъ кровомъ кабака. Когда они выходили изъ кабака, то Кузьма принималъ чрезвычайно дѣловое выраженіе лица, и чѣмъ ближе подходилъ къ дому, тѣмъ строже и внимательнѣе смотрѣлъ вокругъ, нѣтъ ли безпорядка какого-нибудь, не валяется ли что-нибудь лишнее, зря, около дома, трогалъ замокъ у воротъ, цѣлъ ли онъ. А Яковъ все искалъ по сторонамъ глазами, не покажется ли церковный крестъ вдалекѣ, чтобъ помолиться на него.

XX.

Терпѣніе Райскаго разбилось о равнодушіе Вѣры, и онъ впалъ въ уныніе, сталъ опять терзаться тупой и бесплодной скукой. Отъ скуки онъ пробовалъ чертить разныя деревенскія сцены карандашомъ, набросалъ въ альбомъ почти всѣ пейзажи Волги, какіе видѣлъ изъ дома и съ обрыва, писалъ замѣтки въ свои тетради, записалъ даже Опенкина, и положивъ перо, спросилъ себя: «зачѣмъ онъ

записалъ его? Вѣдь въ романъ онъ не годится: нѣтъ ему роли тамъ. Опенкинъ — старый, выродившійся провинціальный типъ, гость, котораго не знаютъ какъ выжить: чтожъ тутъ интереснаго? И какой это романъ! Икакъ пишутъ эти романисты? какъ у нихъ выходитъ все слито, связано между собой, такъ что ничего тронуть и пошевелить нельзя? А я какъ будто въ зеркалѣ вижу только себя! Какъ это глупо! Не умѣю! «Неудачникъ» я!» Онъ сталъ припоминать свои уроки въ академіи, студіи, гдѣ рисуютъ съ бюстовъ. Наконецъ упрямо привязался къ воспоминанію о Бѣловодовой, вынулъ ея акварельный портретъ, стараясь привести на память послѣдній разговоръ съ нею, и кончилъ тѣмъ, что написалъ къ Аянову цѣлый рядъ писемъ — литературныхъ произведеній въ своемъ родѣ, требуя отъ него подробнѣйшихъ свѣдѣній обо всемъ, что касалось Софьи: гдѣ, что она, на дачѣ, или въ деревнѣ? посѣщаетъ ли онъ ея домъ? Вспоминаетъ ли она, о немъ? Бываетъ ли тамъ графъ Милари—и прочее, и прочее—все, все. Всѣмъ этимъ онъ надѣялся отдѣлаться отъ навязчивой мысли о Вѣрѣ.

Отославъ пять, шесть писемъ, онъ опять погрузился въ свой недугъ — скуку. Это не была скука, какую испытываетъ человѣкъ за нелюбимымъ дѣломъ, которое навязала на него обязанность и которой онъ предвидитъ конецъ. Это тоже не случайная скука, постигающая кого-нибудь въ случайномъ положеніи: въ болѣзни, въ утомительной дорогѣ, въ карантинѣ: тамъ впереди опять видѣнъ

конецъ. Могъ бы онъ заняться дѣломъ: за дѣломъ скуки не бываетъ. «Но дѣла, у насъ, русскихъ, нѣтъ, рѣшилъ Райскій, а есть миражъ дѣла. А если и бываетъ, то въ сферѣ рабочаго человѣка, въ приспособленіи къ дѣлу грубой силы или грубаго умѣнья, слѣдовательно, дѣло рукъ, плечей, спины: и то дѣло вяжется плохо, плетется кое-какъ; поэтому, рабочій людъ, какъ рабочій скотъ, дѣлаетъ все изъ-подъ палки и норовитъ только отбыть свою работу, чтобы скорѣе дорваться до животнаго покоя. Никто не чувствуетъ себя человѣкомъ за этимъ дѣломъ и никто не вкладываетъ въ свой трудъ человѣческаго, сознательнаго умѣнья, а все везетъ свой возъ, какъ лошадь, отмахиваясь хвостомъ отъ какого-нибудь кнута. И если кнутъ пересталъ свистать—перестала и сила двигаться и ложится тамъ, гдѣ остановился кнутъ. Весь домъ около него, да и весь городъ, и всѣ города въ пространномъ царствѣ, движутся этимъ отрицательнымъ движеніемъ.

«А не въ рабочей сферѣ, повыше? Гдѣ у насъ дѣло, которое бы каждый дѣлалъ, такъ сказать, облизываясь отъ удовольствія, какъ-будто-бы ѣлъ любимое блюдо? А вѣдь только за такимъ дѣломъ и не бываетъ скуки! Отъ этого всѣ у насъ ищутъ однихъ удовольствій, и все внѣ дѣла.

А дѣла нѣтъ, «одинъ миражъ!» злобно твердилъ онъ, одолаваемый хандрой, доводившей его иногда до свирѣпости, несвойственной его мягкой натурѣ.

Его самого готовили—къ чему—никто не зналъ. Вся женская родня прочила его въ военную службу,

мужская — въ гражданскую, а рожденіе само по себѣ представляло еще третье призваніе — сельское хозяйство. У насъ легко погнаться за всѣми тремя зайцами и поспѣть къ тремъ—миражамъ. И только одинъ онъ выдался уродъ въ семьѣ и не поспѣлъ ни къ одному, а выдумалъ свой миражъ — искусство! Сколько насмѣшекъ, пожиманія плечъ, холодныхъ и строгихъ взглядовъ перенесъ онъ на пути къ своему идеалу дѣла! И еслибъ онъ вышелъ побѣдителемъ, вынесъ на плечахъ свою задачу и доказалъ «серьезнымъ людямъ», что они стремятся къ миражу, а онъ къ дѣлу — онъ бы и былъ правъ. А онъ тоже не дѣлаетъ дѣла, и его дѣло передъ ихъ дѣломъ — есть самый пустой изъ всѣхъ миражей. Правъ Маркъ, этотъ циническій мудрецъ, такъ храбро презрѣвшій всѣ миражи и отыскивающій.... миража поновѣе! «Нѣтъ и у меня дѣла, не умѣю я его дѣлать, какъ дѣлаютъ художники, погружаясь въ задачу, умирая для нея!» въ отчаяніи рѣшилъ онъ. «А какія сокровища передъ глазами: то картинки жанра, Теньеръ, Остадъ — для кисти, то быть и нравы — для пера: всѣ эти Опенкины и.... вонъ, вонъ....»

Онъ смотрѣлъ на дворъ, гдѣ все копошилось ежедневною заботой, видѣлъ какъ Улита убирала погреба и подвалы. Онъ сталъ наблюдать Улиту.

Улита была такимъ-то гномомъ: она гнѣздилась вѣчно въ подземельномъ царствѣ, въ погребахъ и подвалахъ, такъ что сама вся пропиталась подвальной сыростью. Платье ея было влажно, носъ и щеки

постоянно озябшія, волосы всклокочены и покрыты беспорядочно смятымъ бумажнымъ платкомъ. Около пояса грязный фартукъ, рукава засучены. Ее всегда увидишь, что она, или возникаетъ, какъ изъ могилы, изъ погреба, съ кринкой, горшкомъ, корытцемъ, или съ полдюжиной бутылокъ между пальцами въ обѣихъ рукахъ, или опускается внизъ, въ подвалы и погреба, прятать провизию, вино, фрукты и зелень. На солнышкѣ ее почти не видать, и все она таится во тьмѣ своихъ холодниковъ: видно въ глубинѣ подвала только ея лицо съ синевато-краснымъ румянцемъ, все прочее сливается съ мракомъ домашнихъ пещеръ.

Она и не подозрѣвала, что Райскій болѣе, нежели кто-нибудь въ домѣ, занимался ею, больше даже родныхъ ея, жившихъ въ селѣ, которые по мѣсяцамъ не видались съ ней. Онъ срисовалъ ее, показалъ Марейникѣ и Вѣрѣ: первая руками всплеснула отъ удовольствія, а Вѣра одобрительно кивнула головой.

Героемъ двора все-таки оставался Егорка: это былъ живой пульсъ ея. Онъ, своего дѣла, котораго собственно и не было, не дѣлалъ («какъ всѣ у насъ», упрямо мысленно добавлялъ Райскій), но за то совался поминутно въ чужія дѣла: смотришь, дугу натягиваетъ, а сила есть, онъ коренастый, мускулистый, длиннорукій, какъ апель-утангъ, но хорошо сложенный малый; то сѣно примется помогать складывать на сѣноваль; бросить охапки три и кинетъ вилы, начнетъ болтать и мѣшать дру-

гимъ. Но главное его призваніе и страсть — дразнить дворовыхъ дѣвокъ, трепать ихъ, дѣлать имъ всякія штуки. Онъ смѣется надъ ними, свищетъ имъ въ слѣдъ, схватить изъ-за угла длинной рукой за плечо, или за шею такъ, что бѣдная дѣвка не вспомнится, гребенка выскочить у ней, и коса упадетъ на спину. «Чортъ, озорникъ!» кричатъ дѣвка, и съ ея крикомъ послышится ворчанье какой-нибудь старой бабы. Но ему неймется: онъ подмигиваетъ на проходящую дѣвку глазами кучеру, или Якову, или кто тутъ случится близко, и опять засвищетъ, захихикаетъ, или начнетъ выдѣлывать такую мимику, что дѣвка бросится бѣжать, а онъ вслѣдъ оскалитъ зубы или свиснетъ.

Какую бы, кажется, ненависть долженъ былъ возбудить къ себѣ во всей женской половинѣ двора такой озорникъ, какъ этотъ Егорка? А именно этого и не было. Онъ вызывалъ только временныя вспышки въ этихъ дѣвицахъ, а потомъ онѣ же лѣзли къ нему, лишь только онъ назоветъ которую-нибудь Марьей Петровной или Пелагеей Сергѣевной и дружелюбно заговорить съ ней. Онѣ гурьбой толпились около него, когда онъ въ воскресенье съ гитарой сидѣлъ у воротъ и ласково, но всегда съ насмѣшкой, балагурилъ съ ними. И только тогда бросались отъ него врознь, когда онъ запѣвалъ черезъ-чуръ неценсурную пѣсню, или вдругъ принимался за неудобную для ихъ стыдливости мимику. Но наединѣ и порознь, смотришь, то та, то другая стоятъ, дружески обнявшись съ нимъ, гдѣ-ни-

будь въ уголѣ, и вечеркомъ, особенно по зимамъ, кому была охота, могъ видѣть, какъ бѣжали женскія тѣни черезъ дворъ и какъ затворялась и отворялась дверь его маленькаго чуланчика, рядомъ съ комнатами кучеровъ.

Не подозрѣвалъ и Егорка, и красныя дѣвицы, что Райскому, лучше нежели кому-нибудь въ дворнѣ, видны были всѣ шапки ихъ и вся-эта игра домашнихъ страстей.

Обращаясь отъ двора къ дому, Райскій въ сотый разъ усмотрѣлъ тамъ, въ маленькой горенкѣ, рядомъ съ бабункинымъ кабинетомъ, неизмѣнную картину: молчаливая, вѣчно-шепчущая про себя Василиса, со впалыми глазами, сидѣла у окна, вѣкъ свой на одномъ мѣстѣ, на одномъ стулѣ, съ высокой спинкой и кожанымъ, глубоко продавленнымъ сидѣньемъ, глядя на дрова, да на копавшихся въ кучѣ сора куръ. Она не уставала отъ этого вѣчнаго сидѣнья, отъ этой, одной и той же картины изъ окна. Она даже не охотно разставалась со своимъ стуломъ, и подавъ барынѣ кофе, убравши ея платье въ шкафъ, спѣшила на стулъ, за свой чулокъ, глядѣть задумчиво въ окно на дрова, на куръ, и шептать. Изъ дома выходить для нея было наказаніемъ; только въ церковь ходила она, и то стараясь робко, какъ-то стыдливо, пройти черезъ улицу, какъ-будто боялась людскихъ глазъ. Когда ее спрашивали, отъ чего она не выходитъ, она говорила, что любитъ «домовничать». Она казалась полною, потому что разбухла отъ сидѣнья и затвор-

ничества, и иногда жаловалась на одышку. Она и Яковъ были большіе постники, и оба набожные.

Когда кто приходилъ посторонній, въ домъ и когда въ прихожей не было, ни Якова, ни Егорки, что почти постоянно случалось, и Василиса отворяла двери, она никогда не могла потомъ сказать, кто приходилъ. Ни имени, ни фамиліи приходившаго она передать никогда не могла, хотя состарѣлась въ городѣ и знала въ лицо послѣдняго мальчишку. Если лекаръ приходилъ, священникъ, она скажетъ, что былъ лекаръ или священникъ, но имени не помнить. «Былъ вотъ этотъ»... начнетъ она. «Кто такой?» спроситъ Татьяна Маркорна. «Да вонъ тотъ, что чуть Марѳеу Васильевну не убилъ» (а этому ужъ пятнадцать лѣтъ прошло, какъ гость уронилъ маленькую ее съ рукъ). «Да кто?» «Вотъ что послѣ обѣда не кофе, а чаю просить», или: «тотъ, что диванъ въ гостиной трубкой прожегъ», или «что на страстной скоромное жретъ» и т. п.

Она, какъ тѣнь, неслышно «домовничаеть» въ своемъ уголку, перебирая спицы чулка. Передъ ней, черезъ сосновый крашенный столъ, на высокомъ деревянномъ табуретѣ сидѣла дѣвочка отъ 8 до 10-ти лѣтъ, и тоже вязала чулокъ, держа его высоко, такъ что спицы поминутно высывались выше головы. Такія дѣвочки не переводились у Бережковой. Если дѣвочка выросла, ее употребляли на другую, серьезную работу, а на ея мѣсто брали изъ деревни другую, на побѣгушки, для мелкихъ приказаній. Обязанность ея, когда Татьяна Мар-

ковна сидѣла въ своей комнатѣ, стоять плотно прижавшись въ уголкѣ у двери и вязать чулокъ, держа клубокъ подъ мышкой, но стоять смирно, не шевелясь, чуть дыша, и по возможности не спуская съ барыни глазъ, чтобъ тотчасъ броситься, если барыня укажетъ ей пальцемъ, подать платокъ, затворить или отворить дверь, или велить позвать кого-нибудь. «Утри носъ!» слышалось иногда, и дѣвочка утирала носъ передникомъ, или пальцомъ, и продолжала вязать. А когда Бережкова уходила или уѣзжала изъ дома, дѣвочка шла къ Василисѣ, вѣзала на высокій табуретъ, и молча, не спуская глазъ съ Василисы, продолжала вязать чулокъ, на силу одолевая пальцами длинныя стальные спицы. Часто клубокъ вываливался изъ-подъ мышки и катился по комнатѣ: «что зѣваешь, подними!» слышался шепотъ. Иногда на окно приходилъ къ нимъ погрѣться на солнцѣ, между двумя бутылками наливки, котъ Сѣрко; и если Василиса отлучалась изъ комнаты, дѣвочка не могла отказать себѣ въ удовольствіи поиграть съ нимъ, поднималась возня, смѣхъ дѣвочки, игра кота съ клубкомъ: тутъ часто клубокъ, и самъ котъ, летѣли на полъ, иногда опрокидывался и табуретъ съ дѣвочкой. Дѣвочку, которую засталъ Райскій, звали Пашуткой.

Ей стригутъ волосы коротко и одѣваютъ въ платье, сдѣланное изъ старой юбки, но такъ, что не разберешь, задомъ или на передъ сидѣло оно на ней; ноги обуты въ большіе не по лѣтамъ башмаки. У ней изъ маленькаго, плутовскаго, нѣсколь-

ко приподнятаго къ верху носа, часто свѣтитса капля. Пробовали ей давать носовые платки, но она изъ нихъ все свивала подобіе куколъ, и даже углемъ помѣчала, гдѣ быть глазамъ, гдѣ носу. Ихъ отобрали у нея, и она оставалась съ каплей, которая издали свѣтилась какъ искра.

Райскій заглянулъ въ нимъ: Пашутка, быстро взглянувъ на него изъ-за чулка, усмѣхнулась было, потому что онъ, то ласково погладить ее, то дать ложку варенья или яблоко, и еще быстрее потупила глаза подъ суровымъ взглядомъ Василисы. А Василиса, увидѣвъ его, перестала шептать и углубилась въ чулокъ.

Онъ заглянулъ къ бабушкѣ: ея не было, и онъ, взявъ фуражку, вышелъ изъ дома, пошелъ по слободѣ и добрелъ незамѣтно до города, продолжая съ любопытствомъ вглядываться въ каждого прохожаго, изучалъ дома, улицы. Тамъ кое-гдѣ двигался народъ; купецъ, т. е. шляпа, борода, крутое брюхо и сапоги смотрѣли, какъ рабочіе, кряхтя, складывали мѣшки хлѣба въ амбаръ, тамъ толпились какія-то неопредѣленные личности у кабака, а тамъ проѣхала длинная и глубокая телѣга, съ пасаженнымъ туда невѣроятнымъ числомъ рослаго, здороваго мужичья, въ порывѣвшихъ шапкахъ безъ полей, въ рубашкахъ съ синими заплатами, и въ бурыхъ армякахъ, и въ лаптяхъ, и въ громадныхъ сапожищахъ, съ рыжими, сѣдыми и разношерстными бородами, то клиномъ, то лопатой, то раздвоенными, то козлинообразными.

Телѣга ѣхала съ грохотомъ, прискакивая; прискакивали и мужики; иной сидѣлъ прямо, держась обѣими руками за края, другой лежалъ положивъ голову на третьяго, а третій, опершись рукой на локоть, лежалъ въ глубинѣ, а ноги висѣли черезъ край телѣги. Правилъ большой мужикъ, стоя, въ буромъ длинномъ до полу армякѣ, въ нахлобученной на уши шляпѣ безъ полей, и медленно крутилъ возжей около головы. Лицо у него отъ загара и пыли было совсѣмъ черное; глаза ушли подъ шапку, только усы и борода, точно изъ овечьей, бѣло-золотистой, жесткой шерсти, рѣзко отдѣлялись отъ темнаго кафтана. Лошадь рослая, здоровая, вся въ кисточкахъ изъ ремней по бокамъ, выбивалась изъ силъ и неслась скачками. Все это прискакало къ кабаку, соскочило, отряхиваясь, и убралось въ двери, а лошадь уже одна доѣхала до изгороди, въ которую всаженъ былъ блокъ сѣна, и отфыркавшись, принялась ѣсть.

Встрѣчались Райскому дальше въ городѣ лица, очевидно бродившія безъ дѣла, или «съ миражемъ дѣла». Купцы, томящіеся бездѣльемъ у своихъ лавокъ, проѣдетъ совѣтникъ на дрожкахъ; пройдетъ, важно выступая, духовное лицо, съ длинной тростью.

А тамъ въ пустой улицѣ, по срединѣ, взрывая нетрезвыми ногами облака пыли, шелъ разгульный малый, въ красной рубашкѣ, въ шапкѣ на-бокъ, и размахивая руками, въ одиночку оралъ пѣсню,

и время отъ времени показывалъ рѣдкому прохожему грозный кулакъ.

Райскій пробрался до Козлова, и узнавъ, что онъ въ школѣ, спросилъ про жену. Баба, отворившая ему калитку, стороной посмотрѣла на него, потомъ высморкалась въ фартукъ, отерла пальцемъ носъ и ушла въ домъ. Она не возвращалась. Райскій постучалъ опять, собаки залаяли, вышла дѣвочка, поглядѣла на него, розиня ротъ, и тоже ушла. Райскій обошелъ съ переулка и услышалъ за заборомъ голоса въ садикѣ Козлова: одинъ говорилъ по-французски, съ парижскимъ акцентомъ, другой голосъ былъ женскій. Слышенъ былъ смѣхъ, и даже будто раздался поцѣлуй...

«Бѣдный Леонтій! прошепталъ Райскій: или, пожалуй, тупой, недогадливый Леонтій!»

Онъ стоялъ въ нерѣшимости — войти или нѣтъ.

«А вѣдь я другъ Леонты: старый товарищъ — и терплю, глядя, какъ эта честная, любящая душа награждена за свою симпатію! Ужели я останусь равнодушнымъ?.. Но что дѣлать: открыть ему глаза, будить его отъ этого сна, когда онъ такъ вѣрить, поклоняется чистотѣ этого... «римскаго профиля», такъ сладко спать въ лонѣ домашняго счастья — плохая услуга! Что же дѣлать? вотъ дилемма! раздумывалъ онъ, ходя взадъ и впередъ по переулку. «Вотъ что развѣ: броситься, забить тревогу и смутить это преступное *tête-à-tête*?...» Онъ пошелъ было къ двери, но тотчасъ же одумался и воротился. — «Это исторія, скандалъ, думалъ онъ: огласить позоръ това-

рища, нѣтъ, нѣтъ! — не такъ! Ахъ! счастливая мысль — рѣшилъ онъ вдругъ: дать Ульянѣ Андреевнѣ урокъ наединѣ: бросить ей громы на голову, плеснуть на нее волной чистыхъ, невѣдомыхъ ей понятій и правовъ! Она обманываетъ добраго, любящаго мужа и прячется отъ страха: сдѣлаю; что она будетъ прятаться отъ стыда. Да, пробудить стыдъ въ огрубѣломъ сердцѣ—это долгъ и заслуга—и въ отношеніи къ ней, а болѣе къ Леонтью!»

Это замѣтно оживило его: «это уже не миражъ, а истинно честное, даже святое дѣло!» думалось ему. Затѣмъ его поглотилъ процессъ его исполненія. Онъ глубоко и серьезно вникалъ въ предстоящій ему долгъ: какъ, безъ огласки, безъ всякаго шума и сдѣнь, кротко и разумно уговорить эту женщину побережь мужа, обратиться на другой, честный путь и начать заглаживать прошлое...

Онъ съ полчаса ходилъ по переулку, выжидая, когда уйдетъ М-г Шарль, чтобы упасть на горячій слѣдъ и «бросить громы», или вліяніемъ стараго знакомства... «Это рѣшить минута», заключилъ онъ. Подумавши, онъ отложилъ исполненіе до удобнаго случая — и отдавшись этой новой, сильно охватившей его задачѣ, прибавилъ шагу и пошелъ отыскивать Марка, чтобы заплатить ему визитъ, хотя это было не только не нужно, въ отношеніи послѣдняго, но даже не совсѣмъ осторожно со стороны Райскаго. Райскій и не намѣревался выдать свое посѣщеніе за визитъ: онъ просто искалъ какого-нибудь развлеченія, чтобъ не чувствовать тупой скуки, и

вмѣстѣ также, чтобъ не сосредоточиваться на мысли о Вѣрѣ. Онъ правильно заключилъ, что тѣсная сфера, куда его занесла судьба, по неволѣ держала его по долгу на какомъ-нибудь одномъ впечатлѣніи, а такъ какъ Вѣра, «по дикой неразвитости», по непривычкѣ къ людямъ, или наконецъ, онъ не знаетъ еще почему, не только не слѣшила съ нимъ сблизиться, но все отдалялась, то онъ и рѣшилъ не давать въ себѣ развиваться, ни любопытству, ни воображенію, и показать ей, что она блѣдная, ничтожная деревенская дѣвочка, и больше ничего. Отъ этого онъ хватался за всякій случай дать своей впечатлительности другую пищу.

Онъ прошелъ мимо многихъ, покривившихся на бокъ, домишекъ, вышелъ изъ города и пошелъ между двумя плетнями, за которыми съ обѣихъ сторонъ разстилались огороды, посматривая на шалаши огородниковъ, на распяленный кое-гдѣ старый, дырявый кафтанъ, или на вздѣтую на палку шапку—пугать воробьевъ. «Гдѣ тутъ огородникъ Ефремъ живетъ?» спросилъ онъ одну бабу черезъ плетень, копавшуюся между двухъ грядъ. Она, не отрываясь отъ работы, молча указала локтемъ вдаль, на одиноко-стоящую избушку въ полѣ. Потомъ, когда Райскій ушелъ отъ нея шаговъ на сорокъ, она, прикрывъ рукой глаза отъ солнца, звонко спросила его вслѣдъ: «не огурцы ли покупаешь? Вотъ у насъ какіе ядренные да зеленые?»

— Нѣтъ, отвѣчалъ Райскій: я ничего не покупаю.

— Почто-жъ тебѣ Ефрема?

— Да у него живетъ мой знакомый, Маркъ, не знаешь-ли?

— Нешто: у Ефрема стоитъ какой-то поповичъ, либо приказный изъ города, кто его знаетъ!

Райскій пошелъ къ избушкѣ, и только перелѣзъ черезъ плетень, какъ на встрѣчу ему помчались двѣ шавки съ яростнымъ лаемъ. Въ дверяхъ избушки показалась, съ ребенкомъ на рукахъ, здоровая, молодая, съ загорѣлыми голыми руками и босикомъ, баба.

— Цыцъ, цыцъ, цы, проклятая, чтобъ васъ! унимала она собакъ. — Кого вамъ? спросила она Райскаго, который оглядывался во все стороны, недоумѣвая, гдѣ тутъ могъ гнѣздиться кто-нибудь другой, кромѣ мужика съ семьей. Около избушки не было ни дворика, ни загородки. Два окна выходили къ огородамъ, а два въ поле. Избушка почти вся была заставлена и покрыта лопатами, кирками, граблями, грудami корзинъ, въ углу навалены были драницы, ведра и всякій хламъ. Подъ навѣсомъ стояли двѣ лошади, тутъ же хрюкала свинья съ поросянкомъ и бродила насѣдка съ цыплятами. Поодаль стояло нѣсколько тачекъ и большая телѣга.

— Гдѣ тутъ живетъ Маркъ Волоховъ? спросилъ Райскій!

Баба молча указала на телѣгу. Райскій поглядѣлъ туда: тамъ, кромѣ большой рогожи, ничего не видать.

— Развѣ онъ въ телегѣ живетъ? спросилъ онъ.

— Вонъ его горница, сказала баба, показывая на одно изъ оконъ, выходившихъ въ поле.— А тутъ онъ спить.

— Объ эту пору спить?

— Да онъ на зарѣ пришелъ, должно быть, хмѣльной, вотъ и спить!

Райскій пошелъ къ телѣгѣ.

— Почто вамъ его? спросила баба.

— Такъ: повидаться хотѣлъ!

— А вы не замайте его!

— А что?

— Да онъ благой такой: пушай лучше спить! Мужа-то вотъ дома нѣтъ, такъ мнѣ и жутко съ нимъ одной. Пушай спить!

— Развѣ онъ обижаетъ тебя?

— Нѣтъ, грѣхъ сказать: почто обижать? Только чудной такой: я нешто его боюсь!

Баба стала качать ребенка, а Райскій съ любопытствомъ заглянулъ подъ рогожу.

— Экая дура! не умѣетъ гостей принять! вдругъ послышалось изъ-подъ рогожи, которая потомъ приподнялась, и изъ-подъ нея показалась всклокоченная голова Марка. Баба тотчасъ скрылась.

— Здравствуйте, сказалъ Маркъ; какъ это васъ занесло сюда?

Онъ вылезъ изъ телѣги и сталъ потягиваться.

— Съ визитомъ, должно быть?

— Нѣтъ, я такъ: пошелъ отъ скуки погулять....

— Отъ скуки? что такъ: двѣ красавицы въ домѣ,

а вы бѣжите отъ скуки: а еще художникъ! или амуры пейдуть на ладъ?

Онъ насмѣшливо мигнулъ Райскому. — А вѣдь красавицы: Вѣра-то, Вѣра какова!

— Вы почему ее знаете и что вамъ до нихъ за дѣло? сухо замѣтилъ Райскій.

— Это правда, отвѣчалъ Маркъ. — Ну, не сердитесь: пойдѣмте въ мой салонъ.

— Вы лучше скажите, отчего въ телегѣ спите: или Диогена разыгрываете?

— Да, по неволѣ, — сказалъ Маркъ.

Они прошли черезъ сѣни, чрезъ жилую избу хозяевъ, и вошли въ заднюю комнату, въ которой стояла кровать Марка. На ней лежалъ тоненькій старый тюфякъ, тощее ваточное одѣяло, маленькая подушка. На полкѣ и на столѣ лежало десятка два книгъ, на стѣнѣ висѣли два ружья, а на единственномъ стулѣ въ беспорядкѣ валялось нѣсколько бѣлья и платья.

— Вотъ мой салонъ: садитесь на постель, а я на стулъ, приглашалъ Маркъ. — Скинемте сюртуки: здѣсь адская духота. Не церемоньтесь, тутъ нѣтъ дамъ: скидайте, вотъ такъ. Да не хотите-ли чего-нибудь? у меня впрочемъ ничего нѣтъ. А если не хотите вы, такъ дайте мнѣ сигару. Однако молоко есть, яйца....

— Нѣтъ, благодарю, я завтракалъ, а теперь скоро и обѣдать.

— И то правда, вѣдь вы у бабушки живете. Ну,

что она: не выгнала васъ за то, что вы дали мнѣ ночлѣгъ?

— Нѣтъ, упрекала, зачѣмъ безъ пирожного спать уложилъ, и пуховика не потребоваль.

— И въ тоже время бранила меня?

— По обыкновенію, но....

— Знаю, не говорите — не отъ сердца, а по привычкѣ. Она старуха хоть куда: лучше ихъ всѣхъ тутъ, бойкая, съ характеромъ, и былъ когда-то здравый смыслъ въ головѣ. Теперь ужь, я думаю, мозги-то размягчились!

— Вотъ какъ: нашелся же кто-нибудь, кому и вы симпатизируете! сказалъ Райскій.

— Да, особенно въ одномъ: она терпѣть не можетъ губернатора, и я тоже.

— За что?

— Бабушка ваша — не знаю за что, а я за то, что онъ — губернаторъ. И полицію тоже мы съ ней не любимъ, притѣсняетъ насъ. Не заставляютъ чинить мосты, а обо мнѣ ужь очень печется: освѣдомляется, гдѣ я живу, далеко ли отъ города отлучаюсь, у кого бываю.

Оба молчали.

— Вотъ и говорить намъ больше не о чемъ! — сказалъ Маркъ. — Зачѣмъ вы приняли?

— Да скучно!

— А вы влюбитесь.

Райскій молчалъ.

— Въ Вѣру, продолжалъ Маркъ: славная дѣвочка:

вы же брать ей на восьмой водѣ, вамъ вполонину легче начать съ ней романъ....

Райскій сдѣлалъ движеніе досады, Маркъ холодно засмѣялся.

— Что же она? Или не поддается столичному дендизму? Да какъ она смѣетъ, ничтожная провинціалка! Ну, чтожъ, старинную науку въ ходъ: наружный холодъ и внутренній огонь, небрежность приемовъ, гордое пожиманіе плечъ и презрительныя улыбки—это дѣйствуетъ! Порисуйтесь передъ ней, это ваше дѣло...

— Почему мое?

— Я вижу.

— Не ваше-ли, полно, рисоваться эксцентричностью и распушенностью?

— А можетъ быть: равнодушно замѣтилъ Маркъ: чтожъ, еслибъ это подѣйствовало, я бы постарался...

— Да, я думаю, вы не задумались бы! сказалъ Райскій.

— Это правда, замѣтилъ Маркъ.—Я пошелъ бы прямо къ дѣлу, да тѣмъ и кончилъ бы! А вотъ вы сдѣлаете тоже, да будете увѣрять себя и ее, что влѣзли на высоту и ее туда же затащили—идеалистъ вы этакій! Порисуйтесь, порисуйтесь! можетъ быть и удастся. А то что томить себя вздохами, не спать, караулить, когда бѣленькая ручка отгинетъ лиловую занавѣску... ждать по недѣлямъ отъ нея ласкового взгляда....

Райскій вдругъ зорко на него взглянулъ.

— Что, видно правда!

Маркъ попадалъ не въ бровь, а въ глазъ. А Райскому нельзя было даже обнаружить досаду: это значило бы—признаться, что это правда.

— Радъ бы былъ влюбиться, да не могу, не по лѣтамъ—сказалъ Райскій, притворно зѣвая: да и не вылечусь отъ скуки.

— Попробуйте, дразнилъ Маркъ.—Хотите пари, что черезъ недѣлю вы влюбитесь, какъ котенокъ, а черезъ двѣ, много черезъ мѣсяцъ, надѣлаете глупостей, и не будете знать, какъ убраться отсюда?

— А если я приму пари и выиграю, чѣмъ вы заплатите? почти съ презрѣніемъ отвѣчалъ Райскій.

— Вонъ панталоны, или ружье отдамъ: у меня только двое панталонъ: были третьи, да портной назадъ взялъ за долгъ.... Пойдите, я примѣрю вашъ скюртукъ, ба! какъ разъ въ пору! сказалъ онъ, надѣвши легкое пальто Райскаго и садясь въ немъ на кровать.—А попробуйте мое!

— Зачѣмъ?

— Такъ, хочется посмотрѣть, въ пору ли вамъ. Пожалуста, надѣньте: ну, чего вамъ стоитъ?

Райскій снисходительно надѣлъ поношенное и небезупречное отъ пятенъ пальто Марка.

— Ну, что, въ пору?

— Да, ничего, сидитъ!

— Ну, такъ оставайтесь такъ. Вы вѣдь не долго проносите свое пальто, а мнѣ оно года на два станеть. Впрочемъ—рады вы, нѣтъ ли, а я его теперь съ плечъ не сниму—развѣ украдете у меня.

Райскій пожалъ плечами.

— Ну, чтожъ, идетъ пари? спросилъ Маркъ.

— Что вы такъ привязались къ этой.... извините.... глупой идеѣ?

— Ничего, ничего, не извиняйтесь—идетъ?

— Пари не равно: у васъ ничего нѣтъ.

— Объ этомъ не безпокойтесь: мнѣ не придется платить.

— Какая увѣренность!

— Ей-богу, не придется. Ну, такъ, если мое пророчество сбудется, вы мнѣ заплатите триста рублей.... А мнѣ какъ-бы кстати ихъ выиграть!

— Какія глупости? почти про себя сказалъ Райскій, взявъ фуражку и тросточку.

— Да, отъ нынѣшняго дня, черезъ двѣ недѣли вы будете влюблены, черезъ мѣсяцъ будете стонать, бродить, какъ тѣнь, играть драму, пожалуй, если не побойтесь губернатора и Нила Андреевича, то и трагедію, и кончите пошлостью....

— Почему вы знаете?

— Кончите пошлостью, какъ всѣ подобные вамъ. Я знаю, вижу васъ.

— Ну, а если не я, а она бы влюбилась и стонала?

— Вѣра! въ васъ?

— Да, Вѣра, въ меня!

— Тогда...я достану закладъ вдвое и принесу вамъ.

— Вы сумасшедшій! сказалъ Райскій, уходя вонъ и не удостоивъ Марка взглядомъ.

— Черезъ мѣсяцъ у меня триста рублей въ карманѣ! кричалъ ему вслѣдъ Маркъ.

XXI.

Райскій сердито шелъ домой.

«Гдѣ она, эта красавица теперь? думалъ онъ злобно: вѣроятно на любимой скамьѣ зѣваетъ по сторонамъ — пойти посмотрѣть!» Изучивъ ее привычки, онъ почти навѣрное зналъ, гдѣ она могла быть въ тотъ или другой часъ.

Поднявшись съ обрыва въ садъ, онъ увидѣлъ ее дѣйствительно сидящую на своей скамьѣ съ книгой. Она не читала, а глядѣла, то на Волгу, то на кусты. Увидя Райскаго, она перемѣнила позу, взяла книгу, потомъ тихо встала и пошла по дорожкѣ къ старому дому. Онъ сдѣлалъ ей знакъ подождать его, но она, или не замѣтила, или притворилась, что не видитъ, и даже будто ускорила шагъ, проходя по двору, и скрылась въ дверь стараго дома. Его взяло зло. «А тотъ болванъ думаетъ, что я влюблюсь въ нее: она даже не знаетъ простыхъ приличій, выросла въ дѣвичьей, среди этого народа, неразвита, подгородная красота! Ея романъ ждетъ тутъ гдѣ-нибудь въ Палатѣ....»

Онъ злобно ѣлъ за обѣдомъ, поглядывая изподлобья на всѣхъ, и не взглянулъ ни разу на Вѣру, даже не отвѣчалъ на ея замѣчаніе, что «сегодня жарко». Ему казалось, что онъ ужъ ее ненавидѣлъ, или пренебрегалъ ею: онъ этого еще самъ не рѣшилъ, но только сознавалъ, что въ немъ

бродить какое-то враждебное чувство къ ней. Это особенно усилилось дня за два передъ тѣмъ, когда онъ пришелъ къ ней въ старый домъ, съ Гёте, Байрономъ, Гейне, да съ какимъ-то англійскимъ романомъ подъ мышкой, и расположился у ея окна, рядомъ съ ней.

Она съ удивленіемъ глядѣла, какъ онъ раскладывалъ книги на столѣ, какъ привольно располагался самъ.

— Что это вы хотите дѣлать? спросила она съ любопытствомъ.

— А вотъ, отвѣчалъ онъ, указывая на книги: «улетимъ куда-нибудь на крыльяхъ поэзін», будемъ читать, мечтать, унесемся вслѣдъ за поэтами....

Она весело засмѣялась.

— Сейчасъ дѣвушка придетъ: будемъ кофты кроить, сказала она: — тутъ на столѣ и по стульямъ разложимъ полотно и «унесемся» съ ней въ расчеты аршинъ и вершковъ....

— Фи, Вѣра: оставь это, въ дѣвичьей безъ тебя сдѣлають....

— Нѣтъ, нѣтъ: бабушка и такъ недовольна моею лѣнью. Когда она ворчитъ, такъ я кое-какъ еще переносу, а когда она молчитъ, косо поглядываетъ на меня и жалко вздыхаетъ—это выше силъ.... Да, вотъ и Наташа. До свиданія, cousin. Давай сюда, Наташа, клади на столъ: все-ли тутъ?

Она проворно переложила книги на стулъ, подвинула столъ на средину комнаты, достала аршинъ изъ комода и вся углубилась въ отмѣриванье по-

лотна, рассчитывала полотнища, съ свойственнымъ ей нервнымъ проворствомъ, когда одолѣвала ее охота или необходимость работы, и на Райскаго ни взгляда не бросила, ни слова ему не сказала, какъ будто его тутъ не было. Онъ почти со скрежетомъ зубовъ ушелъ отъ нея, оставивъ у ней книги. Но обойдя домъ и воротясь къ себѣ въ комнату, онъ нашелъ уже книги на своемъ столѣ. «Проворно: значить, и впередъ прошу не жаловать!»! прошелталъ онъ злобно. «Чтожь это однако: что она такое? Это даже любопытно становится. Играеть, шутить со мной?»

Маркъ, предложеніемъ пари, еще больше растрожилъ въ немъ желчь, и онъ почти не глядѣлъ на Вѣру, сидя противъ нея за обѣдомъ, только когда случайно поднималъ глаза, его какъ будто молніей ослѣпило «язвительной» красотой. Она взглянула было на него раза два просто, ласково, почти дружески. Но замѣтя его свирѣпыя взгляды, она увидѣла, что онъ раздраженъ и что предметомъ этого раздраженія была она. Она наклонилась надъ пустой тарелкою и задумчиво углубила въ нее взглядъ. Потомъ подняла голову и взглянула на него: взглядъ этотъ былъ сухъ и печаленъ.

— Я съ Марейнькой хочу поѣхать на сѣнокосъ сегодня, сказала бабушка Райскому: твоя милость, хозяинъ, не удостоишь ли взглянуть на свои луга?

Онъ, глядя въ окно, отрицательно покачалъ головой.

— Купцы снимаютъ: даютъ семьсотъ рублей ассигнаціями, а я тысячу прошу.

Никто на это ничего не сказалъ.

— Что же ты, сударь, молчишь? Яковъ, обратилась она къ стоявшему за ея стуломъ Якову:— купцы завтра хотѣли побывать: какъ пріѣдутъ, проводи ихъ вотъ къ Борису Павловичу....

— Слушаю-съ.

— Выгони ихъ вонъ! равнодушно отозвался Райскій.

— Слушаю-съ! повторилъ Яковъ.

— Вотъ какъ: кто-жъ ему позволить выгнать! Что, если бы всѣ помѣщики походили на тебя!

Онъ молчалъ, глядя въ окно.

— Да что ты молчишь, Борисъ Павловичъ: ты хоть пальцомъ тычь! Хоть бы ѣлъ по крайней мѣрѣ! Подай ему жаркое, Яковъ, и грибы: смотри, какіе грибы!

— Не хочу! съ нетерпѣніемъ сказала Райскій, махнувъ Якову рукой.

Снова всѣ замолчали.

— Савелій опять прибилъ Марину, сказала бабушка. Райскій едва замѣтно пожалъ плечами.

— Ты бы унялъ его, Борисъ Павловичъ!

— Что я за полицмейстеръ? сказалъ онъ нехотя.— Пусть хоть зарѣжутъ другъ друга!

— Господи избави и сохрани! Это все драму, что ли, хочется тебѣ сочинить!

— До того мнѣ! проворчалъ онъ небрежно:— своихъ драмъ не оберешься...

— Что: или тяжело жить на свѣтѣ? насмѣшливо продолжала бабушка: — шутка ли, сколько разъ въ сутки съ боку на бокъ придется перевертаться!

Онъ взглянулъ на Вѣру: она налила себѣ красного вина въ воду и выпивъ, встала, поцѣловала у бабушки руку и ушла. Онъ всталъ изъ-за стола и ушелъ къ себѣ въ комнату. Вскорѣ бабушка, съ Марейничкой и съ подоспѣвшимъ Викентьевымъ, уѣхали смотрѣть луга, и весь домъ утонулъ въ послѣобѣденномъ снѣ. Кто ушелъ на сѣногаль, кто растянулся въ сѣняхъ, въ сараѣ; другіе, пользуясь отсутствіемъ хозяйки, ушли въ слободу, и въ домѣ воцарилась мертвая тишина. Двери и окна отгорены настежь, въ саду не шелохнется листь. У Райскаго съ ума не шла Вѣра. «Гдѣ она теперь, что дѣлаетъ одна? Отчего она не поѣхала съ бабушкой и отчего бабушка даже не позвала ее?» задавалъ онъ себѣ вопросы. Не смотря на данное себѣ слово не заниматься ею, не обращать на нее вниманія, а поступать съ ней, какъ съ «ничтожной дѣвочкой», онъ не могъ отгязаться отъ мысли о ней. Онъ нарочно станетъ думать о своихъ петербургскихъ связяхъ, о пріятеляхъ, о художникахъ, объ академіи, о Бѣловодоюй—переберетъ два три случая въ памяти, два три лица, а четвертое лицо выйдетъ—Вѣра. Возьметъ бумагу, карандашъ, сдѣлаетъ два, три штриха—выходитъ ея лобъ, носъ, губы. Хочетъ выглянуть изъ окна въ садъ, въ поле, а глядитъ на ея окно: «поднимаетъ ли бѣлая ручка лиловую занавѣску», какъ говорить справедливо Маркъ. И почему онъ

знаеть: какъ будто кто-нибудь подглядѣлъ, да сказалъ ему!

Закипитъ ярость въ сердцѣ Райскаго, хочетъ онъ мысленно обратить проклятіе къ этому неотступному образу Вѣры, а губы не повинуются, языкъ шепчетъ страстно ея имя, колѣна гнутся и онъ закрываетъ глаза и шепчетъ: «Вѣра, Вѣра—никакая красота никогда не жгла меня язвительнѣе, я жалкій рабъ твой...» «Вздоръ, нелѣпость, сентиментальность!» скажетъ очнувшись потомъ. — «Пойду къ ней, надо объясниться: гдѣ она? Вѣдь это любопытство—больше ничего: не любовь же въ самомъ дѣлѣ!...» рѣшилъ онъ.

Онъ взялъ фуражку и побѣжалъ по всему дому, хлопая дверями, заглядывая во все углы. Вѣры не было, ни въ ея комнатѣ, ни въ старомъ домѣ, ни въ полѣ не видать ея, ни въ огородахъ. Онъ даже поглядѣлъ на задній дворъ, но тамъ только Улита мыла какую-то кадку, да въ сараѣ Прохоръ лежалъ на спинѣ плашмя и спалъ подъ тулупомъ, съ наизвѣстнымъ лицомъ и открытымъ ртомъ. Онъ прошелъ окраины сада, полагая, что Вѣру нечего искать тамъ, гдѣ обыкновенно бывають другіе, а надо забираться въ глушь, къ обрыву, по скату берега, гдѣ она любила гулять. Но нигдѣ ея не было, и онъ пошелъ уже домой, чтобъ спросить кого-нибудь о ней, какъ вдругъ увидѣлъ ее сидящую въ саду, въ десяти саженьяхъ отъ дома.

— Ахъ! сказалъ онъ:—ты тутъ, а я ищу тебя по всеѣмъ угламъ....

— А я васъ жду здѣсь... отвѣчала она. На него вдругъ будто среди зимы пахнуло южнымъ вѣтромъ.

— Ты ждешь меня! произнесъ онъ не своимъ голосомъ, глядя на нее съ изумленіемъ и страстными до воспаленія глазами.—Можетъ ли это быть?

— Отчего же нѣтъ? вѣдь вы искали меня...

— Да, я хотѣлъ объясниться съ тобой.

— И я съ вами.

— Что же ты хотѣла сказать мнѣ?

— А вы мнѣ что?

— Сначала скажи ты, а потомъ я...

— Нѣтъ, вы скажите, а потомъ я...

— Хорошо, сказалъ онъ, подумавши, и сѣлъ около нея:—я хотѣлъ спросить тебя, зачѣмъ ты бѣгаешь отъ меня?

— А я хотѣла спросить, зачѣмъ вы меня преслѣдуете?

Райскій упалъ съ облаковъ.

— И только? сказалъ онъ.

— Пока, только: посмотрю, что вы скажете?

— Но я не преслѣдую тебя: скорѣе удаляюсь, даже мало говорю...

— Есть разные способы преслѣдовать, cousin: вы избрали самый неудобный для меня...

— Помилуй, я почти не говорю съ тобой...

— Правда, вы рѣдко говорите со мной, не смотрите прямо, а бросаете на меня изподлобья злые взгляды — это тоже своего рода преслѣдованіе. Но еслибъ только это и было...

— А что же еще?

— А еще—вы слѣдите за мной изподтишка: вы раньше всѣхъ встаете и ждете моего пробужденія, когда я отдерну у себя занавѣску, открою окно. Потомъ, только лишь я перехожу къ бабушкѣ, вы избираете другой пунктъ наблюденія и слѣдите, куда я пойду, какую дорожку выберу въ саду, гдѣ сяду, какую книгу читаю, знаете каждое слово, какое кому скажу... Потомъ встрѣчаетесь со мной...

— Очень рѣдко, сказалъ онъ.

— Правда, въ недѣлю раза два, три: это не часто и не могло бы надоесть: напротивъ, — еслибъ дѣлалось безъ намѣренія, а такъ, само собой. Но это все дѣлается съ умысломъ: въ каждомъ вашемъ взглядѣ и шагѣ я вижу одно—неотступное желаніе не давать мнѣ покоя, посягать на каждый мой взглядъ, слово, даже на мои мысли... По какому праву, позвольте васъ спросить?

Онъ изумился смѣлости, независимости мысли, желанія, и этой свободѣ рѣчи. Передъ нимъ была не дѣвочка, прячущаяся отъ него отъ робости, какъ казалось ему, отъ страха за свое самолюбіе при неравной встрѣчѣ умовъ, понятій, образованій. Это новое лицо, новая Вѣра!

— А если тебѣ такъ кажется... нерѣшительно замѣтилъ онъ, еще не придя въ себя отъ удивленія.

— Не лгите! перебила она. — Если вамъ удастся замѣчать каждый мой шагъ и движеніе, то и мнѣ позвольте чувствовать неловкость такого наблюденія: скажу вамъ откровенно — это тяготитъ меня. Это

какая-то неволя, тюрьма. Я, слава Богу, не вѣплѣну у турецкаго паши...

— Чего же ты хочешь: что надо мнѣ сдѣлать?...

— Вотъ объ этомъ я и хотѣла поговорить съ вами теперь. Скажите прежде, чего вы хотите отъ меня?

— Нѣтъ, ты скажи, настаивалъ онъ, все еще озадаченный и совершенно покоренный этими новыми и неожиданными сторонами ума и характера, бросившими страшный блескъ на всю ея, и безъ того сіяющую красоту. Онъ чувствовалъ уже, что наслажденіе этой красотой переходитъ у него въ страданіе.

— Чего я хочу? повторила она: — свободы!

Съ новымъ изумленіемъ взглянулъ онъ на нее.

— Свободы! повторилъ онъ: — я первый партизанъ и рыцарь ея — и потому...

— И потому не даете свободно дышать бѣдной дѣвушкѣ...

— Ахъ, Вѣра, зачѣмъ такъ дурно заключать обо мнѣ? Между нами недоразумѣніе: мы не поняли другъ друга — объяснимся — и можетъ быть, мы будемъ друзьями.

Она вдругъ взглянула на него испытующимъ взглядомъ.

— Можетъ ли это быть? сказала она: — я бы рада была ошибиться.

— Вотъ моя рука, что это такъ: буду другомъ, братомъ — чѣмъ хочешь, требуй жертвъ...

Жертвъ не надо, сказала она:—вы не отвѣчали на мой вопросъ: чего вы хотите отъ меня?

— Какъ «чего хочу:» я не понимаю, что ты хочешь сказать.

— Зачѣмъ преслѣдуете меня, смотрите такими странными глазами? Чтò вамъ нужно?

— Мнѣ ничего не нужно: но ты сама должна знать, какими другими глазами, какъ не жадными, влюбленными, можетъ мужчина смотрѣть на твою поразительную красоту...

Она не дала ему договорить, вспыхнула и быстро встала съ мѣста.

— Какъ вы смѣете говорить это? сказала она, глядя на него съ ногъ до головы. И онъ глядѣлъ на нее съ изумленіемъ, большими глазами.

— Что ты, Богъ съ тобой, Вѣра: что я сказалъ?

— Вы, гордый, развитой умъ, «рыцарь свободы», не стыдитесь признаться...

— Что красота вызываетъ поклоненіе и что я поклоняюсь тебѣ: какое преступленіе!

— Вы даже не понимаете, я вижу, какъ это оскорбительно! Осмѣлились бы вы глядѣть на меня этими «жадными» глазами, еслибъ около меня былъ зоркій мужъ, заботливый отецъ, строгій братъ? Нѣтъ, вы не гонялись бы за мной, не дулись бы на меня по цѣлымъ днямъ безъ причины, не подсматривали бы, какъ шпионъ, и не посягали бы на мой покой и свободу! Скажите, чѣмъ я подала вамъ поводъ смотрѣть на меня иначе, нежели какъ бы

смотрѣли вы на всякую другую, хорошо защищенную женщину?..

— Красота возбуждаетъ удивленіе: это ея право...

— Красота, перебила она, имѣетъ также право на уваженіе и свободу...

— Опять свобода!

— Да, и опять, и опять! «Красота, красота!» Далась вамъ моя красота! Ну, хорошо, красота: такъ что-же? Развѣ это яблоки, которыя висятъ черезъ заборъ и которыя можетъ рвать каждый прохожій?

— Каково! съ изумленіемъ, совсѣмъ растерянный говорилъ Райскій. — Чего же ты хочешь отъ меня?

— Ничего: я жила здѣсь безъ васъ, уѣдете — и я буду опять также жить...

— Ты велишь мнѣ уѣхать: изволь — я готовъ...

— Вы у себя дома: я умѣю уважать «ваши права» и не могу требовать этого...

— Ну, чего ты хочешь — я все сдѣлаю, скажи, не сердись! просилъ онъ, взявъ ее за обѣ руки. — Я виноватъ передъ тобой: я артистъ, у меня впечатлительная натура, и я, можетъ быть, слишкомъ живо поддался впечатлѣнію, выразилъ свое участіе — конечно потому, что я не совсѣмъ тебѣ чужой. Будь я посторонній тебѣ, разумѣется, я бы воздержался. Я бросился немного слѣпо, обжегся — ну, и не бѣда! Ты мнѣ дала хорошій урокъ. Помиримся же: скажи мнѣ свои желанія, я исполню ихъ свято... и будемъ друзьями! Право, я не заслуживаю этихъ

упрековъ, всей этой грозы... Можетъ быть, ты и не совсѣмъ поняла меня...

Она подала ему руку.

— И я вышла изъ себя по пустому. Я вижу, что вы очень умны, вопервыхъ, сказала она,—вторыхъ, кажется, добры и справедливы: это доказываетъ теперешнее ваше сознание... Посмотримъ—будете ли вы великодушны со мной...

— Буду, буду, твори свою волю надо мной и увидишь... опять съ увлеченіемъ заговорилъ онъ.

Она тихо отняла руку, которую-было положила на его руку.

— Нѣтъ, сказала она полусерьезно: — по этому восторженному языку я вижу, что мы отъ дружбы далеко.

— Ахъ, эти женщины съ своей дружбой! съ досадою отозвался Райскій:—точно куличъ въ именины подносятъ!

— Вотъ и эта досада не общаетъ хорошаго!

Она было-встала.

— Нѣтъ, нѣтъ, не уходи: мнѣ такъ хорошо съ тобой! говорилъ онъ, удерживая ее: мы еще не объяснились. Скажи, что тебѣ не правится, что правится — я все сдѣлаю, чтобъ заслужить твою дружбу...

— Я вамъ въ самомъ началѣ сказала, какъ заслужить ее: помните? Не наблюдать за мной, оставить въ покоѣ, даже не замѣчать меня — и я тогда сама приду въ вашу комнату, назначимъ часы про-

водить вмѣстѣ, читать, гулять... Однако вы ничего не сдѣлали....

— Ты требуешь, Вѣра, чтобъ я былъ къ тебѣ совершенно равнодушенъ?

— Да.

— Не замѣчалъ твоей красоты, смотрѣлъ бы на тебя, какъ на бабушку...

— Да.

— А ты по какому праву требуешь этого?

— По праву свободы!

— Но еслибъ я поклонялся молча, издали, ты бы не замѣчала и не знала этого... ты запретить этого не можешь. Что тебѣ за дѣло?

— Стыдитесь, сойзип! Времена Вертеровъ и Шарлоттъ прошли. Развѣ это возможно? Притомъ я замѣчу страстные взгляды, любовное иппіонство— мнѣ опять надоѣсть, будетъ противно...

— Ты вовсе не кокетка: хоть бы ты подала надежду, сказала бы, что упорная страсть можетъ растопить ледъ, и со временемъ взаимность прокрадется въ сердце...

Онъ произносилъ эти слова медленно, ожидая, не вырвется ли у ней кѣкой-нибудь знакъ отдаленной надежды, хоть неизвѣстности, чего-нибудь...

— Это правда, сказала она: я ненавижу кокетство и не понимаю, какъ не скучно привлекать эти поклоненія, когда не намѣрена и не можешь отвѣчать на вызванное чувство?...

— А ты..... не можешь?

-- Не могу.

— Почему ты знаешь: можетъ быть, придетъ время.....

— Не ждите, cousin, не придетъ.

«Что это онъ — какъ будто сговорились съ Бѣловодовой: наладили одно и тоже!» подумалъ онъ.

— Ты не свободна, любишь? съ испугомъ спросилъ онъ.

Она нахмурилась и стала упорно смотрѣть на Волгу.

— Ну, еслибъ и любила: что же, грѣхъ, нельзя, стыдно..... вы не позволите, братецъ? съ насмѣшкой сказала она.

— Я!

— «Рыцарь свободы!» еще насмѣшливѣе повторила она.

— Не смѣйся Вѣра: да, я ее достойный рыцарь! Не позволить любить! Я тебѣ именно и несу проповѣдь этой свободы! Люби открыто, всенародно, не прячясь: не бойся ни бабушки, никого! Старый міръ разлагается, зазеленѣли новые всходы жизни — жизнь зоветъ къ себѣ, открываетъ всѣмъ свои объятія. Видишь: ты молода, отсюда никуда носа не показывала, а тебя уже обвѣялъ духъ свободы, у тебя ужъ явилось сознаніе своихъ правъ, здравыя идеи. Если заря свободы восходить для всѣхъ: ужели одна женщина останется рабой? Ты любишь? Говори смѣло..... Страсть — это счастье. Дай хоть позавидовать тебѣ!

— Зачѣмъ я буду рассказывать, люблю я, или нѣтъ? До этого никому нѣтъ дѣла. Я знаю, что я

свободна, и никто не въ правѣ требовать отчета отъ меня.....

— А бабушка? ты ее не боишься? Вонъ, Мар-
оинька.....

— Я никого не боюсь, сказала она тихо: — и бабушка знаетъ это и уважаетъ мою свободу. По-
слѣдуйте и вы ея примѣру..... Вотъ мое желаніе!
Только это я и хотѣла сказать. — Она встала со
скамьи.

— Да, Вѣра, теперь я нѣсколько вижу и пони-
маю тебя и общаю — вотъ моя рука, сказали
онъ, — что отнынѣ ты не услышишь и не замѣ-
тишь меня въ домѣ — буду «умникъ», прибавилъ
онъ, — буду «справедливъ», буду «уважать твою
свободу», и какъ рыцарь буду «великодушенъ», буду
просто — великъ! Я — grand coeur! — Оба засмѣ-
лись.

— Ну, слава Богу, сказала она, подавая ему
руку, которую онъ жадно прижалъ къ губамъ. Она
взяла руку назадъ.

— Посмотримъ, прибавила она. — А впрочемъ,
если нѣтъ..... Ну, да ничего, посмотримъ....

— Нѣтъ, доскажи ужъ, что начала, не то я
стану ломать голову!

— Если я не буду чувствовать себя свободной
здѣсь, то какъ я ни люблю этотъ уголокъ (она съ
любовью бросила взглядъ вокругъ себя), но тогда.....
уѣду отсюда! рѣшительно заключила она.

— Куда? спросилъ онъ испугавшись.

— Божій міръ великъ. До свиданія, cousin.

Она пошла. Онъ глядѣтъ ей въ слѣдъ: она слышными шагами неслась по травѣ, почти не касаясь ея, только линія плечъ и стана, съ каждымъ шагомъ ея, дѣлала волнующееся движеніе; локти плотно прижаты къ талии, голова мелькала между цвѣтовъ, кустовъ, наконецъ явленіе мелькнуло еще за рѣшеткою сада и исчезло въ дверяхъ стараго дома.

«Прошу покорно!» съ изумленіемъ говорилъ про себя Райскій, провожая ее глазами: «а я собирался развивать ее, тревожить ея умъ и сердце новыми идеями о независимости, о любви, о другой, невѣдомой ей жизни... А она ужъ эмансипирована! Да кто же это?....» — «Каково отдѣлала! А вотъ я бабушкѣ скажу!» закричалъ онъ, грозя ей въ слѣдъ, потомъ самъ засмѣялся и пошелъ къ себѣ.

XXII.

На другой день Райскій чувствовалъ себя веселымъ и свободнымъ отъ всякой злобы, отъ всякихъ претензій на взаимность Вѣры, даже не нашелъ въ себѣ никакихъ слѣдовъ зародыша любви. «Такъ, впечатлѣніе: какъ всегда у меня! Вотъ теперь и прошло!» думалъ онъ. Онъ смѣялся надъ своимъ увлеченіемъ, грозившимъ ему, повидимому, серьезной страстью, упрекалъ себя въ пастойчивомъ преслѣ-

дованіи Вѣры и стыдился, что даже посторонній свидѣтель, Маркъ, замѣтилъ облака на его лицѣ, нервную раздражительность въ словахъ и движеніяхъ, до того очевидную, что могъ предсказать ему страсть. «Ошибется же онъ, когда увидить меня теперь — думалъ онъ: вотъ будетъ хорошо, если онъ заранѣе разсчитываетъ на триста рублей этого глупѣйшаго пари и сдѣлаетъ издержку!» Ему страхъ какъ захотѣлось увидѣть Вѣру опять наединѣ, единственно за тѣмъ, чтобъ только «великодушно» сознаться, какъ онъ былъ глупъ, невѣренъ своимъ принципамъ, чтобъ изгладить первое, невыгодное впечатлѣніе и занять по праву мѣсто друга — покорить ея гордый умишко, выиграть довѣріе. Но при этомъ ему все хотѣлось вдругъ принести ей множество какихъ-нибудь неудобноисполнимыхъ жертвъ, сдѣлаться ей необходимымъ, стать исповѣдникомъ ея мыслей, желаній, совѣсти, показать ей всю свою силу, душу, умъ. Онъ забылъ только, что вся ея просьба къ нему была — ничего этого не дѣлать, не показывать, и что ей ничего отъ него не нужно. А ему все казалось, что еслибъ она узнала его, то сама избрала бы его въ руководители, не только ума и совѣсти, но даже сердца.

На другой, на третій день, его — хотя и не раздражительно, какъ недавно еще — но все-таки занимала новая, неожиданная, поразительная Вѣра, его дальняя сестра и будущій другъ. На него пахло и новое, свѣжее, почти никогда ни испытан-

ное имъ, какъ казалось ему, чувство — дружбы къ женщинѣ: онъ вкусилъ этого, по его выраженію, «имениннаго кулича» помимо ея красоты, помимо всякихъ чувственныхъ движеній грубой натуры и всякаго любовнаго сентиментализма. Это бодрое, трезвое и умное чувство: въ такомъ взаимномъ сближеніи — ни онъ, ни она, ничего не теряютъ и оба выигрываютъ, изучая, дополняя другъ друга, любя тонкою, умною, полною взаимнаго уваженія и довѣрія привязанностію.

«Вотъ и прекрасно, думалъ онъ: умница она, что пересадилъ мое впечатлѣніе на прочную почву. Только за этимъ, чтобъ сказать это ей все, успокоить ее — и хотѣлъ бы я ее видѣть теперь!» Но онъ не смѣлъ сдѣлать ни шагу, даже добросовѣстно отворачивался отъ ея окна, прятался въ простѣнокъ, когда она проходила мимо его оконъ; молча, съ дружеской улыбкой пожалъ ей, одинаково, какъ и Марѣинкѣ, руку, когда онѣ обѣ пришли къ чаю, не пошевелился и не повернулъ головы, когда Вѣра взяла зонтикъ и скрылась тотчасъ послѣ чаю въ садъ, и цѣлый день не зналъ, гдѣ она и что дѣлаетъ.

Но все еще онъ не завоевалъ себѣ того спокойствія, какое налагала на него Вѣра: ему бы надо уйти на цѣлый день, поѣхать съ визитами, уѣхать гостить на недѣлю за Волгу, на охоту, и забыть о ней. А ему не хочется никуда: онъ цѣлый день сидитъ у себя, чтобъ не встрѣтить ее, но ему пріятно знать, что она тутъ же въ домѣ. А надо добиться,

чтобъ ему это было все равно. Но и то хорошо, и то уже побѣда, что онъ чувствовалъ себя покойнѣе. Онъ уже на пути къ новому чувству, хотя новая Вѣра не выходила у него изъ головы, по это новое чувство тихо и нѣжно волновало и покоило его, не терзая, какъ страсть, дурными мыслями и чувствами. Когда она обращала къ нему простой вопросъ, онъ едва взглянувъ на нее, дружески отвѣчалъ ей и затѣмъ продолжалъ свой разговоръ съ Марейнкой, съ бабушкой, или молчалъ, рисовалъ, писалъ замѣтки въ романъ. «Да вѣдь это лучше всякой страсти! приходило ему въ голову:—это довѣріе, эти тихія отношенія, это заглядыванье, не въ глаза красавицы, а въ глубину умной, нравственной, дѣвической души!» Онъ ждалъ только одного отъ нея: когда она сброситъ свою сдержанность, откроется передъ нимъ до вѣрчиво вся, какъ она есть, и также забудетъ, что онъ тутъ, что онъ мѣшалъ ей еще недавно жить, былъ бѣльмомъ на глазу.

Райскій для три нянчился съ этимъ «новымъ чувствомъ» и бабушка не нарадовалась, глядя на него.

— Ну, просвѣтлѣло ясное солнышко! сказала она: можно и съ визитами стѣздить въ городъ.

— Богъ съ вами, бабушка: мнѣ не до того! ласково говорилъ онъ.

— Ну, поѣдемъ посмотрѣть, какъ яроее выходить.

— Нѣтъ, нѣтъ, твердилъ онъ, и даже поцѣловалъ у ней руку.

— Ты что-то ластишься ко мнѣ: не къ деньгамъ-ли подбираешься, чтобъ Маркушкѣ дать:—не дамъ!

Онъ засмѣялся и ушелъ отъ нея—думать о Вѣрѣ, съ которой онъ все еще не нашелъ случая объяснить «о новомъ чувствѣ» и о томъ, сколько оно счастья и радости приносить ему. Случай представлялся ему много разъ, когда она была одна: но онъ боялся шевельнуться, почти не дышалъ, когда за-видитъ ее, чтобъ не испугать ея рождающагося до-вѣрія къ искренности его перемѣны и не испортить себѣ этотъ новый рай. Наконецъ, на четвертый или пятый день послѣ разговора съ ней, онъ всталъ часовъ въ пять утра. Солнце еще было на дальнемъ горизонтѣ, изъ сада несло здоровую свѣжесть, цвѣты разливали сильный запахъ, роса блистала на травѣ. Онъ наскоро одѣлся и пошелъ въ садъ, прошелъ двѣ три аллеи и—вдругъ наткнулся на Вѣру. Онъ задрожалъ отъ нечаянности и испуга.

— Не нарочно, ей-богу, не нарочно! закричалъ онъ въ страхѣ, и оба засмѣялись. Она сорвала цвѣтокъ и бросила въ него, потомъ ласково подала ему руку и поцѣловала его въ голову, въ отвѣтъ на его поцѣлуй руки.

— Ненарочно, Вѣра—твердилъ онъ: ты видишь, да?

— Вижу, отвѣчала она и опять засмѣялась, вспоминая его испугъ.— Вы милый, добрый.....

— «Великодушный...» подсказалъ онъ.

— До великодушія еще не дошло, посмотримъ, сказала она, взявъ его подъ руку.—Пойдемте гулять: какое утро! сегодня будетъ очень жарко.

Онъ былъ на седьмомъ небѣ.

— Да, да, славное утро! подтвердилъ онъ, думая,

что сказать еще, но такъ, чтобъ какъ-нибудь нечаянно не заговорить о ней, о ея красотѣ—и не находилъ ничего, а его такъ и подмывало опять заиграть на любимой струнѣ.

— Я вчера письмо получилъ изъ Петербурга... ска-
залъ онъ, не зная что сказать.

— Отъ кого? спросила она машинально.

— Отъ художниковъ; а вотъ отъ Аянова все нѣтъ: не стѣбаетъ. Не знаю, что кузина Бѣловодова: гдѣ проводить лѣто, какъ....

— Она.... очень хороша? спросила Вѣра.

— Да.... правильныя черты лица, свѣжесть, много блеску... говорилъ онъ монотонно, и взглянувъ съ боку на Вѣру, страстно вздрогнулъ. Красота Бѣловодовой погасла въ его памяти.

— Еще не получили ли чего-нибудь: кажется, Савелій посылку съ почты привезъ? спросила она.

— Да, новыя книги получилъ изъ Петербурга... Маколей, томъ *Mémoires* Гизо....

Она молча слушала.

— Не хочешь ли почитать?

— Послѣ: пришлите Маколей.

«Пришлите», подумалъ онъ: отчего—не «принесите?»

Они шли молча.

— А Гизо? спросилъ онъ.

— Гизо не надо, скучно.

— Ты почему знаешь?

— Я читала его «Исторію цивилизаціи....»

— И тебѣ показалось скучно! Гдѣ ты брала?

Они шли дальше.

— Чье это на васъ пальто: это не ваше? вдругъ спросила она съ удивленіемъ, взглядываясь въ пальто.

— Ахъ, это Марка....

— Зачѣмъ оно у васъ: развѣ онъ здѣсь? спрашивала она въ тревогѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, смѣясь отвѣчалъ онъ: чего ты испугалась? Весь домъ боится его, какъ огня.

Онъ разсказалъ ей, какъ досталось ему пальто. Она слегка выслушала. Потомъ они молча обошли главныя дорожки сада: она—глядя въ землю, онъ—по сторонамъ. Но у него, противъ воли, обнаружилось нетерпѣніе. Ему все хотѣлось высказаться.

— Мнѣ кажется, у васъ есть что-то на умѣ, сказала она,—да вы не хотите сказать....

— Хотѣть-то я хочу, да боюсь опять грозы.

— А развѣ опять о «красотѣ» что-нибудь?

— Нѣтъ, нѣтъ, напротивъ—я хотѣлъ сказать, какъ меня мучаетъ эта глупая претензія на поклоненіе—стыдь: у меня сѣдые волосы!

— Какъ я рада, еслибъ это была правда!

— А ты еще сомнѣваешься! Это вспышка, мгновенное впечатлѣніе: ты меня образумила. Какая однако ты.... Но объ этомъ послѣ. Я хочу сказать, что именно я чувствую къ тебѣ, и кажется на этотъ разъ не ошибаюсь. Ты мнѣ отворила какую-то особую дверь въ свое сердце—и я вижу бездну счастья въ твоей дружбѣ. Она можетъ окрасить всю мою безцвѣтную жизнь въ такіе кроткіе и нѣжные

тоны.... Я даже, кажется, увѣрую въ то, чего не бываетъ и во что всё перестали вѣрить—въ дружбу между мужчиной и женщиной. Ты вѣришь, что такая дружба возможна, Вѣра?

— Почему—нѣтъ, еслибы такіе два друга рѣшились быть взаимно справедливы?...

— То-есть—какъ?

— То-есть, уважать свободу другъ друга, не стѣснять взаимно одинъ другого: только это рѣдко, я думаю, можно исполнить. Съ чьей-нибудь стороны замѣшается корысть.... кто-нибудь да покажетъ когти.... А вы сами, способны ли на такую дружбу?

— А вотъ увидишь: ты повелѣвай и посмотри, какого раба приобрѣтешь въ своемъ другѣ...

— Вотъ и нѣтъ справедливости: ни раба, ни повелителя не нужно. Дружба любить равенство.

— Bravo, Вѣра! откуда у тебя эта мудрость?

— Какое смѣшное слово!

— Ну, такъ?

— Духъ Божій вѣетъ не на однихъ финскихъ болотахъ: повѣялъ и на нашъ уголокъ.

— Ну, такъ мнѣ теперь предстоитъ задача — не замѣчать твоей красоты, а напирать больше на дружбу? смѣясь, сказалъ онъ: такъ и быть, постараюсь...

— Да, какое бы это было счастье, заговорила она вкрадчиво: жить, не стѣсняя воли другого, не слѣдя за другимъ, не допытываясь, что у него на сердцѣ, отчего онъ веселъ, отчего печаленъ, за-

думчивъ? быть съ нимъ всегда одинаково, дорожить его покоемъ, даже уважать его тайны....

«Она диктуетъ мнѣ программу, какъ вести себя съ ней!» подумалъ онъ.

— То-есть, не видать другъ друга, не знать, не слышать о существованіи.... сказалъ онъ: это какая-то новая, неслыханная дружба: такой нѣтъ, Вѣра— это ты выдумала!

Онъ взглянулъ на нее, она отвѣчала ему страннымъ взглядомъ, «русалочнымъ», по его выраженію: глаза будто стеклянные, ничего не выражающіе. Въ нихъ блеснулъ какой-то торопливый свѣтъ и исчезъ.

«Странно, какъ мнѣ знакомъ этотъ прозрачный взглядъ! думалъ онъ: такоеъ бываетъ у всѣхъ женщинъ, когда онѣ обманываютъ! Она меня усыпляетъ.... Чтобы это значило? Ужъ въ самомъ дѣлѣ не любить ли она? У ней только и рѣчи, чтобъ «не стѣснять воли». Да нѣтъ.... кого здѣсь?...»

— О чемъ вы задумались? спросила она.

— Ничего, ничего, продолжай!

— Я кончила.

— Хорошо, Вѣра, буду работать надъ собой, и если мнѣ не удастся достигнуть того, чтобъ не замѣчать тебя, забыть, что ты живешь въ домѣ, такъ я буду притворяться....

— Зачѣмъ притворяться: вы только откажитесь искренно, не на словахъ со мной, а въ душѣ передъ самимъ собой, отъ меня.

— Безжалостная!

— Убѣдите себя, что мой покой, мои досуги, моя комната, моя.... «красота» и любовь.... если она есть или будетъ....—это все мое, и что посягнуть на то, или на другое—значить....

Она остановилась.

— Чтò?

— Посягнуть на чужую собственность или личность....

— О, о, о—вотъ какъ: т. е. украсть или прибить! Ай да, Вѣра: да откуда у тебя такія ультра-юридическія понятія? Ну, а на дружбу такого строгаго влейма ты не положишь? я могу посягнуть на нее, да, это мое? Постараюсь! дай мнѣ недѣли двѣ срока, это будетъ опытъ: если я одолѣю его, я приду къ тебѣ, какъ братъ, другъ, и будемъ жить по твоей программѣ. Если же.... ну, если это любовь—я тогда уѣду!

Что-то опять блеснуло въ ея глазахъ: онъ взглянулъ, но поздно: она опустила взглядъ, и когда подняла, въ немъ ничего не было. «Экая сверкающая ночь!» шепнулъ онъ.

— Аминь! сказала она, подавая ему руку.— Пойдемте къ бабушкѣ, пить чай. Вотъ она открыла окно, сейчасъ позоветъ...

• — Одно слово, Вѣра: скажи, отчего ты такая?

— Какая?

— Мудрая, сосредоточенная, рѣшительная...

— Еще, еще прибавьте! сказала она съ дрожащимъ отъ улыбки подбородкомъ. — Что значитъ мудрость?

— Мудрость... это совокупность истинъ, добытыхъ умомъ, наблюденіемъ и опытомъ, и приложимыхъ къ жизни... опредѣлилъ Райскій: это гармонія идей съ жизнью!

— Опыта у меня не было почти никакого, сказала она задумчиво, — и добыть этихъ идей и истинъ мнѣ неоткуда...

— Ну, такъ у тебя зоркій отъ природы глазъ и мыслящій умъ...

— Чтожъ, это позволительно имѣть, или, можетъ быть стыдно дѣвицѣ, неприлично?...

— Откуда эти здравыя идеи, этотъ выработанный языкъ? говорилъ, слушая ее, Райскій.

— Вы дивитесь, что на вашу бѣдную сестру брызнула капля деревенской мудрости! Вамъ бы хотѣлось видѣть дурочку на моемъ мѣстѣ — да? Вамъ досадно?...

— Ахъ, нѣтъ—я упиваюсь тобой. Ты сердишься, запрещаешь заниматься о красотѣ: не хочешь знать, какъ я разумѣю и отъ чего такъ высоко ставлю ее? Красота—и цѣль, и двигатель искусства, а я художникъ: дай же высказать разъ навсегда...

— Говорите, сказала она.

— Въ женской высокой, чистой красотѣ, началъ онъ съ жаромъ, обрадовавшись, что она развязала ему языкъ, — есть непременно умъ, въ твоей на примѣръ. Глупая красота—не красота. Вглядись въ тущую красавицу, всмотришь глубоко въ каждую черту лица, въ улыбку ея, взглядъ — красота ея, мало по малу, превратится въ поразительное безо-

бразіе: воображеніе можетъ на минуту увлечься, но умъ и чувство не удовлетворятся такой красотой: ея мѣсто въ гаремѣ. Красота, исполненная ума—необычайная сила, она движетъ міромъ, она дѣлаетъ исторію, строитъ судьбы; она, явно или тайно, присутствуетъ въ каждомъ событіи. Красота и грація — это своего рода воплощеніе ума. Отъ этого дура никогда не можетъ быть красавицей, а дурная собой, но умная женщина часто блеститъ красотой. Красота, про которую я говорю, не матерія: она не палитъ только зноемъ страстныхъ желаній: она прежде всего будитъ въ человѣкѣ чело-вѣка, шевелитъ мысль, поднимаетъ духъ, оплодотворяетъ творческую силу генія, если сама стоитъ на высотѣ своего достоинства, не тратитъ лучи свои на мелочь, не грязнитъ чистоту...

Онъ остановился задумчиво.

— Все это не ново: по истина должна повторяться. Да, красота—это всеобщее счастье! тихо, какъ въ бреду говорилъ онъ:—это тоже мудрость, но созданная не людьми: люди только ловятъ ея признаки, силятся творить въ искусствѣ ея образы, и всѣ стремятся, одни сознательно, другіе слѣпо и грубо, къ красотѣ, къ красотѣ... къ красотѣ! Она и здѣсь—и тамъ! прибавилъ онъ, глядя на небо:—и какъ мужчина можетъ унижить, исказить умъ, упасть до грубости, до лжи, до растлѣнія, такъ и женщина можетъ извратить красоту и обратить ее, какъ модную тряпку, на нарядъ, и затаскать ее... Или, употребивъ мудро—быть солнцемъ той сферы,

гдѣ поставлена, влить массу добра... Это женская мудрость!—Ты поймешь, Вѣра, что я хочу сказать, ты женщина!... И... ужели твоя женская рука поднимется казнить за это поклоненіе—и человѣка, и артиста!...

— Вашъ гимнъ красотѣ очень краснорѣчивъ, cousin, сказала Вѣра, выслушавъ съ улыбкой:— запишите его и отошлите Бѣловодовой. Вы говорите, что она «выше міра». Можетъ быть, въ ея красотѣ есть мудрость. Въ моей нѣтъ. Если мудрость состоитъ, по вашимъ словамъ, въ томъ, чтобъ съ этими правилами и истинами проходить жизнь, то я...

— Что?

— Не мудрая дѣва! Нѣтъ — у меня нѣтъ этого елея! произнесла она. Что-то похожее на грусть блеснуло въ глазахъ, которые въ одно мгновеніе поднялись къ небу и быстро потупились. Она вздрогнула и ушла торопливо домой.

«Если не мудрая, такъ мудреная! На нее откуда-то повѣяло другимъ, не здѣшнимъ духомъ!... Да откуда же: узнаю ли я? Непроницаема, какъ ночь! Ужели ея молодая жизнь успѣла уже омрачиться?...» въ страхѣ говорилъ Райскій, провожая ее глазами.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.

1235561
RL 029689



58

Angelo Pandimiglio
Conservazioni e Restauro di Opere d'Arte
Via Madonna di Loreto, snc
01038 SORIANO NEL CIMINO (VT)

